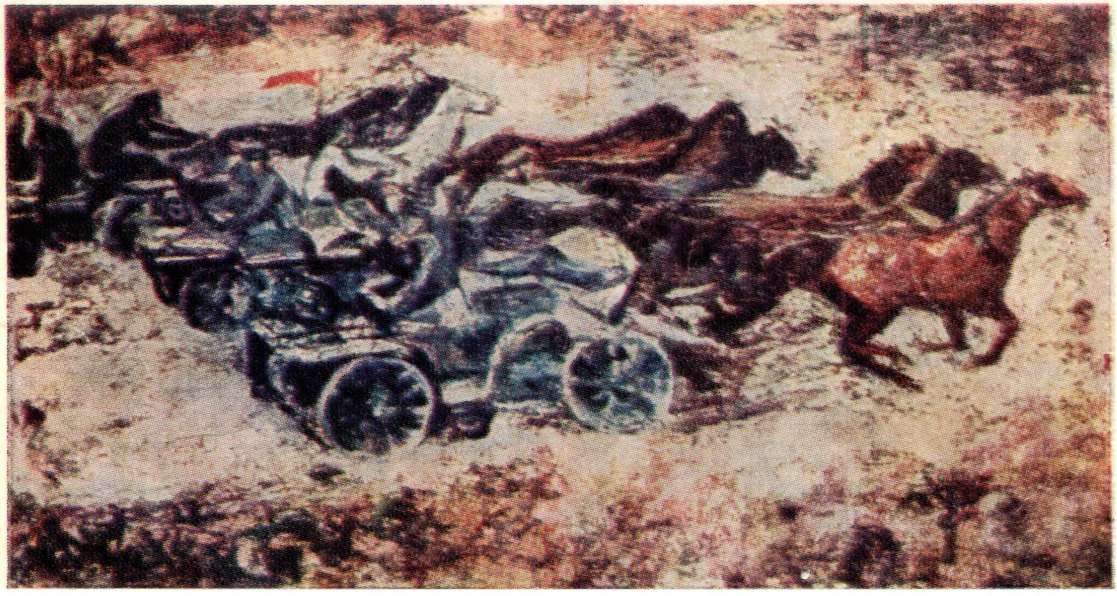
12.1972

Иностранная литература



К
50
-ЛЕТИЮ
СССР

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

СОДЕРЖАНИЕ

РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР — Тебе—в пятидесятилетие *(Стихи. Перевод Евг. Долматовского)* 4

АЛЕКС ЛА ГУМА — В конце сезона туманов *(Повесть. Перевод Виктора Рамзеса)* 5

ЛУЧЕЗАР СТАНЧЕВ — Красная площадь *(Стихи. Перевод Ларисы Васильевой)* 96

ГЕРД ЭППЕРС — Поезд дружбы Берлин — Ленинград *(Стихи. Перевод Ирины Грицковой)* 97

МАРГАРИТА ПАС ПАРЕДЕС — Песнь любви к Советскому Союзу *(Стихи. Перевод Н. Булгаковой)* 98

ЖАН-ПЬЕР ШАБРОЛЬ — Пушка «Братство» *(Роман. Окончание. Перевод Н. Жарковой и Б. Песиса)* 100

ЛАСЛО БЕНЬЯМИН — А что же там, с той стороны?.. *(Стихи. Перевод В. Корчагина)*

ВЛОДЗИМЕЖ СЛОБОДНИК
(Перевод Н. Астафьев

ИВАН ДАВИДКОВ —
(Перевод Лорины Ды

АЛАН СИЛЛИТОУ —
(Перевод Бориса С

Критик

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

12

ДЕКАБРЬ

1 9 7 2

СОДЕРЖАНИЕ

Сидер Флорин — Вавилонское смешение языков и сошествие святого духа. Улла-Лийса Хейно — Советская книга нужна всем. Абу Бакр Хусейн — Переводчик-созидатель, переводчик-боец 201

Литература и классовая борьба (Беседа с председателем ГКП Куртом Бахманом. *(Перевод М. Харитонова)* 219

Публицистика

Полувековому юбилею посвящается

ЖОРЖИ АМАДУ, КРИСТИНН АНДРЕССОН, МИРА АЛЕЧКОВИЧ, МИХАЙ БЕНЮК, ПЬЕР ГАМАРРА, ЮЛИАН КАВАЛЕЦ, АРМАН ЛАНУ, АЙВОР МОНТЕГЮ, АНДРЕЙ ПЛАВКА, Л. ТУДЭВ, РОЖЕ ШАТОНЁ, ИВАР ЛУ-ЮХАНССОН 226

ХАРАЛЬД ВЕССЕЛЬ — Ташкентским экспрессом через пятидесятилетие СССР *(Перевод Г. Косарик)* 237

ХАНС ШЕРФИГ — Страна утренней зари *(Перевод Н. Крымовой. Рисунки Х. Шерфига)* 249

ФИЛЛИП БОНОСКИ — За границами мифа *(Перевод В. Воронина)* 255

СТЕФАН ПОПТОНЕВ — Белоруссия — белая баллада *(Перевод С. Пархомовской)* 261

ФАРЛИ МОУЭТ — Президент республики *(Перевод Ф. Лурье)* 265

Из месяца в месяц 268

Авторы этого номера 282

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1972 ГОД (№№ 1—12) 284

На цветной вкладке: зарубежные художники в Советском Союзе.

На обложке: картина болгарского художника ВЛАДИМИРА ГАЕВА «Тачанка».

РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР

Перевод с испанского ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

Тебе — в пятидесятилетие

Эти увлеченные, эти влюбленные, эти бесстрашные —
в изорванной одежонке, в единственной паре ботинок,
застывшие в длинных очередях за похлебкой и ломтиком хлеба —
в Петрограде, будто на фоне театральной декорации,
оледеневшем, но огнедышащем;
в Москве, затемненной, мохнатой от инея;
в Баку, пылавшем нефтью и восстанием,
еще полумавританском, напоминавшем мне Испанию;
в Киеве, утопавшем в зелени, разбитом войною,
где улыбались женщины и слышался удаляющийся
кавалерийский галоп;
в Ереване из камня и поисков правды,
похожей на древнюю сказку, но подлинной;
в Самарканде, среди усыпальниц, к подножью которых
приношу я благоговейно тропические цветы;
чего захотели эти увлеченные, эти влюбленные, эти бесстрашные?
О чем мечтает человек невысокого роста,
ограниченный пределами жизни, однако бессмертный,
в крепости, осажденной врагами,
среди священных икон, которых уже не достигнет проблеск рассвета?
Какие стихи читает поэт громовым голосом,
когда в интонации слышится и слеза?
Чего хотят эти люди,
чья любовь обручена с нищетою?
Ищут они справедливость на голом месте?
Как они объясняются на языках, непонятных друг другу?
Как сочетают граненые формулы с караваном верблюжьим?
Как они породнили мудрые книги и самодельные счеты?
Как ужилась геометрия рядом со вздором?
Куда они путь свой держат?
Что они смеют и могут?
И отвечает, спускаясь из космической дали,
которую люди эти первыми завоевали,
далекий, очень далекий, декабрь 1922-го
и основоположник их жизни —
рубиновый Октябрь 1917-го,—
отвечает сегодня двигателей гулом
величественный самолет,
опускающийся на эту священную, красивую, победоносную
землю.
Землю увлеченных, влюбленных, бесстрашных.

Гавана, 1972.

АЛЕКС ЛА ГУМА

В конце сезона туманов

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского ВИКТОРА РАМЗЕСА

Памяти Бэзила Фебрюери и других, кто пал в 1967 году, сражаясь в Зимбабве.

Те, кто нас, черных, употребляет в пищу,
Те, кто прячется за частокол речей и бумаг,
Будут в прах растерты,
Раздавлены каменным градом,
Рассыплются, как паутина в конце сезона туманов.
Вчера была ночь,
Завтра — утро,
Утро нового дня...[1]

«Мученики». Конте Сайду Тидиани (Гвинея)

ОТ АВТОРА

Это первая книга, написанная мною в изгнании, в Лондоне. Я работал над ней с перерывами все последнее время. Помог счастливый случай — присуждение афро-азиатской литературной премии «Лотос». Полученные деньги дали мне возможность засесть за повесть и закончить ее.

Все мои книги повествуют о Южной Африке и ее народе. В повестях «Скитания в ночи», «И нитка, втрое скрученная...» изображена жизнь обитателей трущоб, тяжелые будни угнетенных африканцев. В «Каменной стране» я попытался описать условия, царящие в южноафриканской тюрьме. Возможно, в этой книге отразилась в концентрированном виде жизнь всей страны. Завершив эти книги, я задумался над темой своего следующего произведения. По моему убеждению, написано о Южной Африке пока недостаточно. Желая внести посильный вклад в эту работу, я стал ломать голову над тем, о чем писать на сей раз.

Наконец я остановился на народной борьбе за уничтожение тирании в Южной Африке. У революционной борьбы в Южной Африке долгая, богатая история. Монументальный многоплановый роман, воздающий должное героям, оказался бы мне не по силам. Но я не мог не рассказать об обыкновенных, простых людях, совершающих героические дела, вносящих весомую лепту в подпольное движение. В этих невоспетых мужчинах и женщинах нет ничего романтического, сенсационного. Времена массовых митингов, демонстраций, речей миновали. В национально-освободительном движении в Южной Африке наступил новый этап. В условиях фашистской диктатуры подпольщики проделали гигантскую работу по повышению активности и сознатель-

[1] Перевод М. Курганцева.

ности народных масс. Обыкновенные мужчины и женщины, которым свойственны и беспокойство, и страх, и минутные колебания, оказались способны на подвиг. Они живут под неотступной угрозой ареста; многих уже схватила фашистская полиция, некоторые скончались под пытками, других бросили в тюрьмы. Часть молодых мужчин и женщин тайком перешла границу. В далеких краях они проходят военную подготовку, а потом вернутся в Южную Африку, чтобы дать последний, решительный бой. У каждого из этих людей своя, с первого взгляда обычная, а на самом деле героическая судьба.

Я не надеялся охватить всего, не пытался во всех деталях воссоздать картину этой стороны южноафриканской действительности. Но мне хотелось по меньшей мере выразить глубокое уважение к преданным великой цели людям, не примирившимся с тиранией, отдающим все силы борьбе.

Я вспомнил тех, кого знал лично. Вспомнил семью, в чьем доме скрывался, когда полиция охотилась за «инициаторами» одной политической кампании. Меня передавали по цепочке, из рук в руки, из дома в дом. Благоустроенные коттеджи чередовались с покосившимися хижинами. Так спасали меня и многих других от южноафриканского «гестапо». Мой товарищ погиб в камере пыток. Но его место в строю заняли другие. Обычные, ничем не примечательные люди — ничего «олимпийского» в них не было. Но за внешней простотой и обыкновенностью угадывались герои, заслуживающие признательности и уважения.

Бейкс, центральный персонаж,— обычный молодой человек, выполняющий возложенное на него политическое задание, в данном случае — распространение нелегальных листовок. Он нервничает, беспокоится о судьбе движения, волнуется за жену и ребенка. Но несмотря ни на что он выполняет свой долг. Текване (кстати, в переводе это имя означает «цапля») — рабочий, пришедший в революционное движение через все тяготы своей жизни. Он становится вожаком подпольной организации. В книге есть и другие персонажи, чьими прототипами были реальные люди, посвятившие себя делу повышения политического сознания масс.

Я не считаю, что все мне удалось. Я хотел лишь рассказать о судьбе этих простых людей в надежде воздать им таким образом за их подвиг. Действие книги происходит на фоне мрачной расистской диктатуры.

Трудность заключалась в том, что, уехав в изгнание, я оказался оторванным от движения активного сопротивления. Но у меня нет сомнений, что в книге правдиво отражена нынешняя ситуация в Южной Африке. До нас доходят сообщения о широком размахе деятельности подпольных групп. Подпольщики распространяют политические прокламации, призывающие проявлять отвагу и организованность. Эти листовки будоражат общественность и приводят в ярость полицию. Массовые кампании свидетельствуют о живучести и действенности подпольных групп. За всем, что происходит в Южной Африке, стоят простые мужчины и женщины, выходцы из самой гущи южноафриканского народа. Они возглавляют сопротивление расистскому гнету. На первый взгляд, в их жизни нет ничего драматического, но в конце концов становится ясно, что они и есть соль земли.

В поисках названия для книги я в конце концов остановился на словах из стихотворения гвинейского поэта Конте Сайду Тидиани. Они, как мне кажется, отражают тот дух и смысл, который я вкладывал в книгу.

ПРОЛОГ

Они нагрянули глубокой ночью, на нескольких автомобилях, выволокли его из дому и запихнули в «фольксваген». Лето уже кончалось, но ночь была теплой, и только высоко в небе тонкий иней, будто подвенечная фата, серебрил звезды. Два сыщика влезли в машину, один сел за руль, другой — на заднее сиденье, рядом с арестованным. Остальные тем временем обыскивали дом.

— Придется оставить его до утра в участке,— сказал сыщик, сидевший сзади. Водитель включил передатчик и доложил об аресте начальнику районной службы безопасности.

Они ехали через район пригородных трущоб, мимо ветхих домишек, затем — через кварталы новой застройки. До самого участка ехали молча.

Несколько часов спустя, чуть свет, они явились за ним и повезли в город, в управление службы безопасности. Рослый молодой сыщик, как и вчера, был за рулем — водил он мастерски,— а второй, в спортивном пиджаке, снова сидел сзади, сжимал и разжимал кулаки, разглядывал ладони.

Предместье просыпалось, от крыш и садов поднимался предрассветный туман, на автобусных остановках уже выстраивались в очередь рабочие.

Окраины кончились, за окнами замелькал город: зубчатая гряда конторских зданий, шеренги счетчиков на платных автостоянках, будто полчища безруких роботов. Арестованный сидел не шелохнувшись, с выражением глубокого раздумья на лице.

Сыщик, ехавший рядом с ним, заметил это.

— Сочиняешь басни для нас? — Он оскалился и отрывисто залаял, что должно было означать смех.— Чего бы ты ни наплел, никто тебе не поверит. Мы не глупей тебя, макака!

Молодой сыщик громко заржал:

— Мы его так разделаем, что ему будет не до сказок!

Первые лучи солнца прокрались в город, согревая бетон, мрамор и металл оранжевым теплом. Рядом прошуршал битком набитый троллейбус.

— Он небось потребует адвоката,— все потешался Молодой, не отрывая глаз от дороги.— Слыханное ли дело — у этих тварей нашлись защитники!

Сыщик в спортивном пиджаке ткнул арестованного локтем в бок.

— Плохо дело, сэр,— сказал он с издевкой.— Никаких адвокатов. Плевали мы на них. Времена не те. Мы и без судей обойдемся.

— Кровью харкать будешь! — зло пригрозил другой.

«Фольксваген» свернул на улицу, где находилось Центральное полицейское управление и здание уголовного суда. Перед входом в суд из большого крытого грузовика выгружали вчерашний «улов». Дворник в коричневой спецовке поливал из шланга широкую мостовую, вода быстро высыхала на утреннем солнцепеке. Въехали под высокую арку; двор уже успели полить; пахло дезинфекцией. Заключенный в красной рубахе с чайным подносом в руках толкнул ногой тяжелую дверь и скрылся за ней.

Арестованного повели по пустым коридорам, мимо коричневых дверей, потом вниз по щербатым каменным ступеням. Сыщик в спортивном пиджаке постучал, открылся глазок — квадратное зарешеченное оконце, потом заскрежетал замок. За дверью начался другой коридор. Наконец, надзиратель в форме, с револьвером и связкой ключей отпер крошечную каморку с серыми стенами.

— У тебя есть время.— Арестованный не обернулся посмотреть, кто из сыщиков сказал это.— Пораскинь мозгами, старина, ежели они у тебя есть.

Толчок в спину — и он летит ничком на пол. Сыщики ушли, тяжелая дверь закрылась. Арестованный перекатился на бок, сел, положил закованные руки на колени, привалился спиной к стене. Скула горела — саданул о каменный пол. Он давно готовил себя к испытаниям, закалял волю. Но теперь вдруг понял, что толком не знает, что̀ его ждет. За уродливой личиной режим прятал еще более зловещий лик, и теперь впервые предстоит увидеть его. Всякое бывало: разгоны митингов, полицейские дубинки, высокомерный отказ выслушать жалобы и принять петицию; засохшая кровь, будто краску разлили на мостовой, где упал сраженный пулей. Но здесь, за надраенными до блеска стеклами, решетками и правительственной вывеской террор как бы представал в ином измерении.

Он не знал, сколько времени прошло, когда вдруг с грохотом распахнулась дверь и вошли оба сыщика: Молодой и Спортсмен. Его подхватили, как мешок, поставили на ноги и вытолкали в коридор. За одной из коричневых дверей чей-то вкрадчивый и осторожный голос, записанный на магнитофон, давал показания. В комнате, куда

его впихнули, было незанавешенное окно с решеткой, за ним видне лись крыши, водосточные трубы, дымоходы, церковный шпиль. В го лубом, без облачка небе неровным строем кружила стайка голубей У окна стоял большой письменный стол, на нем два телефона, ровны стопки исписанной бумаги, папки из бычьей кожи, чернильный при бор, коробки с булавками и скрепками.

— Вот и мы, майор,— сказал Спортсмен.

— Пусть садится.

Толстяк майор за столом, казалось, был сложен из розовых ова лов: лысеющая голова, одутловатое лицо, короткая шея на покаты плечах, и самый большой овал — шаровидное туловище. Этакий ве сельчак с рекламного плаката. На нем была накрахмаленная летня сорочка, из коротких рукавов торчали розовые, пышные, округлы руки. И глаза, как две стекляшки — крохотные, незамутненные, бес стыдные. Он заговорил, голос, вопреки ожиданиям, звучал дружелюб но, участливо. Таким тоном врач разговаривает с больным.

— Ага, старый знакомый! Ты давно на крючке, только мы не торо пились тебя вытаскивать. Но после того, что произошло — ты знаешь что я имею в виду,— пришлось нам вмешаться.

Маленький, правильной формы рот улыбался, но в маске на пускного добродушия был существенный изъян: она не закрывала его глаз.

— Вот уж действительно черная неблагодарность! — продолжал майор.— Чего только правительство для вас не делает: мы дали вам хорошую работу, дома, образование. Да-да, образование. Открыли спе циальные школы, а вы еще недовольны. Все вам мало. Подавай им ма тематику! А на кой черт? Неужто не ясно — математика не вашего ума дело. Нам видней, что для вас лучше. Мы из кожи лезем, чтобы вам помочь, во всем идем навстречу. Но вы хотите быть как белые. На это не надейтесь! Тут вам не Гана и не Конго. Дай вам власть — вы такого натворите! Кое-какие права мы сами вам предоставим, но что бы все было у нас на глазах, под нашим присмотром.

Он всплеснул над столом розовыми руками, мол, чего же вам еще надо! Шаровидное тело заерзало в кресле. Голубые глазки даже по грустнели, во всяком случае, могло так показаться.

Арестованный смотрел на майора и думал: краснобай, надеется меня пронять. Смех, да и только. Что-то он еще скажет?

Майор продолжал:

— Итак, приятель, вам нет ни в чем отказа.— Он обвел руками решетку на окне, папки из бычьей кожи, скрепки.— Но типы вроде тебя вечно недовольны. Ты сбиваешь с толку своих собратьев, хочешь втемяшить им то, что услышал от разной сволочи: попов, адвокатов коммунистов.

— И евреев,— впервые открыл рот Спортсмен. Он свирепо глазел на арестованного, как бы негодуя, что майору приходится опускать ся до объяснений с этим скотом.

— Все, что мы делаем, должно вас устраивать,— внушал майор.— Хватит корчить из себя умников. Вам никто не верит, но вы не унимаетесь. Мой долг состоит в том, чтобы покончить с этим, по ставить крест на вашей организации. Вы и так уже на коленях, а ско ро будете на лопатках. С корнем вас выкорчуем. У нас всюду свои люди. Они хотят своему народу добра, а потому сотрудничают с нами. Так что мы знаем все, и вилять бесполезно. Нам известно, что ты гла варь местного отделения. Ты связан и с другими, в том числе и с тем, кто удрал. Но он от нас не уйдет. Мне нужно его имя, адрес и все прочее. Назови нам всех, кто с тобой работает, где вы встречаетесь и когда. Кто твой связной с центральным комитетом или штабом — как

это у вас называется? Будешь отвечать — мы тебя не тронем. А не станешь, все равно заставим — только зря намучаешься. Мы тебя продержим, сколько захотим,— без всякого суда, по подозрению.

Голубые глазки, будто яркие лампы в операционной, бесстрастно разглядывали арестованного.

Арестованный улыбнулся:

— По-вашему, мы лгуны и смутьяны и никто нам не верит, чего же вы так всполошились?

Спортсмен резко перебил:

— Мы не желаем слушать всякую чушь. Отвечай майору на его вопросы.

Арестованный будто не слышал окрика и продолжал, обращаясь к майору:

— Вы хотите, чтобы я с вами сотрудничал. Вы стреляете в моих братьев, когда они добиваются справедливости; выбрасываете людей на улицу, сажаете не за убийство или кражу, а за то, что они живут на свете. Наши дети ходят в лохмотьях, умирают от голода. И вы хотите, чтобы я с вами сотрудничал? Никогда!..

Не собирался говорить, само собой вышло — ну да пусть знают, что он о них думает. У него пересохло во рту, горела ссадина на щеке; он был измотан, одинок, загнан. Ему было страшно, но память о великой несправедливости и неукротимая гордость служили ему поддержкой.

— Дерьмо,— гаркнул Спортсмен.— Тут тебе не митинг. Ты у нас попрыгаешь, макака!

— Нет,— возразил майор,— он не макака. Он «шишка», ихний «командир».

Чудилось, будто щелкают кавычки, слетая с майорских губ и вставая на свои места. Плоская синь за окном подернулась знойным маревом. «Когда еще придется любоваться небом»,— подумал арестованный.

Он сказал:

— Вы меня будете пытать, может, даже убьете. Вам больше ничего не остается, как стрелять, пытать, убивать. Народ отвергает вашу власть. Ваш конец близок. Вы катитесь в бездну и хотите прихватить с собой побольше народу, чтобы не подыхать в одиночку.

— Прекрати этот бред,— завопил майор.— Отвечай на вопросы, не то я тебе язык вырву!

Можно было предвидеть, что от деланого благодушия майор вот-вот перейдет к угрозам, и перемена не застала узника врасплох. «Впустую толстяк медоточил,— думал он.— Теперь надо приготовиться к худшему».

— Я все сказал.

«Больше ни слова, ни слова»,— решил он про себя.

Спортсмен и молодой сыщик стащили его со стула, вытолкали из кабинета и поволокли по коридору. Тюремщик в форме отпер дверь. Сыщики поставили арестованного на порог, и Молодой толкнул его вниз по лестнице. Он покатился по каменным ступеням, крича от боли. Наручники мешали уцепиться, замедлить падение. Он рухнул на цементный пол и застонал.

— Полегче, дружище,— сказал Спортсмен напарнику,— пусть поживет еще.

Он расстегнул молнию на брюках и, стоя на верху лестницы, пустил струю в лицо арестованного.

— Это его освежит.

Арестованный конвульсивно задергался, его стошнило. Спортсмен застегнул брюки, оба сыщика спустились вниз, снова поставили

задыхающегося узника на ноги и второй парой наручников примкнули его к скобе высоко в стене. Арестованый повис на руках, жадно ловя ртом воздух. Он испытывал жуткое удушье и обреченность. Внезапно он унесся памятью в далекое детство: он упал с запруды и идет ко дну. Вонючая вода затекает в нос. Перепуганные приятели в панике носятся по берегу...

Сыщики сняли пиджаки, и Спортсмен принялся молотить узника кулаками, как грушу в гимнастическом зале. Когда он уставал, его сменял Молодой. Арестованный тщетно пытался увернуться. От одежды разило блевотиной и мочой. Силы покидали тело, как вода лопнувшую бутылку. Молодой выхватил пистолет и ударил узника рукояткой по икрам. Боль была такая, будто ножом полоснули по сухожилиям. Ноги отнялись, он повис на кистях, а Молодой все охаживал его пистолетом. Узник кричал и корчился от боли в ногах, запястьях, на которых болтался, во всем истерзанном теле.

— Это еще цветочки, скотина,— устало отдуваясь, приговаривал Спортсмен.— Ты у нас заговоришь.

I

Дубы в городском парке бросали лохматые тени на бурый гравий дорожек. В сточных канавках валялись прошлогодние желуди, на траве и гравии там и сям желтели сморщившиеся от солнца листья, будто обрывки мертвой кожи,— лето кончалось. Между деревьями, среди гладких, как биллиардный стол, лужаек попадались возделанные участки, к низеньким колышкам были прибиты таблички с английскими и латинскими названиями растений. Иногда с дуба камнем срывалась белка и пряталась в густых зарослях. Посредине парка был искусственный пруд с кувшинками и золотисто-красными рыбками, мечущимися в прозрачной воде. На берегу португальский мореход, первым из европейцев добравшийся до этой части света, взирал с гранитного постамента поверх дубов на гавань. Его похожее на рясу одеяние и высеченные в камне волосы были загажены голубями. Свет так падал на лицо, что казалось, будто в глазах сквозит насмешка. От памятника вились тропинки к музею и летнему ресторану «только для белых». На горизонте ступенями роскошных авеню карабкался ввысь город, взбегая к зеленым подножиям голубоватых гор.

Бити Адамс знала в парке каждую дорожку, каждую скамью, каждую кадку с орхидеями и другими диковинными цветами. Знала она, где солнце греет жарче, перемещаясь по бурому гравию, серому бетону, зеленой траве и деревьям. Да и как ей не знать всего этого, когда вот уже два года в теплые месяцы она гуляет здесь с ребенком по утрам и после обеда.

Сегодня, как обычно, она толкала коляску, нежась в утренних лучах. Рослая, дородная, уже не первой молодости, в застиранном белом халате и косынке, она старательно объезжала крапчатую тень, ловя ласковое тепло широким смуглым миловидным лицом. У нее никогда не было своих детей, всю жизнь она растила чужое потомство. В коляске с голубым верхом посапывал златокудрый розовый крепыш. Впереди дорожку перебежала белка и юркнула в кустарник, спугнув с гравия стайку голубей. Голуби уселись на ветви дуба, а часть полетела через парк к зданию картинной галереи, выстроенному в духе неоклассицизма.

Парк постепенно наполнялся людьми: курьеры торопились кратчайшим путем к центру, мерно поскрипывал гравий под ногами гу-

ляющих, белые пенсионеры дремали на зеленых скамьях, сторож подбирал на острие палки клочки оберточной бумаги.

Бити Адамс катила мирно спящего ребенка по залитым светом аллеям, ища свободную скамейку «для цветных». Наконец попалась подходящая скамья. Ее излюбленные местечки были заняты, но и тут неплохо. На дальнем краю дремал какой-то мужчина. Бити уселась на другой конец, надежно затормозила коляску и откинулась на спинку, устраиваясь поудобнее на припеке. «Посижу-ка здесь полчасика,— решила она,— а там потихоньку двину к дому». Ее «дом» — это комнатенка во флигеле для слуг на заднем дворе большого бело-розового особняка рядом с парком. Комната как комната: односпальная кровать с вышитым покрывалом; старая мебель, выброшенная хозяйкой, когда купили новый гарнитур; фотография матери Бити в дешевой рамке; сельский вид на другой картинке; бутылочки с лосьонами на комоде; словом, всякая всячина, без которой и жизнь не жизнь.

Ребенок захныкал, стал тереть спросонья глазки кулачками.

— Ну, ну, ну,— Битти снова убаюкала его, подоткнула сбившееся одеяльце.

Подняв глаза, она заметила, что мужчина на другом конце скамьи наблюдает за ней.

— Малыш вас разбудил?

— Ничего. Сам не заметил, как заснул.

— На солнце разомлели,— сказала она.

— Должно быть,— он зевнул в кулак.— Простите. Всю ночь на ногах.

Он взглянул на часы. Коричневый бумажный пакет и скатанная в трубочку газета лежали у него на коленях. Сонные карие глаза похожи на мокрые медяки, верхняя губа длиннее нижней. Под левым глазом белел небольшой шрам. Изящный, прямо-таки девичий подбородок зарос за ночь. Ему могло быть и двадцать пять и сорок — определить невозможно. Дешевый, но вполне приличный коричневый костюм, бежевая сорочка с мягким воротничком, каштановый галстук. На рыжих башмаках бурый налет пыли.

— Спасибо маленькому, а то бы все на свете проспал.— В карих глазах была усталость, но под выпяченной губой ослепительно сверкнули в улыбке зубы.

Бити застенчиво улыбнулась в ответ и отвела глаза. Не в ее правилах заговаривать с незнакомцами. «Смотри не доверяй городским»,— наставляла ее мать, когда Бити уезжала из деревни. Этот наказ запал в душу. Боязливость, как и сельский выговор, не исчезла с годами, несмотря на то, что пришлось с лихвой хлебнуть городской жизни. «Может, поэтому,— думала она теперь с легкой горечью,— до сих пор и не замужем».

— Каждый день здесь бываете?

Сначала ей показалось, будто он собирается назначить ей свидание, но вскоре поняла, что заговорил он из вежливости — не похож на приставалу.

— Если погода подходящая.

— Наверно, больше возитесь с ребенком, чем мать.

— Мне эта работа по душе. Его мать днем уходит, а отец вечно в разъездах — работает в торговой фирме.

— Так-то вот. Вы нянчите их детей, стираете пеленки, даете соску. А вырастут, забудут обо всем и станут смотреть на вас с презрением.

— Да, верно.

— Вы родом из деревни?

— Уже семнадцать лет, как в городе.

— А я здесь родился.— Он обвел взглядом голубей, крыши домов на горизонте, спящего на солнце старика, хрипло дышащего влажным, розовым, беззубым ртом.

— Все семнадцать лет в служанках.

— По их мнению, черные созданы лишь для того, чтобы стирать пеленки.

— Такова жизнь, не правда ли? — с сомнением сказала она, потому что сама в это не верила.

— Жизнь? А почему, собственно, мы должны так жить? Ведь мы такие же, как они,— не хуже и не лучше.— Говорил он резко, но покрасневшие от недосыпания глаза по-прежнему улыбались ей. Длинным смуглым пальцем он водил по жесткой щетине на скулах.

— Да, пожалуй. Но что поделаешь?

— Можно кое-что сделать,— сонливости его как не бывало.— Конечно, не за день и не за год. Но даже если мы не дождемся, чего хотим, все-таки нельзя сидеть сложа руки. Это дело нашей гордости, человеческого достоинства. Понимаете?

— Все равно надежды никакой. Одни неприятности...

Он зевнул и передернул плечами.

— Неприятности всегда были и будут! — Ему к ним не привыкать, видно, человек битый. А она дорожила своим нынешним покоем, и обставленная рухлядью комната на заднем дворе, где висит фотография матери, была ее крепостью. Хозяйка иногда накричит на Бити, если у ребенка потница или на комоде пыль,— вот и все ее неприятности.

Бухнула пушка на пригородном холме, из-за крыш долетел бой часов на ратуше. Полдень. Отогнув рукав пиджака, человек снова посмотрел на часы и протяжно зевнул.

— Извините,— улыбнулся он,—загулял я вчера. Ну, мне пора.

— Раньше надо ложиться,— шутливо посоветовала она, представив себе веселую попойку, беспечно танцующих женщин.

Улыбаясь, он встал со скамьи. Костюм был помят на спине и неважно сидел на нем: видно, что куплен в кредит в магазине готового платья. Он был довольно высокого роста, лицо не лишено приятности. Оно не постареет, таким и останется до самой смерти, будто деревянная маска искусной работы. У хозяев Бити в гостиной висела такая маска, хозяин говорил, что она стоит кучу денег.

— Ну, всего хорошего,— сказал человек.— Жаль, времени нет, а то еще бы поболтали. Малышку берегите.

— Прощайте! — Она нагнулась над коляской, чтобы поправить одеяльце на спящем ребенке, а когда подняла голову, человек уже скрылся за деревьями. Он забыл на скамье газету, но было поздно его окликать — не услышит. Там, где он свернул, какой-то пожилой господин кормил орехами белку. Статуя Родса простерла длань на север, в сторону сегрегированных уборных: «Вот лежит ваша земля».

Бити потянулась за газетой и развернула ее, решив, что посидит еще четверть часика, а потом поедет готовить ребенку еду.

Газета потрепалась, словно ее туго скатывали и нервно мяли в руках. На изгибах типографская краска размазалась. «Длинные смуглые пальцы»,— ненароком подумала Бити, разглядывая первую страницу. Начинается суд над женщиной, которая будто бы убила мужа. «Убийство в Бейнсбурге. Сегодня она предстанет перед судом»,— кричали заголовки. Бити Адамс припомнила захолустную станцию, бидоны с молоком, загон для овец; цветной мужчина в железнодорожной фуражке мел платформу, а поезд медленно тащился мимо, увозя ее в город, и было это давным-давно. Неужели тот самый городишко? На фотографии — деревянный дом с железной кровлей, запряженный

лошадьми фургон, забор из гофрированной жести. На крыльце у запертой двери стоит полицейский с самодовольной рожей и держит руку на кобуре. В размазанную газетную колонку врезана другая фотография: женщина в шляпе, похожей на черный нимб, миссис Катерина Зюйденхаут. И как это люди могут докатиться до такой мерзости, чтобы убивать друг друга! Вот он, тот страшный мир, что лежит за стенами ее комнатенки. Бити замахнулась газетой на голубя, усевшегося на верх коляски, он вспорхнул, сделал круг над дорожкой и полетел в сторону музея.

Подходя к музею, Бейкс невольно вспомнил свидание, которое у него здесь было четыре года назад. Тогда тоже стояло лето, и он, как теперь, не выспался. Странное совпадение. Прошлое ожило на миг, будто цветной диапозитив вспыхнул на экране памяти...

В вестибюле было прохладно, несмотря на лето. В музеях почему-то всегда так: холодно, как в леднике. Вереница притихших детей во главе с учителем шагала на цыпочках под гулкими сводами. Какой-то малыш зашелестел пакетом с бутербродами, и учитель зашикал на него. Ступая по скрипучим половицам тускло освещенного вестибюля, Бейкс почувствовал на себе короткий, но пристальный взгляд служителя, оброненный поверх газеты. Бейкс скосил глаза в сторону стеклянной конторки, но увидел только синюю форменную фуражку и крупно набранный заголовок «СТАЧКА» в газете. Бейкс не очень-то похож на человека, интересующегося чучелами хищников, зародышем обезьяны в стеклянной банке или раздавленной блохой под увеличительным стеклом. Как бы служитель чего не заподозрил. Он пошел дальше в полумраке, мимо средневекового оружия, мечей, топоров, старинных пищалей и кирас и по широкой надраенной лестнице поднялся на верхний этаж.

Здесь было светло. Солнечный свет лился через огромные окна, и стеклянные глаза леопардов, львов, бабуинов искрились, как неисправные радиолампы. Бейкс был совсем один, странник в затерянном, безжизненном мире. За стеклянной клеткой с обезьянами, висевшими на бутафорских ветвях, пряталось чучело слона. Белые таблички с названиями животных усиливали ощущение гротеска. Бейкс едва не сбился с пути, заплутавшись среди саркофагов и гипсовых фараонов, но в конце концов отыскал антропологический отдел. Здесь за стеклом охотились с луком и короткими стрелами аборигены — красноватые лилипуты с короткими, цвета перца волосами и бисерными глазками. «Вот первые борцы за свободу»,— с теплым чувством подумал Бейкс. Он молча шагал мимо неподвижных охряных фигурок, скорчившихся над очагами и страусиными яйцами, в которых хранилась вода. Наконец в пыльном прямоугольнике света он увидал Айзека.

Тот сидел один на краю гладкой деревянной скамьи, сложив ладони на коленях, будто робкий новичок в церкви в ожидании проповеди. Заслышав шаги, Айзек вздрогнул, вцепился в подлокотник и поднял глаза.

— Это всего лишь я, дружище,— заулыбался Бейкс.— Как дела?

— Ты меня напугал,— улыбнулся Айзек в ответ,— я подумал...

— Успокойся,— Бейкс опустился на скамью,— нас пока не ищут.

— Откуда ты знаешь? — Айзек обшаривал глазами большую комнату, стеклянные клетки, натертые полы, будто опасался засады.

— Я обзвонил всех,— Бейкс зевнул.— Нигде ни облав, ни обысков. А у тебя что нового?

У Айзека были короткие курчавые волосы, светлая кожа, торчащие розовые уши, рыжеватый пушок на щеках, глаза слегка навыкате,

придававшие лицу выражение непрестанного изумления. Он всегда немного нервничал, короткие пальцы вечно теребили брюки на коленях. На нем был длинный пыльник цвета хаки.

— Пока все нормально,— сказал он.— Та тройка, что я подобрал в своем районе, от работы не отказывается. Не знаю, что будет, когда фараоны засуетятся. Поль, например...

— Не надо имен, не устраивай переклички,— перебил его Бейкс,— и забудем на время о фараонах.

— Кое-кто из наших до смерти перепугается,— сказал Айзек и снова огляделся.— Мы одни здесь?

— Конечно, друг. Кто ходит в музей в это время дня?

— Как Фрэнсис?

— Все хорошо. Знаешь, мы ждем ребенка.

— Господи, жена в положении, а ему хоть бы что!

— Не выспался я,— Бейкс зевнул.— Заседание комитета, черт его дери. Почему это мне «хоть бы что»! Жена ждет первенца. Через несколько недель должна начаться забастовка. Фараоны вот-вот закопошатся. Думаешь, я не беспокоюсь? Еще как! Но что толку говорить об этом? Словами делу не поможешь,— Бейкс подмигнул Айзеку.— Так или не так? «Не печальтесь — улыбайтесь, улыбайтесь!»

— Небось не рад, что все так совпало,— сказал Айзек, уставясь на краснокожую фигурку, отыскивающую след на песке в стеклянной клетке.

— Не надо вешать нос. Займемся делом.— Бейкс поставил сумку на скамью, вытянул ноги и снова зевнул.— Курить здесь можно?

— Нет уж, лучше не надо.

— Ладно. Итак, у тебя в группе трое. Отлично. Первым делом надо им дать какую-то работенку. Сегодня вечером я получу листовки, и их доставят тебе. Придет машина, но это не моя забота. Завтра их необходимо распространить. Часть на предприятиях, часть по домам. На заводах есть надежные люди?

— Один из трех парней работает на швейной фабрике,— ответил Айзек,— двое других бывают там и сям.

Бейкс не понял, что означало «там и сям», но ответил:

— О'кей. Первый парень пусть пронесет листовки на фабрику, разложит на станках, оставит в столовой. Только осторожно, чтобы его не сцапали с поличным. Обидно сразу его лишиться. Как с собраниями?

— Вчера устроили целый митинг, обсуждали, с чего начать.

— И хватит. Пожалуйста, никакой шумихи. Только маленькие собрания там и сям.— Бейкс улыбнулся — невольно повторил фразу Айзека.— На фабрике стало трудно. Могут вызвать полицию. Следует сосредоточиться на домах. Поручи своим. Лучше всего это делать ночью.

— Понятно.

— Постарайся найти людей в своем районе, у которых можно встречаться.

— Поищем там...

— ...и сям,— снова ухмыльнулся Бейкс.— Может, у одного из трех?

— Я поговорю с ними.

— Ну вот и все для начала. То же самое делается в других местах. Со временем пойдем дальше.

— Дай-то бог,— вздохнул Айзек.— Думаешь, выйдет у нас?

— Я не цыганка, чтобы гадать. Все зависит от темпов, от интереса, который мы сумеем пробудить в людях. Главное — не расслабляться.

Айзек уставился на фигурки в витринах, глаза навыкате глядели серьезно. На миг с его лица исчезло изумленное выражение.

— Слишком долго им все сходило с рук. Надеюсь, нам хоть удастся их хорошенько припугнуть. Это и народ ободрит.— Он перевел взгляд на Бейкса.— Не волнуйся, Бьюк, мы не подведем.

— Я знаю, Айк,— мягко отозвался Бейкс.

— Полиция первым делом займется вожаками — она вас знает.

— Мы так не дадимся — они у нас побегают.

На подоконник сел голубь, нарушив царившую в комнате тишину. Фигурки первобытных людей сохраняли невозмутимость.

— Запомни,— продолжал Бейкс,— чтобы все шло как по маслу. И смотри не завались. Они тебя не знают и твоих парней тоже. Листовки получишь в срок.

— Теперь уже ты нервничаешь,— улыбнулся Айзек.

— Я вечно нервничаю,— подтвердил Бейкс,— известный псих.

— Это все? — спросил Айзек.— Мне пора на работу. Надо пораньше отправить почту.

— Хорошо. Вечером увидимся. Но рано меня не жди.

— Хм. Послушай, если дверь будет заперта, пусть оставят сверток на заднем крыльце.

— А не пропадет?

— Нет, не беспокойся.— Айзек поднялся.— Ну, я пошел.

— Давай-давай. Иди первым.

— Увидимся, Бьюк.

Бейкс смотрел ему вслед, подошвы поскрипывали на натертом полу, длинный пыльник, будто сломанное крыло, болтался сзади. Он скрылся среди охотников, замерших с допотопными луками наготове. Когда Айзек исчез из виду, Бейкс поднялся со скамьи и зашагал в том же направлении. В египетском зале пожилая пара, склонившаяся над коллекцией скарабеев, на миг выпрямилась, когда он проходил мимо, а потом снова зашепталась о чем-то над вырезанными из дерева жуками. До него донеслось слово «удача». Бейкс знал, что оно не предназначалось ему, и все-таки, спускаясь по лестнице, страдая от рези в усталых глазах, не мог сдержать улыбки...

И вот теперь, поравнявшись с музеем, он вспомнил все это.

За оградой ботанического сада начиналась тихая тенистая улица. На углу возвышался дорогой многоквартирный дом — сплошное стекло и мозаика, чуть дальше, у подъезда гостиницы из такси высаживались пассажиры.

— Заплати, Этель. Надеюсь, мы вовремя,— говорила попутчице женщина с накрашенным лицом, в широкополой шляпе размером с тележное колесо. К ним уже семенил портье с протянутыми руками, будто собираясь подхватить на лету.

Бейкс миновал гостиницу, поднялся по крутой улочке и вышел к рядам дешевых, запущенных лавчонок. На политой мостовой у входа в молочную были выставлены бидоны; девушка мела тротуар перед запыленной витриной с неопрятным плакатом: «Гардины со скидкой, 29 центов за ярд». Он шел не спеша, но настороженно, мимо витрин, под провисшими балконами, с пижамой и зубной щеткой в бумажной сумке и думал: «На каждом шагу может быть засада, а с виду все спокойно». Жизнь шла своим чередом. Было время обеда, рабочие на кромке тротуара играли в шашки; две фабричные девчонки в синих халатах и косынках разглядывали платья в витрине; в сторону центра протащился полупустой троллейбус. Впереди показались два полисмена в мундирах цвета хаки, с револьверами, но Бейкс не испугался. Секретная полиция формы не носит.

Он свернул в переулок, прокаленный жарким солнцем. Жилые дома неровными рядами взбирались по крутому склону к подножию Сигнальной горы. Середина мостовой была уставлена, как напоказ, автомобилями местных торговцев. На высокой веранде, под сохнущим бельем дремал старик в феске. Бейкс взошел по цементным ступеням на крыльцо одного из домов и с облегчением обнаружил, что входная дверь не заперта.

В прихожей на вешалке еще с зимы болтался синий дождевик, подобно пропыленному, полинявшему, забытому флагу. Но соломенная шляпа с разноцветной лентой и брошенный посреди яркого линолеума чемодан говорили о поре летних отпусков.

Бейкс уже собирался постучать, когда из спальни в прихожую вышел Артур Беннет с детской лопаткой, ведерком для песка и синтетическим ковриком в руках.

— Куда прикажете это деть?

При виде Бейкса он явно оторопел, но тут же справился с собой, придав лицу выражение натянутого радушия.

— Бьюк, негодник,— заорал он,— вот и ты! Где же ты пропадал?

— Привет, старый плут,— криво улыбнулся Бейкс.

— Кто там? Молочник?..— донесся женский голос.

— Это Бьюк,— отозвался Беннет, покрываясь нервным румянцем,— Бейкс. Ты ведь знакома с ним. Заходи, дружище,— кивнул он Бейксу,— не споткнись о чемодан.

Он провел Бейкса в комнату, уставленную стульями; в центре красовался полированный обеденный стол с большой бронзовой вазой в форме кастрюли, при виде которой в голову лезли шутки о людоедах и миссионерах. Низкая кушетка и тяжелые кресла с круглыми лакированными подлокотниками теснились вдоль стены. Крахмальные кружевные салфетки, горка, забитая «пробными» бутылочками из-под всевозможных напитков. И еще много бронзы: пепельницы, каминные щипцы (хотя камина не было), два подсвечника, которым бы место на алтаре.

— Мы только вернулись, дружище,— сказал Беннет,— чертовски здорово провели время на побережье.

«На пляже для цветных»,— едва не вырвалось у Бейкса. Но вместо этого он сказал:

— Я приходил в субботу утром, как условились. Дом был заперт.

Беннет зарделся и смущенно пролепетал:

— Прости, старина. Нелли вдруг решила ехать в пятницу вечером. У женщин вечно семь пятниц...

Он опустил игрушки и коврик на пол у книжного шкафа, в котором не было ничего, кроме новенького комплекта энциклопедии, скорчил рожу, тыча большим пальцем в сторону другой комнаты, и добавил шепотом:

— Она была против. Извини.

Тут же раздался женский голос, будто она подслушивала:

— К черту, я не желаю неприятностей.

— Извини, старина,— повторил Беннет.— Ты нашел, где переночевать?

— О да, я обошелся,— ответил Бейкс и подумал: «Лицемерный ублюдок».

Вошла женщина, сухо поздоровалась с Бейксом и накинулась на Беннета:

— Надо закончить с вещами, пока малыш не проснулся. У меня потом не будет времени.

Она была маленькой, хрупкой, похожей на садовую змейку.

Беннет снова покраснел и подмигнул Бейксу. Он был коротышкой, моложе Бейкса, но уже лысый; коричневый череп под последними реденькими волосами сверкал не хуже полированной мебели и бронзы. У него были неспокойные, бегающие глазки, тщетно пытавшиеся сохранить радушную мину, но маска все время сползала, как плохо приклеенные усы в школьном спектакле. Говоря, он размахивал костлявыми руками.

— Почему бы тебе не присесть?

Бейкс взглянул на беднягу с некоторой жалостью.

— Нет, не беспокойся. Вот если можно почистить зубы и побриться...

— Конечно, конечно. Какой разговор! — Беннет был рад хоть маленькой услугой загладить большую вину.— Сюда, сюда!

Он замахал руками, указывая в сторону кухни.

— Мы только недавно вернулись. Пришлось отвозить старуху. Проходи, Бьюк.

В ванной хмурый Бейкс быстро побрился, почистил зубы хозяйской пастой, сполоснул лицо, утерся их полотенцем и снова завернул бритвенные принадлежности и зубную щетку в пижаму. Вернувшись в комнату, он произнес с легкой издевкой:

— Этот район скоро объявят «белым». Вас выставят в «бунду».

— Я слышал,— лицо у Беннета вытянулось.— Чего еще от них ждать!

— Сейчас не время для политики, Арти,— вмешалась женщина.— У тебя хватает дел.— Она вышла на кухню.

Бейкс, не обращая на нее внимания, продолжал:

— Один бедняга в Си Пойнте повесился, когда пришли его выселять. Он там прожил бог знает сколько.

— Знаю,— хмуро буркнул Беннет.

Бейкс хлестал его словами, наказывая загнанного лысого человечка,— поделом ему!

— А ты, ты, мерзавец, не хочешь пальцем пошевелить. Друг просится переночевать, пока ты нежишься на пляже. Ты пообещал, а сам улизнул из дома.

— Нелли боялась неприятностей,— вяло защищался Беннет.

— Каких неприятностей? Полиция тебя не знает. Я бы прожил два дня, а к твоему возвращению меня бы здесь уже не было.

— Тебя могли увидеть.

— Как видели только что! — злорадно сказал Бейкс.

На Беннета жалко было смотреть. Он хлопнул рукой по плеши:

— О боже!

— Ты кончишь болтовню? — раздался крик жены из соседней комнаты.

— Успокойся,— сказал Бейкс,— я пошутил, никто меня не видел.

Бейкс направился в прихожую, хозяин с озабоченным лицом поплелся за ним. Костлявые руки мелькали в воздухе, как неисправный семафор.

— Прости, дружище!

— Прости? За что, черт возьми?

Беннет снова пошел румянцем, сунул руку в карман брюк.

— Вот десять шиллингов. Мой взнос.

Он нервно мусолил бумажку, оглядываясь через плечо. В глазах была мольба.

— Сам понимаешь, Бьюк. Нелли напугана. Она не плохая. Просто напугана. Говорят, у полиции всюду уши. Лучшему другу доверять нельзя. Держи — это мой взнос.

Бейкс поглядел на деньги, пожал плечами. Он уже раскаивался в том, что дразнил этого человечка.

— Оставь себе. Не надо откупаться от нас.

Беннет проводил его до входной двери.

— Как там ребята на севере?

— Разбили целое подразделение,— ответил Бейкс.

— Вот это да! — осклабился Беннет, но у двери снова занервничал.— Так ты уверен, Бьюк, что тебя никто не видел?

Бейкс взглянул на него и грустно покачал головой. Он сошел по ступеням на разогретый жарким солнцем тротуар, оставив перепуганного хозяина в обществе бронзовых безделушек и полированной мебели.

II

Бейкс не без опаски продвигался к центру города, где ждал знакомый шофер такси. Сон одолевал его, ныли ноги. В субботнее утро, обнаружив, что дом Беннета заперт и на окнах ставни, он решил вернуться ночью и взломать замок, но потом передумал. И теперь Бейкс не сдержал улыбки, вообразив себя верхом на заборе в окружении сбежавшихся соседей и полицейских. Тем вечером он отправился в богатый «белый» район на склоне горы, высоко над городом — тихие респектабельные улицы, куда редко заглядывают полицейские патрули. Он провел две тревожные ночи без сна в живописном овражке, среди сосен и душистого подлеска, подстилая на землю пижаму. Бейкс снова улыбнулся, несмотря на усталость, представив себя в пижаме на ложе из маргариток и сосновых иголок. Он мог бы пойти на другую явку, но правила конспирации запрещали это. Враг не дремлет. Весь аппарат авторитарного государства противостоит Бейксу и его друзьям.

В начале главной улицы движение выплескивалось из прибрежных кварталов и, журча среди викторианских особняков и современных коттеджей центра, растекалось во все стороны — назад к Си Пойнту, к Кемпс Бею или на материк.

Бейкс затерялся среди пешеходов. В толпе — не то, что на пустынной улице или в безлюдном переулке, где ты на виду. И все же сердце его тревожно билось, глаза пристально вглядывались в лица встречных. Темнокожий привратник в белых перчатках, в шапочке, похожей на коробку с пилюлями, распахнул перед кем-то стеклянные двери огромного отеля; наружу вытек ручеек праздных звуков: перезвон бокалов; гортанный женский голос: «...обязательно побывайте в Лос-Анджелесе...»; вкрадчивая музыка из затемненного вычурного бара, где ловко скользили между столиками индийцы-официанты. Темнокожий стражник охранял врата этого запретного рая.

Рядом с гостиницей только что отстроили большущий вокзал (отделение для черных находилось за милю отсюда). В витринах туристского бюро были вывешены веселые плакаты со львами, площадками для гольфа, солнечными пляжами. Группа белых пассажиров садилась в элегантный, сверкающий хромом автобус. На Бульваре стеклянные и мраморные квадраты и прямоугольники, по замыслу художника-кубиста, изображали объятия, раскрытые для заморских гостей. Сквозь заросли портовых кранов на рейде виднелись пассажирские лайнеры и торговые суда. Но некоторое время назад, на глухой стене, обращенной к гавани, кто-то вывел кровоточащие слова, и даже пескоструйкой не удалось стереть размашистых букв: «Вы прибываете в полицейское государство».

На таксисте была коричневая кожаная кепка. Он сидел, сутулясь, за рулем и читал книгу в дешевом переплете, переворачивая страницы короткими толстыми пальцами с неровными грязными ногтями и черными волосками на костяшках. Заглянув в машину, Бейкс некоторое время разглядывал эти руки и картинку на обложке: голая женщина, а напротив мужчина с пистолетом. «Мало ему в жизни всякой дряни»,— подумал он и негромко сказал:

— Привет, умник.

Водитель поднял голову. Он был в очках с зелеными стеклами, будто два отверстия вырезаны в лице. Рот расползся в улыбке, обнажив золотые зубы.

— Бьюк, старина! Как дела, дружище?

— Порядок. А ты?

— В норме.

Водитель потянулся к ручке, отпер дверцу, и Бейкс забрался на заднее сиденье. Гангстерский роман полетел в ящичек на приборной доске. Заурчал мотор, и Бейкс, подавшись вперед, сказал:

— К Томми махнем, что ли?

«И впрямь жизнь как в комиксе,— думал он, борясь со сном,— разъезды украдкой, записки в тайниках, кодированные телефонные звонки». Допросы и камеры пыток шагнули с экранов сегрегированных кинотеатров в реальный мир. Обыватели, как за соломинку, хватаются за видимые признаки покоя: субботние вечеринки, любовные интрижки... Бейкс вспомнил ожоги от электродов на руках заключенных. За внешней обыденностью пряталась паутина, проглядывала зловещая тень паука. Исчезали мужчины и женщины. Секретная полиция бросала их в зарешеченные камеры, в квадратные комнатенки, где даже на чашках казенная печать «Департамент общественных работ». Это мир тонкогубых, розовощеких мужчин с извращенным умом, насмешливыми глазами, дубовыми кулаками; мир электрических орудий пыток; мир, где дни и ночи без сна; мир воплей и стонов...

— Ну как живешь, Бьюк? — спросил водитель.

— Так себе.

— Не знаю, что будет с этой проклятой страной,— водитель опустил козырек на ветровом стекле.— Моя старуха отбарабанила на фабрике двенадцать лет, а теперь ей говорят, что придется уступить должность контролера сборочного цеха какой-то белой сучке. Всюду белые командуют — не продохнуть!

— Ты только теперь это заметил?

— Да нет, но когда это задевает тебя лично или твоих близких, то на все смотришь по-иному.

Они проехали мимо порта и железнодорожного депо. Бейкс полулежал на сиденье, поглядывая то на встречный транспорт, то оборачиваясь назад. Очень хотелось заснуть. В машине сон нахлынул на него жаркой истомой, но спать нельзя. Он привык быть начеку и только в совершенно надежном месте позволял себе расслабляться— как лиса в норе, ящерица под камнем. Впрочем, и тут полной уверенности не было. Враг может быть неподалеку, может быть повсюду и не быть нигде.

Он почти не слушал трескотни водителя, слишком устал, чтобы думать и отвечать, только вставлял время от времени «да» и «нет».

Они свернули с набережной, взлетели на эстакаду и оказались в прокопченном районе, где тесно лепились друг к другу фабрики, склады, гаражи. Пересекли окружную дорогу и вскарабкались вверх, на зады трущоб. Казалось, будто здесь прошли бои. Исчезли целые кварталы, оставив после себя плоские пустыри.

— Сносят все к черту,— говорил водитель.

— Ага,— сонно отозвался Бейкс.

— Понастроят домов для белых,— сетовал водитель,— не клоповников, а многоквартирных небоскребов. Я в газете читал. Как же так, ведь мы здесь жили без малого сто лет.

У стены были свалены ящики из-под бананов с облезлой надписью: «Бомбейская фруктовая компания». Два маленьких оборвыша копались в придорожной канаве. Женщина с нечесаными волосами трясла одеяло из окна дома, будто подавала кому-то знак на пустыре. Тут и там со щербатых стен беззвучные голоса бросали дерзкий вызов: ДОЛОЙ РАСИСТСКУЮ ТИРАНИЮ! СВОБОДУ НАШИМ ВОЖДЯМ!

Они ехали по главной улице города призраков, вдоль тенистых тротуаров, под ветхими железными и деревянными балконами. Витрины лавчонок, покинутых хозяевами во время исхода, глядели пустыми глазницами на захламленную, залитую солнцем мостовую. От былых полчищ покупателей не осталось и следа; редкие прохожие будто уцелели после катастрофы. На провисших балконах были натянуты веревки для белья, крест-накрест, как оснастка призрачных кораблей; дырявые штаны болтались на солнце, подавая сигнал бедствия. У входа в кино какие-то люди слонялись под афишными досками, нелепо пестревшими на фоне грязно-серой обваливающейся штукатурки. Кое-где крошечные кафе еще цеплялись за жизнь, вопреки всем превратностям судьбы, как огневые точки на последней линии обороны, и пыль покрывала пожелтевшие карточки с меню. Но рыбные ряды были заколочены. Двое мужчин в майках курили на перевернутом ящике, подставляя спины желтому солнцу.

В машине было душно, и Бейкс ослабил галстук, расстегнул воротничок. Он чувствовал, как пот, будто кровь, струится по груди; слипались от усталости глаза.

— Думаешь, мы когда-нибудь победим, Бьюк? — спрашивал водитель.

— А? Что?..

— Думаешь, мы победим?

— Непременно,— ответил Бейкс, зевая. Все его мысли были о подушке. Хоть бы водитель помолчал; Бейксу в этот момент было не до политики, не до сопротивления, не до революции. Он мечтал об одном — немного поспать. Они свернули в узкую улочку с ветхими домами и мечетью, и машина стала у обочины.

— Приехали,— сказал водитель и добавил: — что-то там стряслось.— Голос его стал тихим, натянутым как струна.

Впереди несколько человек скучились у сваленной на тротуаре старой мебели. Двое мужчин грузили скарб на запряженную лошадью колымагу. Бейкс и водитель молча наблюдали за ними.

— Кого-то выселяют,— сказал Бейкс.

Водитель с облегчением перевел дыхание и открыл Бейксу дверцу.

— Ты знаешь дорогу?

— Да, я здесь бывал.

— Ну что же, Бьюк, желаю удачи.

— Пока. Не расстраивайся, дружище. Спасибо тебе.

Водитель улыбнулся, сверкнув золотыми зубами и оправой очков, помахал увесистой ладонью. Бейкс, борясь со сном, стоял на потрескавшемся тротуаре с бумажной сумкой в руках. От рубахи сильно разило потом. Прежде чем войти в дом, он еще раз поглядел на кучку людей впереди.

В центре круга подле груды мебели сидела старуха в дряхлом шезлонге. Латаная-перелатанная парусина протерлась на складках,

грязные лоскуты болтались, как сушеные внутренности; в нескольких местах швы разлезлись, и казалось, что старуха вот-вот свалится наземь. Она сидела не шелохнувшись, вперив взгляд в пространство.

По правую руку от нее стояла старая детская коляска, доверху набитая тряпьем, шляпами, стоптанными башмаками. Балетная туфля с облезшей позолотой зацепилась загнутым носком за искореженную колесную ось. Тут же был умывальник с треснувшей мраморной доской, на нем — гора пыльных картонок из-под обуви, шляп, платьев; старинная коробка из-под конфет, на крышке — мужчина в елизаветинском костюме и женщина в платье с рюшем и фижмами. Вокруг громоздилась остальная рухлядь: гардероб с болтавшейся на петлях дверцей и разбитым зеркалом; засаленный комод с облупившейся краской; кухонный стол и еще несколько столиков, на них свален в кучу хлам, копившийся десятки лет несколькими поколениями: засиженный мухами прошлогодний календарь с пышногрудой блондинкой в ковбойской шляпе и подписью «Девчонка из Буффало» на помятой обложке; дагерротип в старинной раме, запечатлевший молодого человека в высоком воротничке, черном галстуке-шнурке, башмаках с блочками, стоящего у кадки с пальмой. На всех углах и выступах мебели — тюки и свертки с барахлом, как на толкучке. Кастрюли и сковороды со щербатыми краями; сломанная швейная машина с надтреснутым чехлом; ночной горшок без ручки; тазы, кувшины, ведра, кресла, матрасные пружины, колченогие тумбочки обступали старуху со всех сторон.

Она была худой, костлявой, со свалявшимися волосами цвета белой шерсти, посеревшей от носки. Но на смуглом изможденном лице с вызовом и достоинством сверкали влажные глаза. Руки покоились на коленях, грубые, узловатые, похожие на спутанные клубки бечевки. Несмотря на жару, она была в потертом пальто, воротник из искусственного меха вылез, как от стригущего лишая.

Колышущаяся толпа глазела на старуху, но она никого не замечала, сидела, сгорбившись в шезлонге, за баррикадой мебели, гордая и неприступная.

На узкой лестнице пахло мочой и протухшей едой. Спертый, прокисший воздух жарко ласкал обнаженные участки кожи. Томми жил в комнате на втором этаже. Бейкс поплелся по коридору мимо безымянных дверей. До него донеслись обрывки танцевальной мелодии, приглушенной стенами, и он пошел на звуки музыки. За одной из дверей женщина сварливым голосом распекала кого-то: «Думаешь, я такая дура, что тебе поверю?..» Вот и комната Томми. За дверью громко играла музыка.

Он постучал и стал ждать в плотной, как байка, духоте коридора. Открылась другая дверь, и голый по пояс мужчина вынес полное мусорное ведро. Он пошел к лестнице, оставляя за собой след из клочков бумаги и влажных чаинок. Поравнявшись с Бейксом, он улыбнулся небритым ртом и сказал:

— Ну и жарища, доложу я вам.

— Печет как в аду,— зевнул Бейкс и снова громко постучал — хозяин, наверно, ничего не слышал из-за включенной радиолы.

От духоты Бейксу сделалось дурно, он прислонил голову к дверному косяку и закрыл глаза. Тут же ему приснилось, будто он бежит вверх по эскалатору, идущему вниз, выбивается из сил, но остается на месте, не приближаясь к знакомому голосу, который говорит: «Привет, привет, старина Бьюк!»

Бейкс открыл глаза — в полурастворенной двери стоял Томми.

— Проходи, проходи, Бьюки, дружище! Тысячу лет тебя не ви-

дел. Когда мне передали, что ты придешь, я сказал себе: Бьюк снова взялся за старые проделки, а?

В комнате уже не гремела музыка. Поверх курчавой шапки волос Томми Бейкс разглядел скомканную тюлевую занавеску, старомодный фаянсовый кувшин и эмалированный таз на умывальнике. Бейкс с радостью отметил, что окно распахнуто. Даже Томми одолела жара. Обычно он целый день репетировал замысловатые па в черном смокинге, застегнутом на все пуговицы. Сегодня же Томми был в одной майке да отутюженных черных брюках, с которыми так и не решился расстаться.

Бейкс сел на край скрипучей двуспальной кровати. Томми запер дверь и, пританцовывая, подлетел к нему, маленькие ножки так и мелькали, ослепительная улыбка точно сошла с рекламы зубной пасты.

— Ну, ну, ну, дружище Бьюки, как поживаете, сэр? — Всегда он был весел, счастлив, все ему было нипочем. Он жил в мире воркующих саксофонов и всхлипывающих скрипок, иной мир существовал для него лишь постольку-поскольку.

— Все бы ничего,— ответил Бейкс,— только вот жарко и спать чертовски хочется.

Он стащил с себя пиджак, чувствуя, что рубаха прилипает к телу.

— Дьявольская жарища,— подтвердил Томми.— Последняя в это лето.

Он подошел к окну и отдернул тюль подальше в угол, уповая на сквознячок.

— Вода в кувшине есть? — спросил Бейкс.— Не плохо бы сполоснуться.

— Конечно, конечно, конечно, братишка Бьюк! — Томми привык изъясняться в ритме танцевальных мелодий. Фокстрот сменялся вальсом или военным тустепом, в зависимости от темы разговора. Он закружился по комнате, роняя капельки пота на пол.

— Когда ты кончишь паясничать? — сонно буркнул Бейкс.

— Смейся, па-яц...— заорал Томми, наливая воду в таз. Потом посерьезнел, перейдя на медленный, печальный блюз: — Как идет дело, старина?

Томми имел лишь смутное представление о «деле», которым занимался Бейкс. Он знал только о распространении каких-то листовок по ночам, о подготовке забастовок. Такое «дело», что можно в два счета сесть. Он задал этот вопрос из вежливости. Самому Томми для счастья нужно совсем немного: чтобы был классный оркестр, быстроногая партнерша да гладкий паркет. Он знал назубок все мелодии и самые последние па. Томми часто менял работу — рассыльный, дворник, судомойка,— брался за что угодно, лишь бы в конце недели хватило на новый танцевальный диск. Нынешние дикие пляски были ему не по душе, он предпочитал танцы в стиле прошлого поколения. Выцветшая фотография эстрадного дирижера Виктора Сильвестра улыбалась со стены. Под ней, как алтарь, сверкала радиола. Пластинки хранились на специальной подставке, каждая в отдельном конверте.

— Идет мое дело,— ответил Бейкс. Он обтирался влажной губкой над умывальным столиком, а Томми что-то напевал про себя.

— Я повешу твою рубаху за окно, брательник, ля-ля-ля! Как насчет чая на двоих, тебе и мне, мне и тебе?..

— Я бы выпил простой воды,— сказал Бейкс, вытираясь дырявым полотенцем.

Томми достал с полки стакан, и Бейкс налил себе воды из кувшина. Сев на кровать в одних трусах, он залпом осушил стакан.

— Черт, так-то лучше.— Он взглянул на Томми.— Слушай, парень, можно мне здесь пожить?

— Что за вопрос, мистер Бьюк! — Томми обнажил белоснежные зубы.— Как раз я си-ро-та!..

— А куда девалась та, что я видел в прошлый раз? Как ее звали? Гвенни?

— Ах, знаешь, старина, женщины приходят и уходят, приходят и уходят.

— Настоящий Казанова, черт тебя дери!

— Что я могу поделать, если они без ума от того, как я танцую!

«Ах ты хвастун никчемный,— думал Бейкс, улыбаясь Томми.— Впрочем, не такой уж никчемный».

Они знакомы не первый год, и Томми испытывал что-то вроде неосознанного уважения к этому чудаку, который, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, забивает себе голову политикой. Все, что Томми делал для Бейкса, было продиктовано дружескими чувствами. Он выполнял любые поручения охотно, но не вникая в суть.

— Слушай, ты, чертов клоун,— вслух сказал Бейкс,— можешь сходить для меня в одно местечко?

— Конечно, Бьюк, ты ведь меня знаешь. А далеко это?

— Недалеко. Аптека Польского.

— Аптека? Так ты заболел?

— Я здоров, приятель, и не задавай дурацких вопросов.

— О'кей, Бьюк, ты меня знаешь.

— Итак, аптека Польского. Вот адрес.— Бейкс объяснил, как отыскать нужную улицу в предместье.— Я дам тебе денег на автобус.

— Отлично, Бьюк. Аптека Польского. Найду!

— Да уж постарайся. Дело важное.— Бейкс зевнул в кулак и продолжал: — Спросишь самого мистера Польского, хозяина. Ты понял?

— Понял, Бьюк.

— Скажешь, что пришел за лекарством для Артура. Для Артура.

— Спрошу мистера Польского, лекарство для Артура. Это все?

— Все. Принесешь мне, что он тебе даст. Только не заверни куда-нибудь по пути.

— Не беспокойся, Бьюк. Я примчусь, как «Чатануга Чу Чу». Лекарство для Артура у мистера Польского. А если я его не застану, тогда что?

— Застанешь. Ну, жми-дави.— Бейкс потянулся к пиджаку и высыпал мелочь на ладонь Томми. Тот уже надевал рубаху.

— Ты, видать, чертовски устал, Бьюк. Ложись баиньки. «Я разбужу тебя, когда закат озарит багрянцем сад!» — Он беспечно захохотал, подхватил со стола таз и выскочил за дверь выплеснуть перед уходом воду.

Бейкс лег на кровать и закрыл глаза. От подушки кисло пахло бриолином. Он расслабился, и сон наконец взял над ним верх. Он успел еще подумать: «Хорошо бы, приснилась Фрэнсис», но тут же впал в глубокое забытье, без сновидений.

III

Впервые они встретились с Фрэнсис на потешной ярмарке. Бейкс ступил из ночного мрака в вольфрамовое зарево разноцветных гирлянд, протянутых на столбах от балагана к балагану. Пронзительная музыка, обрушиваясь из громкоговорителей, служила лишь фоном для прочих звуков: грохотали аттракционы; визжали девушки, взлетая в

небо на чертовом колесе; как хворост, потрескивали в тире ружья; стучали по брезенту кегельные шары.

— Два цента за бросок, шесть шаров на десять центов,— метнулся к нему зазывала без пиджака, но Бейкс покачал головой и пошел дальше, продираясь сквозь толпу, бурлящую у аттракционов, мимо женщин в очереди перед будкой гадалки. Шум дубасил его, он брел оглушенный, под градом нестройного многоголосья. Очумелые визги и смех смешивались с трубным ревом буги-вуги. Пианино и контрабас бушевали как штормовое море, ритм тонул в потоках обезумевших децибелов.

У Хамада, его дружка, в тот вечер была сверхурочная работа, и Бейкс от нечего делать завернул на ярмарку, разбитую на пригородном пустыре. В кармане было три полкроны и пригоршня меди, и он решал, спустить ли их в кегли или же попробовать силы в метании колец. Не так-то просто накинуть кольцо на дешевенькую вазу, или златокудрую куклешку, или бутылочку с одеколоном. Но если попадешь — забирай мишень себе, это твой приз.

«Небось хозяева на призах не разорятся»,— думал Бейкс, кружась в людском водовороте. Пыль бурым дымом взлетала из-под ног. Он споткнулся о протянутую веревку, и кто-то рявкнул у него над ухом:

— Эй, приятель, ослеп, что ли?

Он разглядел смуглое, будто грубо и наспех вырубленное из красного дерева лицо. Трое парней ловко оттеснили его за угол, и Бьюк увидел циничные улыбки, затвердевшие, как мороженая рыба, злые глаза, хищно блестевшие под козырьками мягких кепок.

— Послушай, друг,— начал один из них,— не найдется ли у тебя деньжат взаймы?

— Нет, не найдется.— Бейкс весь напрягся, надеясь улучить момент и вырваться из западни.

— Умник! — вступил второй.— Видать, не робкого десятка.

— А ну выворачивай карманы! — приказал первый с нечистым, прыщавым лицом, похожим на грязную терку. Вокруг гремела музыка, вопила толпа, с «автодрома» донесся девичий визг.

— Да оставьте его,— заговорил третий,— дался вам этот тюфяк!

— Умник,— твердил второй, поглядывая на первого, страшного и опасного, как ржавое лезвие.

Бейкс не спускал с них глаз, вглядывался в лица, стараясь угадать, кто бросится на него первым.

— Я выиграл, выиграл! — долетел чей-то крик.— Вон ту коробку конфет, с лошадкой!

Внезапно между ним и парнями втиснулся верзила в комбинезоне.

— Эй, что здесь происходит? — гаркнул он.— Опять ваши штучки! А ну катитесь отсюда, живо! И чтоб я вас больше не видел!

Парни, как потревоженные стервятники, с ненавистью поглядывали на верзилу, переминаясь с ноги на ногу, потом медленно повернулись и исчезли в толпе.

— Смотри тут за ними,— ворчал верзила в комбинезоне,— мало мне своей работы! Вчера кого-то раздели, понаехало полиции, а мне от босса влетело. Ты уж, дружище, поосторожней.

— Спасибо,— сказал Бейкс,— выручил.

Верзила помахал рукой, похожей на копченый окорок, и зашагал прочь, возвышаясь над толпой.

Бейкс побрел дальше без определенной цели, все еще решая, как бы потратить деньги.

— Эй, Бьюк,— громко окликнули его,— какого черта тебе здесь надо?

— Хелло, Эрни, старина! Наверно, того самого, что и тебе,— заулыбался Бейкс.

— Давненько не видались,— орал Эрни.— Я спустил здесь пятнадцать шиллингов. Хватит, я не дурак. Сплошное надувательство. Единственно, на что стоит потратиться, это качели и чертово колесо. Я прокатил девочек — они визжали так, будто их режут.

— Привет! — кивнул Бейкс двум девушкам, что были с Эрни.

Они улыбнулись в ответ. Одна из них, здоровенная девица с пышными формами и тяжелым круглым подбородком, прижимала к груди хрустальный бокал. У нее не хватало передних зубов, но зато были ямочки на щеках, делавшие ее привлекательной.

— Выиграли, да? — спросил Бейкс, указывая на бокал.

— Это Эрни в тире,— ответила она, стараясь перекричать шум,— угодил в самое яблочко.

— Слушай, друг, я прямо снайпер, дикий Бил Хикок,— загоготал Эрни.— Парень в тире, жулик чертов, хотел зажать приз, но я себя в обиду не дам!

— Молодчина! Вы, я смотрю, недурно проводите время.

— Еще как! — подтвердил Эрни.

— Эрни швыряет деньги на всякую чепуху,— сказала вторая девушка.— Просто безумство!

— А на черта их беречь! Ешь, пей, веселись — вот мой принцип.— Эрни снова заржал и потянулся, чтобы шлепнуть девушку по заду, но она со смехом увернулась.

Бейкс не сводил с нее глаз.

— Эрни вечно сорит деньгами.

— Мог бы найти им лучшее применение,— сказала девушка и с укоризной посмотрела на Эрни.

Вокруг них не умолкая гремела музыка, взлетали ввысь разноцветные лампочки на чертовом колесе. Клокочущая толпа то и дело оттесняла их друг от друга, уносила в сторону и возвращала назад. Девушка размахивала у лица ладошкой, разгоняя пыль. У нее была гладкая кожа, большие, чуть-чуть раскосые глаза, в которых отражались огни иллюминации, припухлые, изогнутые дугой губы.

«Ай да девушка, кофе со сливками!» — подумал Бейкс.

— Хватит околачиваться здесь без дела,— заговорил Эрни.— Пойдем веселиться. У меня на руках две пташки, так что выручай, Бьюк, присоединяйся к нам.

— О'кей! — Бейкс обрадовался компании.— Что будем делать? Швырять пенни вместо колец?

— Вот бы отхватить ту коробку шоколада,— сказала толстуха, глазея на призы.

— Это мигом! Кстати, друг, ее зовут Мариам,— Эрни игриво шлепнул девушку.— Прямо как автобус, верно?

— Негодник,— обиделась толстуха,— вечно меня задеваешь.

— Брось, я же шучу,— засмеялся Эрни и схватил за руку вторую девушку.— А это Фрэнсис. Ее можно задеть, она не против.

— Только попробуй,— улыбнулась Фрэнсис и повторила: — Попробуй только!

— Ну пошли, что ли,— заторопился Бейкс. Ему вдруг сделалось легко и весело.

— В кегельбан? — спросил Эрни. Он был рослым парнем, из коротких рукавов желтой тенниски торчали мускулистые волосатые руки, на запястье блестели золотые часы с браслетом.

— Пустая трата денег,— сказала Фрэнсис.

— О господи, Фрэнсис, прекрати! — набросилась на нее Мариам.

— Ведь мы миллионеры! — орал Эрни.

— Ты поосторожней с деньгами,— предупредил Бейкс.— Тут полно всяких типов. Я еле ноги унес.

— А что, они...— открыла было рот Фрэнсис.

— Все обошлось,— ответил Бейкс, тронутый ее участием.

— Ладно,— сказал Эрни,— буду поосторожней. Ну, пошли.

Он стал прокладывать дорогу в толпе.

— Не потеряйтесь!

Бейкс шел следом за Фрэнсис и не видел ничего, кроме копны черных шелковистых волос, схваченных на затылке пластмассовой заколкой.

— Ну и народу здесь! — кричал Эрни.— Пока дойдет наша очередь, шоколад кому-нибудь достанется.

Его коротко остриженная голова плясала впереди, как поплавок.

«Автодром» грохотал канонадой, возбужденно галдели люди, становились на дыбы деревянные кони с горящими ноздрями и лоскутными хвостами. Бросалась в глаза вывеска на размалеванном фургоне: «Мадам Клейр предскажет ваше будущее!»

— Хотите узнать судьбу? — спросил Бейкс у Фрэнсис.

— Не верю я в эту чушь,— ответила она улыбаясь.

— И в трефового короля, и в дальнюю дорогу?

Она покачала головой, поглядела по сторонам и закричала:

— А где же Эрни и Мариам? Неужто потерялись?

Бейкс обвел глазами толпу.

— Черт, их нигде не видно. Будем искать?

— Легче найти иголку в сене.

— Вот уж верно!

— Я и одна не пропаду,— сказала Фрэнсис.

— Мне тоже так кажется. А можно я побуду с вами?

— Так и быть.

— Все же давайте взглянем, нет ли их у кегельбана.

— Зря только время потеряем. И вообще, мне домой пора.

— Не уходите, рано еще. Давайте выберемся из этой толчеи и посидим где-нибудь. Идет?

— Ладно. От пыли в горле першит.

— Только уговор — не теряться! — сказал он, беря ее за локоть, и пошел напролом сквозь колышущуюся людскую массу. Наконец они выбрались из толпы и оказались на «ничьей земле», усеянной пустыми бутылками, картонными стаканчиками и целлофановыми пакетами из-под жареного картофеля. По другую сторону шоссе, на фоне багровеющего ночного неба бледно желтели огни предместья.

— Уф! Какое счастье, что мы ушли,— ловя ртом воздух, сказала Фрэнсис. Оранжевые блики играли на ее лице.

— Тут есть одно местечко,— Бейкс показал в сторону алого неонового пятна с рекламой кока-колы.— Лишь бы Эрни и та девушка не переполошились.

— Они знают, что мы не заблудимся.

Бейкс взял ее под руку, и они пересекли шоссе, направляясь к кафе, приютившемуся в тени новой эстакады. По эстакаде шел народ, лавиной волшебных огней катили машины.

В маленьком кафе было пусто, из приемника лилась мягкая приглушенная музыка. За прилавком, покрытым пластиком, стояла индианка в зеленом сари, с браслетами на запястьях, с подведенными тушью глазами.

— Что вы выпьете? — спросил у девушки Бейкс.

— Все равно. Ну, скажем, ананасного соку.

Бейкс взял два стакана соку и отнес их на столик в укромном уголке. Они уселись напротив друг друга под плакатом, прославляю-

щим достоинства слабительного порошка. Все так же негромко играло радио, с другой стороны шоссе доносился гул ярмарки.

— Как это вас занесло на карусели? — спросила Фрэнсис, потягивая через соломинку сок.

— Тут у меня приятель живет неподалеку. Я его не застал, деваться было некуда. А вы любите аттракционы?

— Я пошла за компанию, с Эрни и Мариам.

— Когда я был мальчишкой, тетка повела меня однажды в цирк. Ох и невзлюбил я его. Артисты все время поворачивались к нам спиной, и ничего не было видно. Я спросил у тетки, в чем дело. Она и говорит — это потому, что мы сидим на местах для цветных, а артисты для белой публики стараются, хоть мы и заплатили за билеты столько же. С тех пор я ни разу в цирке не был.

Он отпил из своего стакана. По радио передавали трепетный блюз.

— Вы любите танцевать? — Ему хотелось побольше узнать о ней, что́ ей нравится и не нравится, чтобы быть готовым к любой неожиданности.

— Да, иногда,— ответила Фрэнсис.— На прошлой неделе я была на балу в честь баскетбольной команды.

— Я-то танцор никудышный, мне больше нравится слушать музыку. Есть у меня друг, Уэсти. Мы с ним, бывало, ходили слушать муниципальный оркестр после занятий в вечерней школе. Как они играли!

— Господи, какой вы серьезный!

— Да нет, что вы,— засмеялся он.

— Мне кажется, я вас видела.

— Интересно, где же?

— На митинге рядом с моей работой.

— Удивительно. Мир тесен, верно?

Он улыбнулся и внимательно поглядел на нее: карие, слегка раскосые глаза сияли ярким, чистым светом. На свежем, шелковистом лице никакой косметики, под прядями черных волос маленькие золотые сережки.

Блюз кончился, и женский голос на португальском языке объявил, что передачу ведет станция в Мозамбике. Снова заиграла музыка, мимо кафе протарахтела машина с поврежденным глушителем.

— Откуда у вас отметина под глазом? — спросила Фрэнсис.

— Эта? — Он прикоснулся к шраму.— Упал в детстве. Мы играли в ковбоев на мостовой, и я споткнулся о консервную банку.

— Бедняжка!

— Значит, вы меня видели раньше?

— Ага. Политикой интересуетесь?

— В общем, да.

— Мой отец тоже ходит на митинги и разные собрания.

— А где он работает?

— Они с мамой уже на пенсии. Получают по семь фунтов в месяц.

— Стало быть, вы теперь в семье кормилица?

— Выходит, так. Есть у меня еще женатый брат, но он с нами не живет.

В кафе вошел мужчина и спросил сигарет, взглянул на молодого человека с девушкой, взял сдачу и вышел. Веселье на ярмарке не утихало.

Индианка одиноко сидела за прилавком, уставленным стеклянными банками с конфетами и картонками сигарет. В репродукторе зазвучал португальский танец фадо.

— Работал я на одной фабрике,— рассказывал Бейкс.— Мы штамповали жестянки для джема, для овощей.

— А у нас — кожаные изделия: пояса, сбруя, дамские сумочки.
— Глядя на ваши руки, не скажешь, что за вас машина работает.
— Правда?
— Можно подумать, что вы прачка.
Она засмеялась, и Бейкс залюбовался ее красивым ртом, длинными загнутыми ресницами.
— У нас на фабрике бывали несчастные случаи,— продолжал Бейкс,— штамповальные прессы отрезали работницам пальцы.
— О, боже! — содрогнулась она.
— Хозяин оставлял за пострадавшими пожизненное место на фабрике: пять фунтов в неделю до самой смерти.
Он допил сок, вспоминая фабричный гул и грохот, склонившихся над станками девушек в застиранных синих халатиках и косынках. Они работали как заводные — штамповали несколько тысяч крышечек за смену.
— О чем задумались? — спросила она. Бейкс поднял глаза и покачал головой.
— Так, ни о чем. Вернее, о том о сем.
Она посмотрела по сторонам — нет ли где часов.
— Который час? Мне действительно пора домой.
— Посидим еще, я провожу вас. Где вы живете?
— Неподалеку. И я не боюсь темноты.
— Все равно я провожу.
— Ну если вам не трудно.
Он вынул пачку сигарет.
— Вы курите?
— Редко, но на фабрике все девушки курят.
— Обычное дело.
Она взяла сигарету, поднесла ко рту, он протянул зажженную спичку, потом закурил сам.
— Вы живете с родителями? — спросила она сквозь клубы голубого дыма.
— Их нет в живых. Погибли в аварии, когда я был мальчишкой.
— Простите.— Фрэнсис заметно смутилась.
— Это было давно. Ехали на профсоюзный пикник, и грузовик попал в кювет.— Он смутно помнил, как сидел на краю канавы под деревом, вокруг чемоданы, корзинки, рассыпавшиеся свертки с едой, стоны и причитания.— Потом я жил у тети с дядей.
— Вот как!
— Они у меня хорошие. Тетка — я зову ее тетя Моди — в молодые годы была профсоюзной активисткой. Помню, однажды — только я вернулся из школы — она приходит домой, злая как ведьма. «Чертовы штрейкбрехерши,— говорит.— Мы бастуем, никого на фабрику не пускаем, а эти мерзавки ломятся сквозь пикет.— Но наши девочки задали им жару». И показывает сломанный каблук — пустила его в ход в драке. После этого ее уволили, но она скоро нашла другую работу. Руки у тетки золотые.
— Видать, крепкий она орешек,— сказала Фрэнсис сквозь смех.
— Она у меня чудо!
Диктор начал читать новости по-португальски, и женщина за прилавком выключила радио. Проехал автобус, на фоне иссиня-черного неба ярко светились его окна.
— Нам пора, уже поздно,— повторила Фрэнсис.
— Ну что ж,— согласился Бейкс, поднялся и помог ей встать. Их лица на мгновение сблизились, и он уловил запах душистого мыла, увидел тугую высокую грудь под блузкой. В дверях он пропустил ее вперед, чувствуя, как растет в нем сладкое беспокойство.

На огромном пустыре вдоль пригородного шоссе все еще бушевало в ночи ярмарочное гулянье, рев динамиков был приглушен расстоянием, а цепочки цветных огней будто подернулись вуалью из пыли. Бейкс и девушка побрели вдоль шоссе, потом свернули вбок и пошли мимо темных домиков с палисадниками.

— Ничего, что я вас задерживаю? — спросила Фрэнсис.

— Что вы, что вы! В любом случае я успеваю на автобус.

— Мы почти пришли. Вы живете в городе?

— Да. А вы давно в этом районе?

— Я здесь родилась, правда, в другом доме. Теперь у нас муниципальная квартира.

Они вышли на освещенную площадь с запертыми на ночь магазинами. На фасаде кинотеатра скакали всадники в сомбреро, желтая пыль неслась из-под копыт. Сеанс только что кончился, из дверей повалил народ.

— Вы в кино ходите? — спросил Бейкс, пока они огибали толпу, растекавшуюся во все стороны.

— Изредка. Показывают одну дребедень: ковбои, сыщики, немыслимые романы.

— Обычно девушкам нравятся картины про любовь.

— Каждая надеется, что и у нее все будет так, как на экране.

— У вас есть парень?

Она посмотрела на него, потом ответила:

— Пожалуй, нет.

— А какие мужчины вам нравятся?

— Трудно сказать. Наверно, я когда-нибудь выйду замуж, только не знаю, за кого. А вдруг он будет меня колотить? — Она засмеялась и снова взглянула на Бейкса. Они шли в тени, вдали от фонарей, направляясь к высоким прямоугольным домам с темными и светлыми квадратами окон — как на шахматной доске. Новый квартал растянулся на несколько миль.

— Только у сумасшедшего поднимется на вас рука,— сказал Бейкс.

— Несколько моих подруг повыходили замуж. До свадьбы женихи были шелковые, а потом запили, и теперь у них вечные скандалы.

— Ну, не все мужчины пьяницы,— возразил Бейкс. Ему хотелось взять ее за руку, но внезапно его сковала робость.

— Дай-то бог. Нам сюда.

Они перешли на другую сторону и вступили в тень высоких зданий. Все дома были на одно лицо, как бараки.

— Вот я и дома,— сказала Фрэнсис.— Дальше вам идти не надо.

— Позвольте, я провожу вас до дверей. Это долг джентльмена.

— Ах, какой вы вежливый,— усмехнулась она.— Ну, так и быть.

Во дворе, вымощенном потрескавшейся плиткой, над вытоптанным газоном небо расчертили бельевые веревки, будто канаты под куполом цирка. Казалось, сейчас появятся воздушные гимнасты, но вместо них болтался сохнущий комбинезон — как обезглавленный преступник, выставленный напоказ.

Они пересекли двор и остановились у подъезда.

— Послушайте,— сказал Бейкс,— как бы нам снова повидаться? Может, сходим на днях в кино, или на танцы, или еще куда?

— А вы...

— Что?

— ...действительно этого хотите?

— Конечно! — И, набравшись смелости, он добавил: — Вы такая милая девушка.

— Откуда вам известно? Мы только что познакомились.

— Мне все известно.

— Быстрый какой! И я не знаю, что вы за человек.

— Ну, как хотите...— огорчился и слегка даже рассердился Бейкс, хотя чувствовал, что ему рано отступать.

Но тут она добавила серьезно, без тени кокетства:

— Я же не сказала «нет». Я встречаюсь иногда с молодыми людьми...

— Так, значит, увидимся?

Она сделала вид, что задумалась, потом наконец лучисто улыбнулась ему.

— О'кей, когда же?

— Давайте в субботу.

— Хм, в субботу?..

— Вот что,— предложил он,— я приду сюда после обеда, мы проведем вместе вторую половину дня, а вечером куда-нибудь сходим.

— Э, вы многого хотите. Почти целый день. В субботу по утрам я хожу за покупками, а потом мою голову...

— Отлично, я приду посмотреть, как вы моете голову.

— Ну, если вы ничего не имеете против того, чтобы посидеть и поболтать с отцом, пока я уберусь в квартире...

— С удовольствием. Так, значит, договорились?

— Договорились.

Они поднялись на второй этаж по бетонным ступеням. За толстым стеклом, как в темнице, тускло горела электрическая лампочка, высвечивая грубые фрески на муниципальной штукатурке: пронзенные стрелой сердца, похабные надписи, смешные стихи и анатомические этюды. Где-то бубнило радио: «министр говорил о возросших расходах...», гудели машины, несясь куда-то в ночи.

Она шла впереди мимо одинаковых дверей по открытой галерее, выходящей на другой двор с неизбежными бельевыми веревками и потрескавшейся плиткой, потом остановилась у одной двери. Бейкс посмотрел на Фрэнсис и заметил настороженное выражение на ее лице. Он улыбнулся своим мыслям: «Боится, что полезу целоваться. Все они так думают». За ее спиной виднелись звезды, как бриллиантовое ожерелье на пыльном бархате.

Он глянул на номер двери. Фрэнсис, стоявшая со скрещенными на груди руками, перехватила его взгляд и сказала:

— Двести сорок четвертая. Не забудете? Корпус «Д». Здесь легко заблудиться.

— Не беспокойтесь, я запомнил дорогу.

Она поняла, что ей ничто не угрожает. В полумраке Бейкс увидел белые зубы за слегка приоткрытыми губами, светло-карие глаза изучали его, словно стараясь проникнуть в его мысли. Он улыбнулся и протянул руку. Она пожала ее, и он ощутил холодок шероховатой, загрубевшей от работы ладони.

— Итак, до субботы,— сказал он.

— Хорошо, буду ждать.

Он выпустил ее ладонь из своей, пожелал спокойной ночи и пошел к лестничной площадке. Когда он оглянулся, ее уже на галерее не было.

Ему пришлось бежать, чтобы поспеть на автобус.

IV

Первое, что он увидел, открыв глаза, было лицо дирижера, улыбавшегося со стены. За занавеской ранние сумерки проросли лиловыми побегами. Портрет висел как икона, будто Томми сменил бога на идола танцевальной музыки. Радиола по-прежнему походила на алтарь, а зачехленные пластинки — на просвиры для причастия. «Чертов клоун,— думал Бейкс о Томми,— он никогда не станет взрослым. Умственное развитие остановилось в юные годы».

Но Томми — испытанный друг. Бейкс давал ему несложные поручения, и он всегда выполнял их без сучка, без задоринки. Сейчас не приходится привередничать: не такое время, чтобы тщательно подбирать помощников, не до жиру. Сопротивление корчилось в тисках террора, оно не было побеждено, но получило тяжелые увечья. Будто боксер в нокдауне: голова идет кругом, но он собирает последние силы, чтобы выпрямиться при счете «девять». Повальные аресты обескровили движение. Вожди и кадровые революционеры были в тюрьмах или на чужбине. Уцелевшие одиночки и крошечные ячейки были разобщены, раскиданы по стране. Они копошились, как кроты в земле, пытаясь нашупать в непроглядной тьме порванные связи, восстановить нарушенные контакты. Те, кто знал друг друга, стремились воссоздать организацию. Все строилось на взаимном доверии, не будь его — грош цена их усилиям. Они изрыли ходами подполье, часто меняя норы и лежбища. Те, кто был известен властям, в страхе торопились скрыться, прежде чем полиция решит, что настал их черед. Мало-помалу удалось срастить ткани и наладить неустойчивую связь с заграничными центрами.

«Но она чертовски ненадежна,— думал Бейкс,— того и гляди, рассыплется. Но люди не отчаиваются, некоторые в силу своей сознательности, большинство — потому, что ничего другого не остается. Нельзя же послать все к черту и разойтись по домам. Вот и терпишь, и делаешь все, что требуется, надеясь на лучшее, порой прибегая к помощи даже таких клоунов, как Томми. А впрочем, грех на него жаловаться. Ему надо только все подробно растолковать... В движении есть замечательные люди, они не сложат оружия. Вспомнишь о них, и на душе становится легче, особенно когда лезут в голову унылые мысли. Это помогает, как аспирин, от усталости и головной боли».

Летний вечер расползался по стенам, сгущался в углах тенями. Бейкс старался думать о Фрэнсис, но ему не удавалось представить ее из-за неотступной тревоги о Томми. Справится ли он с простым делом или напутает все к чертям? Кто-то крикнул на трущобной улице. Над разбитым асфальтом и горами мусора в канавах пронесся ответный вопль. Через некоторое время сон снова сморил Бейкса, голова упала на подушку, безвольно открылся рот.

Он был в кабинке чертова колеса, его несло вверх, потом кидало вниз, в бледно-оранжевое зарево. Колесо вращалось все быстрее, и он вместе с ним. Потом его трясло, будто тряпичную куклу в клыках терьера. Не было сил сопротивляться...

Он проснулся. Свет резал глаза. Он медленно поднял отяжелевшие веки, будто ворота зáмка, и увидал ухмыляющегося Томми. Тот тряс его за плечо.

Бейкс очумело уставился на него, а Томми тем временем затараторил:

— Ну как, Бьюк, выспался? Смотри, что я тебе принес!

— А, это ты! — Бейкс приподнялся на локте и зевнул в кулак. Пот струился по телу. В комнате горел свет, окно было по-прежнему

раскрыто, и легкий ветерок теребил занавеску. Бейкс сбросил с кровати ноги и уперся локтями в колени.

— Тут вот письмо,— сказал, распрямляясь, Томми,— а вон пакет.

На столе лежал сверток в засаленной газете, от него шел пар.

— Что это? — нахмурился Бейкс, плохо соображая спросонья.

— Да нет,— засмеялся Томми,— здесь рыба с картофелем нам на ужин, а твой пакет вон там!

И он показал на плоский прямоугольник в оберточной бумаге, лежавший подле кулька с едой.

— А вот и письмо,— Томми протянул белый конверт.

Бейкс, зевая, повертел его в руках. Самый обычный конверт, такими торгуют во всех писчебумажных магазинах. Запечатан скочем. Никакого адреса. Любой мог бы прочесть письмо и снова заклеить конверт: Польский, Томми — кто угодно. Непростительная беспечность! Вся эта работа — сплошной риск. Одна надежда, что соседние звенья цепочки выдержат, не порвутся.

— Ты, должно быть, проголодался,— говорил Томми,— сейчас съедим рыбу, а потом я сварю кофе. Не люблю возиться с чаем. Чай вдвоем, ля-ля-ля! А может, хочешь выпить, Бьюк? У меня завалялось полбутылки хереса.

— Нет,— ответил Бейкс,— спасибо. От вина меня опять потянет в сон.

Томми достал с полки тарелки, порылся в ящике и вынул из него разнокалиберные ножи и вилки. У одной вилки были погнуты зубья.

— Любовное послание? — спросил он, выпрямляя вилку.

— Черта с два,— ответил Бейкс. Сон слетел с него, как откинутое покрывало. Сидя на краю кровати, он поглядел через конверт на свет и надорвал его. Томми что-то напевал, выставляя на стол соль, перец, бутылку с застывшим сгустком томатного соуса у горлышка, похожим на запекшуюся кровь.

«Я гоняюсь за радугой»,— мурлыкал Томми, пока Бейкс доставал из конверта письмо. Развернув сложенный вчетверо листок, он уставился на него. Письмо было напечатано на машинке под копирку, но снизу была приписка от руки. Томми тем временем распаковал кулек, выложил на тарелки по куску рыбы и поделил поровну жареный картофель.

«Листовки прилагаются,— принялся читать Бейкс.— Их надлежит распространить в вашем районе в ночь с четверга на пятницу (следовала дата), не раньше и не позже. Повторяем, в ночь с четверга на пятницу. Ответственные за распространение должны принять все меры предосторожности».

«Все меры предосторожности,— невесело думал Бейкс.— Как будто сами не знаем. У некоторых будут дрожать поджилки; один или двое швырнут всю пачку в ближайшую яму и, поджав хвост, улизнут домой». Но он знал, что большинство листовок попадет по назначению, их разнесут ночью, крадучись от двери к двери. Сердца будут колотиться в страхе, но голова останется холодной. Листочки рассуют в почтовые ящики, засунут под двери, раскидают по садовым дорожкам, прижмут «дворниками» к стеклам автомашин. Наутро многие экземпляры попадут в руки политической полиции, и тогда начнется «охота».

— Ужин готов, Бьюк, дружище,— позвал Томми.— Начнем, а то остынет.

Бейкс стал читать приписку к циркуляру, предназначавшуюся только ему: «Требуются трое новобранцев на север. Свяжитесь с Хейзелом в пятницу».

— Ты готов, Бьюк? — поторапливал Томми.

— О'кей! — Бейкс поднялся, натянул брюки, думая, стоило ли назначать встречу на пятницу, сразу после распространения листовок. Повсюду будет уйма шпиков. Ну да начальству виднее. Он засунул письмо и конверт в карман брюк и потянулся, прогоняя остатки сна. Его ум был охвачен беспокойством, холодело под ложечкой. «Снова нервничаешь,— говорил он себе,— потому что не уверен в других. Не подведут ли? Дашь задание, а потом места себе не находишь. *В пятницу начнется охота.* Полиция по списку нагрянет с обыском и допросами к подозрительным. Некоторых заберут, они исчезнут бог знает на сколько. Политическая полиция никому не дает отчета...»

— Вечером у нас заседание правления танцклуба,— сказал Томми.— Ничего, если я схожу?

Бейкс пододвинул стул и сел к столу.

— Конечно, тем более что и мне надо уйти,— ответил он, принимаясь за еду.

— На всю ночь? — спросил Томми, с любопытством глядя на Бейкса.

— Может, и на всю ночь,— ответил Бейкс, вытряхивая загустевший соус из бутылки.

— Прекрасно, дружище, прекрасно,— ухмыльнулся Томми, и на темном лице зажглись зубы, как лампа. Он замычал «Голубые небеса», позвякивая о тарелку вилкой.

— Ну и ну,— изумился Бейкс,— ты умудряешься петь даже за едой!

— Больно ты серьезен, старина Бьюк, чересчур! — сказал Томми, жуя рыбу.— А я стараюсь проще смотреть на вещи.

— Слишком просто,— огрызнулся Бейкс.— Люди сходят с ума от всяких мыслей, а тебе на все плевать.

— Ну а что толку волноваться? Волнуешься — помрешь, не волнуешься — помрешь,— защищался Томми, вытаскивая изо рта кость.— Рыба-то с душком. Никому нельзя верить! Просил свежую, а мне подсунули заваль времен Ноева ковчега.

— Сейчас бы тунца,— сказал Бейкс,— давно я его не ел.

— Не сезон,— обрадовался Томми перемене темы. Дело не только в том, что он избегал серьезных бесед — часто он был не в состоянии постигнуть те вещи, о которых говорил Бейкс. Рев оркестра, голоса певцов заслоняли от Томми реальную жизнь. Он вылезал из футляра лишь для того, чтобы заработать на хлеб насущный. Политика была для него пустым звуком. Он предпочитал подстраиваться к режиму, нежели бороться с ним.— Сегодня на правлении мы обсудим подготовку к конкурсу бальных танцев,— сообщил он.

— Конкурс бальных танцев? — Бейкс покачал головой.— Послушай, мне нужно это во что-то уложить. Найдется какая-нибудь сумка?

Сверток лежал на столе среди тарелок, бутылок с соусом, щербатых чашек.

— Хм, у меня есть сумка, но я храню в ней архивы танцклуба, и она маловата. Кроме того, она мне сегодня нужна.— Томми задумался, оглядывая комнату. Бейкс тем временем продолжал есть.— А чемоданчик для пластинок подойдет?

Томми вскочил со стула, подбежал к шкафу, открыл дверцу, порылся внутри, на пол полетела смятая одежда, грязные рубашки, дырявые носки. Наконец, он откопал пыльную коробку, в которой носят граммофонные пластинки, с замками и ручкой на крышке.

— Ну как?

— Кажется, то, что надо. Спасибо, Том.

— Не стоит.— Томми поставил коробку на пол у стола и сел,

чтобы докончить еду. Бейкс, вычистив тарелку ломтиком картофеля, отправил его в рот.

— Наверно, я вернусь под утро, перед тем, как ты уйдешь на работу.

— Ах ты филин,— осклабился Том,— полуночник чертов. Ночи существуют для развлечений, а не для дел.

— Верно,— буркнул Бейкс,— совершенно верно. По ночам надо веселиться.

— Вот именно!

Томми включил электрический чайник. Вернувшись к столу, он сказал:

— Заседание назначено на восемь, но сначала все соберутся в баре, чтобы пропустить стаканчик.

— Ну о чем вы говорите на ваших заседаниях? — спросил Бейкс.

— О разном,— ответил Том, собирая со стола посуду.— То одно, то другое. Мы хотим устроить платный вечер, чтобы пополнить казну. В конце года планируем пикник.

— Господи! — Бейкс достал сигареты, закурил и посмотрел на часы.— Двадцать пять минут восьмого.

— Еще не стемнело,— заметил Том,— летом длинные дни.

Бейкс встал со стула и, обойдя умывальник, подошел к окну. Слегка раздвинув занавеску, он поглядел наружу, но увидел только заколоченный балкон с прогнившим полом и ржавыми перилами и часть дома, стоявшего напротив. Улицы видно не было.

— Что ты ищешь, Бьюк? — спросил Томми, доставая из буфета банку с растворимым кофе.

— Ты, когда возвращался, не заметил кого-нибудь у подъезда? Посторонних?

— Посторонних? — Томми удивленно выпучил глаза.— На улице всегда кто-то есть, кого не знаешь. А в чем дело?

— Да так.

— Эге,— забеспокоился Томми,— ты что же, думаешь...

— Нет, нет, ничего.

— Надеюсь, все в порядке? — Томми так и стоял с банкой кофе в руках.

— Все в порядке. Если бы они что-то подозревали, то были бы уже здесь.

— Кто «они»?

Бейкс внезапно ощутил приступ злого озорства.

— А ты не догадываешься? — Он провел пальцем по горлу, издал хриплый звук и сказал: — Не думай об этом. Сосредоточься на своих танцевальных делах, дружище.

Томми разлил кофе по чашкам и сказал с тревогой на лице:

— Бьюк, я делаю все, о чем ты просишь, но мне неохота иметь неприятности. В общем, я хочу сказать, что делаю все по дружбе, а на политику мне наплевать.

— Не горячись, приятель,— сказал Бейкс, пуская дым через ноздри.— С тобой ничего не стрясется. Дядя Бьюк приглядит за этим.

— О'кей, Бьюк,— снова заулыбался Томми,— твоего слова мне достаточно. Ну, кофе готов.

Бейкс присел к столу и пододвинул к себе чашку. В коридоре кто-то проскрипел половицами. На миг сердце сжалось, забегали муравшки по коже. Где-то стукнула дверь, шаги смолкли, и снова все затихло. «Всюду ненадежно,— думал Бейкс,— нельзя расслабляться, держи ушки на макушке».

— Поставить пластинку? — спросил Томми.

— А что у тебя за музыка, одни танцы? — спросил Бейкс, дуя на кофе.

— Сейчас не достать приличных вещей. В магазинах сплошное «е-е-е». Старый стиль исчез.

— Что верно, то верно, старый стиль исчез,— подхватил Бейкс, глотая кофе. Ему представились огромные митинги, знамена на древках, мощные громкоговорители, аплодисменты. Иногда даже приглашали оркестр... Мысль об оркестре вернула его к действительности и к Томми.

— А есть у тебя хороший джаз? — Тоска по молодым годам острым локтем двинула его в бок.

— Есть кое-что из старых записей Амброза,— ответил Том с надеждой во взгляде.

— Не то, не то! Ты когда-нибудь слышал «Песню индийского гостя» Римского-Корсакова в исполнении оркестра Дорси?

— Нет, не приходилось.

— Жаль! Какое там соло Зигги! — И в голове у Бейкса зазвучала скачущая труба Зигги Элмана, покрывающая пиликанье скрипок.— Давно это было...

— Помнишь, Бьюк, тебе как будто нравился Глен Миллер.

— Да нет, приторный он.

— А мне Армстронг по душе. Да и кто не любит старого Луи? — Томми закатил глаза и хриплым голосом напел мелодию «Холма с голубикой».

Глядя на него, Бейкс расхохотался. «Черт подери,— думал он,— когда-то и я был таким беспечным. Молодость и счастье мимолетны, как вкус конфеты во рту голодного малыша».

— Тебе все же до Луиса далеко.

— Еще как-то видел я в кино Марио Ланцу...

— Этот парень не поет, а кричит.

— Что ты, его даже сравнивали с Карузо.

— Подумаешь, Карузо! Были теноры и получше. Тито Гобби, например.

— Я классикой не интересуюсь.

— А ты слышал когда-нибудь Шартцкопфа или Викторию Лос-Анджелес?

— Это кто такие?

— К сожалению, есть вещи, которые беднякам недоступны.— Бейкс взглянул на часы.— Ну вот, уже около восьми.

— Господи, заболтались. Мне надо бежать.— Томми вскочил со стула.— Мы собираемся в «Королевском гербе».

У него был вид министра, опаздывающего на заседание кабинета. Он метнулся к шкафу, запихал в него рассыпанную по полу одежду, достал потрепанную кожаную сумку и пиджак в мелкую клетку. Поставив сумку на пол, Томми влез в пиджак.

— Извини, Бьюк, я бегу! — Он и тут не смог удержаться и не запеть: «Надену фрак, и котелок, и галстук бе-елый!»

— Давай, давай,— напутствовал его Бейкс сквозь смех.— Мир погибнет, если ты опоздаешь к первой рюмке.

Томми подобрал сумку и бросился к двери. Уже держась за ручку, он обернулся, представ во всей красе: черных выходных брюках и клетчатом пиджаке,— и озабоченно сказал:

— Вот что, если уйдешь, оставь ключ на притолоке.

— Это надежно?

— Вполне. Только чтобы никто не видел.— Он распахнул дверь.— Доброй ночи, Бьюк, увидимся! «В знакомых с юности места-ах!»

Оставшись один, Бейкс присел к столу, придвинул к себе сверток,

который принес Томми, разорвал обертку. Внутри были пачки небольших по формату, отпечатанных в типографии листовок, каждая пачка перехвачена резинкой. Бейкс взял одну пачку и провел по краю большим пальцем. Так налетчик, ограбив банк, пересчитывает в укромном месте добычу. Голая лампочка над столом освещала убогое убранство комнатушки. Урчали в стенах водопроводные трубы, где-то хлопнула дверь, с лестницы донесся перестук каблуков.

Бейкс вытащил из пачки листовку. Она была набрана мелким шрифтом. В нескольких местах текста выделялись черные подзаголовки. Добротная типографская работа. Не то что печатать на ручном станке в задних комнатушках на окраинах. Или в чулане мясной лавки, где с потолка свисали огромные ножи и колбасы, пол был посыпан опилками и то и дело кто-нибудь натыкался на мясорубку. «Мы делаем успехи,— подумал он с ухмылкой.— Интересно, где их печатали, кто провез их из-за границы и как: в пакетах, ящиках, на грузовиках с двойным дном? А может, типография местная? Вряд ли, слишком рискованно». Конечно, листовки доставлены из-за границы, их изготовил эмигрантский комитет. Но Бейкс ничего не знал наверняка. Чем меньше знаешь, тем лучше.

«Вам покажется удивительным,— прочел он,— что находятся мужчины и женщины, готовые идти на риск, чтобы донести до вас это послание. Им грозит длительное заключение. Кто же они? Простые люди, мечтающие о свободе... Мы создали подпольный фронт... послали молодых людей за границу... Это будущие воины, инженеры, строители... Мы не сложим оружия... Для порабощенных людей ничего нет дороже свободы... Верните нам нашу родину... Мы сумеем сами управлять ею по собственному разумению... методы борьбы многообразны...»

Когда Бейкс кончил читать, по спине побежали мурашки. *К концу недели полиция бросится по их следу.* Он отложил листок и потер ладонями колени. «Сукины дети,— думал он в сердцах,— мы еще живы и погибать не собираемся!»

Бейкс поднял с пола чемоданчик для пластинок, перевернул его вверх дном и потряс. Кроме пыли, в нем ничего не было. Бейкс запихал внутрь листовки, влезли как раз все пачки. «Это тебе не фокстроты и квикстепы».— неизвестно кому буркнул Бейкс, захлопнул крышку и щелкнул замками. Он знал на память имена и адреса всех, кому предназначались листовки. Никаких записей он не вел. Все надо держать в голове — вроде как букмекеру подпольного тотализатора, которого он видел в кино.

С наступлением вечера в комнате стало не так душно. Бейкс разделся до пояса и подошел к умывальному столику у окна. Налив воды в таз, он смочил тело серой рыхлой губкой и вытерся несвежим полотенцем. Потом оделся, майка и рубашка еще хранили дневное тепло. Перед зеркалом в шкафу Бейкс повязал галстук. Медно-карие глаза и удлиненная верхняя губа напряженно улыбались. Он подумал: «Лиса пока еще на воле!» Надевая пиджак, он запел про себя: «Пойду охотиться в лесу, поймаю рыжую лису, плутовку в клетку посажу и... никому не покажу».

Порывшись в кармане брюк, Бейкс достал письмо, которое получил вместе с листовками. «Свяжитесь с Хейзелом в пятницу». Он закурил сигарету и, поднеся горящую спичку к письму, глядел, как темнеет бумага, потом вспыхивает пламенем и осыпается на пол пеплом.

Бейкс напоследок оглядел комнату, расправил покрывало на кровати, подхватил чемоданчик и пошел к двери. Бумажный пакет с пижамой и бритвенными принадлежностями остался лежать подле умывальника. Бейкс не брал его с собой, собираясь сюда вернуться.

Приоткрыв дверь, он выключил в комнате свет и вынул ключ из

замка. В узком коридоре никого не было. Бейкс захлопнул дверь и запер ее на ключ. Никто из соседей не выглянул. Положив ключ на притолоку, Бейкс зашагал по коридору. На полпути он вспомнил, что не вылил воду из таза, но решил не возвращаться. Лестница была едва освещена, в доме тихо, только где-то на первом этаже пел мужчина. Он сошел вниз по скрипучим ступеням и очутился на улице.

V

Синий вечер упал, как занавес в последнем акте. В воздухе чувствовалось дыхание осени, издали грозящей перстом. Еще не зажигали фонарей, в сумрачных подъездах и на верандах двигались серые тени и нелепые призраки, будто персонажи театра абсурда. Слышались негромкие пересуды, смех, рдели светлячки сигарет.

Бейкс постоял у подъезда, поглядел по сторонам. На мостовой, где днем посреди своей рухляди сидела выселенная старуха, теперь валялась только пустая картонка. Не заметив ничего подозрительного, он не спеша зашагал по улице, беспечно размахивая чемоданчиком с листовками. В этой дешевой коробке таилась смертельная угроза: за призыв к вооруженному перевороту полагалась казнь. А с виду — скромный прохожий, ничем не приметная фигура в затрапезном коричневом костюме.

Он пересек обширный пустырь. Это место будто подверглось бомбежке. В газетах писали, что здесь построят дома для белых семей «среднего достатка». Бейкс шел по направлению к главной улице пригорода. Он решил начать с дальнего адресата и обойти остальных на обратном пути.

В сгущавшейся темноте он едва не наткнулся на двух маленьких налетчиков в лохмотьях, вынырнувших из переулка. Сопливцы наставили на него деревянные пистолеты.

— Эй, мистер, гони цент!

Он ухмыльнулся и обошел засаду, а они завопили ему вслед:

— Эх ты, жадюга! — Некоторое время мальчуганы преследовали его, паля из пистолетов, но вскоре прекратили погоню.

На шоссе Бейкс купил у юнца с мордочкой волчонка, в комбинезоне с чужого плеча последний выпуск вечерней газеты и зашагал к троллейбусной остановке мимо заколоченных оптовых складов и торговых рядов. Он наткнулся на развалины кинотеатра. Раньше здесь обычно толпился народ. Такой вид, будто случилось землетрясение. На покосившейся доске рваная заляпанная афиша словно с издевкой рекламировала старую картину «Ураган». На западе, на фоне неоновой зарницы чернели контуры городских холмов.

Зажглись фонари. Бейкс ждал на остановке с плоским чемоданчиком в руке, свернутой газетой под мышкой, настороженно озираясь карими глазами. Подъехал двухэтажный троллейбус, Бейкс замахал водителю, вскочил на ступеньку и поднялся по лесенке наверх — на места для цветных. Он сел в заднем ряду, поставив чемоданчик на колени, закурил и стал присматриваться к пассажирам. Народу в салоне было немного. Вроде никто не похож на шпика. Впрочем, поди их разбери!

Бейкс развернул газету. Почти всю первую полосу занимал отчет о суде над женщиной-убийцей. «Она замыслила преступление еще весной. Каждое утро она подсыпала мужу в кофе немного мышьяку. Растолченный яд не отличался на вид от молочного порошка». В боковой колонке приводилось выступление министра полиции: «Республи-

ка стоит перед угрозой новой волны партизанских вылазок на северной границе... Просачивающиеся из-за рубежа националисты сеют смуту среди местного населения».

Он то и дело поднимал голову от газеты, беспокоился, как бы не проехать нужную остановку. Вот и она. Троллейбус остановился возле ярко освещенных витрин. Запихав газету в урну для мусора, Бейкс свернул на улочку с одиноко стоящими домами, круто сбегающую вниз к маленькой площади перед пригородной железнодорожной станцией.

У окошка «для цветных» выстроилась короткая очередь. Дробно постукивала касса-автомат. Бейкс не встал в очередь за билетом, просто путь его лежал через станцию. Он вышел на платформу. Всего несколько человек ожидали поезда в сторону центра. Зато поезда из города сейчас набиты битком — рабочий день недавно кончился. От этой станции шли автобусы в поселки африканцев и цветных. Бейкс стал дожидаться прихода поезда, чтобы смешаться с толпой. За противоположной платформой желтые автобусы, ревя моторами, подъезжали к навесам, где толкались в очередях люди.

Бейкс уже подошел ко входу в туннель, когда заметил на другой стороне, у выхода из подземного перехода полицейский заслон. Электрический свет играл на плоских фуражках и сине-голубой форме: у припаркованных «фольксвагенов» и «фордов» попыхивали сигаретами люди в штатском с глиняными лицами. Над их головами на огромном щите счастливое семейство хлестало кока-колу, весело улыбаясь прохожим.

Бейкс негромко чертыхнулся, разглядев на стоянке еще два больших полицейских грузовика. В кузове одного из них за проволочной сеткой уже кто-то был. Как узлы с подержанным барахлом перед отправкой на распродажу. У одних, наверно, не оказалось при себе пропуска, у других нашли наркотики, от третьих пахло спиртным. Людей хватали за малейшую провинность. Шла обычная облава. Обыскивали тех, кто выходил из туннеля.

Бейкс резко повернулся и зашагал назад, чувствуя, как колотится сердце. Так всегда бывает при виде полицейских у людей с темной кожей, даже если нет за ними никакой вины. Существует множество преступлений, которые можно совершить, даже не подозревая об этом. Сердцебиение стало, таким образом, национальным недугом.

Через боковую дверь он вышел со станции на площадь. Ему необходимо попасть на ту сторону. Придется пойти по автомобильному мосту. Был еще надземный переход для белых, но Бейкс не мог рисковать. Недавно на нем поймали одного цветного, решившего сэкономить время. Ему дали десять дней тюрьмы и оштрафовали на двадцать фунтов. Судья предупредил, что впредь к нарушителям будут применяться более строгие меры.

С автомобильного моста как на ладони был виден клубок сверкающих рельсов, электрические провода, щит с рекламой кока-колы, автобусная остановка, полицейский заслон. Бейкс, шагая по пешеходной дорожке, сквозь прогоны моста отчетливо видел скучающих полисменов, ребристые автоматы, закинутые за спину, блеск надраенных пряжек.

— Слава богу, я не дежурю в субботу,— говорил констебль с автоматом другому полисмену.— Было бы чертовски обидно пропустить первый матч сезона.

Констебль был молод, плотно скроен, белое круглощекое лицо усеяно прыщиками.

— А кто играет? — спросил второй, облокотясь о крыло грузовика и засунув оба больших пальца за широкий ремень с кобурой.

— «Веллингтон» с «Западным Сомерсетом»,— ответил прыщавый.

— Тьфу, ну и начало сезона,— презрительно фыркнул второй,— обе команды ничего не стоят. Вот если б играли «Деревенщины»!

— А ты свободен в субботу?

— Нет, приятель.

— Так ты просто завидуешь,— захихикал прыщавый,— сам бы рад-радехонек сходить, даром что команды слабые.

— Велика беда — схожу на следующей неделе. А дежурство у меня в участке — считай, что повезло.

— Еще бы! — Прыщавый ослабил ремешок автомата.— Лучше, чем торчать вот так на одном месте всю ночь или же улицы патрулировать. Тем более в субботу!

— Тебе что, служба надоела?

— Я этого не говорил.

— Подавай в отставку.

— С какой стати? Я всем доволен — и жалованьем, и выходными.

— Можно на регби ходить!..

— И с девушкой встречаться,— круглощекое лицо расплылось в улыбке.

— Смотри-ка, у тебя и девушка есть! — ухмыльнулся второй полисмен.— Никогда бы не подумал, ты же еще совсем мальчик.

— Не волнуйся, приятель,— гоготнул прыщавый и добавил с гордостью: — Не такой уж я мальчик, как кажется.

— Ну а что за девушка?

— Очень даже ничего. У нас свидание после матча.

— И что же вы будете делать? — лукаво улыбаясь, спросил второй.— Занятно, что ты умеешь?

— Не твоя забота. Я всему обучен.

— Вроде старины Геспера?

— Не надо шутить на этот счет,— насупился прыщавый.

— Господи, натворить такое из-за бабы!

— У него к ней чувство было.

— Иди ты к черту! Не все равно, с кем этим заниматься? В участке это легче простого — привозят пьяных шлюх, смазливых туземочек.

— Я бы с черномазыми не стал.

— Какая разница! Я с ума не сошел, чтобы душить девчонку, а потом стреляться, если она вдруг со мной не захотела. Надо быть последним психом...

— И вовсе дело не в этом,— возразил прыщавый,— бедняга Геспер втрескался по уши, а она и слышать о нем не желала.

— Будто мало других!

— Тебе не втолковать, приятель.

— Нечего мне втолковывать, я и сам знаю, что мне от них надо. А ты, я смотрю, большой специалист в амурных делах.

— Что ни говори, а жаль Геспера. В участке все очень горевали. Начальник даже речь держал, и мы скинулись на венок.

— А кому венок, ему или ей?

— Эй, друг, бога не гневи,— покачал головой прыщавый.

Второй полисмен откинул голову и заржал как конь, потом разогнулся и стал любоваться начищенными носками своих казенных ботинок. Вдали загудел поезд, над рельсами задрожали провода. К полисменам подошел сержант.

— Ван Граан,— обратился он к тому, кто стоял, прислонясь к грузовику.— Отправляйся на ту платформу и гони всех черномазых сюда.

— Слушаюсь, сержант! — Полисмен щелкнул каблуками и нырнул в подземный переход, а прыщавый пошел вслед за сержантом и стал на пост у барьера.

Бейкс видел с моста, как подошел поезд и в один миг на платформу высыпали пассажиры, устремляясь к подземному переходу. У выхода из него людской поток забурлил, наткнувшись на плотину из синих мундиров и мечущихся лучей карманных фонариков. За барьер медленно вытекал лишь тоненький ручеек. Из толпы доносились крики и брань. Полисмены обыскивали сумки, залезали в узлы, коробки для завтраков, проверяли документы.

— Пропустите, сержант, я тороплюсь.

— Пошел ты... тоже мне, важная птица! Что у тебя в узле? Показывай!

— Да это моя спецовка, господин. Несу домой, чтобы жена постирала.

— Разворачивай, кому говорят!

— Эй, что там стряслось впереди? Когда мы только до дому доберемся?

— Целый день вкалываешь, а теперь еще это!

— Где твой пропуск?

Тонкие белые пальцы, как черви, закопошились в бумагах, листая странички. Необходимо сверить фотографию на пропуске с владельцем.

— К чертям собачьим, все эти черные на одно лицо. И откуда вы только взялись, мать вашу разэтак! — Снова шуршат странички.— Эй, да у тебя не уплачен налог.

— Как же, давно уж заплатил.

— Черта с два. А ну пойдем!

— Заплатил я...

— Заткнись! С кем разговариваешь, обезьяна! Констебль, в грузовик его!

— Взгляните, там же есть печать.

— Некогда мне, скотина! Так мы до утра не управимся. Будешь оправдываться в суде!

— А ну полезай в кузов, живо!

— Что у тебя за хреновина в кармане? Дагга? Ублюдки, одними наркотиками и живут!

— Это табак.

— А вот увидим — выворачивай карманы!

— Полицейские суки!

— Кто кричал? Эй вы, сзади! Я до вас доберусь, подонки! Прекратите напирать!

— Послушай, макака, твой пропуск ни к черту не годится. Тебе давно пора уматывать из города. Думал нас перехитрить?

— Но у меня работа в городе, сэр.

— Вот оно что! А кто тебе разрешил устраиваться на работу? Ну, черномазый, плохо твое дело. Сержант, вот еще один!

— В кузов, живей, живей!

С моста Бейксу было видно, как молодой полисмен с автоматом заталкивает арестованных в грузовик. Люди в очередях на автобусной остановке провожали их хмурыми взглядами. То и дело подъезжали и отъезжали огромные желтые автобусы, тяжело переваливаясь с боку на бок на разбитых бетонных плитах. Те, кто прошел обыск, торопились встать в очередь.

Миновав мост, Бейкс дошел вдоль шоссе до перекрестка, где выезжали с остановки автобусы. Он был уверен, что сюда полиция не нагрянет — ей вполне хватало дел на станции. И все же у него тревожно ныло под ложечкой. Он весь напрягся, как загнанный зверь, отчаянно вырывающийся из капкана.

Автобус медленно вывернул из-за угла, но Бейксу нужен был

другой номер. Ноющее беспокойство переходило в ярость, в свою очередь сменяющуюся безотчетным страхом.

Наконец, замедлив на повороте ход, показался нужный автобус. Бейкс сошел с тротуара и неуклюже прыгнул на забитую людьми площадку. Чья-то рука подхватила его, кто-то сказал над ухом:

— Держись, друг.

Бейкс благодарно кивнул и втиснулся в толчею. На площадке и лесенке на второй этаж яблоку негде было упасть. Какой-то пьяный с красными глазами и измазанным угольной пылью лицом ругался с соседом, орал, что ему помнут рыбу, которую он везет домой из порта.

— Что же я могу поделать? — говорил сосед.

— Старина, я отдал за рыбу пять шиллингов. А ты ее так отделаешь, что есть нельзя будет.

— Я не виноват. Дождался бы следующего автобуса.

— Все равно была бы давка,— подхватил еще кто-то,— давно пора пустить дополнительные машины.

— Словно кому-то есть дело до ваших удобств,— возразила женщина.— Хозяева гребут деньги, а на вас им плевать.

С верхнего этажа на площадку кое-как пробился индиец-кондуктор.

— Платите за проезд, готовьте мелочь!

— А, кондуктор, намасте! — заорал пьяный.— Когда добавите автобусов на этом маршруте? Мы платим не за то, чтобы ехать в такой давке.

Издерганный кондуктор зло отрезал:

— Какого черта вы меня спрашиваете, пишите в компанию.

— Ишь ты, недотрога!

— Берите, берите билеты!

— Все равно, кондуктор, тебе сюда не протолкаться. Повезешь нас даром.

— Нет уж, дудки. Это моя работа. Я за это жалованье получаю.

— А, так ты хозяйский прихвостень! — загудел народ на площадке.

— А хоть бы и так, ну и что с того?

— Лизоблюд проклятый!

— К чертям собачьим компанию и хозяев туда же. Наживают миллионы на бедняках!

— Эй,— строго прикрикнула женщина,— ты что же выражаешься? Чему тебя учили родители?

— Ах, миссис, прошу прощения. Но согласитесь, житья никакого не стало. На станции — полиция, здесь — этот чертов хрен.

— Ты как со мной разговариваешь,— взорвался кондуктор,— нашел приятеля!

— Тоже мне приятель, да на кой ты мне сдался!

— Я тебя высажу из автобуса.

— Иди ты со своим автобусом куда подальше!

— Перестаньте,— закричала женщина,— как вы себя ведете! Порядочному человеку нельзя уже и в автобус сесть.

— Может, госпоже пересесть в автобус для белых?

— Наглец, как ты разговариваешь, я ведь тебе в матери гожусь!

Кондуктор протиснулся в нижний салон.

— Готовьте деньги, берите билеты, платите за проезд! — неслось оттуда. Примерно каждые сто метров автобус притормаживал на остановках, но на этом отрезке никто не вошел и не вышел. Проехали конюшни муниципалитета, на крошечной лужайке паслись ломовые лошади.

— Старину Али задержали,— сказал кто-то.

— За что?

— Не знаю. Видел только, как его обыскали и увели к фургону. Эти сволочи в правительстве богатеют на штрафах.

— Коммунистов ищут,— вступил другой голос.

— При чем же тут Али? Он верующий, каждую пятницу в мечеть ходит.

— Ах, друг, не будь таким наивным. Видать, ты Корана не читал.

— А это чья газета?

— Газеты по сравнению с ним дерьмо. А вообще-то держи язык за зубами. Говорят, и у стен есть уши.

— У правительства полно своих людей повсюду. Пятая колонна!

— Чертовы шпики!

Автобус подскакивал на неровной дороге. На окраине поселка Бейкс протянул руку, нажал на кнопку и стал пробираться к выходу.

— Смотри не наверни сь, приятель,— ухмыльнулся кто-то.

Автобус притормозил, и слегка взъерошенный Бейкс спрыгнул со ступеньки. Он постоял на обочине, пропустил машины, потом стремглав пересек шоссе. На поросшем травой бугре он остановился, поглядел вслед автобусу. Он увидел освещенные задние окна и красные габаритные огни, тающие в темной дали. «Там Фрэнсис,— пронеслось в голове,— старушка моя. Фрэнси, Фрэнси...» Ведь он почти забыл о ней. Любовь и грусть, смешавшись, захлестнули его. «На кой черт я все это делаю? — думал он, бредя по утоптанной траве,— на кой черт?» Потом с легким сожалением прогнал навязчивую мысль — так расстаются с любимым, затасканным костюмом — и зашагал по дороге с чемоданчиком, набитым нелегальными листовками, думая уже о том, как распространить их, и о предстоящей встрече с Хейзелом.

VI

Хейзел — это подпольная кличка Элиаса Текване. При рождении мать назвала его в честь прадеда. Через несколько лет по проселку, мимо старого эвкалипта, на котором дети устроили качели, она отвела сына в миссию учиться грамоте. Миссионеру не давались туземные имена, и он сказал:

— Наречем его добрым библейским именем Элиас.

Элиас ходил в миссионерскую школу урывками, когда не пас вместе с соседней ребятней коров на поросшем кустарником склоне позади дома. Стеречь скот считалось мужским делом, а женщины работали в поле.

Зимою земля была сухой и пыльной. Коровы жевали валявшиеся на полях кукурузные стебли, поднимая копытами пыль. Ветер обрывал со стеблей засохшие листья, они свистя носились в воздухе, царапая лицо и ноги, впиваясь в кожу.

Дожди в их краю выпадали в октябре и ноябре. К этому времени в деревнях готовили плуги. Пахота была лучшей порой года. Весеннее солнышко вставало рано, желтый свет измятой простыней падал на землю. Едва рассветет, как все вокруг оживало: скрипели воловьи упряжки, щелкали кнутами пастухи, слышался птичий и детский гомон, перекликались взрослые.

В жатву, прежде чем солнце зайдет за острые вершины гор, женщины уходили вереницей в город. Они несли зерно в жестяных банках на голове или в заплечных мешках. На вырученные деньги покупали сахар, соль, чай, платили налоги. Когда случался неурожай, приходилось брать в долг у белого лавочника.

А какие там бывали закаты! Небо на западе становилось желтым, оранжевым, зеленым, редкие облака походили на гирлянды из рыхлой ваты. Деревенские хижины лепились по склонам, как раскиданные охряные игрушки на потертом ковре. Посмотришь со стороны — красиво, как на картинке.

Элиас не помнил отца, знал о нем лишь со слов матери. Мальчику так и не суждено было увидеть его живым. Однажды пришла весть, что Текване погиб в шахте неподалеку от Иоганнесбурга. Он был заживо погребен на глубине нескольких сотен футов, глубже самых далеких предков. Мать стала ходить на почту за «пенсией». Шахта выплачивала ей за мужа по два фунта в месяц.

Элиасу легко давалось учение. В миссионерской школе, сколоченной из гофрированного железа, он научился правильно писать и читать. Если выдавалась свободная от занятий или домашних дел минутка, Элиас играл с деревенскими ребятишками в тени старого эвкалипта, раскачивался на веревке, привязанной к нижнему суку. А иногда они ходили через кустарник, по сыпучей, выветренной, скрипящей под ногами земле к железнодорожному полотну.

Вскоре мальчишки знали, когда проходит поезд на север, а когда на юг. Они прибегали на насыпь загодя и, сидя в скудной тени колючего кустарника, ждали появления поезда. Ветки тянулись к ним старческими руками. Наконец вдали раздавался гудок, будто сова ухала за холмами, похожими на тонкую девичью фигурку. Можно было различить худенькие плечи, едва наметившуюся грудь, впалый живот и костлявые коленки под невзрачным покрывалом из чахлого кустарника.

Отдуваясь и пыхтя, как старый миссионер, поезд взбирался на подъем. Первым показывался паровоз, продолговатый, тяжелый, в высокой шапке белого дыма, с большими чугунными колесами. Он лязгал и плевался паром. В кабине два амабулу, белых человека с перепачканными гарью лицами, утирали пот шейными платками. Грохочущее, огнедышащее чудище тащило длинную череду вагонов, мелькали одинаковые окна, стучали буфера.

Дети бежали за поездом, кричали, махали руками. Пассажиры глядели на засохшие деревья, потрескавшиеся лощины, врезавшиеся в землю желтыми ранами, и зубчатую гряду на краю плоского синего неба. Из окон выбрасывали остатки еды, и, когда поезд уносился дальше по спекшейся от солнца земле, мальчишки бежали подбирать объедки: надкусанные бутерброды, обломки печенья, недоглоданные куриные косточки, липкие ломти пирога, выжатые апельсины, недоеденные конфеты.

Вернувшись как-то с почты, мать сказала Элиасу, что «пенсия» кончилась. Матери объявили, что ей полагалось всего сорок фунтов за мужа и что в прошлом месяце она получила последние два. Ей, однако, не сказали, что вдовам белых шахтеров, погибших вместе с Текване, назначено пожизненное пособие по пятнадцать фунтов в месяц.

Магазин бааса Вассермана был самым крупным в городке. Тут продавалось что угодно, от баночек с кофе до тяжелых промасленных частей автомобилей и сельскохозяйственных машин. На полках — мешки с крупами, сластями, скатанные одеяла, рабочие штаны, грубые башмаки. А рядом пылились хрустальные бокалы и вазы — их никто не покупал. Весь фасад был заклеен рекламой табака и имбирного пива. Вдоль него тянулась веранда, крытая гофрированным железом. Ее полагалось подметать два раза в день — утром и вечером.

Входить в магазин разрешалось только белым. Черным товары отпускались через квадратное отверстие в задней стене. Приходилось ждать, пока хозяева не обслужат белых покупателей. Жена Вассермана вела с ними бесконечные беседы, а кое-кого даже угощала кофе или минеральной водой.

Томясь в очереди, черные покупатели поддразнивали Элиаса, когда тот подметал веранду, называли его «новым хозяином заведения», спрашивали о вчерашней выручке.

— Здравствуй, маленький босс. Много вчера наторговал?

— Денег целая куча! — подмигивал Элиас столпившимся на краю веранды чернокожим.

— Значит, дашь нам сегодня скидку? Сколько возьмешь за мешок муки?

— Ладно, бабушка, бери муку даром.

— Да хранят тебя предки, добрый мальчуган. Только вряд ли Вассерман согласится с тобой, а?

— Вряд ли, бабушка.

— Но тебя-то он небось осыпает золотом. Вон как ты стараешься.

— Я и в доме убираю, и дрова рублю.

— Ай-я-яй! Он тебе должен бриллиантами платить.

— Каждую пятницу я получаю три шиллинга и шесть пенсов.

— Три с половиной шиллинга! О-хо-хо! Целое состояние!

В бывшей конюшне за домом Вассерман, никогда ничего не выбрасывавший, держал ненужный хлам: старые колеса, сломанные матрасные пружины, развалившийся старинный буфет, ржавые консервные банки и пустые бочки из-под бензина, лопату со сломанным черенком, зеркала, будто изъеденные проказой, множество железок и деревяшек непонятного происхождения, ржавевших и пылившихся без дела. Отбросы нескольких поколений.

Роясь в этом хламе, словно вынесенном на берег прибоем, Элиас наткнулся на неровную стопку отсыревших, покрытых плесенью книг. До этого ему попались бронзовая дверная ручка и перочинный нож с поломанным лезвием. Потерев рукоятку, Элиас обнаружил на ней тонкий узор, надпись и мужской профиль. Потом он узнал, что это Пауль Крюгер.

Элиас стал листать липкие страницы книг. Строчки вылиняли и поблекли от сырости, но одну книгу можно было прочесть. В ней попадались картинки — потемневшие гравюры, изображавшие белых всадников в тяжелых шлемах, со щитами и копьями в руках. На других гравюрах белые стреляли из лука. Все это озадачило Элиаса. Он привык думать, что копья, щиты и луки были только у его народа. Старики в деревне рассказывали детям, юношам и девушкам о прошлом, и в этих рассказах слышался топот ног, бряцанье щитов и копий, воинственные кличи. А на картинках в книге точно так же сражались белые люди.

И в голову закралась мысль, что, быть может, белые ничем не отличаются от его собратьев, только что кожа у них другого цвета. Книга как будто подтверждала это: разукрашенные щиты, дубинки, дротики. Элиас посмотрел на титульный лист — обложки не было — и прочел по складам название: «Белая дружина». Он с трудом разбирал полустертые буквы: «Когда Гордел Джон прибыл...» Элиас обрадовался находке, спрятал книгу под рубашку. Вечером он отнес трофеи домой — дверную ручку, нож без лезвия и книгу. А еще Мевру Вассерман дала ему объедки — гостинец матери.

По вечерам Элиас корпел над книгой, с трудом разбирая слова. Отличная книга: сплошные битвы, приключения, путешествия! Правда, все это происходило давным-давно, но описываемые места, навер-

но, существуют по сей день. Неведомые города и страны далеко от родной деревни, магазина Вассермана, старого эвкалипта, от пыхтящего на подъеме паровоза и надкусанных бутербродов в жесткой сухой траве среди колючего кустарника.

Мальчик вырос сильным и выносливым, широкоплечим, с крепкими руками и ногами. В четырнадцать лет над верхней губой пробился пушок. Его стали в шутку величать «мужчиной». Бронзовую дверную ручку он отдал двоюродному брату, а нож оставил себе, отполировал его тряпочкой. И с книгой не расстался. Впрочем, охотников до нее и не было. В конце концов он осилил ее, потом перечитал несколько раз. Теперь он иногда козырял мудреными словечками из книги, а белые дети, забегавшие в магазин Вассермана, прозвали его «черным англичанином».

Старик миссионер, научивший его читать и писать, уехал, а на его место прислали другого, помоложе. У этого были седые усы и усталые, грустные глаза старой собаки. В городке нового миссионера невзлюбили за то, что он говорил по-английски, а не на африкаанс. Он принялся усердно обращать деревенских жителей в христианскую веру; бурам ни в чем не перечил, и его терпели. От него Элиас узнал, что язык книги устарел и теперь так не говорят. Когда работа в магазине кончалась, миссионер занимался с мальчиком арифметикой.

А потом до городка и деревни докатилась весть о войне. Воевали на ней не копьями и стрелами. Отличалась она и от бурской войны, которую помнили старики. Велась она за морем, в Европе. Элиас из книги знал об Англии и Франции. Бои шли также в Северной Африке. Правительство заявило о своей поддержке англичан, и молодежь стали призывать в армию.

Белые жители городка встретили решение правительства в штыки. Они сочувствовали немцам, сражавшимся с англичанами и истреблявшим евреев. Они даже устроили в городской школе митинг протеста. «К черту краснорожих англичан,— кричали ораторы.— И чем скорее Гитлер отправит на тот свет всех евреев, тем лучше. Они богатеют за чужой счет и вбивают кафрам в головы опасные идеи». Пришлось им все же заткнуться — правительство их не послушало.

В городок прибыли армейские вербовщики. Несколько белых юношей, не согласных со старшими, уехали на фронт. Ко всеобщему удивлению, в армию брали и африканцев. Вербовщики, два белых сержанта и несколько чернокожих солдат с бронзовыми слониками на пилотках, прикатили в деревню на новеньком броневике, пестро размалеванном для маскировки. Африканцев определяли в санитары, повара, прачки. Правительство запретило выдавать им оружие, однако они годились на черную работу.

Элиасу представлялся случай увидеть мир. Но когда он пришел на вербовочный пункт, черный солдат откинул большую голову и заржал как мерин, хлопая себя по бедрам в защитных галифе.

— Ха-ха-ха, детка! У-ю-юй, маленький! С тобой нам победа обеспечена. Немцы разбегутся от одного твоего вида! Нет уж, подрасти сначала вот на столько, стань мужчиной — тогда и приходи.

Дружно хохотали остальные солдаты, и даже белые сержанты не смогли сдержать улыбки. Элиас понурясь поплелся прочь.

Когда он рассказал обо всем Вассерману, лавочник рассвирепел. Длинная, морщинистая, как у гуся, шея покрылась красными пятнами, ходуном заходил кадык, рот задергался, как червяк в луже, выкатились вареные яйца глаз.

— Да как ты посмел,— заорал он,— совать нос в дела белых людей! Маленький ничтожный дикарь! Обнаглели, черномазые подонки! Виданое дело, их берут на войну! Вернетесь и, чего доброго, захотите быть как мы! Хорошо бы, вас перебили там всех! Убирайся прочь, и чтобы я тебя больше не видел!..

Элиас снова пас коров на каменистом выгоне за домом и погонял старого вола, впряженного в плуг. Затвердевшая земля родила худосочные колосья. Они с матерью перебивались кое-как на кусках, выпрошенных в городе, и подаяниями деревенской общины. Гнев колосом прорастал в Элиасе, и его горькие зерна стучали в мозг. «В чем же дело,— ломал он голову,— мы такие же, как они. Только что земли у них больше да денег. Почему же целый день батрачим на них, а на свой надел времени не остается?»

Война все не кончалась, и в больших городах появилась нужда в рабочей силе. В туземных резервациях рыскали вербовщики. Молодым людям ничего не оставалось, как подписывать контракты. Земля истощилась, и, чтобы прокормить семью, приходилось залезать в долги к лавочникам.

Элиас решил отправиться в город. Сначала, само собой, пришлось хлопотать о пропуске. Чтобы уехать из дома, требовалось разрешение белых властей.

Когда африканцу исполняется шестнадцать лет, он как бы заново рождается, приобщаясь к таинствам дьявольского шабаша, причащаясь к кровавым ритуалам рабства, жестоким и безжалостным, как во времена Калигулы и Нерона. Его заковывают в цепи несметного числа законов, в кандалы, скрепленные резиновыми печатями. Затупившиеся перья в конторах комиссаров по делам туземцев, подобно каленому железу, оставляют шрамы на всю жизнь.

— Где твой пропуск, кафр?

— Вот он.

— Ага. Ты родом оттуда. А где разрешение прибыть сюда?

— Вот.

— Так. А где разрешение остаться здесь?

— Вот.

— Так-так. Где же ты работаешь?

— Тут, у одного белого.

— Хорошо, отлично! Но где разрешение на трудоустройство?

— Вот оно.

— Ага, вижу. Все как надо, вот печать, вот роспись твоего хозяина. Замечательно, превосходно, лучше быть не может! Только где же ты живешь?

— Там-то и там-то, в локации, поселке, на улице, в переулке, в такой-то землянке.

— Великолепно! А где прописка с печатью и штампом?

— Вот она.

— Удивительно! Все-то у тебя есть: пропуск, разрешение на выезд, разрешение на въезд, вид на жительство, разрешение на трудоустройство, прописка. Милостью божьей и туземного комиссара! А скажи, ты женат?

— Да.

— Где жена и дети?

— Дома остались.

— Помни, без разрешения им сюда приезжать нельзя. Ежели ослушаются, накличут на себя гнев дьявола и всех присных.

— Я помню.

— А если получат разрешение, приедут и захотят остаться, то на это требуется особое разрешение. Кто бы ни был: жена, дети, дяди, тети, бабушки и дедушки. Ты понял?

— Понял.

— Кстати, тебе известно, что ты не можешь без разрешения уйти от нынешнего хозяина и перейти к другому?

— Известно.

— Молодец, ты послушный кафр. Тебе нельзя также без разрешения уезжать отсюда. А на новом месте потребуется разрешение на въезд, вид на жительство, разрешение на трудоустройство, на проезд до работы и с работы, на вечерние прогулки и так далее и тому подобное.

— Понятно.

— Ты мудрец, если тебе все понятно. Но запомни одно.

— Что же?

— Если ты что-нибудь нарушишь — угодишь в тюрьму. Все разрешения будут аннулированы, и ты перестанешь существовать. Нигде на свете тебе не будет места, никто не сможет взять тебя на работу, не будешь ни есть, ни пить. Ты станешь никем и ничем, пустым местом или того меньше.

— Ясно.

— Так-то вот!

VII

Вдоль одной стороны улицы шли дома с палисадниками, принадлежавшими семьям среднего достатка. Они выставляли напоказ таблички с громкими названиями: Монтроз, Невада, Каса Лома, Сорренто. Мещанство рядилось в экзотическую тогу, надраенная медь манила воображение в далекие города и страны. За оградой — одинокие яблоньки, стены, увитые жимолостью, зашторенные окна, звуки радио. На красноватом гравии садовых дорожек, как пролитый сироп,— отблеск уличных фонарей. А на другой стороне, за проволочной изгородью, будто робея, пряталась в тени кирпичная школа. За ее крышу зацепилась луна.

Бейкс был снова в прошлом, будто унесенный туда машиной времени. Ему семь лет, он в первый раз идет в школу. На нем голубая фуражка, в одной руке грифельная доска, а за другую его держит отец. Школа из красного кирпича с шиферной кровлей стоит на склоне холма. Отсюда весь город — как на ладони. В здании множество окон, и от этого оно кажется огромным...

Это была школа для цветных. Лица детей — смуглые, темные, шоколадные — напоминали многокрасочную мозаику. Из классов в коридор доносилось монотонное скандирование: «одиножды один — один, дважды два — четыре». То было время букварей, басен Эзопа, злой королевы и сложного деления, репетиций ежегодных спектаклей.

Однажды им предстояло выступить перед белыми сверстниками. Вот когда впервые мальчик осознал, что дети, которых называют «белыми», ходят в отдельные школы. Отправляясь в другую часть города, все очень волновались. Как пройдет спектакль? А вдруг белые зрители поднимут их на смех? Он играл в пьесе роль защитника и появлялся на сцене в ватном парике и сатиновой мантии: «Господа присяжные, вы должны вынести моему подзащитному оправдательный приговор...»

Теперь он брел один по окраинной улице, смакуя сладкие воспоминания детства. Гулко отдавались его шаги по асфальту. Спереди и сзади к нему подступало одиночество. Он шел мимо витиеватых дверных ручек и терракотовых стен, будто пассажир, по ошибке сошедший на неосвещенной, покинутой жителями станции. Свернув, наконец, к затемненному дому, он с облегчением перевел дух.

Над входом в проволочной сетке был подвешен цветочный горшок, длинные побеги щекотали лицо. Где-то в доме, за стеклянной дверью раздавались громкие детские голоса. За квадратиками цветного стекла была жизнь. Стоя в холодном свете электрической лампочки, он нажал на фарфоровую кнопку. Внутри прерывисто задребезжал звонок. Голоса сразу смолкли.

Некоторое время спустя повернулась ручка, дверь открылась, и в глубине чистенькой прихожей он увидал девочку-подростка в шортах, спортивной рубашке и с бигуди в волосах.

— Добрый вечер, сэр.— Большие глаза с любопытством разглядывали его, в голосе сквозила нерешительность.

— Можно видеть мистера Флотмена? — спросил Бейкс, улыбаясь выпяченной губой.

— Мистера Флотмена? — переспросила она.— Проходите, он дома.

Она пропустила его вперед. Со стороны кухни показалась высокая костлявая женщина с лицом, похожим на подгоревший пирог, опрятно одетая, с тихими повадками монахини. И руки, коричневые, узловатые, сложены как для молитвы — или, может, она стирала?

— Миссис Харрис, этот господин спрашивает мистера Флотмена,— сказала девочка.

— Хорошо, Тельма. Иди к себе.— Миссис Харрис, хозяйка пансиона, считала своим долгом охранять юных жилиц от несносных мужчин. Ответственность делала ее бдительной: сначала аттестат зрелости, а уж потом замужество и все прочее.

— Ваше имя? — спросила она у Бейкса.

— Гендрикс,— без запинки солгал Бейкс.

Девочка тем временем запирала входную дверь. В коридор выскочил мальчик, тоже в шортах, и напустился на девочку:

— Это ты взяла мой циркуль?

— С ума спятил,— огрызнулась она и показала розовый язычок.

— Прекратите,— скомандовала хозяйка и повела Бейкса по коридору.

— Вот здесь,— она открыла дверь и заглянула в комнату.— К вам мистер Гендрикс.

— Гендрикс? — переспросили за дверью.— Какой Гендрикс?

Но Бейкс ловко проскользнул в заставленную комнатенку, подмигнул Флотмену, и тот улыбнулся и закивал головой:

— Ах да, Гендрикс, конечно. Большое спасибо, миссис Харрис.

Он сидел в мягком кресле с красным карандашом в руке и ученической тетрадью на колене, а вокруг высились бастионы знаний: сваленные в кучу тома энциклопедии, «Упадок и крах Римской империи», потрепанные подшивки журналов, груды учебников. Бок о бок с Вальтером Скоттом покоился сборник стихов на африкаанс, а на «Пелопонесских войнах» валялся ветхий купальный халат.

Бейкс подошел к Флотмену и пожал руку, все еще держащую карандаш.

— Гендрикс, Гендрикс,— повторил Флотмен.— В прошлый раз, когда ты приходил ко мне в школу, ты назвался то ли Абрахамсом, то ли Аккерманом.

— Уж не помню,— сказал Бейкс.— Как жизнь?

— Про себя расскажи. Да ты садись, дружище! — Флотмен наконец отложил карандаш, переставил «Войну Спарты с Афинами» на пол, скатал халат.

Бейкс сел на освободившийся стул, поставил чемоданчик к ноге и полез за сигаретой. Снова донеслись юные спорящие голоса. Флотмен сидел со свернутым халатом на коленях.

— Сдается мне, что эта садистка, миссис Харрис, с умыслом селит учителей и учеников под одной крышей.

— Что у тебя нового? — спросил Бейкс. Флотмен тем временем разыскал крышечку от консервов, служившую пепельницей.

— Да ничего. Вбиваю в дырявые головы причины наполеоновских войн, будь они неладны! Но я не расстраиваюсь из-за моих тупиц. При том, чему приходится учить в наши дни, может, оно и к лучшему, что им в одно ухо влетает, в другое вылетает. Нас заставляют внушать ученикам, что все на свете свершается по воле господней, а посему бесполезно и грешно пытаться изменить существующий порядок вещей. Бурская война объявлена чуть ли не крестовым походом, эволюция — ересью, и до Яна Ван Рибека страна якобы была необитаемой. В так называемых «сегрегированных университетах» современная психология считается врагом номер один.

— Затуманивают сознание,— сказал Бейкс.— Это им на руку. Жаль, что цветные учителя вынуждены участвовать в этой индоктринации.

— Я надумал уходить из школы,— вздохнул Флотмен. Он был невысок, коренаст, с круглым желтоватым лицом, похожим на черствый сыр, приплюснутым носом и широкими скулами.— Стену лбом не прошибешь!

— Стена однажды рухнет — лоб у тебя достаточно крепкий,— улыбнулся Бейкс, выпустил табачный дым и поглядел на учителя сквозь серую подвижную пелену.— Жениться тебе надо. Семья — это огромное утешение. От одной мысли, что у тебя кто-то есть, делается легче.

— Эх,— махнул рукой Флотмен.— Что меня поражает, так это ваше упорство. Ничто вас не берет. В чем секрет?

— Нет никакого секрета,— ответил Бейкс.— Просто мы знаем, для чего работаем, и работа приносит нам удовлетворение. А это большая редкость.

— Только не читай мне лекций, я уже сагитирован. Но, боже мой, неужели вам не надоели тюрьмы, побои фашистов из полиции?

— Некоторым, наверно, надоело. Но почему ты говоришь «вам»? Разве ты не с нами? — За стеной все еще бранились дети из-за циркуля.

— Мне страшно,— признался Флотмен.— Я не хочу в тюрьму, не хочу жрать казенную баланду, боюсь потерять свою дурацкую должность, боюсь пыток. В последние годы сотни учителей выхлопотали паспорта и уехали за границу. Чего ради я остался? Мог бы учительствовать в Канаде. У тебя слишком большое сердце, Бейкс, а я не такой.— Он потупился, покачал головой и снова поднял глаза на Бейкса.— Однако что я могу сделать, чтобы облегчить свою совесть? Ведь вы за этим пришли, не так ли, мистер Гендрикс?

Флотмен только теперь заметил, что все еще держит халат на коленях, и переложил его на стопку тетрадей.

Бейкс показал на чемоданчик у ног.

— Тут вот листовки. Их нужно раскидать завтра, там же, где в прошлый раз.— И он назвал близлежащий район.

— О'кей. Если мои оболтусы не могут усвоить истории, пусть хоть помогут делать ее.

— Ты в них уверен? — спросил Бейкс, ставя чемоданчик на колени.— А эти тоже твои помощники?

Он показал в ту сторону, откуда доносилась перебранка.

— Упаси бог! Покоя от них нет.— И добавил с ухмылкой: — Нельзя разводить агитацию там, где живешь. Мои ребята постарше, они тайком почитывают теорию партизанской войны. Не волнуйся, я в них уверен. Не сцапали же их в прошлый раз. Никому неохота идти под суд.

— Пусть будут осторожны,— сказал Бейкс,— сейчас хватают и держат, сколько хотят, по одному подозрению.

— Ладно, ладно, друг,— подмигнул Флотмен,— не такие уж мы глупые, хоть и интеллигенты.

— Комик ты,— негромко рассмеялся Бейкс,— большой шутник.

Потом сказал, посерьезнев:

— А ребят твоих надо воспитывать. Постараюсь раздобыть им кое-что для чтения. Запрещенная литература, правда, нынче большая редкость.

В дверь постучали. Флотмен поднялся и пошел открывать, а Бейкс снова поставил чемоданчик на пол. Вошла миссис Харрис, торжественно неся перед собой чайный поднос. Из коридора донеслись возбужденные детские голоса.

— Надеюсь, вы не откажетесь от чая,— улыбнулась хозяйка Бейксу.— Он так освежает в жару.

— Не стоило беспокоиться,— сказал Бейкс, держа руку на чемоданчике.

Флотмен засуетился, поглядел вокруг, сгреб с края письменного стола тетради, освобождая место для подноса. Пока миссис Харрис расставляла чашки, Бейкс углубился в чтение раскрытой книги, валявшейся на полу: «...пионеры не желали расставаться с рабами, противились их освобождению. Они решили уйти в глубь страны. Во главе их были такие люди, как Гендрик Портгиетер...»

— Мистер Гендрикс тоже учитель? — спросила миссис Харрис.

Прежде чем Бейкс успел открыть рот, Флотмен ответил:

— Нет, миссис Харрис, мистер Гендрикс торгует энциклопедиями. Он и мне пытается всучить комплект, но вряд ли ему удастся.

— Ах, господи,— запричитала хозяйка,— должно быть, нелегкая у вас работенка. Что же, ходите от дома к дому?

— Не совсем так. Я обращаюсь лишь к тем, кто, по моему мнению, может выказать интерес.

— Ну, желаю удачи,— миссис Харрис направилась к двери.— Пойду укладывать ребятишек. Никак не приготовят уроки.

Она напоследок улыбнулась Бейксу и притворила за собой дверь.

— Осточертела мне ее материнская забота.— Флотмен передал Бейксу чашку с чаем, а тот отставил ее на книги.— Бери печенье.

— Значит, энциклопедии? — ухмыльнулся Бейкс, держа в руке засахаренное печенье.

— А разве нет? — невинно спросил Флотмен, помешивая чай.

Бейкс рассеянно опустил печенье в карман, открыл чемоданчик и достал несколько пачек листовок.

— Так, значит, завтра ночью,— повторил он.— Времени у тебя в обрез, но ничего не поделаешь. Листовки должны появиться одновременно повсюду. Так безопаснее.

— Договорились, дружище,— сказал Флотмен, жуя печенье. Он шумно отхлебнул чай, отставил чашку и поднес к глазам листовку. Руки у него были большие, тяжелые, как у рабочего.

— Эге, она жжется. Если с этим сцапают, не поздоровится. Не

волнуйся, слышишь! Мои орлы не подведут. Это же не Венский договор, от которого их тошнит.— Он отпил чаю.— Для некоторых из них главное в революции — романтика, но все это от чистого сердца. Твой чай стынет. Ребята взбудоражены боями на севере. Министр промямлил что-то невразумительное. Газеты, понятно, лгут, будто армия и полиция громит партизан почем зря. Подумать только, всего несколько лет назад мы устраивали митинги, марши, кампании неповиновения.

— Хватит разговоров, настало время вооруженной борьбы,— сказал Бейкс, отпивая остывший безвкусный чай. Отставив чашку, он подхватил чемоданчик, поднялся со стула и улыбнулся учителю.— Ну, мне пора с моими энциклопедиями.

— Уходишь? — спросил Флотмен.— А то могли бы выпить, миссис Харрис уже не зайдет. У меня где-то припасена бутылка портвейна.— Он обвел глазами мебель, неровные груды книг.

— Не надо,— сказал Бейкс,— я и так клюю носом, а мне еще всю ночь не спать. В другой раз, дружище.— И добавил: — С листовками уж расстарайся!

— Сказано, не беспокойся,—Флотмен тоже поднялся.— Должна и от учителей, черт подери, быть какая-то польза. Слишком долго мы распинались о революции как о совершенной абстракции. О'кей, Бьюк, все будет в порядке.— Он похлопал Бейкса по плечу.— Я провожу тебя.

В прихожей было тихо, как в запертой часовне. Видимо, миссис Харрис положила конец детской перепалке. Мужчины невольно пошли к стеклянной двери на цыпочках. Снаружи ворвался теплый ночной воздух, и Бейксу почудилось, будто потная рука прикоснулась к его лицу. Он обернулся к учителю и шепнул:

— Увидимся, старина.

— До встречи, браток,— так же шепотом отозвался Флотмен, но не остался на крыльце, а пошел с Бейксом до ворот. Он смотрел ему вслед, пока Бейкс не растворился в потемках и не смолкли его шаги. Лишь тогда с чувством грусти Флотмен вернулся в дом.

VIII

Женщина сидела за швейной машиной, мерно нажимая на педаль. При электрическом освещении ее смуглое азиатское лицо казалось светлее, чем на самом деле, унизанные перстнями пальцы искусно направляли ткань. На столе лежала горкой яркая материя, а пол вокруг был усеян лоскутами и нитками. Свет от лампочки падал на машину, оставляя в тени обстановку: большую кушетку, два кресла с протертой обивкой на подлокотниках и жирными пятнами от голов на спинках, кофейный столик с фотографиями под стеклом, зеркала с выгравированными золотом изречениями из Корана.

— Абдулла собирался вернуться домой пораньше,— говорила женщина, слюнявя нитку.— Странно, что его до сих пор нет. Может, зашел в клуб. Они с приятелями помешались на нардах, хотя игра уже выходит из моды. Домино, шашки и нарды. По субботам засаживаются за игру с самого утра. Все лучше, чем пьянствовать.—Она ловко вдела нить в иглу и провернула рукой колесо швейной машины.— Я жду его с минуты на минуту.

— Ничего, я не тороплюсь,— отозвался Бейкс с кушетки. Он торчал здесь уже больше получаса, и ему это изрядно надоело. В комнате было душно. Он сидел на выпиравших из-под обивки

пружинах, вдыхая застоявшийся запах ароматических курений. Женщина трещала без умолку, а он отвечал односложно, через силу.

— Я должна это платье сегодня кончить. Буду всю ночь сидеть.— Она улыбнулась, блеснув золотыми коронками. Машина все стрекотала.— Заказчица завтра уезжает в Порт Элизабет, и платье нужно в дорогу. А к субботе надо сдать свадебный наряд. Дел по горло.—Тра-та-та — тарахтела машина.—У меня и белые шьют. Капризные, поганки, зато я беру с них побольше. Небось не обеднеют. Вечерние, подвенечные, выходные туалеты. «Халима,— говорят они мне,— ты должна успеть к субботе, я иду с мужем на прием или на бал к мэру». «Да, мадам,— отвечаю я, а про себя думаю: иди ты к черту, белая карга». Только бы им командовать. Вот я и нагреваю их на пару-тройку фунтов. Будут знать, как торопить людей. Что бы они только без нас делали? Где бы брали портних, кухарок, прислуг? Им живется припеваючи, и все благодаря черным людям. А как они с нами обращаются! Верно я говорю, мистер?

— Совершенно верно,— борясь с дремотой, поддакнул Бейкс с другого конца комнаты.

Он сидел в своем дешевом костюмчике, каштановом галстуке и тяжелых башмаках, а время накручивалось на нитяные катушки, простиралось штуками материи. Он клевал носом под болтовню портнихи. У его ног стоял чемоданчик, набитый нелегальными листовками. Бейкс берег его как зеницу ока даже здесь, под золочеными текстами из Корана, в застоявшемся аромате благовоний.

«Хорошо бы пойти домой, к Фрэнсис»,— думал он сквозь сон. Вспоминалась та давняя суббота, когда шел к ней мимо одноэтажных близнецов-коттеджей с облупившейся краской, вдоль бельевых веревок и плоских вытоптанных газонов, похожих на шкуру старого пса, поднимался по испещренной надписями лестнице сумрачного муниципального дома, осторожно стучал в дверь, не в силах справиться с волнением.

В квартире работало радио, передавали регби. Он постучал снова, громко и небрежно, за дверью послышалось движение. Ему открыла пожилая женщина, из-за ее спины хлынул рев болельщиков и истерическая скороговорка спортивного комментатора: «Мяч у Вандервальта, он мчится вперед, за ним уже не угнаться! Гол! Гол!» Его голос потонул в истошном вопле трибун.

— Добрый день,— приветливо улыбнулась седовласая женщина.— Вы, должно быть, тот молодой человек, о котором говорила Фрэнсис.

Обернувшись, она крикнула:

— Папа, приверни радио! — И пояснила Бейксу: — Отец наш по субботам слушает репортаж о регби, если не ходит на стадион. Да вы проходите, проходите.

В чистенькой гостиной, обставленной подержанной мебелью, в кресле перед приемником сидел маленький сухонький старичок. Когда жена ввела Бейкса, он повернул ручку и убавил звук.

— Это отец Фрэнсис,— сказала женщина Бейксу, усаживая его на стул с высокой спинкой.

Старик кивнул, и Бейксу показалось, будто он привык к частым визитам молодых людей — дочкиных ухажеров.

— Ах, как Фрэнсис долго возится,— вздохнула пожилая женщина. Она мысленно торопила дочь, будто знала, что дело серьезное и с этим парнем у Фрэнсис все пойдет как надо. Она не усидела в гостиной и отправилась на розыски.

— Ради бога, не обращайте на меня внимания,— сказал Бейкс старичку,— продолжайте слушать.

Старик полез за чем-то в карман.

— Эти буры прилично играют,— он ткнул пальцем в приемник,— больше они ни на что не годны. Обычно я хожу на матчи наших ребят, но сегодня игр нет. А вы увлекаетесь регби?

— Вообще-то я предпочитаю футбол, хотя и не играл в него со школы.

— И мне нравится футбол, когда команды стоящие,— старик все еще рылся в карманах.— Но регби побыстрее, поактивней.

Он прекратил безрезультатные поиски и зашарил глазами по комнате.

— Мэри,— закричал он,— где моя трубка, черт побери! Никак не могу найти.

— О господи,— донесся откуда-то голос хозяйки,— можно подумать, что я курю твою дурацкую трубку!

Потом в коротком коридоре раздались шаги Фрэнсис, и она влетела в гостиную с обвязанной полотенцем головой и мыльными брызгами на смуглых руках. Бейкс залюбовался ее длинными крепкими ногами, маленькой тугой грудью, проступавшей под халатиком. У него свело под ложечкой, и он как ошпаренный вскочил со стула, смущенно улыбаясь.

Она сморщила носик и сказала:

— Предупреждала ведь, чтобы не приходили так рано. Вот, не успела вымыть голову.

— Тем лучше, увижу вас без прикрас...

Портниха внезапно умолкла. От этого Бейкс очнулся и, взглянув на нее, увидел, что та склонила голову в косынке набок и к чему-то прислушивается. На садовой дорожке заскрипели шаги, открылась входная дверь, кто-то завозился в прихожей.

— Вот и он,— воскликнула портниха,— это ты, Абдулла?

В комнату заглянул мужчина.

— Салям алейкум! — произнес он и тут только заметил на кушетке Бейкса.

— А, это вы! Хелло, сэр! Рад вас видеть! — Улыбаясь, он протянул Бейксу руку. У него была оливковая кожа, черные волосы, блестевшие, как клеенка, золотые коронки, нелепые усики, будто подрисованные кем-то из озорства. Спортивный пиджак в яркую клетку, отутюженные темные брюки. Абдулла работал закройщиком на швейной фабрике и, видать, потихоньку обшивал себя в рабочее время либо в обеденный перерыв.

— Ну, как делишки, старина? — спросил Бейкс, пожимая протянутую руку.

— Извините, что заставил ждать. Надо было зайти в одно местечко.

— Все в порядке. Мы тут с хозяйкой пока поговорили.

— Еда в духовке,— сказала женщина, не отрываясь от шитья.— Я сделала котлеты. Зови и гостя ужинать — хватит на всех.

— Обо мне не беспокойтесь,— сказал Бейкс, но Абдулла взял его за рукав и потянул за собой. Бейкс подхватил чемоданчик и пошел за хозяином на кухню.

Абдулла снял пиджак, повесил его на спинку стула, выставил тарелки, достал ножи и вилки. Они принялись за котлеты с острой подливой, и Бейкс заговорил о листовках. Над буфетом висело изображение храма Кааба в Мекке.

— Понятно,— сказал Абдулла,— завтра ночью. Халима ничего об этом не знает.— Он подмигнул.— Молчание — золото. Все будет сделано как надо.— Он взял кость руками и тщательно обглодал ее.— И знаете что, я снесу листовки на фабрику. Оставлю вечером

в столовой, а наутро рабочие на них наткнутся. Как вам это нравится?

— Это будет в пятницу утром,— вслух размышлял Бейкс.— Отличная мысль. А на тебя не подумают? Сейчас всюду доносчики.

— Подсадные утки,— ухмыльнулся Абдулла,— знаю, знаю. Ни рта раскрыть, ни поговорить ни с кем. Я прикидываюсь безмозглым дурачком. Этаким работягой, весельчаком и бабником.— Он снова подмигнул, облизывая пальцы.— Халиме ни гу-гу. А за меня не бойтесь. Если бы удалось организовать рабочих! Что за жизнь, когда никому нельзя довериться.— Он сокрушенно покачал головой.— Неужто и дальше так будет, мистер?

— Придется идти на риск и говорить с людьми,— сказал Бейкс, жуя котлету. Есть не хотелось, но отказываться невежливо.— Должно быть чутье на хороших людей. Вот, нашел же я тебя. Значит, есть и другие. И черт с ними, со шпиками: волков бояться — в лес не ходить.

— Профсоюзники струхнули.— Абдулла встал и подошел к буфету.— Я сварю кофе.— Из гостиной слышался стрекот швейной машины.

— Надо действовать в обход их. Нельзя ставить крест на всех рабочих, если вожаки наложили в штаны. Пролетариат не раз поступал вопреки воле тред-юнионистов. Стоит доказать рабочим, что наше дело правое, и ничто их не удержит.

— Верно,— согласился Абдулла,— так было не раз. Взять хотя бы всеобщую стачку после полицейского расстрела. О аллах! — внезапно вскипел он,— люди пришли заявить о своих правах, заявить, что они не рабы, а по ним открыли огонь! Глазом не моргнув отдали приказ! Ведь мы же люди! Как можно стрелять в людей!

— Это лишь доказывает беспомощность властей. Нельзя давать им передышки. Любой, пусть даже самый скромный вклад в общую борьбу приобретает теперь особое значение.

Абдулла налил кофе в чашки и снова улыбнулся, сверкая золотыми коронками.

— Видит аллах, за нами дело не станет!

IX

В то утро долго не рассветало. Время будто остановилось, и земля не сдвинулась за ночь с места. Холодная, непроницаемая, прогорклая тьма, как застывшая каша-размазня, облепила восточный край неба. Рассвет пригнулся под бременем ночи, упираясь ногами в землю и расправив плечи, как человек, толкающий тяжелый фургон.

Но люди чтили Время. В оконцах, забитых фанерой, затянутых мешковиной, заткнутых от стужи старым барахлом, задернутых жалкими занавесками, будто волшебные фонари, зажглись огоньки. Черное небо придавило поселок, но постепенно ночь отступала и под тонкой мглой, как за дымовой завесой, расползался рассвет.

Прачка встала затемно, сварила кофе. Сидя спросонок на убогой кровати под картонным потолком, она пила кофе, а утро прикасалось ледяными безжизненными пальцами к ее большим уютным бедрам, еще хранившим тепло постели. Сегодня ей предстоит обстирать четыре дома, огромный узел грязного белья валялся на полу. Надо бы взяться за стирку пораньше.

В другом конце поселка кто-то прогрохотал палкой по изгороди из гофрированного железа.

На задворках лачуг Рассыльный возился впотьмах с велосипедом, проверяя, не спустили ли шины за ночь. Он обжег пальцы догоревшей спичкой и смачно выругался сквозь зубы.

Из домов доносились звуки неохотно пробуждавшейся жизни, обитатели готовились к новому трудовому дню.

Юноши в лохмотьях и разнообразных шляпах, кепках и заношенных шлемах «балаклава» ходили по улицам от дома к дому, передавая *слово.*

Уголовник выглянул из-за угла покосившейся хибары, потом стремглав пересек темную мостовую. Мало радости столкнуться с мужем, возвращающимся с ночной смены. Бери, что плохо лежит, но не ищи на свою голову неприятностей. Он юркнул в сумрачные объятия проулка. Долгая преступная жизнь закалила его цинизм. Он думал теперь о завтраке и пиве, а о женщине уже позабыл. Тихо, как кот по песку, он скользнул мимо развалюхи, где спала Девочка.

Девочка заворочалась во сне. Ей приснилось, что сегодня можно не ходить в крошечную, в одну комнату, школу, где весь день ученики сидят на полу. Она видела себя на красавце пароходе, из трубы валит дым, они плывут к сливочному горизонту — все как на картинке в книге. Ее родители, спавшие на единственной в доме кровати, стягивали с себя тряпье, заменявшее одеяла, ворчливо сетуя, что приходится вставать в такую рань.

Поселок огибала немощеная дорога, ведущая к приподнятому, как дамба, шоссе. Его черная широкая лента раскручивалась в направлении труб Стального города. За немощеной дорогой лежало голое, вытоптанное поле, а на краю его стоял полицейский участок.

В участке всю ночь горели огни. Сержант заступил на дежурство в четыре утра и теперь, сидя за столом, потягивал кофе из фляги. Его дряблое, морщинистое лицо походило на эластичную маску, небрежно натянутую на шляпную болванку. У него были глаза неопределенного серого цвета, будто капли мутной воды, и большие розовые руки. В нем чувствовалась военная выправка: опрятен, подтянут. Он скорее походил на генерала, нежели на сержанта. Он сам знал это. Таким он и видел себя в мечтах.

Судя по записям в журнале, ночь прошла без особых происшествий. Можно рассчитывать, что и днем все будет хорошо. И все же сержанта одолевало смутное беспокойство, вызванное настойчивыми слухами, ползущими из поселка. Кто-то подбивал черное население страны бойкотировать законы; проклятые кафры собираются сжечь свои пропуска. Правительство готовило в этой связи специальное заявление; черные якобы замышляют налет на белые кварталы и поголовную резню. Этого нужно ждать со дня на день: сегодня, завтра, на следующей неделе, через месяц — никто не знает наверняка. Слухи, слухи, один невероятнее другого.

Около семи в участок вернулись первые ночные патрули. Черные полицейские расписались в журнале и пошли к своим шкафчикам, расстегивая на ходу шинели. Сержант полистал их записные книжки, покрытые ужасными каракулями.

— Что тут у тебя про стены? — раздраженно спросил он на африкаанс — белые полицейские не признают другого языка.

— Снова лозунги на стенах, начальник,— ответил полисмен.

— Опять? Проклятые ублюдки, агитаторы!

— Говорят, что сегодня они побросают пропуска,— добавил сиплым голосом второй полисмен.

— Сегодня?! Кто это «они»?

— Народ!

— Мало того, начальник,— сказал первый полисмен,— они не только побросают пропуска, но и не выйдут на работу.

Сержант озабоченно нахмурился. На секунду ему пришло в голову, что такие дела находятся вне компетенции полиции и он не должен ввязываться. Но он тут же расстался с этой мыслишкой ради другой: «Ты—генерал, командующий, тебе предстоит сражение». И сразу отлегло от сердца. Возвращались бы скорее белые патрульные. На их сообщения можно положиться.

Зазвонил телефон, сержант вздрогнул и судорожно вцепился в трубку. Потом, кое-как совладав с волнением, поднес ее к русым усам. Звонили из центрального полицейского участка. В город не прибыли рабочие из поселка. Ходят слухи, будто стачка начнется сегодня. Так это или не так? Другим участкам тоже поручено докопаться до истины.

— Одну минуту,— сказал сержант в трубку и повернулся к констеблям, болтавшим в уголке.

— Эй вы, тупицы, звонят из города — черные не вышли на работу.

— Как же, сержант,— ответил полисмен с низким голосом,— мы сами видели...

— Звонит босс из города — на фабриках ни души.

— Некоторые все же поехали, начальник.

— Некоторые? — свирепо переспросил сержант.— А что же остальные, дома сидят?

— Трудно сказать,— промямлил другой полисмен,— одни едут, другие не едут.

Сержант чертыхнулся, повертел телефонную трубку, потом буркнул в нее:

— Я наведу справки и позвоню вам.

Резко бросив трубку на рычажки, он накинулся на черных полисменов:

— Отправляйтесь на автобусную остановку!

Один из констеблей, нахмурясь, побрел мимо стола дежурного к выходу.

«Теперь не до шуток,— думал сержант,— пора всерьез приниматься за дело».

Держась за морщинистый, отвисший подбородок, он подошел к карте поселка на стене. При виде карты он испытал удовольствие, как бы сразу вырос в собственных глазах. Имея карту, можно заняться дислокацией рот, развертыванием командных и наблюдательных пунктов. Жаль, что нет булавок с цветными флажками. Но тут полет его фантазии прервал скрежет тормозов. В распахнутую дверь он увидел запыленный патрульный автомобиль и выскакивающих из него белых констеблей.

Солнечные лучи, пробившись сквозь мглу, осветили пустырь. Вдали можно было различить вражеский стан: полуразвалившиеся коттеджи вперемежку с ветхими лачугами; покосившаяся общественная уборная; осел, щиплющий траву около свалки.

В поселке передавалось из уст в уста, что сегодня и есть тот день, когда надо разделаться с пропусками, отнести к полицейскому участку и побросать их там. Весть эта вызывала и страх, и растерянность. Разве не шла речь о будущем месяце? Нет, все произойдет сегодня. Вам виднее; мы готовы, только почему вдруг изменили дату? Долой пропуска! Все к полицейскому участку! Сегодня белое правительство огласит специальное заявление. От кого исходит призыв к народу? От соперничающей организации или от признанных руководителей? А вдруг это провокация?

Одни, как обычно, поехали на работу, другие же остались дома, чтобы идти на демонстрацию. Долой пропуска! Все к участку, вернем им ненавистные бумажки!

Утро выдалось теплым, и почти весь поселок высыпал на пустырь. К полудню около участка колыхалась, бурлила, как море в прилив, огромная толпа.

Была здесь и Прачка, отложившая ради такого дела стирку. День обещал быть жарким, и она пришла с пестреньким зонтиком, пряча под ним круглое миловидное лицо.

Были здесь и старики, и дети, не пошедшие в школу; рабочие, не поехавшие в Стальной город, уставшие от драконовских законов, от рабской жизни, от глумления полиции и заносчивости десятников, от штрафов, налогов, вечного безденежья и голодухи. Женщины под зонтиками пели и раскачивались в такт, хихикали девушки, ловя взгляды молодых людей, щеголявших в черных беретах, залатанных штанах и дырявых рубахах.

Решил бастовать и Рассыльный. Он прикатил на хозяйском велосипеде. На металлической табличке, подвешенной к раме, значилось название фирмы.

Были в толпе и другие с велосипедами, все пели песни о ненавистных пропусках. Может показаться странным, но на пустыре царила праздничная атмосфера, и ближайшая лавка, «туземный магазин номер пять», бойко торговала кока-колой и имбирным пивом. Прикатил с тележкой торговец кофе и пирожками. Только небо было стальным и зловещим, несмотря на солнце, и кое-кто предсказывал грозу.

Солнце катилось к западу, народу все прибывало. Люди толкались, переминались с ноги на ногу, то и дело раздавался смех. Стоявшие сзади напирали, вставали на цыпочки и вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что происходит впереди, справляясь друг у друга, нет ли новостей. Но новостей не было. Ждали кого-то из Стального города. Он приедет и выслушает жалобы. «Долой пропуска!», «Долой дурацкие законы!» — скандировали в толпе. Звучали старинные песни сопротивления.

Но вместо «высокого официального лица» на дороге из Стального города показалась колонна легковых машин, грузовики с полицейскими и броневик. Как голодные хищники, взревели сирены, прокладывая автомобилям дорогу в толпе. Им вслед несся свист, улюлюканье, «кошачий концерт», хохот. Легковые машины с высшими полицейскими чинами и журналистами въехали во двор участка, обнесенный забором из проволоки. Грузовики и броневик расположились на пустыре посреди толпы. Любопытные облепили броневик, словно экспонат в военном музее.

Сержант понял, что допустил оплошность. Дряблое, морщинистое лицо стало похожим на морду старого сторожевого пса. Незачем было звонить в центр и сообщать о толпе, надо было действовать самому. Упущена возможность отличиться. Генерал мог бы без посторонней помощи сдержать врага, а затем обратить его в бегство. У него достаточно людей, автоматов и дубинок, чтобы справиться с этим стадом баранов. А он совершил непростительную ошибку — попросил подмоги. Прибыло начальство, и он отстранен. Кто он такой по сравнению с офицерами — жалкий низший чин!

Около двух часов пополудни был отдан приказ заряжать. Исправно защелкали автоматные и револьверные затворы. Толпа колыхалась, подымая пыль, распевала песни, скандировала лозунги.

Уголовник был тут как тут, в самой давке. Даже в карманах и сумочках бедняков можно поживиться. Он проникал всюду, как

масло, в сложный механизм толпы, не замечая путавшихся под ногами детей, улыбаясь незнакомым людям, подмигивая девушкам, расталкивая подростков. Он юркнул мимо Девочки, прибежавшей сюда из любопытства вслед за родителями, ослушавшись их запрета. Девочка ползала между ног, стараясь пролезть вперед, чтобы все увидеть.

Толпа шаталась из стороны в сторону. Сзади все напирали, в ответ неслись незлобивые крики, смех, шутливые мольбы. Стоявших впереди приперли к проволоке, ограждавшей участок. «Забирайте пропуска, они нам не нужны»,— раздался чей-то крик. Над толпой взлетели руки, сжатые в кулак, с потрепанными коричневыми книжечками. Пение, скандирование, улюлюканье, смех вспыхнули с новой силой. Жарко припекало солнце, сияя на свинцовом грозовом небе.

И вдруг ни с того ни с сего какой-то полицейский спустил курок. Хлопок выстрела утонул в шуме толпы, пении и смехе. Те, кто стоял рядом, застыли в оторопелом изумлении, из распахнутых глоток вылетел немой вопль. Потом кто-то тонко захныкал, стоявшие спереди повернули головы, толпа качнулась назад. И тут раздался нестройный залп, а за ним беспорядочная пальба. Толпа взорвалась, потрескалась, разлетелась на куски, разбегаясь во все стороны, куда глаза глядят, спотыкаясь, падая, прочь от дымящихся ружей; в широко раскрытых глазах — ужас, растерянность. Кто-то нелепо хихикнул, решив, что это всего лишь предупредительный холостой выстрел. И снова залп, как металлическая барабанная дробь. Стреляли со ступеней участка, с грузовиков, из башни броневика. Бронзовые гильзы, изрыгнув смерть, сверкая падали наземь.

После залпа настала мертвая тишина. Даже не лаяли собаки в поселке. На пустыре, в пыльных проулках, суливших спасение, валялись мертвые и умирающие, как бревна, выброшенные на берег прибоем. Тяжелая, давящая, невыносимая тишина. Потом раздались стоны раненых, призывы о помощи. Те, кто уцелел, ошеломленные и взволнованные, вернулись за мертвыми и искалеченными.

Черный священник склонился над раненым, лежавшим в луже крови; тут же копошился годовалый малыш в перепачканной кровью одежонке.

Полицейские шагали сомкнутым рядом по трупам и раненым, репортеры щелкали фотоаппаратами. Полисмены, стрелявшие из участка, отворачивались друг от друга, глядели на пустырь ничего не выражавшими глазами, только на лицах черных констеблей отразились смущение и стыд. Сержант дозванивался до «скорой помощи» насчет докторов, плазмы и всего, что требуется после тяжелого боя.

Трупы сложили штабелями под горячим солнцем, рядом валялись бутылки из-под прохладительных напитков, растрепанные пропуска, ботинки, порванные зонтики—обломки жизни и смерти. Среди мертвых была и Прачка. Пулеметная очередь, настигнув ее, прошила большие уютные бедра, вспоров артерии. Она скончалась от потери крови, подмяв под себя свой зонтик, лежа рядом с оставленным кем-то автомобилем.

Девочка лежала ничком, и ран не было видно. Ее перевернули на спину, и только тут заметили выходное отверстие от крупнокалиберного патрона в узкой грудке. Личико было спокойным и безмятежным, казалось, будто она спит и видит во сне далекие страны.

Уголовник умирал долго, рыча на тех, кто пытался оказать ему помощь. Жизнь, булькая и пенясь, вырывалась изо рта и аккуратных дырочек в спине, оставленных длинной автоматной очередью.

Рассыльный умер мгновенно, неуклюже распластавшись на опрокинутом велосипеде, осколки позвоночника пронзили его сердце и легкие. Брючный зажим застрял в колесных спицах.

Живые двигались как тени среди мертвых, умирающих, раненых, отыскивая своих близких. Небо хмуро зарокотало и пролилось первыми увесистыми каплями. Ударил гром, как артиллерийская канонада, и на землю хлынул дождь, перемешиваясь с кровью.

X

Бейкса снова одолевала дремота, будто и не отдыхал у Томми. Что значит привычка спать по ночам, рассуждал он про себя,— прямо как у павловских собак, где-то он об этом читал. Кроме того, давала себя знать усталость: гудели ноги, обутые в тяжелые ботинки. Хоть садись на тротуар и растирай натруженные колени. Автобус увез его в сторону от последнего адреса, пришлось долго топать пешком.

Зевая, Бейкс полез за сигаретой. Рука наткнулась на что-то шероховатое, рассыпчатое: печенье, которое он безотчетно сунул в карман у Флотмена. Стоя на тускло освещенном перекрестке, Бейкс ломал пальцами хрупкий кругляшок, перебирая крошки, как бусинки четок. Он был похож на заблудившегося странника, оберегая дешевый картонный чемоданчик так, будто в нем все его достояние. Ночной город вымер, жители словно покинули его, спасаясь от космического мрака, побросав все: темные дома с холодными окнами, погнутый столбик с дорожным указателем, замерший у тротуара автомобиль, тощую кошку, перебегавшую мостовую. Она с любопытством оглянулась на Бейкса, а потом скрылась из виду. На черном бескрайнем небосклоне сквозь редкие обрывки облаков холодно мерцали звезды.

За углом на горке был дом Айзека, неприметный и днем, совсем затерявшийся ночью. Потрескавшиеся ступени, облезлые двойные двери, большие окна с грубо сколоченными ставнями, прохудившиеся водосточные трубы. Айзек жил здесь с матерью и сестренкой. Бейкс не помнил точно расположения комнат, в памяти всплывала только пыль на пианино, замусоленная нотная тетрадь, раскрытая на «Хоре макавеев», портрет одного из лидеров, отбывающего пожизненное заключение.

Чемоданчик заметно полегчал — в нем уже почти ничего не было. Бейкс сошел с тротуара и, превозмогая усталость, пересек улицу осторожной походкой человека, привыкшего скрываться, научившегося избегать открытых пространств, умеющего растворяться в толпе. Одинокий прохожий на пустынной улице подобен египетской пирамиде, в толпе же он никто, слабый голосок в громадном хоре. Бейкс жался к стенам, крался в глубокой тени, то и дело озираясь. Лишь бы Айзек оказался дома.

Но не прошел он и нескольких ярдов от угла, как его тихо позвали из затемненного подъезда. Какую-то долю секунды в ушах звучал голос агента секретной полиции, леденящий душу, циничный, злорадный, торжествующий. По спине забегали мурашки. На самом же деле́ это был детский голосок, вернее, девичий шепот. Заглянув в подъезд, Бейкс различил расплывчатое бледное пятно, а на нем беспокойные, широко раскрытые глаза, очертания школьного форменного платьица. Словно чудом уцелевшая от эпидемии кромешной тьмы, девчушка шептала, прижимая ручки к хрупкой груди:

— Мистер Бейкс, мистер Бейкс, это вы?

Он нагнулся к самому ее лицу.

— Ага, ты ведь сестра Айзека, верно? — зашептал и он.— Что стряслось?

Бейкс не сомневался — что-то случилось. Они стояли в темном подъезде, прижавшись друг к другу, и со стороны их можно было принять за влюбленных. Он слышал ее учащенное дыхание.

— Что с Айзеком?

— Не знаю, мистер Бейкс.— От девчушки, которой не терпелось стать взрослой, пахло дешевыми духами и губной помадой.— Айзек с работы не вернулся, а вечером позвонил в соседнюю лавку и приказал мне караулить вас. Просил передать, что за ним слежка и потому он домой не придет. Потом к нам нагрянула полиция, перевернула все вверх дном. Они искали Айзека и кричали на маму. Но мы и сами не знаем, где он,— выпалила она, не переводя дыхания, как корабельный радист, судорожно выстукивающий сигнал бедствия.

Бейкса прошиб холодный пот. Как это они докопались до Айка? Шпики стали вездесущими. Бейкс высунул голову из подъезда и посмотрел из конца в конец темной улицы. Видно, в ячейку Айзека затесался болтун или провокатор.

— Больше ничего он не просил передать?

— Ничего, мистер Бейкс.

Должно быть, Айк не успел справиться, на свободе ли его товарищи. Заметил за собой слежку и решил сразу скрыться. Шпики поторопились и выдали себя. Им бы подождать — застукали бы Айка вместе с Бейксом и листовками. Вот было бы громкое дело. Стало быть, про Бейкса они пока не знают. Айзек их заинтересовал в другой связи. Так, наверно, и не выяснится, кто его выдал, с горечью подумал Бейкс, стоя в темном подъезде с девчушкой, ни дать ни взять — растлитель малолетних. Конспирация ни к черту! Вот даже сестра Айка его знает. Подумать страшно, что будет, окажись малютка в руках агентов из Бюро государственной безопасности...

— Айк не говорил, что свяжется со мной? — спросил Бейкс, но тут же вспомнил, что при всем желании Айзек не может этого сделать. Бейкс сам его отыскивал, когда бывало необходимо.

Девчушка явно нервничала, словно чувствовала себя виноватой, что не может ничего больше сообщить Бейксу.

— Ну спасибо тебе за все,— улыбнулся Бейкс.— Сколько же ты меня прождала?

— Не стоит благодарности, мистер Бейкс. Мама велела обязательно вас дождаться. А теперь я пойду, ладно?

— Конечно,— ответил он и спросил с улыбкой: — Ты все еще играешь на пианино?

— Играю,— она застенчиво улыбнулась.— Скоро у нас экзамены.

— Желаю удачи. Тебе давно пора домой. Извини за беспокойство.

— Доброй ночи, мистер Бейкс.

Она выскользнула на улицу, оставив в подъезде слабый запах косметики. Он глядел ей вслед. Тонкая фигурка карабкалась вверх, стуча каблучками по тротуару.

«Еще ребенок совсем, а уже духи и туфли на «шпильках»,— пришло в голову Бейксу. Он еще некоторое время постоял в подъезде, сжимая ручку чемоданчика, катая в свободной ладони прилипшие крупинки сахара.

XI

В вестибюле конторы нефтяной компании, в будке из стекла и красного дерева дежурила у телефонов женщина с вытравленными перекисью волосами и размалеванным лицом восковой куклы, по оплошности оставленной у огня. За ее спиной, высоко на стене красовался бородатый король Саудовской Аравии, взиравший с легкой усмешкой на происходящее; изогнутый кинжал на кушаке отражался в стекле, лежавшем на столе для посетителей. Стол украшала ваза с цветами, через широкое окно с тяжелыми бархатными шторами сюда, на восьмой этаж, едва долетал шум уличного движения. Влево и вправо от аравийского короля и искусственной блондинки, в глубь здания убегали прохладные коридоры с навощенным паркетом и ультрамодными панелями.

Айзек понимал, что ему не миновать засады. Вечно этой телефонистке что-нибудь нужно: то пошлет за кремовым пирожным — на фигуру она рукой махнула; то передаст записку приятельнице в машбюро; то отправит за второй порцией сахара к чаю. Она полагала, что цветные, служившие мальчиками на побегушках в этой американской фирме, для того и существуют, чтобы выполнять ее прихоти. Все, в том числе и белые сотрудники, считали ее занудой. Но ее пост находился в таком месте, что мало кому удавалось улизнуть. Особенно же доставалось боям.

Шагая по коридору в белой куртке со значком фирмы на нагрудном кармашке, Айзек ждал, что вот-вот захлопнется капкан.

— О, Айзек, гм-гм, не принесете ли мне...

Айзек нахмурился.

— Меня вызвали в кабинет управляющего, мисс Берроуз,— солгал он не моргнув глазом,— дело весьма срочное.

— Тогда на обратном пути,— плаксиво настаивала телефонистка.— Или передайте мое поручение другому бою. Пусть кто-нибудь сходит за сельтерской водой.

— Слушаюсь, мисс,— ответил Айзек на ходу.

«Бой, бой, бой,— застучало у него в голове,— тебе хоть сто лет, раз ты черный — для них ты бой. Эта стерва вчера опять нализалась, каждый вечер торчит в барах». На самом деле он шел к машинисткам за работой для начальника отдела жидкого топлива. «Гарем,— подумал он про машбюро,— впрочем, даже королю Саудовской Аравии, несмотря на все его богатство, вряд ли удалось бы отведать прелестей этих представительниц высшей расы. Для них он прежде всего «черномазый».

Из кабинета показался мужчина, розовый и гладкий, как земляничное желе, в аккуратном сером костюме, под мышкой — папка с надписью «Оптовые сделки». Он прошел мимо Айзека, не удостоив боя взглядом. «Мистер Бледди Коумз,— усмехнулся про себя Айзек,— всего-навсего клерк второго класса, а держит себя, словно сам господь бог...»

Дойдя до машбюро, он распахнул дверь. Дробный стук машинок встретил его беглой ружейной пальбой. В большой комнате сидели рядами элегантные, ухоженные, главным образом молоденькие женщины, источая невообразимый запах духов, пудры и всевозможных притираний. Никто даже не поднял головы, словно Айзека не существовало. Боев замечали лишь в том случае, если надо было им дать поручение. В иное время они были частью обстановки, такими же неодушевленными предметами, как серые чехлы машинок, деревянная вешалка, флакончики с жидкостью для исправления опечаток, копи-

ровальная бумага. Айзек шел словно сквозь строй, мимо выставленных для обозрения ног в нейлоновых чулках, покрытых лаком причесок, ярко накрашенных губ. Девушка, печатавшая работу для отдела жидкого топлива, не взглянула на него. Папка с отпечатанными письмами лежала на краю стола, готовая для отправки. Айзек был чужим в этом мире квалифицированного труда и месячного жалованья. Цветные приезжали в город, объявленный «белым», по утрам, чтобы выполнять тяжелую работу, а вечером возвращались в свои локации, поселки, гетто. Не для них были рестораны, отели, многоэтажные дома, живописные сады, залитые солнцем пляжи, чай на веранде, коктейли в сверкавших пластмассой и хромом барах.

— Можешь себе представить,— тараторила гладко прилизанная рыжая толстушка,— она давно этим занималась, сыпала каждый день понемногу. В газете написано, что у мужа начались рвоты.

— Ужас! — воскликнула тощая девица с бледным изможденным лицом, покрытым несколькими слоями туши и румян.— Говорят, его доктор решил, что это разновидность полиомиелита... Как будто бы время чая.

Подхватив папку, Айзек вышел в коридор. Едва за ним захлопнулась дверь, как тощая девица оторвалась от работы.

— Разве это был не бой из буфетной? — спросила она, постукивая кончиком карандаша по передним зубам.

— Кстати, о мужьях,— вступила в разговор старшая машинистка,— в конце месяца у Изабел свадьба. Будут, конечно, собирать на подарок.

— У какой Изабел, из бухгалтерии?

— Если она никого не позовет, мы не обязаны давать деньги...

Начальник отдела жидкого топлива посмотрел вслед выходящему из его кабинета Айзеку и внезапно вспомнил, что скоро пикник, который каждый год устраивает компания в Загородном клубе. Ему, как секретарю подготовительного комитета, надо договориться с боями, чтобы они взялись разносить бутерброды и напитки и мыть стаканы. Загородный клуб не мог предоставить своих официантов. В голове начальника бочки с жидким топливом отошли назад, уступив место сандвичам, ящикам с кока-колой и пивом, соображениям насчет партнеров для гольфа. Ковыряя выскочивший на лысине прыщ, он записывал себе в книжечку: «Пикник. Договориться с боями. Десять шиллингов за весь день». Им еще достанется добрая половина бутербродов с анчоусами и семгой, для них это неслыханная роскошь. Но того, что сейчас принес от машинистки письма, он не позовет: отвратный тип, вечно недовольная рожа, отпускает замечания о равенстве, осмеливается просить надбавку. Пучеглазый негритос! Другие бои знают свое место. Понятно, с ними тоже надо уметь обходиться, не так, как эти экстремисты в правительстве. Тогда можно рассчитывать на ответное уважение. В прошлый раз были жалобы, что бои скалят зубы при виде женщин в купальниках. Предупредить их, чтоб больше этого не было, размышлял начальник, рассеянно теребя свой прыщ.

Из отдела жидкого топлива Айзек отправился в буфетную по заднему коридору, чтобы не напороться на телефонистку. В буфетной пожилая женщина уставляла чашками и блюдцами столик на колесиках, суетясь около большущего кипятильника, который уже урчал. Еще один рассыльный в белой куртке, сидя в уголке за столиком, ел сандвич. Перед ним лежала горка разнокалиберных конвертов. Он улыбнулся Айзеку и помахал рукой.

— Как дела, мистер Айк? Что скажешь хорошего?

— Привет, Сэм,— откликнулся Айзек и повернулся к женщине.— Есть надежда получить чашечку чаю раньше великих белых отцов?

— Наливай себе сам,— буркнула женщина, вытирая пот с подбородка.— Здесь как в печке.

— Да и снаружи не лучше,— промычал Сэм, жуя хлеб с колбасой.— Совсем худо с ногами. Старый павиан из экспедиции сунул мне эту груду писем, я должен разнести их по всему городу. Говорю ему — можно ведь отправить по почте. И знаешь, что он ответил? Разнести дешевле! А у меня ноги отнимаются.

— Попроси хозяев — пусть тебе мотоцикл купят,— пошутил Айзек, наливая чай.— Смотри не попадись нашей королеве-матери. Заставит все бросить и бежать за сельтерской — у нее башка трещит с похмелья.

— Я бы ей принес не сельтерской, а слабительного,— зашипел Сэм.— Слушай, Айк, давай в обед в картишки перекинемся.

— К черту,— Айзек присел к столу,— делать мне больше нечего!

— Эх, Айки, старичок,— вздохнул Сэм, помешивая чай,— ты же не можешь, как бывало, повести нас на площадь послушать ораторов. Собрания запрещены, ведь верно? Что же остается? Играешь ты как бог, а нам не хватает партнера.

— Ну ладно,— Айзек ухмыльнулся и покачал головой. Он пил чай, водя карандашом по закапанной бумажной скатерти. Большегубый, с вытаращенными, вечно изумленными глазами, он чем-то нравился людям, умел расположить к себе окружающих. Про него говорили: «Котелок варит». Он знал многое такое, что обычно сокрыто от людей его круга. Кроме того, он был смельчаком и никому не спускал малейшей нечестности или несправедливости. В буфетной трудно было дышать от жары и пара. «Нельзя же вечно раболепствовать перед этими безмозглыми идиотами,— думал Айзек,— возомнили себя богоизбранниками, видите ли, кожа у них белая! Глупцы, свято верят в систему, которая обречена, и погибнут вместе с нею. Встали на сторону тирании ради жалких крох неправедной власти и временных привилегий, которые им перепадают. Но уже виднеется надпись на стене! Они тщатся замазать ее кровью либо зарывают голову в песок, притворяясь, будто ничего не происходит. Дорого же придется заплатить им за свое безрассудство!» Айзеку даже было жаль этих мстительных, корыстных и ничтожных людишек, уверовавших, что они принадлежат к высшей расе, что умение мыслить — их исключительная монополия.

Открылась дверь, и Айзек очнулся. Вошел юноша в белой куртке рассыльного.

— Чай готов, миссис Вильямс? Чертовы бабы раскудахтались. Говорят, что мы опаздываем на пять минут.

— Все бы им брюзжать,— вздохнула женщина,— у человека только две руки. Увози первую порцию.

— Давай пошевеливайся,— шутливо прикрикнул Айзек,— босс не станет ждать!

Он набрасывал контуры винтовки на заляпанной бумаге, с удовольствием потягивая чай. Юноша тем временем толкал столик на колесиках в сторону двери. Айзек пририсовал к винтовке вместительный магазин, и она превратилась в ручной пулемет.

— Слушай, Янни,— окликнул он юношу,— если эта дура-телефонистка спросит, где я, скажи, что в сортире.

— Хорошо, Айк, так и скажу.

Ян наконец обуздал столик и выкатил его в коридор, останавливаясь у каждой двери и занося в кабинеты чай. В машбюро он въехал прямо со столиком. Перестук сразу смолк, словно воюющие стороны прекратили огонь. Зашелестели газеты, раскрылись журналы, появились зеркальца и косметика.

Одна девушка прочла вслух соседке: «...обвиняемая толкнула ослабевшего мужчину в грудь, и он плюхнулся на кровать. Накинув ему на шею веревку, она потянула обеими руками, и он распластался поперек кровати...»

— Что же он ее не стукнул? — изумилась соседка, принимаясь за чай.— Почему не сопротивлялся?

— Слишком ослабел,— вмешалась третья девушка,— ведь она его мышьяком травила.

— Слушайте дальше,— сказала первая.— «Обвиняемая туго затянула веревку, и у ее жертвы начались конвульсии».

— Кошмар, как она могла?..

Янни выехал со столиком в коридор, а в машбюро накрашенные губки еще долго судили и рядили по поводу нашумевшего убийства. Оставалось развезти чай в два кабинета. В этот момент негромко загудели дверцы лифта, из него вышли двое белых. Они направились к телефонистке в стеклянном кубе под портретом аравийского короля.

Оба были высоченные, с красными лицами, один тяжелый и плотный, другой тощий, с длинным носом и рыжеватыми усами. Первый был в костюме и фетровой шляпе, второй — в неброском спортивном пиджаке и фланелевых брюках. При виде их в Яне проснулся старый инстинкт обитателя трущоб: эти люди не имеют ни малейшего отношения к закупкам нефти или хранению железной тары. Воображение рисовало их за длинным барьером, а на нем — распахнутая регистрационная книга арестов и приводов. Под пиджаками на поясе слегка оттопыривались револьверы в кобурах.

Плотный мужчина снял шляпу и с улыбкой кивнул изнуренной блондинке. Он заговорил по-английски неуклюже, с сильным акцентом, выдававшим бура.

— Доброе утро, мадам. Нельзя ли повидаться с секретарем компании? Я сержант Ван Зил, а это инспектор Гроббелар.

Красное лицо хищно улыбалось белыми зубами, как раскрытая западня. Голубые глаза походили на замерзшие капельки морской воды.

Янни разнес оставшиеся чашки, и, когда вернулся в коридор, мужчин в приемной уже не было, а блондинка что-то говорила в телефон. Янни слышал, как сержант назвал себя, но и без того было ясно, кто это такие. Он быстро зашагал по коридору, катя перед собой столик, торопясь поделиться новостью в буфетной.

— Где ты пропадал? — набросилась на него женщина, когда он появился в дверях.

— Не дольше обычного, это же не велосипед, не так-то легко управиться с чертовой колымагой.

Женщина расставляла на столике полные чашки, а Ян тем временем выкладывал новость Сэму и Айзеку.

— Полиция. Они говорили с мисс Берроуз. Какого дьявола им здесь нужно? Может, кто-то проворовался на нефтехранилище? «Доброе утро, эй, я есть сершант Ван Зил, эй, где ваш патент на торгофлю спиртным?» — передразнил Ян полисмена и громко рассмеялся. Потом добавил серьезно: — Все-таки что этим гадам нужно?

Айзек успел изобразить на бумаге целый арсенал самого невероятного оружия. Выслушав Яна, он даже не поднял головы, но сердце ушло в пятки, лицо покрылось гусиной кожей. Мгновенным усилием воли Айзек подавил паническую нервозность, не спеша закончил очередной рисунок — вышло нечто среднее между обрезом и лазерной пушкой,— спрятал карандаш в карман куртки, поднялся, подошел

к платяному шкафу в углу, открыл створку, снял форменную куртку, надел свой пиджак.

— Ты куда, Айк? — спросил Сэм, наблюдая за ним.— Подожди, выйдем вместе.

— Нет, я тороплюсь.

— Купи мне сигарет,— попросила женщина и полезла в карман фартука за кошельком.

— Извини, не смогу. Я вернусь не скоро.

Он пригладил пятерней волосы и помахал сослуживцам:

— Пока!...

«Кто-то в ячейке проговорился,— лихорадочно соображал он, выходя из буфетной,— иначе бы им ни в жизнь не докопаться». Он спустился по черной лестнице на два этажа, вышел на галерею, ведущую в соседнее здание, прошмыгнул мимо приемной зубного техника. кабинета консультанта по подоходному налогу, помещений бухгалтерской фирмы. Впереди показался человек без пиджака, направлявшийся к туалету. Скользнув по Айзеку рассеянным взглядом, он скрылся за дверью, откуда доносился шум спускаемой воды. Наконец Айк очутился у главной лестницы и, не дожидаясь лифта, сбежал вниз.

Он вышел на шумную городскую улицу, и на него обрушилась летняя жара. Знойный воздух танцевал над металлическими крышами автомобилей. Айзек зажмурился, ослепленный ярким солнечным светом. Придя в себя, он различил впереди группу цветных и черных рабочих, стаскивавших с грузовика контейнер. На другой стороне полисмен проверял стояночные автоматы. Обычная уличная суета и гам.

Он ступил на мостовую, увертываясь от машин. Никто его не окликнул, не остановил. Добравшись до противоположного тротуара, он испытал облегчение, словно вышел из тыла противника. Под влиянием опасности нервозность сменилась осмотрительностью, неуверенность обернулась отвагой. Он сжег все корабли, ему сделалось легко, ноги сами несли вперед.

Высоко над ним проревел реактивный истребитель, оставив на голубой коже неба белые шрамы выхлопных газов. Айзек, задрав голову, следил за самолетом, пока тот не исчез из виду. «Французский «мираж»,— подумал он.— Они вооружены до зубов. Как их одолеть?» Вспомнил всеобщий день протеста. Стоя у окна, он видел «сарацины», бронетранспортеры, грузовики на дороге в черные пролетарские районы. Приземистые, уродливые, как доисторические насекомые, грозные, ощерившиеся оружием. Полицейским патрулям раздали дубинки. Избивали поголовно черных и цветных, встречавшихся на улицах; считалось, что все они забастовщики. С того дня Айзек увлекся военной наукой и партизанской тактикой. Он проглатывал книги по истории и ввезенные тайком партизанские учебники, досконально разбирая рисунки и чертежи огнестрельного оружия. Он знал назубок устройство израильских автоматов «мэгнам» и «узи». В Южной Африке производится автоматическая винтовка калибра 7,62 миллиметра, усовершенствованный вариант стандартного натовского образца ФН. Ее изготовляют в огромном количестве по лицензии бельгийской фирмы «Фабрик насьональ». Существуют и другие виды автоматического оружия, делающие до тысячи выстрелов в минуту. Айзек был знаком также с ленточными магазинами, 82-миллиметровыми минометами, гранатометами и базуками. Голова была забита разнообразными сведениями из технических книг. Как возлюбленный о встрече с любимой, мечтал он о времени, когда сможет применить свои познания на деле. Что-то новое, вызывающее появилось в его облике. В будничном рабочем пиджаке, мешковатых

штанах, стоптанных башмаках, с непрестанным изумлением в глазах он скорее походил на молодого неудачника, только что получившего наследство, чем на будущего партизана.

Как же предупредить Бьюка, что он ударился в бега? — подумал Айзек, возвращаясь к действительности. Ведь у них односторонняя связь. «Кто же, черт возьми, предал? — спрашивал он себя.— В ячейке есть, должно быть, провокатор. Полицейские наверняка и его арестуют, чтобы замести следы». Нервозность и беспокойство снова заползали в душу. Айзек передернул крепкими плечами в потертом пиджаке, гоня их прочь.

Пройдя пешком несколько кварталов, он остановился. Подъехал автобус, Айзек забрался наверх, в салон для цветных, и уплатил за проезд до конца. Одиноко сидя у окна, он глядел на проплывающий мимо город.

XII

Сидя на краю бетонной койки, Элиас Текване уминал жесткий табак в чашечке своей трубки. Потом чиркнул спичкой и припал губами к черенку, пока трубка не разгорелась и не заклубился дым. Запах дешевого табака не заглушил других «ароматов», витавших в крошечной душной комнатенке, где жило четверо мужчин. Тут все пропахло потом, подгоревшим луком, заношенной одеждой, протухшей едой, нестираными носками, прогорклым маслом — густая, тошнотворная, стойкая вонища. Единственное оконце под потолком никогда не открывалось, и дверь целый день была заперта, пока жильцы отсутствовали.

Он сидел пригнувшись, подавшись вперед — верхняя полка не позволяла поднять головы. Держа трубку в крепких белых зубах, он зашнуровывал ботинки, ловко орудуя толстыми пальцами с нестрижеными ногтями. На верхней полке напротив громко храпел мужчина в одних шортах, грузное темно-коричневое тело лоснилось от пота, словно покрытое тонким слоем смазки. Одна рука свешивалась с койки, на могучем запястье поблескивали тонкие браслеты из медной проволоки. Он был неподвижен, только мерно вздымалась грудь.

Покончив с ботинками, голый по пояс Элиас вышел в коридор, выложенный камнем, и отправился в конец открытой галереи к умывальной. Она представляла собой отгороженную клетушку с раковиной. Из нее поломанная дверь с одной уцелевшей створкой вела в смрадную уборную. Он сполоснулся под краном и, вытираясь дырявым полотенцем, пошел назад.

Вдоль коридора тянулись такие же, как и его, комнатушки. Двери кое-где были приоткрыты: за одной мужской голос напевал народную песню, в другой комнате грохотали о стол костяшки домино, в третьей грустно звучала гармоника. На галерее было попрохладней — солнце еще не достигло этой стороны барака, хотя поселок уже трясся и корчился в кадмиево-желтом пламени, как герои старой киноленты.

Вернувшись к себе, Элиас распахнул обитый жестью сундучок, отыскал чистую рубашку цвета хаки и натянул ее через голову, так и не выпуская трубки изо рта. Воздух в комнате был плотный и теплый. В углах, где стояли керосинки — на них готовили, ими обогревались,— стены почернели от копоти. Тут же хранились помятые, закоптелые кастрюли, железные кружки, погнутые ножи и вилки.

«Эх-хе-хе,— думал Элиас, заправляя подол рубашки в брюки,— тебе за сорок, а ютишься в холостяцком общежитии; пора обзаве-

стись семьей. Это противоестественно и вопреки обычаю — не иметь жены». Впрочем, что бы изменилось, будь он женат? С ним в комнате жили и семейные люди, но родным не позволяли приехать в город. Власти считали их холостяками и определили в этот барак.

Расчесывая короткие курчавые волосы перед осколком зеркала, приделанным к двери, он вдруг вспомнил девушку, с которой встречался много лет назад.

В поселке тогда были одни лачуги, сколоченные из листового железа. Зимой в них было холодно, летом нестерпимо жарко, улицы немощеные, неасфальтированные. Узкой полоской прилепились трущобы к городской окраине, точно заноза или нарыв. Тут воняло гнилью, стоячей водой, но постепенно привыкаешь ко всему: к лужам омерзительной жижи, к испражнениям детей и животных, превращавшим тропинки в минные поля. Нищета обволакивала все залатанным смердящим покровом, всюду — гниение, упадок, тлен. Та девушка была чуть старше его. Должно быть, Элиас был в нее влюблен. Потом они долго не виделись, а когда встретились, у нее на руках был ребенок, завернутый в тряпье, он громко плакал, у него текло из носа. Она и сама была в лохмотьях, но ни на что не жаловалась.

На месте железных лачуг и жидкой грязи выросли ряды кирпичных бараков. По-прежнему в них было холодно зимой и душно летом. Что было, то было, вздохнула она. Нет, денег она не возьмет. Отец ребенка изредка навещает их, не дает умереть с голоду.

Давно все это было, думал с болью и горечью Элиас, доставая старый кожаный пиджак с обтрепавшимися рукавами. Он снова вышел в коридор, заперев спящего соседа. Пятый десяток пошел, но, несмотря ни на что, в нем не угас интерес к жизни. А по пропуску судя, ему уже все пятьдесят. Это прихоть глупого писаря, оформлявшего документ. Тебе могут всучить любое имя и возраст, будто шляпу или пиджак с витрины магазина готового платья...

Элиас отчетливо помнил тот день. Контора комиссара по делам туземцев в его родном городке помещалась в одноэтажном здании с ржавой железной кровлей и бурыми стенами. Водосток над верандой прохудился, в сезон дождей из него хлестала вода, прорывшая воронку в земле у входа. За пыльным окном виднелась стена, заклеенная плакатами департамента по делам цветных и засиженными мухами объявлениями с четким текстом на трех языках, отпечатанным на машинке. Как обычно, в тот день у крыльца толпились люди, но пропуска выдавались на заднем дворе, куда вели покосившиеся воротца. Под навесом стоял длинный стол, за которым колдовали двое белых без пиджаков и писарь-африканец. Черный полисмен в шлеме и бриджах дремал на скамье, как бы выказывая свое пренебрежение к мужчинам и юношам в очереди, вытянувшейся вдоль задней стены дома. Одни переминались с ноги на ногу, другие сидели на корточках, и писарь вызывал их по одному.

— Целый день здесь проторчим,— вздохнул мужчина, стоявший впереди Элиаса.— Мне в город нужно, на похороны — брат отправился к предкам,— но наверняка опоздаю. Глупость несусветная!

— Нами правит свора гиен,— поддержал его кто-то.

Тот, кто торопился на похороны, набил трубку табаком крупной сечки, зажег спичку и запыхтел, пуская клубы терпкого дыма. Когда трубка разгорелась, он сплюнул сквозь зубы и обратился к Элиасу:

— А ты куда собрался, сынок?

— В город, дядя. Еду на работу устраиваться.

— Тебе уже лет достаточно? — недоверчиво спросил мужчина с трубкой.— Ну а как матушка?

— Ничего, стареет вот только.

— Все юнцы так говорят о старших,— мужчина настроился поболтать, но тут его вызвал писарь. Кивнув Элиасу, он засеменил к столу. На нем был драный пиджак и сандалии из автомобильных покрышек.

Люди в очереди терпеливо ждали на припеке. Солнце медленно передвигалось по двору, толкая впереди себя тень от дома. Элиас закрыл глаза, силясь вообразить героев полюбившейся ему книги — отважных воинов, сражавшихся в знаменитых битвах. В памяти всплыли рассказы деревенских стариков о том, как воевали предки. Он тоже будет воином, сразится с теми, кто живет в их стране, но ведет себя хуже чужеземцев; с шакалами и стервятниками, обидчиками старух. Элиас видел поднятые над головой копья, щиты из воловьей шкуры, слышал улюлюканье женщин и топот бегущих ног. Это улепетывал Вассерман, обзывавший Элиаса «черной макакой», и другие белые. Элиас хотел засвистеть им вслед, но тут кто-то крикнул у него над ухом:

— Эгей, да ты спишь!

Юноша вскочил на ноги и упругим уверенным шагом направился к столу, укрепленному на козлах. Оба белых чиновника, рывшиеся в бумагах, не удостоили его внимания. Элиас немного опешил, не зная, к кому из них обратиться.

Писарь-африканец в красных подтяжках устало сказал:

— Ну, мальчик, пришло время становиться человеком.

— Человеком? — нахмурился Элиас.

— Именно! — подтвердил Красные Подтяжки.— Какой же ты человек без паспорта? Благодарение белым начальникам, сколько они делают для нас!

В усталом голосе и покрасневших глазах сквозила циничная усмешка. Писарь откинулся в своем складном кресле и толстыми пальцами, похожими на жареные сосиски, заиграл подтяжками, натягивая и отпуская их, как тетиву лука.

— Хватит болтать, приятель,— поднял на него глаза белый чиновник.— Работа не ждет.

Красные Подтяжки подмигнул Элиасу, доставая отпечатанный бланк. Юноша, переминаясь с ноги на ногу, глядел на писаря, смутно сознавая, что этот человек с утомленным лицом и прокуренной улыбкой зло дразнит его, играет, будто кошка с мышкой,— легкие пинки и похлопывания как бы в шутку, но каждый игривый удар приближает конец.

Красные Подтяжки вертел в руках карандаш, постукивая кончиком по зубам. Второй чиновник оторвался от бумаг, закурил и снова взялся за перо.

Красные Подтяжки сказал отрывисто:

— Показывай контракт с нанимателем. Так. Твое имя?

Элиас назвал себя.

— Как зовут твоего отца?

— Он умер.

— Тебя не спрашивают об этом. Его имя?

Элиас ответил.

— А мать как зовут? Имя вашего вождя?

— Не думал, что это понадобится. Он живет далеко отсюда.

— Дурак! — гаркнул Красные Подтяжки. — Несчастный дурак. Могу поспорить, ты добром не кончишь. Как зовут вашего старосту? Ведь есть же в деревне староста?

Писарь заполнял бланк корявым почерком.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.— Вопросы злили Элиаса. Зачем все это? Есть у человека имя, отец, мать, предки. Разве недостаточно?

— Ты меня не дурачь,— недоверчиво покосился писарь.— Такая борода в семнадцать лет!

— Что происходит? — встрепенулся белый чиновник.

— Да вот утверждает, что ему семнадцать, баас,— подобострастно ответил Красные Подтяжки.

— Врет, подлец. Все они лгуны,— вступил второй чиновник.— Вон какой дылда.

— И я как раз так считаю,— залебезил Красные Подтяжки, ободренный поддержкой начальства.

— Ну, это легко проверить,— сказал первый чиновник, уставясь через стол на Элиаса.— А ну снимай штаны, болван!

Элиас вздрогнул, смутился, не веря своим ушам, вытаращив глаза от изумления. Чиновник нетерпеливо прикрикнул:

— Ты что, не слышишь? Кому говорят — снимай штаны!

Элиас перевел глаза на Красные Подтяжки, чувствуя, как кровь прихлынула к лицу.

— Делай, как велит баас,— со смехом сказал писарь, тыча пальцем себе в талию.— Расстегивай ремень!

Сгорая от стыда, Элиас дрожащими руками приспустил ветхие брюки. Красные Подтяжки перегнулся через стол и, скаля зубы, приподнял подол рубахи концом карандаша.

— Он уже прошел обряд,— доложил сквозь смех писарь.— Какие уж там семнадцать! Ручаюсь, мерзавцу не меньше двадцати.

— Поди не одну девчонку испортил,— сострил первый чиновник.— Запиши: двадцать лет.

— Слушаюсь, баас,— отчеканил Красные Подтяжки и повернулся к Элиасу.— Хватит, насмотрелись. Можешь надеть штаны.

— Мне семнадцать, семнадцать, семнадцать,— твердил смущенный Элиас, натягивая брюки.

— Двадцать,— отрезал писарь.— Баас сказал двадцать, значит двадцать.

Он злорадно ухмыльнулся и вписал возраст Элиаса в бланк. Элиас понурясь разглядывал свои запыленные ступни. Лицо у него горело от стыда, грудь распирала ярость.

Потом его послали в дом, в контору комиссара, где на скамье у барьера ожидали своей очереди другие оборванцы. Элиас опустился на краешек скамьи, молча переживая свою обиду. Время ползло по стенам, по объявлениям, приколотым ржавыми кнопками. Наконец за барьером распахнулась дверь и появился краснощекий толстяк в тесном жилете со строгой золотой цепочкой на животе, будто необходимой для того, чтобы не вываливались внутренности. Он поглядел поверх очков на африканца, который поднялся со скамьи и шаркая подошел к барьеру, пыхтя длинной трубкой.

— Эй, погаси немедленно эту гадость,— гаркнул толстяк,— тут тебе не крааль, ублюдок!

Держа стопку бланков в розовой ладони, он принялся выкрикивать имена...

«Так вот и сделали меня старше, чем я есть на самом деле,— с невеселой улыбкой вспоминал Элиас.— Все они решают за нас, даже то, сколько кому жить на белом свете. Захотят — и прикончат, если не пулей и веревкой, то просто росчерком пера. И нет человека, будто и не жил никогда. Прямо карточный фокус!»

На улице пекло невыносимо. Накинув пиджак на одно плечо, Элиас побрел по поселку к отдаленной пивной.

На песчаном пустыре толстые женщины, укрепив доски на боч-

ках из-под бензина, торговали требухой с местной скотобойни. Бараньи головы, горы внутренностей, розовые куски печени, рдеющие на солнце. Торговки лениво гоняли эскадрильи мух, пикировавшие на прилавки. Рядом в четырехгаллонных канистрах варили початки кукурузы, дым поднимался от жаровен столбом, словно от жертвенного костра. Уличные парикмахеры стригли потных клиентов с обнаженными торсами, ножницы тускло поблескивали в острых как бритва солнечных лучах.

Приземистые домики, похожие на коробочки из-под пилюль, уходили рядами вдаль. Дощатые заборы и пыльные клумбы служили им сомнительным украшением.

За паутиной из колючей проволоки прятался административный центр: полицейский участок с поникшим флагом республики, у крыльца — бронированный «лендровер». Двое заключенных в красных рубахах и белых парусиновых шортах пололи газон; контора комиссара по делам банту; биржа труда; толпа безработных обступила белого чиновника, который, взобравшись на стул, выкликал имеющиеся вакансии: «Рассыльный, подметальщик, строительный рабочий...»

У входа в пивную на скамье сидел полисмен, щурясь на солнце. Недавно тут едва не было бунта, с тех пор муниципалитет установил у пивной полицейский пост. Из продолговатого строения доносился гул разговоров, через грязные окна видны были люди за длинными столами, с потолка свешивались липучки для мух.

У дальнего выхода из пивной, рядом с общественной уборной стояла телефонная будка с выбитыми стеклами. Пол был усыпан осколками, словно после бомбежки. Но проводка, к счастью, уцелела. Обычно местные вандалы срезали трубки. Может, и это форма протеста, стихийный вызов властям, подумалось Элиасу.

Он вошел в будку, нащупал в кармане пятицентовую монету, набрал номер и стал дожидаться, когда на другом конце ответят. Малыш с вздувшимся животом, торчащим из-под рваной рубашонки, мочился прямо на пыльной мостовой. В трубке что-то щелкнуло, и раздался голос:

— Аптека!

Элиас нажал на кнопку, монета не застряла — аппарат сработал.

— Можно мистера Польского?

Снова ожидание, пока позовут провизора. Над крышами поселка мельтешила знойная дымка.

— Польский слушает! — наконец донеслось до Элиаса.

— Алло, мистер Польский, говорит Хейзел.

— Здравствуйте, мистер Хейзел. Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, неплохо. Мой друг заходил за лекарством?

— Да-да, все в порядке.

— Спасибо, мистер Польский.

— Не стоит благодарности. Лишь бы оно вам помогло, сэр.

— Надеюсь, что полегчает. Ну, всего хорошего!

Элиас повесил трубку, снял с дверной ручки пиджак и, выйдя из телефонной будки, побрел в другой конец поселка.

Бейкс, стало быть, получил листовки. Он все сделает как надо, на него можно положиться, думал Элиас. Группа Бейкса продолжает действовать, хотя поначалу насчет его людей были сомнения. Теперь к ним нет претензий, до сих пор никто не попался. К сожалению, не у всех групп были равные условия и возможности для работы. Это пагубно отражалось и на организации в целом.

Побольше бы таких, как Бейкс. Толковый, искренний, смелый до безрассудства. До сих пор он ускользал от шпиков — это самое главное. Никто не может ручаться, что не дрогнет под пытками. У каж-

дого есть свой предел... Вспомнился товарищ, который разбился насмерть, прыгнув из окна с седьмого этажа полицейского управления. Довели...

Бейкс не новичок в движении. Впервые Элиас с ним встретился на заседании комитета, когда готовились к кампании против массового переселения цветных жителей. В день, когда истекал срок, полиция окружила «черное пятно» в белой зоне. Жителей затолкали в грузовики и несколько часов везли к месту, отведенному правительством. Их сгрузили в голой степи. На землю полетела ветхая мебель, наспех уложенные чемоданы и ящики. Громко плакали дети. Вот их новый «дом». Со временем люди кое-как сколотят себе хибары, может, власти раскошелятся даже на кирпичные бараки. Жители не хотели мириться с произволом, готовились протестовать, рассчитывая на широкую поддержку. Тогда-то он и увидел впервые Бейкса, совсем еще молодого человека с правильными чертами лица и маленьким шрамом на щеке. С тех пор они работали бок о бок.

Когда движение ушло в подполье, приходилось только гадать, кто в нем останется, кто пойдет на риск. Элиасу поручили создать группу в этом районе. Он осторожно прощупывал людей, как хирург, извлекающий осколок, застрявший у сердца. К своей радости, он убедился, что Бейкс остается в строю.

— Как хорошо, что ты по-прежнему с нами,— сказал он Бейксу при встрече.— Наши правители спят и видят, как бы рассорить черных с цветными. Твердят, что, дескать, у нас ничего общего. И демократию нам подсовывают разную, чтобы мы отдельно голосовали за выборных представителей, но, конечно, под *их* наблюдением.

— Нацисты в гетто тоже устраивали выборы, прежде чем отправить жителей в газовые камеры,— сказал Бейкс.— Поговаривают, будто нас станут пускать в их новый оперный театр. Но кто попрется за несколько миль в театр из сегрегированных трущоб, да еще без гроша в кармане!

— Садисты какие-то,— покачал головой Элиас,— кому нужна опера, когда сам, того гляди, с голодухи запоешь!

В медно-карих глазах и улыбке Бейкса было что-то, внушавшее надежду, убежденность, веру. Но в наши дни нельзя полагаться на одно внешнее впечатление. В секретной полиции, как скрепером, соскребают поверхностный слой преданности и стойкости, добираясь до того, что таится под ним: хрупкий известняк либо твердый гранит. «Перестань нервничать,— сказал себе Элиас.— В душу никому не заглянешь, что зря голову ломать. Остается верить, что в трудную минуту каждый с честью выполнит свой долг. Невозможно работать в вечном страхе. Экзаменовать нас будет секретная полиция».

Он вновь поравнялся с административным кварталом. Заключенных на газоне уже не было, но у биржи труда по-прежнему толпился народ в надежде получить какую-нибудь работу. «Нас угнетают не только из-за цвета кожи, а потому, что мы рабочий люд,— рассуждал про себя Элиас.— Чернота наша не более чем предлог». Он вспомнил, как юнцом впервые приехал в город (по паспорту, впрочем, выходило, что он уже взрослый мужчина). Работал он в прачечной за два с половиной фунта в неделю. Из этих денег надо было платить за ночлег в старом поселке, куда его определили на постой, вносить налоги, кормиться да еще матери кое-что посылать.

В ту зиму он съездил домой. Но сильнее встречи с матерью разбередило его знакомство с чахоточным шахтером, вернувшимся с рудников. Худущий, сутулый, он все время кашлял. Шахтеру не хватило заработков даже на гостинцы детям. Ходил он беззвучно, еле передвигая ноги, большие глаза были налиты кровью. Детишки шептались, что

шахтер околдован. Но Элиас не верил в эти выдумки. Таким мог бы вернуться с приисков его отец, истратив себя без остатка. Может, и лучше, что его настигла мгновенная смерть...

Вольный сельский воздух, тишина, пение птиц не скрывали от глаз кричащую нужду. Земля уже не могла прокормить, люди собирали и варили сорные травы, если солнце не успевало иссушить их. Залезали в долги к белому лавочнику. Невероятная отсталость: про митинги и собрания здесь и не слыхивали. В городе волей-неволей прибиваешься к движению. Не в силах сносить бремя тирании, горожане шли на площади, в залы, собирались на дому, чтобы послушать ораторов.

Больше Элиас в деревню не ездил. Бурая, выветрившаяся земля, крошечные хижины на поросших кустарником холмах стали ему безразличны. Кровь его успела пролиться на шершавый серый асфальт и пустила корни, неудержимо маня его в город. Дело было так. Прачечники бастовали, требуя повышения зарплаты. Рядом с фабрикой состоялся митинг. Их профсоюз не был признан властями, африканцам не разрешалось бастовать. По закону они не рабочие, а слуги, контракт связывал их по рукам и ногам. Хозяева вызвали полицию, та пустила в ход дубинки, разгоняя митинг.

Элиас запомнил прикосновение щеки к теплому асфальту и запах пыли. Вокруг него мелькали бегущие ноги. Ему досталось дубинкой по голове, казалось, череп раскалывается на части. Кровь, как горячий сироп, медленно стекала по лицу, образуя лужу на асфальте. Ему было страшно, часто колотилось сердце, пересохло во рту. В голове стучало: «За что, за что, за что?..»

И другой день, когда принесли письмо в захватанном конверте. Письмо долго ходило по рукам. Из него он узнал, что умерла мать. Порвалась последняя ниточка, связывавшая с домом. Он не сдержал слез. Но делать нечего, надо быть мужчиной, человеком...

Вспомнив теперь свои прежние страхи, Элиас с усмешкой сказал себе: «Ты не стоял на месте, приятель, но впереди еще много чего тебя ждет». Поселок плавился в желтом, пляшущем солнечном свете.

XIII

Тяжелый дух мусорных ведер и засоренных унитазов на тускло освещенной лестнице наводил на мысль о разрытых могилах. В доме с наступлением ночи не сделалось прохладнее. Бейкс осторожно поднимался по ступеням, как кладбищенский вор, только что обчистивший склеп. За безликими дверями в тяжелом забытьи металась бедность. В коридоре не было ни души, только пол усеян высохшими чаинками и клочками бумаги. Половицы поскрипывали под ногами Бейкса. Он медленно двигался к комнате Томми, как выбившийся из сил пловец.

Ключ был на притолоке, где его оставил Бейкс. «Томми еще нет,— усмехнулся он про себя,— бальный комитет, видать, прозаседает до утра». Электрический свет выхватил из мрака радиолу, зачехленные пластинки, портрет дирижера. Бейкс нарочно оставил окно открытым, так что теперь в комнате было сравнительно прохладно. Ночной ветерок, точно привидение, слабо колыхал занавески. Бейкс затворил дверь, поставил картонный чемоданчик на стул, сел на помятую постель, зевая, вытянул ноги, испытав неизъяснимое блаженство.

Потом достал сигареты и закурил. Не было сил даже раздеться. Казалось, мог бы воспользоваться услугами давешнего таксиста, но

тому не следовало знать всех адресов и явок. Как там Айзек? Кто из его людей схвачен?

Бейкс вздрогнул — догоревшая сигарета обожгла пальцы. Он раздавил окурок, кое-как разделся, доплелся до выключателя и рухнул на кровать.

Едва закрыл глаза, как увидел Фрэнсис и их малютку. Хорошо, что они успели завести ребенка. Когда Фрэнсис была беременна, его измучили ужасные сны. Он видел ее с простреленным животом, изорванную овчарками, штыками, копьями. Она корчилась от боли, истекала кровью... Все началось после того, как на его глазах убили женщину. Случилось это, когда повысили цены за проезд в автобусах, курсировавших между локациями и городом. Огромная толпа собралась на митинг протеста. В самый его разгар полиция набросилась на уснувшего пьянчужку. Это была явная, преднамеренная провокация. Возбужденные люди попытались отбить его у полицейских. Когда это не удалось, повалили к участку. Полиция открыла по толпе огонь. Четверо были ранены легко: в руку, шею, щеку и спину; пятнадцатилетней девочке попали в грудь; беременной женщине пуля угодила в живот. С той поры по ночам Бейкса преследовали кошмары. Он просыпался, дрожа от страха, и Фрэнсис спрашивала удивленным и взволнованным голосом:

— Что с тобой, милый? Приснилось что-нибудь?

Это повторялось из ночи в ночь, и Фрэнсис всполошилась.

— Тебе надо показаться врачу. Он пропишет снотворное.

Бейкс, понятно, не рассказывал ей свои сны. Роды прошли благополучно, и радости его не было границ.

По сей день ему снились Фрэнсис и их дочурка, но теперь это были иные сны. Они парили с Фрэнсис в высоте, кружили над высокой башней, но вдруг Фрэнсис начинала падать вниз. Он не успевал ее подхватить и просыпался в холодном поту.

Однажды, придя домой после встречи с Элиасом, он не застал Фрэнсис. Детская кроватка была пуста. Повесив пиджак в шкаф, он прошел на кухню и, усевшись у плиты, развернул вечернюю газету. Вскоре Фрэнсис вернулась с девчуркой на руках.

— Вот и папа!

Он подхватил дочку, а Фрэнсис чмокнула его в щеку.

— Скажи папе здравствуй! — щебетала Фрэнсис.— Извини, дорогой, что не дождалась твоего прихода. У миссис Робертс колики, вызвали врача, но он не приехал. Я пошла взглянуть, нельзя ли чем помочь. У моего брата так тоже бывало. Ужин в духовке. Сейчас уложу малышку и накрою на стол.

— Как поживаешь, доченька? — Бейкс прижался носом к детской щеке.

— Спала она прекрасно,— ответила Фрэнсис,— все у нас в порядке — она такая лапонька.

Бейкс оставался наедине со своими мыслями, пока Фрэнсис убаюкивала малышку. Вернувшись из спальни, она накрыла на стол. Бейкс хмуро молчал.

— Дала ей бутылочку,— сказала Фрэнсис и пристально посмотрела на него.— У тебя неприятности?

Они сидели напротив друг друга, от тушеной капусты поднимался пар.

— Да нет, ничего особенного.

— Ну рассказывай.

— Мне поручают одно дело... Очевидно, я не смогу бывать дома.

— Нет, только не это! Неужто навсегда?

— Ну нет, на время. Видишь ли, я один из немногих, кого полиция до сих пор не знает. Так нам, во всяком случае, кажется...

— А тебе это задание по душе?

— Никто меня не заставляет,— грустно вздохнул он,— но больше вроде и некому. Все в тюрьмах. Приходится начинать сначала. Движение не должно погибнуть, понимаешь?

— Как же мы без тебя? — застенчиво улыбнулась Фрэнсис.— Но раз надо... Ты, видно, на хорошем счету, если тебе это поручают. Я тобой горжусь. Достойный ученик своей тетушки!

— Что с вами будет? — спросил он.

— Я выйду на работу, а малышку отвезу к маме. Она всегда рада присмотреть за внучкой. Буду гостить у них по субботам и воскресеньям. Когда ты уходишь? Не забудь теплое белье, пижаму, свитер...

— Пижаму! — неестественно громко засмеялся Бейкс.— Смешная ты, Фрэнсис! Что твои старики скажут — хорош муженек у их дочери!

— Предоставь их мне. А теперь ешь — успеем еще поговорить.

Она подошла и поцеловала его, на ее губах был привкус капусты. «Как мне повезло,— думал Бейкс,— должно быть, она не одна такая, но я счастлив, что мне досталась именно Фрэнсис. Неплохой приз отхватил тогда на аттракционах!..»

Бейкс ворочался на несвежей, мятой простыне. Сон не шел. Мысли скользили, как осенний лист по поверхности пруда. Перед глазами встал зачумленный, издерганный Артур Беннет, низкорослый, лысый, с мольбой во взоре. Чертова стерва эта Нелли Беннет. Бедняга Арти давно такой, еще с тех пор, когда движение не было в подполье.

Легальность не гарантировала безопасности, тогда тоже требовалась осмотрительность. Одно это отпугивало Беннета. Сварливая жена усугубила его шатания. Так прилив размывает песчаные берега.

— Я ведь не против,— мямлил Беннет,— только все надо взвесить. С фараонами шутки плохи. Скольких уже перетаскали на допросы! У министра полиции, черт его дери, неограниченные полномочия. Приходится думать о доме, о работе, о Нелли. Поверь, Бьюк, она не плохая. Только пилит меня вечно. Бывает, знаешь...

— Нет, не знаю,— жестко ответил Бейкс.

— Ну Фрэнсис, наверно, не такая, но что же мне делать?

Беннет вез его в старом пикапе в одно укромное местечко на специальное заседание объединенного комитета. Они тряслись на тускло освещенных мостовых, Беннет напряженно смотрел вперед через забрызганное ветровое стекло. Дождь кулаками колотил по крыше, обрушивал потоки на дома, редких прохожих, весь хмурый бесцветный мир.

— Не горюй, я все понимаю.— Бейкс уже раскаивался, что был резок. Кто он такой, чтобы судить других? Неизвестно, что случится завтра с ним самим...

— Я обожду тебя,— робко предложил Беннет, когда они доехали до места.— Вон какой ливень.

— А что скажешь жене? Как объяснишь ей, где пропадал всю ночь?

— Что-нибудь придумаю.

В тот вечер состоялось знакомство Бейкса с Элиасом Текване, по кличке Хейзел.

— Рад встрече,— сказал ему Элиас. Он сидел во главе стола под причудливым абажуром. Окна были задернуты цветными шторами. Бейкс не знал, чей это дом. Он поздоровался за руку со всеми, кто был в комнате.

— Думаю, собравшиеся в достаточной мере представляют жите-

лей этого района,— начал Элиас.— Мы добьемся своего лишь в том случае, если привлечем на нашу сторону все слои населения.

Свет играл на его скуластом, темно-коричневом лице, неровных усах и узенькой бородке, окаймлявшей большегубый рот. Под нависшими бровями сверкали глаза, улыбка обнажала крепкие зубы. Старый кожаный пиджак пропах табаком. Говорил Элиас по-английски густым, неторопливым, бодрым голосом, тщательно подбирая слова, вертя карандаш в загрубелых от работы пальцах.

Дождь барабанил по окнам, капало с плащей в прихожей. Сидя за столом, они вели негромкий разговор.

— Становится совершенно очевидно,— продолжал Элиас,— что правительство наложит запрет на деятельность массовых организаций. Они понимают, что им несдобровать, если народ окажет подготовленное сопротивление. Им ничего не остается, как объявить нас вне закона. Массовые кампании привели к тому, что полиции стали известны имена всех кадровых работников. Не следует об этом жалеть. Игра стоила свеч — в результате выросло сознание народа. Осталась лишь горстка товарищей, не раскрытых полицией. От них теперь требуется максимальная осторожность.

Когда заседание кончилось, все встали, обменялись рукопожатиями и разошлись по одному. Бейкс уходил последним. Элиас сказал ему, когда они остались вдвоем:

— Товарищ, нам предстоят испытания. Ты не боишься?

— Не больше других,— улыбнулся Бейкс, чувствуя, что его проверяют.— Наверно, и вы боитесь, думаете про себя: «Можно ли ему доверять? Не выдаст ли он меня, если его схватят?» Так ведь?

— Возможно, ты и прав,— Элиас зычно рассмеялся. Они пожали друг другу руку, и Бейкс, накинув отсыревший плащ, вышел на улицу. Дождь кончился, в мокрой мостовой отражался бледный свет фонарей. Бейкс завернул за угол, направляясь к тому месту, где ждал Беннет в своем пикапе. Сырой холод пронизывал до костей. Беннет спал в уголке кабины с раскрытым ртом, тусклые блики играли на его лысине. Пришлось постучать по стеклу, чтобы он проснулся. Было уже за полночь. Они ехали по холодному спящему городу, блестевшему, как вороненая сталь, во мраке... Интересно, что наплел тогда Беннет своей супруге?..

XIV

Трущобы лепились к городской окраине, словно чудом уцелевшая клякса серой штукатурки на облупившейся стене,— неровные ряды развалюх с ржавыми покосившимися стенами и провисшей кровлей, удерживаемой на месте проволокой и камнями. Был конец лета, и светало медленно. Ночь уползала восвояси по песчаным пустырям, ухабистым улицам, вдоль накренившихся заборов и чахлых садиков. Еще не погасли уличные фонари — золотая мишура на рваной багрово-дымчатой ткани. Здесь проходила официальная граница между поселком банту, обнесенным проволочным забором, зонами для азиатов и цветных и новоявленным «белым городом». Со дня на день нагромождение убогих хижин из картона и жести сотрут с лица земли, а их жителей рассортируют по полочкам, как музейные экспонаты. Трущобы доживали свой век, бросая отчаянный вызов отцам города, пустившим в обращение лицемерный эвфемизм «благоустройство».

Из окна комнаты, где встретились Бейкс и Элиас, видны были спутанные гирлянды лачуг, засохшее дерево, частокол. Где-то залаяла собака, другая ответила. По стеклу стучали москиты. Бейкс задер-

нул занавеску и вернулся к столу, за которым сидел Элиас. Свет настольной керосиновой лампы нервно скакал по стенам, оклеенным бракованными рекламными плакатами с типографской свалки. Картинки и буквы набегали друг на друга: чья-то рука, сжимавшая банку сливового джема; алые губы, а под ними изображение моторной лодки. Все это походило на выставку работ художника-сюрреалиста. Кроме плакатов на стене висела фотография африканской вокальной группы и полка с Библией и растрепанными школьными учебниками. От лампы попахивало керосином. «Не мешало бы подрезать фитиль»,— невольно подумал Бейкс. Под его ногами прогибались половицы. Он не знал, кто живет здесь, но спрашивать об этом не следовало. Москиты плясали на стекле.

— Все в порядке,— обнажив в улыбке крупные зубы, сказал из-за стола Элиас.— Снаружи, как обычно, дозорный. Мы быстро управимся.

Бейкс сел за стол напротив Элиаса. Обстановка напоминала приемную гадалки. Не хватало лишь чашек и игральных карт. Вместо них на столе была стопка газет, которые принес Элиас, и лампа. Элиас вывернул фитиль, и на сюрреалистской стене замаячила его тень, похожая на загривистого быка. Но стекло тут же закоптилось, еще сильнее запахло керосином, и пришлось снова привернуть фитиль. Тени метались по этикеткам фирм, усеченным картинкам, литографическим надписям.

— Разговор пойдет о том, как улучшить нашу работу в районе,— сказал Элиас, раскуривая трубку.— Но сначала напомню: по тревоге сразу уходи через заднюю дверь и уноси ноги. Другого пути нет. Ясно?

— Ясно,— буркнул Бейкс.— Ты мне еще в прошлый раз все растолковал.

Он тоже полез за сигаретами. Со стены, через плечо Элиаса цинично таращился на Бейкса огромный глаз.

— Волнуешься? — с улыбкой спросил Элиас.

— Чертовски волнуюсь,— признался Бейкс.— Разумно ли встречаться сегодня, сразу после листовок? Наверно, я не привык и никогда не привыкну ходить по проволоке.

Ему сделалось не по себе, когда Элиас инструктировал его на случай тревоги.

— А кто привык, парень? — подбодрил его Элиас.— Каждую секунду идем на риск. Запомнил — через заднюю дверь и жми что есть мочи! На этих улочках сам черт ногу сломит. Полиция не в состоянии оцепить весь поселок.

Бейкс энергично закивал головой, будто стряхивая с себя воду.

— Займемся делом! — Дым и копоть щипали глаза, хотелось поскорее уйти отсюда.

Элиас кивнул и продолжал серьезным тоном:

— Во-первых, должен тебе сказать, что необходимо переправить трех человек на север, через границу. Они едут на военную подготовку. Тебе поручается первый этап их маршрута. Договорись с кем-нибудь, чтобы их отвез. Они будут ждать в понедельник, в известном тебе месте.

— Я знаком с кем-нибудь из них? — спросил Бейкс.

— Не уверен в этом. Их клички Питер, Поль и Майкл.— Элиас рассмеялся за серой пеленой табачного дыма.— У нас в ходу имена святых. Вот только святого Хейзела как будто не было.

— Я о таком не слыхал,— улыбнулся Бейкс.— Гм, святой Хейзел! Будь их четверо, подошли бы Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

В потемках снова залаяла собака, вдали загудел поезд.

— Итак, Майкл, Питер и Поль. Присмотри, чтобы все было как положено.

— Само собой,— кивнул Бейкс, бросив окурок в блюдце, служившее пепельницей. Лампа замигала, и Бейкс оторвал на миг глаза от собеседника.— Военная подготовка — вот это здорово. Одна мысль, что можно сочетать разъяснительную работу в массах с вооруженной борьбой, придаст нам силы. Кому охота быть овечкой под дулами фашистов?

Последние слова Бейкса прозвучали как лозунг.

— Лиха беда начало. Мы оправляемся от недавних потерь. Наши товарищи должны настойчиво изучать военную науку, запасаться оружием. Не только передовые, сознательные люди, но самые широкие массы постепенно проникнутся убежденностью в правоте нашего дела,— Элиас сделал глубокую затяжку, и запах табака заглушил керосиновые пары.— Во что бы то ни стало эти парни — Питер, Поль и Майкл — должны в понедельник отбыть.

Элиас постучал пальцем по стопке газет, развернул одну из них.

— Читал уже? Вот наша работа по воспитанию масс.

— Еще бы, конечно читал.

В то утро Бейкс, измученный духотой, проснулся, когда первый отблеск по-осеннему серого дня высветил шкаф, радиолу, умывальник, прогоняя ночные тени из комнаты. Рядом с ним на двуспальной кровати, укрывшись, несмотря на жару, с головой, спал Томми. Из-за пустырей и будущих строительных площадок долетел отдаленный крик муэдзина, созывающий верующих на молитву. Единственная мечеть, не тронутая бульдозерами, была последним бастионом на пути вторгшихся иноверцев.

Бейкс растолкал Томми и отправил его за утренними газетами. В них он не нашел того, что искал, и с нетерпением игрока в лотерею стал ждать очередных выпусков.

— Судя по газетам, все прошло как нельзя лучше. Задали мы им задачку. Читал о взрывающихся устройствах и радиопередачах? По последнему слову техники! — воскликнул Элиас и добавил, словно извиняясь за то, что в их группе все делается по старинке.— Мы хоть и сами ходим и разносим листовки, пользы от этого не меньше.

Бейкс испытывал некоторое недоумение, читая газетные отчеты. Жирные заголовки выплеснулись на первые полосы, потеснив женщину, убившую мужа: «Бомбы с листовками поражают город... агитационные взрывы... подполье действует... Министр полиции отметил, что подрывные элементы истреблены не до конца. Общественности не следует благодушествовать, опасность еще не миновала...» На фотографии полицейские склонились над осколками бомбы, начиненной листовками. В сообщении из другого города говорилось, что ранним утром, когда толпы африканцев спешили на работу, на них обрушились подстрекательские речи. Репродукторы и магнитофоны с часовым механизмом нашли в оставленных вдоль дороги автомашинах.

В других корреспонденциях говорилось, что запрещенные листовки были найдены в почтовых ящиках, подпольщики рассовали их под двери, раскидали на садовых дорожках по всему городу. «Секретная полиция предпринимает широкое расследование»,— гласил подзаголовок, набранный курсивом.

— Один из моей группы скрылся,— сообщил Бейкс, вытирая платком глаза, слезившиеся от копоти.

— В связи со вчерашней операцией? — Элиас оторвался от газеты.

— Нет. Это произошло еще до того, как я доставил ему листовки. Видимо, о нем случайно пронюхали шпики.

— Где он прячется?

— Не знаю.

— Нехорошо,— буркнул Элиас.— Добро, хоть они его не сцапали. Необходимо тщательно проверить наши явки и связных в этом районе. Поговорим об этом особо. Беда в том, что у нас всего горстка профессиональных подпольщиков. Это надо исправлять...

Что-то загромыхало на крыше, очевидно, камень покатился по рифленому железу.

Элиас вскочил со стула и задул лампу. Сквозь короткую жесткую бороду сверкнули его зубы, белые-белые на темном широком лице. Бейкс тоже встал, удивленно озираясь. В наступившем мраке исчезли причудливые картинки на стенах, будто кончился кинофильм. Он услышал приглушенный голос Элиаса:

— Давай, друг, беги!

Бейкс опрокинул стул и, не разбирая дороги, ринулся в кухню. Промелькнули металлические кастрюли, чугунная плита, он вышиб ногой дверь и выскочил наружу. На миг Бейкс оцепенел, живот точно сосулькой проткнули, сердце заворочалось на поломанных пружинах.

Над забором внезапно вспыхнул фонарик, и Бейкс шарахнулся в сторону. Его окликнул гортанный повелительный голос. Бейкс налетел на противоположный забор, шаткие столбы подались под его тяжестью, и он растянулся во весь рост, подмяв под себя обломки досок. Позади него вспыхнули автомобильные фары. Он увидел вокруг себя груды мусора: старые покрышки, ящики, дребезжащие консервные банки. «Беги, беги, беги!» — стучало в голове, и он помчался по пыльному немощеному проулку. Он слышал голоса, отдававшие команды, крики. Внезапно боль раскаленным железом пронзила руку. Бейкс споткнулся, упал на колени, сзади донеслись звуки, похожие на потрескивание сухих дров в печке.

— Господи боже мой, рука! — Он кое-как поднялся, впиваясь ногтями в руку, чтобы не закричать. Вокруг теснились небрежно сколоченные лачуги и ветхие домики. За забором залаяла собака, устремилась к Бейксу, погромыхивая цепью. Захлопали двери, послышались недоуменные голоса. Он побрел дальше, придерживая раненую руку, ощущая горячую липкую кровь на своей ладони. Из мрака долетела вонь отхожих мест, но Бейкс чувствовал только боль в руке. «Господи, меня подстрелили»,— лихорадочно думал он, отдуваясь, как вскипевший чайник. Он испугался, что сейчас умрет, но немного придя в себя, осознал, что ранен в руку и что это не опасно. Ноги у него подкашивались, и все же он пустился бежать, тяжело и прерывисто дыша. Он бежал до тех пор, пока совершенно не выбился из сил. Тогда он сел у забора на землю, и ему стало безразлично, схватят его или нет.

Боль вернула его к действительности. Его била дрожь, будто он простудился под дождем. Крепко обхватив пропитавшийся кровью рукав, он поджал колени, опустил на них голову и застонал. Его обуял страх, не хватало воздуха, будто замурованному в забое шахтеру. Летняя ночь безмолвствовала.

Он долго просидел так в потемках, уронив голову на колени. Во рту пересохло, он был разбит и опустошен. Небо в жемчужных звездах затянулось тонкой дымкой. Подняв голову, он разглядел вдали темные дома предместья. Раздался автомобильный гудок, и Бейкс вздрогнул, будто услышал впервые этот звук, залетевший на землю с другой планеты.

На миг его обуяло безудержное веселье, истерическое возбуждение. «Меня подстрелили,— покатывался он со смеху,— шпики выследили явку, дозорный прозевал их, меня подстрелили. Все как в «вестерне», черт побери!» Голова пошла кругом, сознание снова помутилось, он перегнулся пополам, содрогаясь от боли в раненой руке, его стошнило. Земля уходила из-под ног, как на чертовом колесе. Некстати вспомнились аттракционы!..

Кое-как Бейкс выпрямился. «Уноси ноги,— приказал он себе.— Беги, беги, беги же!» Вокруг не было ни души. Он заковылял прочь в потемках, будто навстречу ураганному ветру, ощущая на лице не успевший остыть ночной воздух, и старался приятными мыслями заглушить боль: «Как хочется домой, к Фрэнсис». Прежнее гложущее ощущение не проходило. Это был не голод, а тоска. На глаза набегали слезы.

Рана уже не кровоточила, но рукав набух. «Господи, сколько крови! Нужен врач!» — твердил он себе, вновь ощущая беспокойство. Единственный доктор, которому можно довериться, жил за много миль отсюда, на краю света.

Некоторое время спустя он понял, что забрел в богатое белое предместье. Высокие стены, глухие ворота, темные живые изгороди. Улицы маслянисто поблескивали в синеватом свечении фонарей. За густой зеленью играла музыка. Бейкс заметил деревянную скамейку, окаймленную подстриженным кустарником. Она предназначалась для пожилых дам и кормилиц с младенцами.

Бейкс едва дотянул до скамьи. За оградой дома танцевали. Густая листва заслоняла от него гирлянды разноцветных огней, но слышно было потрескивание дров в жаровнях, смех, голоса. Пятница — конец недели, и белые толстосумы веселились вовсю.

Коричневый костюм Бейкса был в пыли и опилках.

Пойду охотиться в лесу, поймаю рыжую лису, плутовку в клетку посажу... Оркестр за забором играл совсем другую, разухабистую мелодию, разлетавшуюся по всей округе.

На обширной лужайке позади дома со множеством окон были разбиты два большущих шатра, залитых электричеством. Между ними были натянуты гирлянды разноцветных лампочек. В одном шатре гремела музыка, лучи прожектора хлестали по женским ножкам, ярко накрашенные губы блаженно улыбались, пальцы шелкали в такт музыке. Большинство мужчин сгрудилось у второго шатра, где подавали спиртное. На теннисном корте было пусто, зато в бассейне плавали будто скатившиеся с гильотины головы. Кругом были клумбы и подстриженные деревья, ухоженные, как пациенты в дорогой клинике. На деревьях тоже были натянуты гирлянды. Подпрыгивали на сковородках связки сосисок, шипела нанизанная на шампуры баранина, повсюду валялись бумажные тарелочки. Гости брали мясо руками, обжигая пальцы и счастливо повизгивая.

Бейкс сидел на скамейке за живой стеной кустарника, растирая ладонью виски, и ждал, когда пройдет дрожь в коленях. Звуки веселья за изгородью тупой пилой пилили его натянутые нервы. С этой стороны ворот не было, можно было не опасаться, что кто-нибудь из гостей наткнется на него.

За кустами, приближаясь, заскрипели по гравию шаги.

— Вот и она, друзья,— закричал мужской голос.— Эй, Ви, чего это ты смылась?..

Здоровой рукой Бейкс осторожно стаскивал с себя пиджак. Левый рукав почернел от крови.

— Все из-за Дэви,— пожаловался женский голосок.— Просила, чтобы не лез своими лапищами.

— Его можно понять,— захохотал мужчина.— Ну ладно, плюнь на него, айда выпьем! Там шампанское рекой!..

— К черту! Возомнил, будто ему все позволено, раз у его отца такие деньжищи. Я не желаю обниматься с кем попало...

«Рубашку лучше не трогать»,— решил Бейкс, пропуская мимо ушей болтовню за оградой. Кровь высохнет, и рукав прикроет рану.

— Не ломайся, Ви. Дэви немного рисуется. В конце концов это же его праздник.

— Это не значит, что он может вести себя как кафр.

— О, Ви!

— Мой отец тоже не нищий!

Бейкс порылся в карманах и нашел платок. «Первая помощь раненым, госпиталь Сент-Джон»,— пронеслось в гудящей голове.

— Всем известно, кто твой отец, но и наши родители чего-то стоят. Ну, будь паинькой, пойдем же выпьем!

— Оставь меня в покое, я хочу подышать воздухом.

— О'кей. Мы тоже подышим за компанию...

Здоровой рукой и зубами Бейкс затянул платком окровавленную руку.

— Шампанского! — заорал кто-то за оградой, вызвав общий хохот.

«Мне бы сейчас шампанского,— подумал Бейкс,— или, еще лучше, коньяку. Когда я пил его последний раз?» Он боялся взглянуть на рану. За изгородью по-прежнему спорили возбужденные голоса.

— Оставьте же меня. Поищите-ка лучше Эллен Статфорд.

— Она пошла делать пи-пи и не вернулась.

— Перестань хамить. А где Фрикки?

— О боже, этот мужлан! От него псиной воняет.

— Что за чушь, он фермы в глаза не видел. И вообще Фрикки мне нравится.

— Пойдем же выпьем шампанского,— бубнил другой голос.— Что за удовольствие торчать здесь и препираться?..

Бейкс вывернул внутрь окровавленный рукав, набросил пиджак на левое плечо, пряча под ним раненую руку. Он не встал со скамьи, пока за его спиной не смолкли голоса. Девушка еще некоторое время упиралась. Бейкс вспомнил, как несколько дней назад на скамейке в городском парке разговорился со служанкой... Мужайся, приятель, это не конец! Ум его внезапно прояснился, хотя голова еще побаливала. Страх и потрясение исчезли, как изморось, стертая с оконного стекла. Прежде всего добраться до доктора. Он наложит швы и не станет задавать лишних вопросов. Потом придется где-то прятаться до понедельника, до встречи с Питером, Полем и Майклом... Матфей, Марк, Лука, Иоанн... К черту, к черту, к черту!... Что с Элиасом? Неужели схватили?...

XV

К полицейскому участку подкатила машина, из нее выскочили тайные агенты. Кроны росших вокруг деревьев вырисовывались огромными бесформенными силуэтами на фоне темного неба. На лужайках по обе стороны подъездной дороги светились электрические и лунные блики. Новенькая веранда, недавно пристроенная к участку, была выложена из оранжевого кирпича.

Двое агентов в штатском вытолкали из машины Элиаса в наручниках и повели его к зданию. Один из сыщиков, рослый, плотный, смазливый, был совсем еще юнцом. Глянцевитые волосы расчесаны на прямой пробор, будто расправленные крылья птицы. Второй, в спор-

тивных брюках и куртке, зеленой шапочке для гольфа, должно быть, прямо со стадиона — даже переодеться не успел. На румяном лице — рыжеватые усы. То и дело он поглядывал на свои руки, судорожно шевеля пальцами. Развалившиеся на ярко освещенной веранде полисмены в форме и портупеях с кобурой пялили глаза на Элиаса, поднимавшегося по ступеням. Внутри участок был разгорожен на помещения для белых и цветных. Его провели в более просторное отделение для цветных, и один из сыщиков сказал дежурному сержанту:

— Пусть останется у вас на ночь. Утром мы за ним приедем.

Сержант волком поглядел на Элиаса. Сыщики тем временем вывернули его карманы. На стол полетели трубка, кисет, спички, дешевые карманные часы, растрепавшийся пропуск.

Мимо участка по окраинной улице прогромыхал автобус. Было уже за полночь. В комнату вошли двое черных констеблей. Увидев Элиаса, один из них что-то шепнул другому.

— Черт, давно пора домой,— зевая, сказал сыщик в спортивной шапочке.— Из-за таких вот ублюдков семьи не видишь совсем.

Он достал из кармана куртки полупустую пачку сигарет и протянул ее молодому агенту. Сержант составлял опись личных вещей Элиаса.

Полицейский, ругаясь на чем свет, втолкнул в дверь африканца, и тот рухнул на скамью у стены. Бедняга был весь в крови, словно на него вылили ведро краски. Поджав босые ноги, он тихо постанывал.

— Ну и ну,— покачал головой дежурный сержант, взглянув на задержанного через барьер.— Что с тобой стряслось, скотина?

— Он мертвецки пьян,— ответил полицейский.— Обычное дело — пятница!

— Господин,— застонал африканец,— меня едва не убили.

— «Господин», твою мать! Никаких «господ» и «сэров»! Для тебя я баас.

— Едва не убили,— пролепетал раненый.

— Кто?

— Не знаю, баас. Ткнули вилами в бок.

— Ты хочешь подать заявление? — спросил сержант.

Вошел санитар в форме Красного Креста. Он склонился над африканцем, расстегнул перепачканное кровью тряпье, чтобы осмотреть раны.

Секретные агенты, казалось, ничего не замечали. Спортсмен, уставясь на свои руки, сжимал и разжимал кулаки, словно его так и подмывало съездить кому-нибудь по физиономии. Откусив заусеницу на большом пальце, он поднес ее к глазам. Санитар накинул на раненого белую тряпицу и вывел его в коридор. Сержант тем временем заполнил формуляр и поднял глаза на Элиаса.

— Писать-то умеет? — спросил он у сыщиков.

— Еще бы,— съязвил Спортсмен,— ученый черномазый!

Сержант приказал Элиасу расписаться и сунул ему в закованную руку копию квитанции, потом громко позвал кого-то. Вошел полисмен. Сержант кивнул сыщикам, те подтолкнули Элиаса в сторону конвоира и пошли следом. Его отвели во двор. Конвоир крикнул, из темноты, как призрак, вынырнул черный надзиратель в тропическом шлеме, позвякивая связкой ключей.

Надзиратель попытался разглядеть Элиаса в мерцающем свете звезд.

— Тебе полагается одеяло,— буркнул он Элиасу.

— Что? — всполошился один из сыщиков.

— Одеяло,— повторил надзиратель.

— Обойдется и так. Мы его скоро заберем. Смотри за ним в оба, понял?

Они пересекли двор, направляясь к двери, освещенной маленькой лампочкой. Надзиратель повернул ключ в замке, и сыщики втолкнули Элиаса в камеру. В ней тоже горела лампочка, неяркий свет преломлялся в толстом фонарном стекле, как в столбе воды.

Оставшись один, Элиас тщательно исследовал камеру. Он знал, что ему не вырваться из клетки, но все-таки решил лишний раз в этом убедиться. Никакой надежды. Он заперт, как муха в бутылке.

Элиас сел прямо на пол, положив наручники на колени. Ну вот, подумал он, это случилось. Кто навел полицию на конспиративную квартиру? Слежка становится все эффективней. От шпиков можно теперь ждать любых сюрпризов. Ушел ли Бейкс? В него стреляли. Дай бог, чтоб мимо! Фараоны чуть что открывают теперь пальбу. Если бы Бейкса схватили, то привезли бы сюда вместе со мной. Значит, ушел. Остался без связи с центром, и в группе у него на одного человека меньше. Организации потребуется время, чтобы восполнить понесенный урон...

Им нужны показания. Тебя будут пытать, Элиас Текване. Не думай об этом, ни к чему, думай о чем угодно, но не об этом.

Он снова оглядел камеру. Ему уже доводилось сидеть в такой... После забастовки, когда от удара дубинкой он лишился сознания... Ему предъявили обвинение в нарушении контракта о найме и отправили из города в пересыльный трудовой лагерь.

В памяти всплыли унылые ряды щитовых бараков, палатки, хлопающие брезентом на ветру, как крыльями. Тут скапливалась избыточная рабочая сила: перемещенные лица, бродяги, безработные, те, кого лишили разрешения работать в «белых» кварталах; батраки нарушившие контракт, бывшие заключенные, которым не разрешалось искать работу в городе. Целые семьи ютились в убогих однокомнатных домишках: к мужьям и отцам приезжали жены и дети, не желавшие жить в разлуке.

Когда его привезли туда, Элиас поначалу совсем пал духом. Они стояли подле старенького автобуса и ждали на ледяном ветру, дувшем с гор. Потом какие-то люди отобрали у них бумаги. Никто не знал, что будет дальше. Вокруг высились голые, выветренные холмы, напоминавшие огромные гнилые зубы. Женщины, укутанные в драные одеяла, копались в каменистой бесплодной земле. Издалека они похожи были на пугала, но птицы не боялись их.

Жили впроголодь. Особенно худо приходилось семейным. Элиас сошелся с одним парнем, звали его Мдлака. Оба были молоды, полны сил. Им удалось получить работу в бригаде, ремонтирующей дороги.

— Вот ты какой,— прищурясь, сказал Мдлака при знакомстве.— За что здесь?

— За участие в забастовке. Белые вышвырнули меня из города.

— Забастовка? Когда это было?

Мдлака выслушал рассказ Элиаса, не сводя с него умных глаз.

— Я работал в той же прачечной, в котельной.

Элиас по молодости не разобрался в Мдлаке, решил, что он слегка чудаковат. Дорожные работы оказались сущим адом, зато тех нескольких шиллингов в неделю, что им платили, хватало на мешочек муки, табак и кое-какие пустяки.

Мало кто в лагере мог похвастать таким везением, большинство слонялось без работы и без всякой надежды найти ее. Сюда свозили стариков, уже не нужных большому городу. Лагерь напоминал свалку железного лома, отживших свой век машин.

— Говоришь, участвовал в забастовке? Любопытно,— покачал го-

ловой Мдлака.— Я сам шесть месяцев отсидел за политику. Они люто ненавидят черных агитаторов. В приговоре было сказано, что я выступал на «бунтарской сходке». Из тюрьмы меня сослали прямо сюда, даже не дали свидания с родными.

— А что это была за сходка? — спросил Элиас, стесняясь показать свою неосведомленность. Они разговорились во время перекура, усевшись на обочине дороги.

— Слушай — сейчас узнаешь...

В бригаде было девять рабочих. Один из них, Тсатсу, годился им в дедушки, но трудился наравне с остальными. Выбора не было — все лучше, чем околевать с голоду.

По свистку десятника, означавшему, что перерыв кончился, все вскочили на ноги, и только Тсатсу так и остался лежать на куче вырытой земли.

— Что стряслось со старым ублюдком? — крикнул десятник.— Нашел время дрыхнуть!

Кто-то пошел будить старика.

— Он уснул навеки, отправился к предкам. Там ему будет лучше, чем на этом свете.

Старик распластался на земле, как ворох ненужного тряпья.

Весь лагерь шел за его гробом, хотя никто не знал, откуда он родом и где его семья. Просто старик, уморивший себя работой, чтобы не умереть с голоду. Его завернули в самое чистое, нерваное одеяло, какое только нашлось, и похоронили на склоне близлежащего холма. Тут уже было довольно много могил — и взрослых, и детей. Первые обитатели лагеря открыли это кладбище, а те, кто пришел им на смену, продолжали хоронить здесь своих покойников. Жалкие крохи разбитых жизней будто заметали под ковер каменистой земли.

Элиас вскоре перестал считать Мдлаку чудаком и всерьез прислушивался к его словам. Именно Мдлака совершил обряд над покойником, потому что в лагере не было священников, а красноречия Мдлаке не занимать. Люди жадно ловили каждое слово. Из свежевырытой могилы торчали гнилые крепежные доски, словно высохшие стволы диковинных деревьев. С гор, как дыхание смерти, дул леденящий ветер.

А потом всем миром решали, кому достанется место Тсатсу в ремонтной бригаде...

Спустя некоторое время в лагерь прикатили вербовщики из города, и Элиасу снова повезло. Мдлака дал ему письмо, нацарапанное на клочке оберточной бумаги. Так Элиас попал в организацию...

Давно это началось, думал Элиас, и вот куда привело. Вспомнив Мдлаку и Тсатсу, он ни на миг не пожалел о сделанном выборе. Приведись начать жизнь заново, он бы пошел тем же путем...

XVI

За окнами продребезжал мусорный фургон, донесся цокот подков. День быстро угасал, сужавшийся сноп желтого света перекочевал с пола на кофейный столик, потом взобрался по стене на эстамп в рамке с видом горных вершин. В приемной, глядевшей окнами на улицу, почти не было мебели, за исключением выстроенных вдоль стены стульев и столика с неизбежной кипой старых газет и журналов, захватанных, мятых экземпляров «Дейли миррор» и «Фемины». Новости, напечатанные в них, давным-давно стали историей.

Бейкс сидел на стуле, пряча раненую руку под застегнутым на талии пиджаком. Голова раскалывалась, ныла рука, его лихорадило. Превозмогая боль, он ждал своей очереди.

Перед ним было еще два пациента: старик, одетый, несмотря на жару, в толстое пальто, с трясущимся от дряхлости ртом и выцветшими, слезящимися глазами и мальчик в чистеньком отутюженном костюмчике и галстуке в сопровождении матери. Мальчишка сосал палец, дергал себя за галстук и поглядывал на Бейкса. В комнате носился слабый запах дезинфекции.

Бейкс пришел к доктору лишь на следующий день, как любой другой пациент, чтобы ни у кого не возникло подозрений. «Ходячий больной»,— невесело думал он. Он не обратился в пункт «скорой помощи», который столько раз видел в рекламном кинофильме: стоявшие наготове джипы, санитары с носилками, лениво жующие резинку. Потом на экране появлялись титры с именами актеров, и начинался фильм. К концу сеанса пол бывал усыпан ореховой скорлупой и обертками мороженого...

Бейкс очнулся. Мальчишка все так же теребил свой костюмчик, вращая пытливыми глазенками. Его мать с брезгливой миной бросала на Бейкса взгляды, браня при этом ребенка за то, что он сосет палец. Она так и впилась в осунувшееся лицо, потускневшие медно-карие глаза, оттопыренную верхнюю губу, заметила темное пятно засохшей крови на манжете рубахи. У нее не осталось сомнений, что это какой-то негодяй, отпетый тип. Видать, пырнули ножом в пьяной драке.

Не мог же он врываться к доктору среди ночи. Кроме того, Бейкс не знал его домашнего адреса. Доктор несколько лет назад сделал добровольный взнос в кассу организации. Бейкс и еще один товарищ приходили за деньгами сюда, в клинику. В те времена можно было смело полагаться на сочувствующих. Однако с уходом движения в подполье доктор мог измениться. Придется рискнуть, выдумать какое-то объяснение. Среди бедных людей увечья в конце недели — столь же заурядное явление, как, скажем, протекающая кровля. Рана болела все сильней, Бейкс едва сдерживал нетерпение.

Старик уснул, губы у него продолжали трястись. Дама все отчитывала ребенка, пугая его разными болезнями. Она поглядывала на Бейкса с беззвучным вызовом и укоризной.

Наконец дверь отворилась, из кабинета вышел пациент с бутылочкой коричневой жидкости в руках, и смуглая женщина в белом халате позвала:

— Следующий!

Дама вскочила со стула, будто опасаясь, что Бейкс или старик ринутся в кабинет без очереди. Таща за руку упирающегося сына, она устремилась вслед за сестрой. Дремлющий старик покачивался на стуле. Кругляшок света на стене все уменьшался. Вошел новый пациент, огляделся с порога и с достоинством прошествовал к свободному стулу.

Бейксу показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он предстал перед доктором.

— О, мистер... Бенджамен, не так ли? — Доктор весело поглядывал сквозь роговые очки, вертя в руках стетоскоп. Бейкс скользнул взглядом по скамье с привязными ремнями — точь-в-точь средневековая дыба,— по стеклянным ящичкам с наводящими страх иглами и шприцами, по сосудам с притертой пробкой. В них, наверно, хранятся яды. Толстый коротышка с желтоватым лицом, в накрахмаленном белом халате светился добротой. Задорные глаза за круглыми стеклами смотрели спокойно и безмятежно. За долгие годы практики он научился одним своим видом внушать уверенность больным.

— Бейкс, моя фамилия Бейкс.— Немудрено, что доктор ошибся. Имена нынче меняют не реже сорочек.

— Конечно,— подхватил доктор.— Бейкс. Вы однажды были у меня. И кажется, не по поводу своего здоровья. Теперь я вспомнил.

Он показал Бейксу на стул и обратился к темнокожей сестре:

— Не ищите, на этого пациента не заводилась карточка.

Бейкс сел, и сестра расстегнула пиджак. Подлетел доктор, от него запахло табаком и эфиром.

— Гм-гм, где это вас угораздило?

Сестра обрезала ножницами рукав рубашки, он упал в подставленную корзину, как слинявшая змеиная кожа. Бейкс зажмурился, чтобы не видеть раны.

— Гм, глубокий порез,— с улыбкой продолжал доктор.— Сестра, придется наложить швы. Но сначала промойте.

— Несчастный случай,— начал было Бейкс, но ему тут же заткнули рот термометром. Сестра легкими и точными движениями промывала рану. Когда термометр вынули, Бейкс сказал: — Нельзя ли, доктор, переговорить с вами с глазу на глаз?

— Конечно, мистер Бейкс. Как только управимся с вашей рукой, идет? — Он помахал в воздухе мотком хирургической нити.— Что вы поделывали все это время?

Доктор не дал Бейксу времени придумать ответ, тут же добавив:

— Если вам тяжело говорить, не отвечайте. Голова, поди, трещит, а?

Он бросил сестре:

— Вон как рвануло, с мясом... Местную анестезию!

— Это ночью случилось. Не мог найти врача.

— Ничего страшного. Не идти же было в «скорую помощь», к этим бюрократам, верно? — Он все время улыбался, глаза за стеклами очков смотрели как-то по-птичьи. Сестра действовала умело. В отличие от доктора она благоухала косметикой и духами.

— Ну вот и все! — воскликнул доктор, умываясь над раковиной в углу. Сестра убирала инструменты. Вернувшись к Бейксу с полотенцем в руках, доктор спросил с лучистой улыбкой:

— Нет такого ощущения, будто рука затекла? Это от наркоза. Я дам вам таблетки на случай, если поднимется температура. Несколько дней придется посидеть дома.— Доктор повернулся к сестре.— Вскипятите-ка нам чайку.

Сестра ушла на другую половину дома, а доктор присел за письменный стол, улыбаясь Бейксу поверх ящичков с историями болезней, бланков для рецептов, аппарата для измерения кровяного давления.

— Вы обязаны сообщать в полицию о несчастных случаях? — спросил Бейкс, желая оградить доктора от возможных неприятностей. Рука была как чужая.

— Обычно я это делаю.— Он протянул Бейксу раскрытый портсигар и зажигалку. Оба закурили, дым заслонил их друг от друга.

— Вот как все произошло,— пустился в объяснения Бейкс, но доктор, разогнав дым пухлой ладошкой, закричал в образовавшийся просвет:

— Мистер Бейкс, я могу отличить огнестрельную рану от других, даже если задета только мякоть, хотя ко мне с такими ранениями обращаются не часто. Полиция?

Бейкс кивнул.

— Я так и думал! В стране творится что-то — это ясно каждому. По закону я обязан сообщать о подозрительных ранах, ну и так далее.

— И вы подчинитесь закону?

Доктор стряхнул пепел с сигареты и подошел к Бейксу.

— Лишь те законы обязательны для граждан, в обсуждении которых им позволили принять участие. Если законы нам навязаны,

тогда совсем другое дело...— Он помолчал и снова опустился в кресло.— Но даже в том случае, когда не участвуешь в принятии закона, необходимо спросить себя: кого этот закон защищает? Если он карает преступника, убийцу, насильника, я на стороне правосудия. Но если закон несправедлив, преследует тех, кто борется за справедливость,— я не обязан поддерживать его. Власти поставили нас перед необходимостью такого подхода. В нашей стране что-то происходит, мистер Бейкс. Находятся смельчаки, бросающие вызов царящему всюду произволу. Может, и я ждал случая внести свою скромную лепту.

На его лице засверкала торжествующая улыбка. Казалось, доктор давно вынашивал эту проповедь.

— Ну вот, я облегчил душу, теперь не грех и подкрепиться. Сейчас нам принесут чай. Извините, что заставил вас выслушивать мои инфантильные рассуждения.

— Доктор, вы идете на риск, мы умеем ценить это.

— Риск? — ухмыльнулся доктор.— Может быть. Я вспомнил молодость. В студенческие годы мы обожали подобные приключения.

Он стремительно встал и, обогнув стол, подошел к шкафу.

— Позвольте мне оказать вам еще одну небольшую услугу...

На багровом небе за домами предместья медленно догорал поздний закат. Над городом вспыхнуло неоновое зарево, как пожар после воздушного налета. У кассы кинотеатра для цветных выстроилась очередь, на кромке тротуара сидел пьяный. В субботу вечером все отправляются в кино, это время веселья и развлечений.

«Заявление шефа безопасности по поводу листовок»,— кричали заголовки вечерней газеты. Бейкс купил ее у мальчишки в грязной майке. Он прошагал мимо очереди у кассы и поравнялся со входом, где на треножнике был выставлен плакатик: «Для детей до шестнадцати лет и цветных». В мешковатом твидовом пиджаке Бейкс ничем не отличался от других молодых людей, слонявшихся у кинотеатра. Этот пиджак дал ему доктор.

— Жена собирает одежду для благотворительных базаров,— объяснил доктор, доставая пиджак из шкафа и размахивая им, как матадор мулетой.— Вам он будет почти впору. Один из пациентов привез его жене, берите — никто не хватится.

— Большое вам спасибо,— Бейкс стоял посреди кабинета в рубашке с одним рукавом.— Как это кстати!

Доктор помог ему переложить вещи из запачканного кровью пиджака. Потом они сели к столу, сестра налила им чай. Она сохраняла полную невозмутимость, будто молодые люди с подозрительными ранами, на которых не заводится карточка, столь же обычные пациенты, как, скажем, больные золотухой, несварением желудка или гриппом. Бейкс, вспомнив о дремлющем в приемной старике, поспешил допить чай и поднялся.

— Доктор, мне пора. Не буду отрывать вас от дел.

— Если разболится голова, пейте каждые четыре часа по таблетке,— напомнил доктор, вставая.— Они у вас в кармане пиджака. Рад был свидеться после такого перерыва. Рука должна быть в покое. Хорошо бы вам зайти ко мне недельки через три, чтобы я взглянул на швы.

В его пытливом взгляде сквозила смутная надежда. Быть может, доктор уже обдумывал, какую речь произнесет он в следующий раз.

Бейкс улыбался и кивал головой, залезая с помощью доктора в твидовый пиджак. Он заметно топорщился под мышками и на груди, ну да ничего, сойдет: кого может удивить второсортный костюм на человеке второго сорта?

— Непременно зайду,— пообещал Бейкс,— если смогу. Сами знаете, доктор, загадывать трудно.

— Да, конечно,— сказал доктор, поблескивая оправой очков.— Берегите себя!..

По вечерним улицам к центру и от центра катили машины. Бейкс решил не возвращаться к Томми. Чем чаще меняешь адреса — тем меньше шансов, что тебя выследят. Где-то Томми сейчас?..

— Если не застанешь меня вечером, не беспокойся,— предупредил Бейкс, когда Томми уходил на работу. Томми хмурился спросонья, на нем были черные брюки и клетчатый пиджак.

— Желаю удачи, Бьюки, старина! «Ты будешь сниться мне!» — Как всегда, цитата из песни...

Бейкс развернул газету. Отчет о суде над женщиной, убившей мужа, вернулся на первую страницу. Тут же было помещено сообщение об облавах и обысках, предпринятых секретной полицией по всей стране. Бейкс и без того был уверен, что охота продолжается. Пока никаких имен, их объявят позднее. Только бы не тронули Фрэнсис, лишь бы ее оставили в покое!.. Отчет об из ряда вон выходящем событии, всколыхнувшем всю страну, был составлен по-казенному сухо: «Министр обороны заявил в палате... комиссариат полиции вчера объявил... министр внутренних дел, министр по делам цветных, министр по делам азиатов...» Официальные заявления утаивали факты, утверждая, что газетчики искажают истину и преувеличивают размах событий. Журналистов пугали судебным преследованием за разглашение государственной тайны.

Бейкс решил, что поедет к Эйприлу. Автобусом это будет стоить всего пятнадцать центов. Он ждал на остановке с газетой под мышкой, пересчитывая мелочь на здоровой ладони. Левая рука не была на перевязи, чтобы не привлекать внимания. Теперь, когда рану зашили и перевязали, боль утихла. Стоя на остановке, Бейкс чувствовал свою уязвимость, будто муха на голой стене. Как назло, подкатывали одни автобусы для белых. Наконец пришел нужный ему автобус, он был забит субботней толпой, возвращавшейся со скачек. Люди возбужденно обсуждали сегодняшние забеги. Бейксу посчастливилось найти свободное место, и он сел, оберегая раненую руку.

Постепенно пассажиров поубавилось, зажиточное предместье осталось позади, дорога шла мимо хмурых рядов сегрегированных жилищ с язвами облупившейся штукатурки на стенах. Вечер уже струился вдоль крыш, по песчаным дорожкам и заборам, над которыми торчали смуглые детские головки, будто куклы над ширмой бродячего артиста.

Промелькнули серые безлюдные фабричные корпуса, городской рынок с пустыми прилавками и запертыми на ночь ларьками, дорожный указатель на подъезде к цементному заводу: «Осторожно, туземцы!»

Автобус не замедлил ход. Вскоре из мрака вынырнуло другое предместье: коттеджики, как одна мать родила; улицы, поименованные пышными названиями цветов; железные решетки на окнах бакалейной лавки — свидетельство нравственного падения постоянной клиентуры.

Эйприл жил в кирпичном домике, к которому была пристроена грубо сколоченная мастерская. На вывеске, намалеванной неумелой рукой, значилось: «Ремонт автомобилей, жестяные работы». За забором вдоль ржавой проволоки бегала старая дворняга, сторожившая горы запасных частей и штабеля износившихся покрышек. На другой проволоке сушилось белье. Собака ощерила поломанные клыки и зарычала. Бейкс обогнул ее и зашагал к мастерской.

С порога он увидел стоявший на домкрате автофургон, из-под него торчали ноги в замасленном комбинезоне и шнур переносной лампы. Ноги без туловища напомнили Бейксу плакаты в комнате, где состоялось их злополучное свидание с Элиасом. С щемящей тревогой подумал он о судьбе друга. В мастерской раздавался стук и лязг. Из-за забора со стороны молельного дома адвентистов седьмого дня долетали обрывки песнопений. Вечерние тени заползали в распахнутые двери мастерской, скользили по залитому машинным маслом полу, по разобранным металлическим внутренностям автомобилей, канистрам, гаечным ключам. У стены стояло помятое крыло какой-то легковушки.

— Хенни! Хенни Эйприл! — позвал Бейкс с порога.— Где ты, старый пройдоха?

Ноги заерзали, показалось туловище, за ним — голова и перепачканное смазкой лицо.

— Господь всемогущий! Бьюк! Неужели это ты, старина?

Маленький человечек неуклюже поднялся на ноги, широкая улыбка рассекла похожее на перезрелый арбуз лицо, обнажив гнилые зубы. Он вытер ладони сначала о комбинезон, потом ветошью, взглянул на них и не решился протянуть Бейксу руку.

— Чертовски рад тебя видеть, дружище! — ругань лезла из него, как шерсть из шелудивого пса.— Помнишь нашу последнюю партию в шашки? Как поживаешь, чертяка?

— Нормально,— отозвался Бейкс, разглядывая фургон.— Ты получил мою записку? Твоя колымага на ходу?

— Нет пока. Будет готова к понедельнику, даже если придется работать по ночам.

— Что с ней стряслось?

— Да не психуй, все о'кей. Пойдем-ка в дом.

Они вместе вышли из мастерской. Над заборами и крышами разносились гимны. Хенни шел впереди, показывая дорогу.

— Как по-твоему, удачно ли выбрано время для отъезда? — спросил Бейкс.

— А что, нужно опасаться шпиков?

— Нас они как будто не знают, но ведь может быть проверка на дороге.

— Черт с ними, Бьюк,— засмеялся Хенни.— Эти кретины ни за что не сцапают твоих ребят. Не первый день я этим занимаюсь. Волков · бояться — в лес не ходить.

«Бизнес» Хенни отнюдь не ограничивался ремонтом автомобилей. Главным образом он состоял из перевозок нелегальных грузов, одушевленных и неодушевленных: контрабандных и ворованных товаров, азиатов, едущих без специального разрешения из одной провинции в другую. Этот богохульствующий человечек с гнилыми зубами и круглым, как арбуз, лицом охотно брался за такие дела.

— Сюда теперь выселяют цветных из города.— Хенни поглядел по сторонам.— Домов не хватает, район превратился в людскую свалку.

Зажав одну ноздрю пальцем, Хенни высморкался в пыль, будто подчеркивая этим свое презрение к властям. Он мягко обнял Бейкса за плечо, но тут же отдернул руку, заметив, как скорчился от боли гость.

— Что такое, Бьюк? — спросил Хенни, заглядывая в заросшее лицо и выпученные от боли глаза.— Что с рукой?

— Слегка поранил,— ответил Бейкс,— пустяки!

— У тебя нездоровый вид. Заходи, сейчас чем-нибудь подкрепимся.

Хенни не стал расспрашивать Бейкса. «Бизнес» научил его не задавать вопросов. Это лучший способ завоевать доверие.

Они вошли в тесную, заставленную мебелью гостиную. Вокруг накрытого овального стола на табуретах ужинали дети, мал мала меньше. У стены стоял платяной шкаф с треснутым зеркалом, в углу громоздились картонные коробки, перевязанные ремнями и старыми галстуками. Под продавленной кушеткой виднелись чемоданы. В других углах были навалены запасные части. Из кухни пахло стряпней.

— К нам дядя пришел,— объявил Хенни детям и показал Бейксу на кушетку.— Располагайся, дружище!

Бейкс протиснулся мимо стола, потрепав на ходу детские курчавые головы, а Хенни закричал в направлении кухни:

— Мария, погляди, какой гость пожаловал!

— Иду,— отозвался женский грудной голос.

Дети продолжали есть, не нарушив молчания. Их сызмальства приучили к дисциплине. Они знали, что тишина есть непременное условие отцовского «бизнеса», а стало быть, залог грядущих обедов и ужинов. Только застенчивые улыбки и робкий шепот встретили появление знакомого дяди. Сидя на кушетке, Бейкс размышлял о содержимом бесчисленных коробок и чемоданов. Интересно, открывали ли их хоть раз за время его отсутствия? Увы, ему, наверно, не суждено проникнуть в их тайну.

На пороге показалась грузная африканка в старом берете и несвежем фартуке. Она была беременна, и от этого казалась еще крупнее. В руке она держала наперевес, точно копье, длинную разливательную ложку.

— Боже мой, Бейкс!

Бейкс встал и с улыбкой пошел ей навстречу.

— Как поживаешь, Мария?

— Разве ты не видишь? — Она лучисто улыбнулась и показала половником на свой живот.— Чертов Хенни не угомонится никак. Садись ужинать. Хенни, найди-ка ему место.

— Я должен был к вам заявиться только в понедельник, но обстоятельства изменились — знаешь, как бывает,— сказал Бейкс.

— Еще бы! — воскликнула Мария, поглаживая живот, как бы давая понять, что привыкла к разным неожиданностям.— Не беспокойся, мы тебя устроим.

Хенни выпроваживал из-за стола детишек, освобождая место для Бейкса.

— Ты будешь спать на нашей кровати, а мы с Марией ляжем с детьми.

— С ума сошел,— возразил Бейкс.— Я отлично проведу время с этими карапузами.

— У него болит рука,— сказал Хенни жене.

— Ничего,— успокоил их Бейкс,— дети меня не тронут.

— Смотри,— сказала Мария,— нам ничего не стоит уступить тебе кровать.

— Спасибо, не беспокойтесь. Речь идет всего о двух ночах.

— В таком случае, давай ужинать,— позвала хозяйка.— Как ты себя чувствуешь? Выглядишь ты неважно.

— Дайте-ка мне воды, я приму таблетку. Башка трещит, а так все в порядке.

Бейкс сел к столу, Хенни уселся напротив. Мария принесла с кухни тарелки с едой. Дети перешли в другую часть дома, в гостиную долетали их звонкие голоса. Бейкс всегда поражался плодовитости Хенни.

— Бог даст — все устроится,— рассуждал хозяин, размахивая

вилкой.— Нечего тебе психовать, старина. Сколько раз полиция устраивала на дорогах засады, а я проскакивал у них под носом. Прямо перекати-поле!

— Жизнь этих ребят будет в твоих руках,— сказал Бейкс.— До первого привала, а там их примут другие люди.

— Не психуй, Бейкс, не психуй,— обнажил гнилые зубы коротышка.— Предоставь все братцу Хенни. Бог свидетель, я не хвастун, но свое дело знаю.

Он снова завращал вилкой и обвел взором заставленную комнату, коробки, чемоданы, подумал о беременности жены, о том, что она еще не раз принесет ему потомство...

— Сыграем после ужина в шашки? Знаешь, шашки — моя слабость!

XVII

Дьявольская боль пронзала тело, выламывала из плечевых суставов руки, прикованные к скобе. От побоев остались синяки и кровоподтеки — следы револьверной рукоятки. Худые голени подкашивались, в пересохшем рту был горький привкус крови. Боль распинала его, голова упала на грудь. Опухшие глаза разглядели рваный ворот рубахи, вдетую в брюки веревочку — ремень у него отняли. Сознание помутилось, но он еще жив, жив!.. Элиас потянулся, пытаясь достать ступнями до пола, но ноги будто гвоздями приколотили, и он так и остался висеть. Перед глазами поплыли серые стены, каменный пол, на нем окурок, как раздавленное насекомое. Камера пришла в движение, завращалась, точно на карусели.

Вконец измучила жажда. Он облизал шершавым языком сухие, опухшие губы и, превозмогая боль, произнес вслух:

— Думай, думай о чем-нибудь, о чем угодно!

И вот он видит себя мальчишкой. Они с дружками бегут по пыльной насыпи, машут руками мелькающим лицам в вагонных окнах. Осень. Трава еще не пожелтела, стоят ясные дни, но по вечерам уже веет прохладой, изредка моросит дождь, особенно в долине. Люди засиживаются за полночь у костров перед хижинами. Дым медленно плывет по небу, будто увлекаемый рукой волшебника. Стихает щебет птиц, и только ребятишки никак не угомонятся. Взрослые спят допоздна — работы закончились, в поле идти не надо...

Дверь камеры с грохотом распахнулась, по ступеням сбежали оба сыщика. С трудом приподняв голову, Элиас увидел их словно через волнистое стекло: искривленные, опухшие, смазанные лица. Молодой, с напомаженными волосами, молча отомкнул наручники, которыми Элиас был прикован к скобе. Сыщики и не подумали поддержать его, и Элиас как подрубленный рухнул ничком на цементный пол. Собрав силы, он оперся на ладони, скованные второй парой наручников, и кое-как умудрился сесть.

— А ну вставай, гад!

— Не могу, ноги болят,— промямлил Элиас, едва ворочая языком. От его одежды разило мочой.

— Это цветочки, скоро узнаешь, что такое боль,— пригрозил Спортсмен.

Элиаса схватили под руки и поволокли к двери, ноги висели как плети, он задыхался, шлепался, как тюфяк, о стены. Камера, куда его втолкнули, была размером с чулан, в ней стояли стол и два стула. Элиаса швырнули на стул, сыщик с блестящими волосами сел на-

против. Спортсмен закурил сигарету, а Молодой раскрыл лежавший на столе блокнот.

— Ну, будешь говорить? — спросил сыщик, постукивая по столу шариковой ручкой, кидая на Элиаса свирепые взгляды.

— Дайте мне воды,— выдавил из себя Элиас.

— Дерьмо! — заорал Спортсмен.— Ты не в гостинице! Будешь говорить — дадим напиться.

Молодой нетерпеливо вертел ручку, готовясь записать показания Элиаса.

— Ну валяй, выкладывай все, да поживей!

Элиас водил мутным взглядом с одного сыщика на другого. Они казались ему далекими тряпичными чучелами, а не людьми.

— Видите ли, это невозможно,— он еле ворочал языком.— Я ничего вам не скажу.

Глаза у Молодого сделались плоскими и пустыми, как у пресмыкающегося. Он спрятал ручку в нагрудный карман, застегнул пиджак, встал и подмигнул Спортсмену.

Спортсмен спихнул Элиаса со стула, и тот снова грохнулся на пол. Его подхватили под руки и потащили по коридору в другую комнату. Эта оказалась попросторней, с несколькими столами, стульями и какими-то странными приспособлениями. Его усадили на стул, Молодой разомкнул наручники, завел руки Элиаса за спинку стула и снова надел наручники.

— Лучше говори, кафр,— зарычал Спортсмен.

Элиаса задело оскорбительное прозвище, обида оказалась сильнее боли и страха.

— Без толку,— сказал он им,— ничего вы не добьетесь.

— Послушай,— у Молодого срывался голос,— нам все равно. Будешь молчать — мы тебя прибьем.

Спортсмен ударил Элиаса кулаком в лицо. Он принялся избивать его методично, с близкого расстояния. Бескрайняя иссиня-черная пелена окутывала Элиаса, он почти радовался ей, она сулила забвение. Снова во рту был привкус свежей крови, голова отламывалась от шеи. Он медленно сползал в черный ревущий водоворот.

— Эй, мы не дадим тебе заснуть,— точно эхо, долетел до него голос Спортсмена.— Проснись, макака!

Элиас покачнулся и тяжело рухнул на пол вместе со стулом. Стул разлетелся на части.

Спортсмен выругался и обломком стула ударил Элиаса по голове.

— Торопись, макака,— Молодой задымил сигаретой,— или отсюда живым не выйдешь, понял?

Лежа на полу, Элиас уплывал куда-то. Одна надежда — забыться, потерять сознание — тогда он будет для них недосягаем. Его стойкость и решимость покоились на внутренней силе, выплавленной из страданий и жестокостей. Медленно кружащие над ним тени предков изгоняли из тела боль. Боль была уже не в нем, а вне его, как спутник, летящий вокруг его существа. В ушах звучало приглушенное расстоянием победное улюлюканье, звон щитов и копий, тысяченогий топот...

Истекавшего кровью Элиаса перенесли на другой стул, плеснули водой в распухшее, точно тесто, лицо. Кожа засаднила так, точно ее смочили кислотой. Вода вместе с кровью стекала по шее.

— Мы еще не так можем,— услышал Элиас чей-то голос.

«Думай о чем-нибудь,— твердила боль,— о том, во что веришь, например, о любви... Старый Тсатсу умер на придорожной груде мусора. Он лежал как чучело, выброшенное за ненадобностью».

«Он уснул навеки, отправился к предкам. Там ему будет лучше, чем на этом свете».

Люди пели гимны на угрюмом холме, ветер подхватывал их голоса, как сухие листья, и уносил прочь. Худой согбенный шахтер проковылял мимо, глядя на Элиаса мертвыми глазами. Он кашлял и харкал, болезнь пожирала его, как крыса сыр. «Он околдован»,— кричали дети. Околдован?.. Еще один шахтер навеки погребен во мраке, глубоко под землей, под спудом камней и золота. Золото, желтое, мягкое, как замазка, превращающее людские сердца в безжалостную бронзу.

И снова его били. В глазах потемнело — на голову надели мешок. Его подвесили к потолку в причудливой позе, высоко подтянув согнутые в коленях ноги. Спортсмен включил какой-то прибор. Из туманной дали доносился барабанный топот ног по растрескавшейся земле, звон щитов и копий.

Молодой включил генератор, а Спортсмен поднес электроды к половым органам Элиаса.

Элиас закричал в мешке. Он предвидел насилие, но это уж чересчур! «Скажи, скажи им все!» — застучало в мозгу. Тело его извивалось и дергалось, точно сломанная марионетка. Тени предков топтались поодаль, собираясь в кучку; раскачивались перья, тряслись леопардовые хвосты. Солнце желтым фонарем висело в неприветливом небе, отражаясь молниями в кованых наконечниках копий. Его плоть горела и саднила, судорожно дергались руки и ноги, отказываясь повиноваться, трясясь и прыгая в жутком, причудливом танце. Тысячи червей извивались под кожей, рвались наружу, крича в кромешной мгле, а тени скользили по расплывчатому горизонту и кивали ему, звали его к себе.

Наконец сыщики сдернули мешок с головы. Перед ними предстала жалкая маска, раздутое опухолью лицо утопленника.

Они схватили его и потащили по коридору без брюк, в рваной окровавленной рубахе назад, в подвал, спустили его со ступеней, захлопнули тяжелую дверь, заперли ее на замок.

Край каменной ступени едва не рассек ему висок, но боли от этого он вроде и не чувствовал. Все утратило реальность, даже боль и горечь унижения. В опустошенном мозгу единственное слово хлопало, как рваная тряпка на ветру: скажи, скажи, скажи!

Нагретый асфальт обжег щеку. Мимо бежали люди, в ноздри забивалась пыль, по шее стекала кровь из раны, оставленной полицейской дубинкой... Он уезжает из дому, и мать, маленькая, уютная старушка со следами охры на лице, дает ему в дорогу кулек с жареным картофелем и жестким цыпленком. Дряхлый автобус терпеливо ждет, шипя и отдуваясь, как усталый старик. Он повезет завербованных рабочих на станцию. Мать не плачет, как плакали бы на ее месте другие. Она гладит его ладонь, приговаривая: «Хо! Ты теперь мужчина, сынок!» Женщины стоят на обочине, глядя чихающему автобусу вслед. Вот их уже не видно за бурой пылью и серо-голубыми выхлопами. И тут он вспоминает, что забыл свою заветную книгу, по которой выучился читать... С тех пор он перечел много книг, много чего узнал. Коричневые холмы, деревня, лавка Вассермана вспыхнули на миг на мерцающем экране памяти и тут же погасли.

Воронье кружилось над полем битвы. Uya Kuhlasela pi na? С кем ты теперь сразишься, воин? — вопрошали тени предков.

— Знаешь, в чем твоя беда? — говорил майор.— Ты просто-напросто глуп. Не хочешь избавить себя от огорчений. Или тебе мало того, что было?

— Он дурака валяет,— сказал Спортсмен и посмотрел на Элиаса.— Мы как на войне, и твоя жизнь не стоит ни гроша.

— Если подохнешь, мы скажем, что ты наложил на себя руки,— подхватил Молодой,— после того как все рассказал.

— Ты болван,— снова заговорил майор,— приходится втемяшивать тебе рассудок кулаками.

Он поднялся и пошел к двери. В комнате клубился синий табачный дым, оба сыщика были без пиджаков. На толстом майоре был строгий штатский костюм, накрахмаленные манжеты сорочки торчали из рукавов. У порога он задержался, кивнул сыщикам и вышел.

— На этот раз без всяких поблажек,— сказал Молодой,— у, макака!

И снова мешок на голову. Скажи, скажи, скажи все! Но тени ждали его на горизонте. Слов не было слышно, только крики воронья, кружащего над полем. Wahlula amakosi! Ты одолел королей! Далекие фигурки задвигались на горизонте. Uya Kuhlasela pi na? С кем ты теперь сразишься, воин? Вдали, на подернутом дымкой крае неба сбирались предки, копья как брильянты ослепительно сверкали на солнце. Кто-то возник из яркого облачка и коснулся его ладонью. «Мама»,— зазвучало в голове. Издалека, нарастая, донесся топот бегущих ног.

XVIII

Ждать оставалось недолго. Хенни Эйприл погрузил несколько таинственных чемоданов в автофургон, а Мария принесла сумку с провизией. На кушетке в гостиной сидели двое юношей африканцев, Питер и Майкл. На одном была соломенная шляпа, на коленях каждый держал по свертку. За окном еще не рассвело, при электрическом освещении их настороженные лица казались желтыми. Мария, присев к столу, задушевно беседовала с молодыми людьми на их родном наречии, они в ответ смеялись, качали головами, застенчиво отводя глаза. Юноши явились глубокой ночью, и старая дворняга разбудила лаем весь дом.

Бейкс спал некрепко, урывками, в детской среди деревянных и металлических кроваток. Повсюду валялись ребячьи одежки, похожие в потемках на летучих мышей. Все воскресенье Бейкс просидел дома, пока Хенни ремонтировал фургон. Боль в руке утихла, превратившись в легкое, терпимое покалывание. После обеда детей, сверкающих чистотой, выпроводили в воскресную школу. К вечеру Хенни объявил, что фургон готов нестись, как ракета. Мужчины весь вечер сражались в шашки за столом в гостиной. Бейксу захотелось почитать перед сном, ему подвернулась детская книжонка о пиратах. «Похоже, Хенни готовит себе достойную смену,— подумал с усмешкой Бейкс.— Дети наверняка унаследуют отцовский «бизнес». С этой забавной мыслью он задремал.

Его разбудил лай. Дети тоже проснулись, их глаза ярко светились в темноте, как мышиные зрачки. Бейкс щелкнул выключателем. Дети лежали не шевелясь, прислушиваясь. Неужто им уже объяснили, что нельзя предаваться панике, когда звучит сигнал тревоги? Слышно было, как во входную дверь постучали и Хенни пошел открывать. В гостиной вспыхнул свет, донеслись приглушенные голоса, потом Хенни заглянул в детскую в помятой ночной рубашке до пят и шепнул Бейксу, что прибыли двое парней. Теперь они болтали в гостиной с Марией, а Бейкс гадал, куда запропастился третий. Он

крепко пожал ребятам руки, и один из юношей, по кличке Майкл, спросил:

— Как там Элиас?

— Надеюсь, с ним все в порядке,— буркнул Бейкс. Откуда это ему известно, что Бейкс связан с Элиасом? Ну и конспирация! — рассердился Бейкс, но тут же успокоился — пора бы уж привыкнуть.— Должен быть еще третий, — объяснил Бейкс юношам, — подождем его.

— Ехать надо, когда рассветет,— сказал Хенни, уписывавший за столом кашу. На нем был застиранный комбинезон и полотняная кепка. Дети снова заснули.— А он придет?

— Почему бы нет? — отозвался Бейкс.— Пришли же эти двое.

Он растолковал юношам, кто будет встречать их в конечном пункте, и напомнил, что никто не должен знать их настоящих имен.

— Третьего зовут Поль,— сказал он.

Ночь посерела за окном, приближался теплый рассвет; мрак медленно отодвигался, как дым над полем битвы. «Скоро,— подумал Бейкс,— по утрам будут заморозки, настанет осень. Черт, что мы станем делать зимой? Уцелеет ли кто-нибудь к тому времени? Если Элиас арестован, кто передаст мне инструкции?» Должен же еще кто-то, кроме Элиаса, знать о Бейксе. Наверно, с ним свяжутся через аптекаря Польского.

Хенни Эйприл от нечего делать пошел напоследок поковыряться в фургоне. Мария внесла кофейник и кружки. В окне забрезжил рассвет, но он еще не мог соперничать с электрической лампочкой, освещавшей беспорядок в гостиной: нагромождение коробок, запасных частей, шкаф с разбитым зеркалом. «А вдруг Поля этого схватили? — думал Бейкс.— Они могут заставить его заговорить и тогда узнают о нем, о Питере и Майкле, Хенни Эйприле, беременной Марии, детях. Не дай бог,— шептал Бейкс про себя,— не дай бог!» *Пойду охотиться в лесу...* Агенты сейчас, конечно, не спят, горят огни в тесных кабинетах, за зарешеченными окнами. Бейкс сидел в мешковатом пиджаке среди царившего в доме Хенни Эйприла беспорядка и вспоминал учеников Флотмена, Абдуллу и его жену-портниху, Томми, Айзека. И Фрэнсис. Лишь бы ее не тронули! Фрэнсис, дорогая, любимая Фрэнсис! Окно посветлело, утро заструилось в гостиную, и Бейкс вздрогнул, будто воспоминания причинили ему физическую боль.

— Послушай, Бьюк, нам пора,— крикнул с порога Хенни.— Надо выехать до появления прохожих. Светает. Сколько же еще ждать? Ведь путь длинный, а я хочу уложиться в график.

Даже у контрабандистов есть свое расписание.

— Сейчас,— оторвался Бейкс от своих мыслей,— еще несколько минут.

Первые солнечные лучи озарили небо. Залаяла собака, и Хенни Эйприл снова вышел во двор. Вставая, Бейкс услышал, как Хенни, чертыхаясь, утихомиривает пса. Потом он позвал Бейкса.

— Господи праведный! — не сдержал восклицания Бейкс, сойдя с крыльца, ибо перед ним в рассеивающейся мгле стоял Айзек. В руках у него была бумажная сумка, точно он на рынок ходил.

— Привет, Бьюк, старина,— Айзек с улыбкой бросился к нему,— рад видеть тебя целым и невредимым.

— Айк, негодник,— осклабился Бейкс.— Неужто это ты, старый плут!

Он долго тряс Айзеку руку, как рычаг насоса, и радостно хихикал, разглядывая торчащие уши и глаза, с легким недоумением смотрящие на мир. Но было что-то новое в этом милом, знакомом лице.

— А кто же еще! Только, к твоему сведению, я теперь Поль.

— Поль так Поль,— Бейкс хлопал друга по плечу.— А я и не знал, что ты записался добровольцем.

— Ничего не оставалось,— улыбнулся Айзек, стоя посреди светлеющего двора.— Шпики из полиции безопасности меня едва не сцапали. Чудом спасся.

— Слышал-слышал,— сказал Бейкс.— Ну, черт с ними. Ты решился на серьезный шаг, Айк.

Уши Айзека порозовели, улыбка исчезла с губ.

— Нельзя больше им все спускать, Бьюк.

— Верно, Айк,— тихо сказал Бейкс, глядя другу в глаза.

— Бьюк, дружище, надо трогать,— подошел к ним Хенни Эйприл.— И так вокруг уже много людей, могут нас заметить.

— Да, пожалуй, пора,— согласился Бейкс. Двое юношей вышли из дома с узелками в руках. Айзек поздоровался с ними. Во двор высыпали детишки, поглядывая заспанными глазами на взрослых.— Айк,— сказал Бейкс,— береги себя, ладно?

— Ладно, Бьюк,— кивнул Айзек.— Ладно.

Они пошли к фургону.

— Послушай, Бьюк,— заговорил Айзек,— тут моя мать и сестра. Дай им знать, что со мной все в порядке.

— Разумеется.

— И еще те двое парней из моей группы. Вот их адреса. Свяжись с ними, Бьюк, это надежные ребята.

— Непременно, Айк.

На пороге показалась Мария, неся перед собой большой живот. Хенни подошел попрощаться с ней. Наспех приласкав детей, он вернулся к фургону. Стало совсем светло, выплыли из мрака горы покрышек, автомобильные детали, веревки для белья. По улице к автобусной остановке потянулись люди.

— О'кей, Бьюк, не психуй,— сказал Хенни Эйприл.

— Я и не психую, старина,— улыбнулся Бейкс.

— И руку свою береги.

Молодые люди залезли в крытый кузов и расселись на скамьях, привинченных к полу.

— Прощайте, воины,— тепло сказал Бейкс, помахал им здоровой рукой и обернулся к Айзеку: — Прощай и ты, солдат!

Хенни захлопнул задние дверцы. Последнее, что видел Бейкс, была соломенная шляпа Питера и слегка удивленные глаза Айзека, припавшего к стеклу. Хенни уселся за руль, затарахтел мотор, выстрелил глушитель, и фургон задним ходом медленно выкатил со двора. Бейкс шел рядом с кабиной. Хенни высунул голову, помахал жене и сказал Бейксу:

— Довезу я ребят в целости, вот увидишь!

На востоке ярко загорелось солнце, заиграло на крышах предместья, под натиском света тени разлетелись на мелкие осколки. Бейкс глядел вслед старому дребезжащему фургону. Он тащился по мостовой мимо закоптелых домов и чахлых палисадников, оставляя позади себя шлейф синего дыма.

«Они ушли воевать во имя исстрадавшегося народа,— думал Бейкс, стоя на обочине.— Что враг посеял, то он и пожнет на поле битвы. Пока видна лишь верхушка айсберга сопротивления ненавистному режиму. Мы не простим ни замученных жертв, ни унижений. Беда тем, кто упорствует в злобе и жестокости. Пусть готовятся к худшему — ждать им недолго!»

Он стоял так, пока фургон не скрылся из виду, потом повернулся и пошел к детям, стоявшим на залитом утренним солнцем дворике.

ЛУЧЕЗАР СТАНЧЕВ

Перевод с болгарского ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

Красная площадь

Полночь. Площадь. И алый флаг.
Три солдата чеканят шаг.
Бой курантов. Рубины звезд.
Два солдата встают на пост.
Вспоминаю, как в дни войны
мне в Болгарии были слышны
эти звуки — курантов бой
сквозь смертельный кровавый бой,
сквозь насилие, зло, пожар,—
каждый звук — по врагу удар.
Курск отбили и Сталинград,
покатились враги назад.
Бой курантов над миром рос —
русский воин свободу нес
нам, болгарам.
В святом краю
возле Спасской башни стою:
Осло, Хельсинки, Лондон — дон!.. —
всюду слышится этот звон,
раздается во всех концах,
отдается во всех сердцах.
Бой курантов и звук шагов —
неизменна смена постов.
И стою здесь, вбирая свет,
сердцем — воин, душой — поэт.

■

ГЕРД ЭГГЕРС

Перевод с немецкого ИРИНЫ ГРИЦКОВОЙ

Поезд дружбы Берлин—Ленинград

Наш поезд ехал в Ленинград
Среди лесов, полей России,
Где звонким золотом звенят
Колосья спелые, тугие.

Не всюду заросла земля —
Она снарядами изрыта.
Героев позабыть нельзя.
Ничто в России не забыто.

Как тридцать лет тому назад,
Таким же знойным было лето.
Быть может, здесь упал солдат,
С тоской взглянув на поле это.

Но сын и дочь того, кто пал,
К которым мы спешили в гости,
Пришли встречать нас на вокзал
С добром в глазах, без тени злости.

Мы рождены, чтоб никогда
Войне меж нами не случиться.
Чтоб расцветали города
И радостью искрились лица.

Чтоб голод жизнь не обрывал,
Не раздавался гул снаряда.
Нам нашу дружбу завещал
Солдат, сраженный наповал
У стен родного Ленинграда.

■

МАРГАРИТА ПАС ПАРЕДЕС

Перевод с испанского Н. БУЛГАКОВОЙ

Песнь любви к Советскому Союзу

Наступил этот день — и чудо свершилось:
словно в сказке волшебной живу я.
В прозрачный предутренний час,
когда в спящие тени ночной темноты
первые проблески светлой зари проникают,
кто-то крикнул, перекрыв гул самолета:
«Смотрите, Москва!» — и по широким ступеням,
сотканным из моего волнения,
трепетно и осторожно
сошла я на эту землю.

Теплый, ласковый свет лился из окон ваших домов,
озаряя наш путь чистым пламенем братства.
Я попала в живую легенду —
так глубоко проникали в глаза и в сердце
красота и сущность Нового мира,
что непобедимый Октябрь
создал любовью, кровью, жизнью,
душою, совестью и борьбой,
упорной и смелой волей
самого чистого на земле человека, самого великого
на земле героя и человека,
«Мечтателя из Кремля»,
забывшего отдых и сон, не терпевшего
бесправия и угнетения, невежества и отсталости.
Он землю вернул землепашцам, и стала она плодородной —
обильную жатву свободы и хлеба
собирают народы его страны сегодня.
И возженный им свет рассказал всему миру
о могуществе новых идей («лампочки Ильича»
на севере, юге, западе и востоке
наступают на мрак, не оставляют от него и следа).

Да правда ли это, что я здесь, среди вас?
Что живу и дышу
чистым воздухом мира и счастья?
Что могу заглянуть в ваши души,
что поймут меня, словно в собственном доме,
где всегда ждут тебя нежность, тепло, родные?

Отовсюду сюда приезжают, и здесь зарождается дружба
людей незнакомых, прибывших из дальних краев.
За единый стол мы садимся,
делим друг с другом хлеб и вино,
волнение, знание, мечты...
Только так Человек с Человеком должен встречаться!

Здесь я все понимаю. Я могу объясниться —
и неважно, что языков я не знаю:
мне слова не нужны.
Да, я говорю
с девушкой из Вьетнама
(крошечной грацией, окрыленною волей к победе),
с товарищем из Финляндии
(могучим лесным богатырем, чьи листья тронула осень),
с опаленным войною суровым арабом
(в снежно-белой одежде и с тайной пустыни песчаной
во взгляде)
или с Героем Союза
Советских Социалистических Республик —
сейчас он подходит к нам
с гостеприимной широкой улыбкой,
предлагая на мир взглянуть по-иному,
радостно, щедро дарит нам свое счастье.

Я прибыла из страны, которую так люблю,
хоть мысль о ней страданье причиняет,
пришла из края времен горьких года,
где осени израненной цвета
и горечь горя в плодах лета
заставили звучать проклятьем лирику мою.

Но сегодня свободно сердце от горечи и мрака,
так легко на душе, как давно не бывало.
И как мне хочется нынче
словам вернуть их весеннюю свежесть,
их смысл первозданный,
кипучесть
потока звучащих гармоний,
прозрачность кристалла...
И тихо,
без возгласов,
чуть ли не прошептать эту песню любви,
из души моей она льется.
Эту песню, как вздох, как благоговенье, надежду и веру,
я подношу — скромный паломник из дальних краев —
букетом цветов полевых
вашей прекрасной стране,
что делится с братьями всей земли
свободой, радостью и любовью
и мечтой, нашедшей здесь свое воплощение.

Мехико — Москва, 1972.

■

ЖАН-ПЬЕР ШАБРОЛЬ

Пушка «Братство»

РОМАН

Перевод с французского Н. ЖАРКОВОЙ и Б. ПЕСИСА

Понедельник, 6 февраля 1871 года,
около шести часов пополудни.

Решено, возвращаемся в Рони. И во весь опор!

Спускаясь из нашей мансарды, я услышал в каморке привратницы разговор. Кто-то расспрашивал нашу матушку Билатр «о жильце, который сейчас занимает квартиру господина Валькло». Мокрица всеми богами клялась, что она ничегошеньки не знает, что, насколько ей известно, с тех пор как хозяин накануне осады уехал, никто в его жилище и не заходил, даже ей он запасных ключей не оставил. В ответ на все посулы и угрозы наша привратница, окончательно напуганная, уверяла, что ничего не ведает, и даже отвислые ее губищи пришлепывали.

Я схоронился в темном закоулке под лестницей. Поэтому-то я сразу и признал шпика, когда он вышел из каморки: Жюрель! Я бросился советоваться с Мартой.

— Не отпускай его и затащи в слесарную.

— С чего это он со мной пойдет?

— Скажешь ему, что ты знаешь, где Флуранс.

— Да ну тебя!

— Наплети ему с три короба, что все эти истории и революции тебе обрыдли, особенно сейчас, когда война кончилась, внуши ему, что ты переменился.

— Да, но...

— Ну, действуй — и живо...

Я бросился в «Пляши-Нога», потому что Жюрель направился туда, но там мне сообщили, что он выпил чашку кофе с водкой и ушел. Выбравшись за арку, я приметил в конце Гран-Рю его силуэт, узнав шпика по медленной походке. Тут он нырнул в таверну Денуайе. Когда я тоже вошел туда, он стоял один в углу спиной к столику, за которым сидели машинисты и каменотесы.

Мое неожиданное появление, видимо, его раздосадовало, хотя он и старался улыбаться.

— Уж не меня ли ты ищешь, милый Флоран?

Окончание. Начало в № 11.

— Вас, мосье Жюрель, простите меня, пожалуйста, но мне нужно с вами поговорить.

— Так вот уж срочно?

— Боюсь, что да.

Его рачьи глаза, обычно-то добродушные, впились в меня пронзительно, настойчиво. Начал я буквально наугад, не решаясь перейти к главному. Пускай сам взвешивает «за» и «против», пускай решает, остаться ли ему добрым дядюшкой Жюрелем или ухватиться за протянутую мною жердь, и надо сказать, довольно-таки неуклюже протянутую. Мы уселись за столик, нагнувшись друг к другу, чуть лбами не стукались, взаимно принюхиваясь, как два пса, еще не решившие, куснуть дружка или облизать. Только в том случае он выйдет из взятой на себя роли, если я сыграю свою в совершенстве, но насколько он был сильнее меня в таких играх! Поэтому мне оставался один-единственный шанс: как можно ближе держаться истины. Начал я с того, что признался в своей нескромности, позволившей мне подслушать дознание, которое он вел в каморке привратницы, и ей-богу, по-моему, я даже покраснел. Его тяжелые веки опустились ровно настолько, чтобы прикрыть злой огонек, зажегшийся во взгляде. Больше я ничего не добавил. А Жюрель все глядел на меня и молчал.

Я в отчаянии твердил себе: «Да ну же, ну же, я должен найти способ заманить его в тупик!»

Жюрель все молчал. Его большие глаза с налитыми кровью белками впились мне в лицо, и только изредка на секунду он отводил их, когда хлопала входная дверь.

Оглянувшись на рабочих, затянувших песню, я демонстративно пожал плечами, и так как Жюрель вроде бы удивился моему раздражению, я, вздохнув, бросил:

— Хватит с меня! Хочу домой в Рони. Хочу забыть все это...

Все с тем же сонным выражением лица — только голос прозвучал чуть саркастически — наш славный господин Жюрель небрежно уронил:

— Значит, дорогой мой Флоран, ты так изменился? И до чего скоро! Ну а как же, скажи, ваша пушка «Братство»?

— Эх, мосье Жюрель, та ли пушка, другая ли, какая сейчас разница? Теперь мне кажется, будто мы все с ума посходили. И вдруг я точно проснулся...

А он осторожно поощрял меня к дальнейшим признаниям: опустив веки, покачивая головой, словно бы впивал сладостный нектар. Я же рассказал длиннющую историю, как и советовала Марта: в конце концов, я просто крестьянский сын из Рони, в силу случайностей войны и осады я, на горе мое, был, так сказать, пересажен в парижскую землю. Очутившись в самой гуще Бельвиля, я, понятно, поддался всем этим речам, всей этой суете. Перемирие сразу меня отрезвило, поставило все с головы на ноги. Я устал. Хватит с меня громких слов и пламенных идеалов, единственное мое желание — это не разлучаться со своей семьей, вновь очутиться на нашей ферме и обрабатывать свой клочок французской земли. Крестьяне — народ благоразумный. Они любят мир. Они авантюристов сторонятся...

Я сам был отчасти смущен: говорил такое, а слова мне вовсе не раздирали рот. Наоборот, чем больше я распространялся — а распространяться волей-неволей приходилось,— тем логичнее, тем естественнее получался мой рассказ, мне даже начало казаться, будто я не вру. Чем ярче я описывал свое отвращение к высокопарным клубным разглагольствованиям и свой страх перед этой бестолковой, но опасной деятельностью, тем уютнее я себя чувствовал в своей роли хитрого мужичка из басни Лафонтена.

Искренние нотки, звучавшие в моем голосе, усыпили подозрения шпика.

— Подожди-ка чуточку, милый, я сейчас вернусь.

И он направился навстречу какому-то новому посетителю, но ни его фигуры, ни лица я не успел разглядеть: он был закутан в плащ, и широкополая шляпа скрывала его черты. Они перекинулись двумятремя фразами, стоя у окна, потом незнакомец поспешно удалился, а господин Жюрель снова уселся за столик напротив меня:

— Можешь продолжать, я слушаю.

— Да... да... я уж не знаю, о чем...

— Ну, как же так! Ты что-то тут говорил об услугах, которые можешь мне оказать, или я их могу тебе оказать, или мы можем оказать их друг другу... Признаться, я не совсем уловил твою мысль, малыш, может, объяснишься яснее?

Что еще выдумать, как заманить его в тупик, а там втолкнуть в мастерскую, где ему, должно быть, уже готов надлежащий прием? Поздно было спихнуть шпика на кого-нибудь другого, а самому умыть руки.

— А тебе, мальчуган, видно, что-нибудь надо?

Вопрос прозвучал резко. Я озадаченно пролепетал:

— Да.

Тут он понимающе улыбнулся. Наконец-то у него стало спокойно на душе. Раз я действую из корыстных побуждений, значит, моя исповедь не так уж подозрительна. Его рачьи глаза оживились, голос зазвучал теперь не так ласково. Жюрель сорвал с себя маску благодушия. В табачном непродыхном дыму, висевшем в таверне, его прошибла испарина.

— А я ведь тебе, мужичок, не очень-то верю...

— Почему, мосье Жюрель?

— Потому что, если бы ты, как говоришь, был трусом, то действовал бы на манер этой суки привратницы: ты бы сильнее боялся тупика, чем полиции!

На мое счастье, как раз в эту минуту машинисты сцепились с каменотесами, и в суматохе мне удалось собраться с мыслями. Двое драчунов подкатились нам прямо под ноги, опрокинули наш столик, а когда порядок был водворен, я уже знал, что сказать:

— Мы, мосье Жюрель, нынче ночью уезжаем из Бельвиля, навсегда уезжаем. Так вот, я и подумал, не можете ли вы помочь нам с пропуском...

— И это все?

Не особенно-то остроумный ход с моей стороны: сейчас покинуть Париж было делом двух-трех дней. То, что я не заломил настоящей цены, насторожило шпика. Но тут меня осенило:

— После войны в Рони совсем все в упадок пришло... Если я хоть что-нибудь сумею привезти, чтобы дом починить, подкупить инвентаря, семян... сумма-то, в сущности, небольшая!..

— Наконец-то,— торжествующе вырвалось у него, потом сухо: — А что ты предлагаешь?

— Чего?

— Хватит ломаться! Что продаешь?

— Флуранса.

— Опоздал. Я знаю, где он.

Кинув беглый взгляд на входную дверь, он шепнул мне:

— Вот тебе и способ доказать, что ты ведешь честную игру. Скажи мне, где он скрывается?

— Как, так вот и сказать, задаром? Ну, нет!

— Я же тебе толкую, что знаю где! Что ж, как угодно, прощайте, молодой человек!

Он уже поднялся из-за стола.

— В квартире мосье Валькло на втором этаже виллы в Дозорном тупике.

Жюрель со вздохом облегчения рухнул на стул:

— Ну, в добрый час! Слушай, мужичок, если у тебя есть еще что продать, за ценой я не постою.

— Есть то, что вы без меня не раздобудете, если даже Флуранса арестуют.

— Что?

— Его секретные бумаги.

Он даже дар речи потерял.

— А... а... можно на них хоть взглянуть?

При мне как раз было несколько листков, нацарапанных вождем мятежников: он дал мне их перебелить. Жюрель буквально вырвал их у меня из рук. Нацепил очки, вытащил из кармана бумажку и сравнил почерк Флуранса с тем, что было написано там. Убедившись в том, что записи подлинные, он быстро пробежал их глазами, удовлетворенно урча:

— ...Все имена здесь... И доказательства тоже!.. За это одно их можно подвести под расстрел! Ловко сработано, Флоран...— Тут он убрал очки, а бумажки спрятал в карман: — Разумеется, это только так, для затравки? Беги и принеси все остальное.

Вот это меня никак не устраивало.

— Теперь-то хоть вы мне верите?

Отныне наши судьбы связаны навеки. Жюрель снизошел мне это объяснить. Если себе на беду я продам его красным, я погибну с ним вместе — достаточно ему будет предъявить эти бумажки, которые я ему дал.

— Тогда пойдемте со мной, мосье Жюрель!

Еще немного, и я бы в ноги ему повалился.

— Иди принеси мне остальное, я тебя здесь подожду, не бойся.

— Но... но там у них бомбы! И оружие...

Я готов был наобещать ему все что угодно, даже подарить такие мощные пушки, как «Жозефина» и «Рекувранс».

— А они их не перепрятали, надеюсь?

— Пока нет, но надо спешить,— сказал я и поднялся со стула.

Наконец-то он пошел за мной, правда не без колебаний. Весь путь от таверны до арки я лихорадочно обдумывал более или менее правдоподобные предлоги, которые помогли бы мне уговорить его, если он вдруг побоится войти в тупик. А тем временем наш добряк господин Жюрель шагал со мною рядом, полуобняв меня за плечи, и спокойненько и очень громко говорил о том о сем. На ходу он бросил даже какую-то не совсем пристойную шуточку торговке рыбой Флоретте, которая запирала ставни, хотя на витрине были выставлены мешок с бобами да две палки ослиной колбасы.

— Как? Это здесь? — спросил он дрогнувшим голосом.

Только на пороге слесарной его взяли сомнения. Дрожа всем телом, он ухватил меня за локоть, но было уже поздно, дверь распахнулась, и с десяток рук вцепились в моего милейшего спутника.

Когда зажгли свечи, я увидел, что Жюрель лежит на полу, туго связанный веревками. Он хныкал, но голосок у него был прежний, добродушный:

— Ну, ну, ребятки! Что случилось? Флоран, объясни своим дружкам!

— Долго же ты возился! — ворчала на меня Марта.

— Думаешь, легко было?

— Знает он, где Флуранс?

— Знает, знает.

— Ведь он же мне сам сказал! — возмутился мой новый друг.

— Как, по-твоему, успел он сообщить или нет? — приступала ко мне наша смугляночка, не обращая ни малейшего внимания на вопли Жюреля, уверявшего, что он-де лучший шпион господина Кресона.

— Боюсь, что он успел кое-что передать.

И я вкратце рассказал о разговоре, происшедшем за дверью таверны Денуайе.

— Больше он ничего не знает?

— Знает. Пришлось ему показать записки Флуранса, где перечислены имена и все такое прочее!

— Тем хуже для него!

— Что ты имеешь в виду?

— Да ничего, Флоран. Иди запрягай Бижу.

— Ведь нужно еще Флуранса предупредить!

— Давным-давно предупредили. Он уже далеко.

— Все равно легавые могут нагрянуть!

— Сразу не нагрянут, они в Бельвиль поодиночке боятся нос показать. А может, и вовсе не придут.

— Положим!

— Есть у нас одно средство их отпугнуть.

А тем временем наш пленник причитал:

— Я чуял, что тут нечисто... Слишком уж все хорошо получилось! А ты, змееныш проклятый, обдурил меня совсем, когда плату потребовал. Ох, видать, старею я...

Тут вошли Жюль и Пассала. И сразу же поднесли фонарь к толстому носу Жюреля.

— Смотри-ка, такого не знаем,— ворчали они.— Одно ясно — старый доносчик. Света, видите ли, боится!

Четыре огромные тени возникли на пороге слесарной.

— А ну, чешите отсюда, ребята!

Фалль, Чесноков, Каминский и Пальятти.

— А ты, Марта, задержись на минуточку,— сказал литейщик.

Четверо новоприбывших двигались в свете свечей. Уходя, мы слышали вопли Жюреля:

— Не оставляйте меня, детки! Не оставляйте. Они... они меня убьют! — Он катался по земле, корчился, как сосиска на раскаленной сковородке, изо рта у него била пена, а широкая физиономия была вся перепачкана пылью и кровью.

Два-три вскрика, разделенные долгими паузами, долетели до моего слуха, когда я запрягал нашего старикана Бижу. Пушка «Братство» тянула к небу в потемках свою морду, огромную, львиную. Все ставни закрыты, тупик спал даже с каким-то ожесточением. Младенец Фаллей и тот затих. Марта оставалась после нас в слесарной еще минуты три. Выйдя, она кликнула Пружинного Чуба и Торопыгу, велела им раздобыть тюфяки.

Я запряг Бижу и ушел к братьям Родюк, стоявшим на карауле в дальнем углу улицы. Прошло немало времени, прежде чем Пальятти нас позвал.

На повозку погрузили два тюфяка. Пришлось долго ее разворачивать, чего Бижу терпеть не может, чтобы проехать по узкому проходу, так как путь теперь преграждала пушка «Братство».

К неосвещенным улицам лип густой туман. Я вел под уздцы Бижу, а впереди меня на шаг шла в одиночестве Марта.

— Флоран, придется тебе тоже прятаться. Ведь тот, второй грязнорылый, видал в таверне, что ты с ним говорил...

Жюль и Пассала успели пробежать бумаги шпика. Наконец-то они установили его личность и немало этим гордились. Так называемый Жюрель в действительности оказался Фассереном, одним из самых опасных агентов-осведомителей императорской полиции. Специальность у него была тонкая: втираться в ряды революционеров, подстрекать их, подбивать на заговоры, а потом выдавать заговорщиков. Вместе со своим коллегой, агентом Перрену, они сварганили знаменитое восстание, которое 7 февраля прошлого года окончилось «делом «Марсельезы» — тогда был арестован Рошфор, — и «делом бомбометателей», в котором был замешан Флуранс.

— Улица Оберкан, площадь Шато-д'О,— скомандовала Марта.

— По-твоему, обязательно надо было? — вполголоса спросил я Марту.

— Это же вредное насекомое, Флоран, не более того...

— Но раз убежище все равно было известно...

— А Возмездие — что с ним прикажешь делать? — произнесла она, и голос ее прозвучал как призывный зов рожка и дошел, словно сигнал, до тех, кто шагал позади.

Ух, какой же у нее был голос, когда она заговаривала о Возмездии! Не говорила, а пела.

Уже близился рассвет, когда наша смуглянка велела нам остановиться, но зимний туман вяло сливался с ночным мраком. Мы вздрогнули, услышав рядом вой сирены на барже. Значит, мы очутились на набережной, где-то на отрезке между Новым мостом и мостом Сен-Мишель.

— Флоран! Есть у тебя чем писать?

Я вытащил мою неизменную тетрадь, карандаш.

— Напиши: «Возвращается отправителю».

Потом подумала с минутку и добавила:

— Припиши еще: «Имеющий уши да слышит!»

Она сама вырвала листок из моей тетрадки, а затем вытащила наугад из прически шпильку.

Все остальные наши спутники, забравшись на повозку, стаскивали, чертыхаясь, тюфяки. Что-то мягко шлепнулось.

— Гони, кучерок! — крикнул мне Жюль.

Я погнал Бижу галопом.

Позади нас две расплывчатые тени — парочка полицейских — отделились от подъезда префектуры, где стояли на часах, и неторопливо направились к тому месту, которое мы покинули в такой спешке.

Неужели это застарелый дух, поднявшийся от продавленных старых тюфяков, вызвал в моей памяти родной дом? Тут только я узнал его, такой надежный запах пота, пыли, мокрой шерсти, запах труда, который приносил с поля отец; и запах этот примешивался тогда к аромату похлебки.

В самую рань.

Последняя нить, но она еще крепко привязывала меня к тупику. Теперь и она порвалась.

Повозка нагружена так же, почти так же, как была она нагружена в тот понедельник, 15 августа 1870 года. Мама топчется между Бижу и пушкой «Братство», Предок пошел проститься с теткой. Через несколько минут рассветет, и мы сможем выбраться на Гран-Рю, про-

ехать через весь Бельвиль и, распрощавшись с Парижем, двинуться на Рони. Роменвильскую заставу мы минуем без затруднений — там несут караул стрелки 9-й роты, а пруссакам на нас наплевать.

Мадам Билатр визжит как резаная: кран, видите ли, грязный. Она опять ходит гордо, как индюк: господин Валькло известил ее, что возвращается сегодня к вечеру. Завтра Франция голосует.

Вчера вечером я пошел в новое убежище Густава Флуранса — хотел вручить ему бумаги, которые еще оставались у меня, и потом, само собой, попрощаться.

Флуранс лежал в постели — не один, а с Мартой. Ни тот, ни другая даже не смутились. Воображаю, какая у меня была физиономия. Марта широко раскрыла огромные черные глазищи и развела обнаженными руками, как бы говоря: «Ну чего ты еще! Ведь это Флуранс!»

Я бросил листки на постель и ушел, даже не закрыв за собой дверей.

Потом кинулся бежать.

Прощай, Париж!

Рони-су-Буа,
воскресенье, 12 февраля 1871 года.

Дома нас ждал отец — он все такой же, разве что похудел. Он уже взялся восстанавливать ферму, благо, ущерб не особенно велик. Главным образом пострадали места, непосредственно примыкающие к Авронскому плато и форту Рони. Так, от фермы Мартино буквально не осталось камня на камне; мы приютили у себя самого Мартино, его жену и двух взрослых его сыновей. Пришлось нам немножко потесниться, но ремонт и полевые работы идут быстро; и нам удалось убедить семейство Мартино нынешний год вместе обрабатывать землю.

По-прежнему наш край занят пруссаками. Но их почти не видно. Стараемся вообще о них забыть После заключения перемирия они ушли дальше, чтобы занять позиции, оставленные нашими войсками. Рони, таким образом, уже давно не передовая линия, скажем больше: не граница. Жители Рони мало-помалу стягиваются к родным пенатам — вернее, к тому, что от них осталось.

Работаем по шестнадцати часов в сутки. Пока не стемнеет — в поле или на крыше, а вечерами при свече чиним инструмент и мебель.

Рони, 21 февраля.

Нашей участи можно еще позавидовать. Наш дом уже почти похож на прежний и даже «опрятненький», по любимому маминому выражению; на поле вывезено удобрение, и сама погода вроде старается, чтобы земля уродила побольше. Словом, все «утряслось», как будто ничего и не «стряслось»,— в этой перекличке чувствуется легкий осадок горечи.

На новехонькой припечке стоят в ряд и по росту, как и в прежние времена, горшки и горшочки. Не хватает только одного — третьего с конца, для перца. Что-то с ним стряслось, попал в плен или погиб на поле брани? Впрочем, такой горшочек не стыдно и в Пруссию с собой прихватить. А может, какой-нибудь подвыпивший солдафон, поселившийся в нашем доме, швырнул его как гранату в своего развеселого собутыльника? Старую грушу, что росла в углу у самой ограды,

выворотило бомбой, и теперь мы помаленьку отапливаем ею весь дом. И каждый вечер собираемся у камелька. Мама вяжет черный чулок, отец вырезает ножом дверцы к буфету — наши пожгла немецкая солдатня. Предок читает «Мо д'ордр», новую ежедневную газету Рошфора. Была война, была осада Парижа, пропал наш горшочек для перца, старая груша медленно умирает в огне, и есть у нас жильцы: семейство Мартино. Мать вяжет, старуха Мартино — тоже, отец мастерит лемех, старший их сын Юрбен лощит наждачной бумагой чапыгу плуга, Альфонс-младший чинит замок от погреба, дверь которого высадили ударом сапога.

Единственные звуки — это звуки дерева, металла и огня. После войны онемели вечерние мирные посиделки.

Зато на воле чувствуешь себя лучше всего. Земля, она быстро от катастроф оправляется. Утрами отвалишь лемехом пласт земли и прямо чуешь родное благоухание. Бижу, наш неутомимый труженик Бижу, тоже не надышится, бьет копытами и ржет, будто обращается ко мне: «А все-таки это тебе не тротуары да баррикады. Наконец-то под ногами землю чувствуешь!»

Устал от этого своего дневника, пробовал силы даже в поэзии. Отныне буду смотреть, как растет фасоль!

Всей душой наслаждаюсь нашим неторопливым, спокойным существованием среди здешних тяжелодумов и упрямцев, не меняющихся веками. Зато ночами тяжелее. С тех пор как мы возвратились в Рони, меня мучат кошмары. Будто в череп мне один за другим пробираются тысячи и тысячи насекомых или крошечных грызунов и возятся там себе потихоньку. Мартен Мюзеле признался мне, что и у него были такие кошмарные сны, но теперь вроде стало полегче. Так что беспокоиться нечего. Кроме того, ему случается побить животное или что-нибудь сломать, разбить, причем вполне сознательно. Порой и на меня налетают такие желания. Когда я рублю дрова, я вдруг резко вскидываю топор, словно кто-то стоит передо мной.

Марта.

Флуранс.

Рони, 24 февраля.

Предок:

— Знаешь, Флоран, Бельвиль снова подымает голову. Понимаешь, здесь люди со дня своего появления на свет гнут спину, живут, распростершись ниц, и помирают дураками. Весьма любопытно было бы узнать, где ты вычитал, а может, слышал от кого-то, что Революцию делают в белых перчатках, что она — фарс для напудренных щеголей. А ты о ней говоришь, как обманутый любовник.

У-у, старый краснобай!

Рони, 26 февраля.

Возвращаюсь в Париж. **(Только что оттуда.)**

Нас навестил дядя Фердинан, в тупике он провел всего только час. А у нас в Рони просидел два часа и отправился догонять свой полк.

От него я и узнал последние новости. Ему-то можно верить. Париж кипит. С позавчерашнего дня, то есть с двадцать четвертого —го-

довщины образования Республики — несметные толпы проходят через площадь Бастилии. Национальные гвардейцы, стрелки, артиллеристы и члены рабочих ассоциаций под крики «Да здравствует Республика!» осыпают цветами колонну. Гигантский пьедестал совсем исчез под венками и знаменами с траурным крепом. А гений, венчающий колонну, держит в руке красное знамя — это какой-то морячок с обезьяньей ловкостью взобрался наверх и сунул ему в руки знамя под восторженный рев двухсот тысяч глоток.

Мартино, вернувшийся с Центрального рынка, принес нам слухи, упорно ходящие по Парижу: пруссаки со дня на день войдут в столицу. На обратном пути огородник сам проезжал через предместья, щетинившиеся баррикадами.

Нет, это сильнее меня...

Предок уже уехал.

ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ

Заметки, сделанные, исправленные и
дополненные в конце февраля — начале марта.

Ничего общего с днем моего отъезда из Парижа: ни тумана, ни сумерек, ни тишины, ни опаски, ни пряток. Ясный день — и повсюду солнце, солнце.

Встречное течение гонит толпу вокруг Июльской колонны. На пьедестале какой-то оратор в рабочей блузе пронзительным голосом восклицает:

— Завтра немецкая армия войдет в Париж через Елисейские Поля! Правительство не забыло, что четыре сотни пушек Национальной гвардии установлены на площади Ваграм и в Пасси. Это наши пушки. Мы сами купили их на наши гроши! Неужели же мы допустим, чтобы они попали в руки пруссаков?

Вдруг я остановился, обернулся, посмотрел на Марту.

— А пушка «Братство»? — спросил я.

— Ну, она по-прежнему там, в тупике.

— Как так? Выходит, вы ее даже с места не сдвигали?

— Поди сдвинь ее, Флоран, сам небось понимаешь...

Тут как раз перед самым нашим носом провезли пушку «Эльзас-Лотарингия» под крики любопытствующих зевак:

— А эта-то чья?

— Пятьдесят девятого батальона, Пятого округа.

— А везете куда?

— На площадь Вогезов! Пусть попробуют забрать ее оттуда!

Вслед прогромыхали пушки «Карно», «Клебер», «Вольтер» и «Вашингтон».

— Расступись! Расступись!.. Смотрите, вон «Виктор Гюго»!

Под оглушительные приветственные возгласы, подпрыгивая по камням мостовой, проезжает пушка, пожертвованная автором «Отверженных», и тянут ее жаны вальжаны, подталкивают гавроши и козетты.

— Значит, тупику рук не хватает?

— Верно, верно, Флоран. Бежим скорее туда!

Только у самой арки я вдруг сообразил, сколь нелеп наш проект. По всему Парижу батальоны спешат увезти пушки к себе, в свой квартал, в затишек, совсем как пастух, собирающий перед грозой своих ягнят, а мы нашли время таскать ее по Парижу.

— Пойми, Флоран, люди ведь за нее заплатили! Так вот они имеют право, за свои-то деньги, чтобы их «Братство» тоже встречали рукоплесканиями.

Короче, нелепым оказался не наш проект, а мои глупейшие опасения. Без лишних слов тупик впрягся в пушку. Стрелки-то ведь ушли в Шато-д'О, и потому к гигантским колесам бросились женщины, дети и старики.

— Но... о ...берись!

— А ну, осторожнее там!

К счастью, тут есть тротуар. Пушка, по собственному почину, катится под уклон, увлекая за собой людей — другими словами, свою упряжку.

— Сама катится! — кричит Флоретта, торговка рыбой.

— Потому что она у нас лихая,— добавляет Филомена-галантерейщица.

— Эге, смотри-ка, эту, значит, мы купили! — бросает гражданка Монкарье и замирает на пороге своей «Театральной таверны», хотя там полно посетителей.

— Это ничего, что у нее рожа кривовата,— замечает господин Бансель, старый часовщик с улицы Ренар.

Приходится повернуть наше чудище и до Бельвильской заставы сдерживать его ход, но нас много, и мы действуем все более и более слаженно, подчиняясь властному дирижированию Марты.

На углу улицы Вьеллёз происходит заминка: в самом деле, куда ее тащить?

— Ясно куда, для начала — к Бастилии,— заявляет наша смуглянка.— Через Менильмонтан и Шаронн!

— Значит, это она и есть та знаменитая пушка «Братство»? Эй, подождите, мы сейчас спустимся! — кричат нам из окон.

Предок излагает нам свою точку зрения: на сей раз и речи быть не может о разных адвокатишках, клерках, салонных революционерах, теперь на смену им выходят рабочие с засученными рукавами, настоящие умельцы, чистокровные социалисты — словом, все те, у кого Революция в самом нутре.

— Что это не видно нашего великого Флуранса? Должно быть, книгу дописывает?

Марта выпускает мою руку.

— Разве ты не знаешь,— говорит Предок,— что военный трибунал Винуа заочно приговорил к смертной казни Бланки, Флуранса, Левро и Сирилла — всех четверых?

Командир нашего батальона указывает на людской прибой, подступающий к Елисейским Полям, и добавляет, понизив голос:

— А пруссаки, возможно, уже там, на мосту Нейи...

Сегодня, в четыре часа пополудни, в понедельник 27 февраля 1871 года, пушка «Братство» прошла под Триумфальной аркой.

■

Разбив бивак на Елисейских Полях, мы ждали зарю. Мы ждали зарю и пруссаков.

В пять часов утра нам стало известно, что тюрьма Сент-Пелажи— старое здание, которое революционеры окрестили «Бобовая харчевня»,— была взята штурмом. Брюнель на свободе. Весть эту принес нам Флуранс, прискакавший под эскортом шести гарибальдийцев. Завидев нас, он соскочил с лошади, прижал меня к груди и тут же отошел. Повернулся к Предку — и опять начались споры.

— А ты побудь с нами, Флоран!

Взгляды наши встретились, и я прочел в них приязнь, обыкновенную, человеческую.

— Эх, черт! Чего это они там на Кордери мешкают? — ворчит Тренке.

— На сей раз действительно нужно все обсудить,— твердо заявляет Предок.

— Ты, дед, стареешь, видать, и тебе...

Бортом шляпы Флуранс с размаху бьет дерзкого по лицу, и тот падает навзничь.

— Мать честная, нет, вы только посмотрите, головорез, да и только!

Плюмаж все той же шляпы описывает круг над Елисейскими Полями, где множество национальных гвардейцев — кто все еще дремлет у костра, кто потягивается.

■

Среда, 1 марта, около полудня.

Во вчерашней газете — нынче утром газеты не вышли — какой-то журналист вещает: «Париж, этот град, несущий факел гуманитарных знаний, снова распят на кресте потомками Атиллы, которые обрекли нас на самые страшные мучения». Подобный пафос не для Бастико или, скажем, Пливара: все это напыщенное славословие останавливается в пяти вершках от их ушей и вялой кучкой падает к их ногам. И, однако, чугунные легионы, не представимые для Бастико и Пливара, маршируют им прямо по сердцу.

Внезапно раздается набат с колокольни Иоанна Крестителя. Весь кабачок «Пляши-Нога» встрепенулся.

Пливар вытаскивает из сумки оселок, плюет на него и начинает с преувеличенным вниманием точить свой штык. Движения у всех вялые, еле ворочаются, как спросонья, языки. Ни одной фразы не обходится без слова «кровь».

— И еще кровь проливать будем,— бурчит Матирас,— и самую чистую прольем; что ж, не скупясь ее дадим, только, простите, когда наш час пробьет, а не ваш.

Мумут поддерживает нашего рыжебородого горниста:

— Всякий раз, как им подыхать, они народ на подмогу зовут. И он, дуралей, прется! Но сейчас — шабаш, сейчас народ им ответит: подыхай себе на здоровье!

«Они» — это буржуа или, точнее, буржуазия, но говорить «она» как-то неловко... К тому же буржуазию за глотку не возьмешь, а вот буржуев...

«Они» — это уже не пруссаки. Кош уточняет:

— А буржуа, хозяева — на них вечно хребет гнешь и еще не завтра от них отделаемся...

— Ну, это мы посмотрим! — перебивает его Мумут.

— Слишком уж народ мягкосердечный,— бормочет Бастико.

На бельвильской колокольне по-прежнему бьет набат.

Четверг, 2 марта.

Вчера Марта наконец-таки вытащила меня из дома. Ей, видите ли, охота поглядеть на пруссаков. Она не ощущает той грани, которая разделяет праздное любопытство и чувство человеческого достоинства. Однако, прежде чем свернуть к западной части города, захотела навестить нашу пушку.

■

С улицы Пуэбла мы пошли прямым путем на площадь Согласия. На улице Вик-д'Азир все магазины заперты, кое-где из окон свисают черные флаги. Прохожих мало.

По Большим бульварам идут в направлении площади Мадлен люди, идут торопливо, потупя глаза. «Надо же хоть их морды посмотреть, знать своего врага!» Детвора валит гурьбой с Монмартра и Батиньоля — эти никаких предлогов не выдумывают: «Пойдем пруссачье дразнить!»

В конце улицы Ройяль баррикада — чисто символическая: просто стоят колесо к колесу зарядные ящики, а их охраняет с десяток национальных гвардейцев. А по ту сторону баррикады теснятся пруссаки — поглазеть на парижан. С десяток баварских стрелков в бледно-голубых мундирах взгромоздились на крышу омнибуса, из которого кто-то выпряг лошадей. Статуи наших великих городов вздымаются, задрапированные крепом. Издали они кажутся трепетными призраками.

Какой-то фотограф пристроил свой аппарат на треноге. Пруссаки принимают красивые позы, но национальные гвардейцы нарочно шевелятся, чтобы не получиться на снимке.

Однако Марте этого мало. Увидеть по-настоящему для Марты — значит все почувствовать, перетрогать. Она тянет меня за собой на улицу Фобур-Сент-Оноре, где проходят большие отряды африканских стрелков и проезжают конные жандармы.

И сразу же уши наполняет тяжелый топот немецких сапог с железными подковами — я сам видел: они подкованы, словно мулы какие-то; в нос бьет вонища пропотевшего кожаного снаряжения, грязного белья и кислой капусты, преющей в котелках прямо под открытым небом, над кострами. Солдаты чумазые, зато офицеры — в новехоньких ярких мундирах, и у каждого в руке план города Парижа.

Пехотинец-вюртембержец в серо-зеленой выцветшей шинели с красными нашивками и в каске с нашлепкой по-отечески улыбается нам. Ему лет сорок, он брюхатый, бородатый и курит фарфоровую трубку с крышечкой. Мы убегаем.

По сравнению с нашими национальными гвардейцами, вооруженными чем бог послал и одетыми чуть ли не в тряпье, прусские офицеры кажутся чуть ли не щеголями. Ружья, штыки, сабли у всех одинаковые, последних выпусков, амуниция пахнет настоящей кожей; у них есть все, что требуется, вплоть до последних мелочей — каждое поврежденное орудие, каждая пущенная из винтовки пуля должны заменяться тут же на месте, без проволочек. Видно, у них прекрасно поставлена интендантская служба.

Солдаты, стоящие вокруг составленных в козлы ружей, без звука пропускают нас, но как-то странно улыбаются, оскорбительно странно. На обратном пути на улице Цирка мы снова натолкнулись на того жирного вюртембержца, только сейчас он прочищал свою длиннющую трубку с крышечкой. Он тоже признал нас — надо сказать, что мы с Мартой представляем собой незабываемое зрелище. И тут внезапно меня осенила одна мысль, неприятно меня самого поразившая: никогда бы я не смог убить этого человека. Я вообразил себе, как приставляю к плечу ружье, а этот дядечка, попавший мне на мушку, бежит, задыхается, с трудом переставляет свои подкованные сапоги...

— Кош прав. Наши настоящие враги вовсе не эти вот. Настоящие враги — за их спиной и за нашей тоже.

— Эх ты... — презрительно бросает Марта.— Ты никогда никого не сможешь убить!

Ночь, которую следовало бы вычеркнуть из истории града Парижа. Ни омнибусов, ни экипажей, ни прохожих, ни газового освещения. Только изредка короткая вспышка спички, когда какой-нибудь патриот пытается раскурить трубку, вырывает из мрака немотствующий батальон, разбивший бивак на перекрестке.

Где-то ближе к ратуше в пустынном переулке гулко отдается чеканный шаг патруля. Издали доносится окрик часового: кто идет? Разговоры не вяжутся.

— Вот эта тишина и есть мир? — ворчит виноторговец Бурсье.— Посмотрим, что будет утром.

— Ночь какая-то сумасшедшая... — подхватывает в темноте чей-то голос.— Чувствуешь, что все люди братья.

А тем временем перед Бастилией, при свете факелов, продолжали маршировать батальоны.

4 марта.

Ушли они чудесным утром, при новом, по-весеннему безобидном солнце, под небом, изнывавшим от карканья. Парижские старожилы не запомнят такого разгула воронья. Очевидно, за пруссаками следовали стаи стервятников.

Люди вылезали из домов, чтобы не пропустить отхода немецких войск. Сбившаяся на тротуарах толпа осыпала их оскорблениями. Вокруг солдатни вились ребятишки и забрасывали уходящих камнями. Говорили, что какой-то драгун замахнулся на них саблей, что какой-то офицер в бешенстве выстрелил в Триумфальную арку. Много о чем говорили, много о чем шумели в этом людском прибое, заливавшем берега, оставленные захватчиком. Погода прекраснейшая. Еды нет никакой. Длинные полосы дыма подымаются прямо к голубому небу — это жгут солому на площади Звезды, чтобы очистить ее от скверны. А в других местах льют на мостовую и тротуары фенол, чтобы их продезинфицировать. «Кровью бы надо омыть парижские камни!» — эта фраза обежала весь осквернённый город.

Не знаю даже, какой у нас сегодня день.

Тьер поручил командование Национальной гвардией генералу д'Орель-де-Паладину, первыми словами коего было: «Я твердо намерен подавить все, что может привести к смуте». Новый начальник никогда не скажет «Национальная гвардия», а только «вооруженная сволочь».

Передо мной вдруг возникла Марта и, уперев руки в боки, с отвращением бросила:

— До чего же у тебя ножищи огромные!

Потом отправилась дальше к посту на улице Мексики, куда спешно прискакал гонец. По всему предместью только и говорят что о предстоящем разоружении Национальной гвардии. Пассала видел у Лувра множество солдат.

Женщины из Шаронна и Менильмонтана приносят в маленьких котелках похлебку своим мужьям, стоящим на карауле. За ними увязывается детвора. Все семейство рассаживается возле пушки, пока фриштык разогревается на костерике. Пользуясь случаем, хозяйки протирают тряпкой свои «квартальные» орудия.

— Как это у тебя, дуралея, руки не отвалятся от вечного писания?

Опять Марта. И опять мимоходом. С каждым днем она все больше сатанеет, застав меня за дневником. Раз я пишу, значит, не занимаюсь ею, значит, ускользаю из-под ее власти. В такие минуты она ведет себя как самая ревнивая любовница, глупо, по-ребячески злится. Следуя языковой традиции предместий, она, чтобы придать особый смак ругательству, употребляет его в женском роде, так что через минуту я буду тощей индюшкой или старой ослицей. Она издевается над моими привычками, моими пристрастиями, уверяет, что я непременно заработаю себе горб, так как пишу, положив тетрадь на колени,— действительно, чаще всего я так и пишу.

Париж лежит у наших ног. Война кончилась, и предместье говорит об этом даже с тоской. Осада была столь огромным бедствием, что заслоняла все мелкие заботы.

— Мы голодом сидели, мерзли, мы кровь свою отдавали, а что теперь нам, нищим, остается? За три срока платить!

— Так тебе и вырвут у нас наши тридцать су! — добавляет Бастико.— Пусть домохозяин еще попляшет, пока мы за квартиры свои денежки заплатим.

— Из зада их, что ли, вынуть?

Все головы поворачиваются к Предку. Последние дни Флуранс совсем не показывается. Посылает свои распоряжения через гонцов-гарибальдийцев, все время посвящая отделке своего труда «Париж, который предали».

— Ну, из двух миллионов парижан разве что наберется тысяч сто, способных заплатить за эти три срока! Пускай даже все судебные исполнители да и сами судьи короля хлопочут с утра до ночи, все равно девятьсот тысяч человек на улицу не выкинешь.

Где-то варганят монархию. Монархистское большинство уже существует в ассамблее, состоящей из богатых землевладельцев. Бельвильцы готовы защищать Республику, но как? Прудонисты, интернационалисты ведут бесконечные споры.

14 марта.

Вот уже неделя, как где-то пропала наша смуглянка. Семь дней, в течение которых я не мог, физически не мог написать ни строчки. Камни тупика жгли мне подошвы, я был сыт по горло. Бельвиль вымотал меня окончательно. Решение было принято: вернуться в родимую колыбель, взять путь на Рони. И вот вчера утром у Роменвильской заставы я наткнулся на Марту. Она ждала меня здесь.

Ни здравствуйте, ни прощайте — молчок. Даже не спросила, куда я иду. А я, в свою очередь, воздержался от искушения спросить, где она проболталась всю эту неделю. Взяв меня за руку, Марта зашагала рядом со мной в направлении Рони. После Верескового болота мы пошли прямо полями. Вот здесь, где-то между Старым резервуаром и Маласси наша барышня остановилась и меня заставила остановиться. Я присел на откосе дороги, ко всему на свете равнодушный. А она молча стояла передо мной.

Когда Марта вот так приглядывается ко мне, я вдруг начинаю видеть себя как бы со стороны — таким, каков я на самом деле: долговязый, худущий, без кровинки в лице. Я не знал, куда девать руки и ноги. Я сам себе не нравился, весь не нравился. Опустив глаза, я вдруг заметил заплатки на коленях — это мама постаралась. Кончиками

пальцев я ласково водил по маленьким аккуратным стежкам, по заштопанным дыркам. А вот у Марты юбка была рваная-прерваная, только в двух-трех местах она зашила ее наспех, через край.

— И руки-то у тебя нескладные!

Вот первые слова, которые я услышал от нее после недельной разлуки. И она со вздохом добавила:

— Прямо с души воротит от тебя! — Даже слезы у нее на глазах выступили.— И все-то в тебе ненавистное: волосенки ни белокурые, ни темные, нос с аршин, рожа как у старой девы, буркалы льстивые, мясо дряблое, сутулый, как приказчик, ножищи чисто лодки...

Наконец она замолчала. Застыла как каменная и вдруг бросила:

— Флоран, вот противно-то, но я без тебя больше не могу!

Этот крик души сорвал меня с места, швырнул к ней. Мы стояли лицом к лицу, и дернуло же меня шепнуть: «А Флуранс?» — за что тут же получил с маху две пощечины и услышал дикий вопль:

— Стыда в тебе нет, как ты смеешь мне такое говорить? Нашел время!

Я приподнял ее с земли.

Потом Марта снова взяла меня за руку. Мы шагали, не разговаривая, даже не глядя друг на друга. К Рони мы выбрались между бастионом Монрей и замком Монро, где теперь стояли пруссаки; до нас долетали их песни и крики, а также пиршественный запах тушеной капусты. Баварцы-артиллеристы, стиравшие в ручейке исподнее, окликнули нас, мерзко гогоча.

— А знаешь, ноги у тебя вовсе не такие уж огромные.

— Значит, ты меня любишь?

— Да разве я об этом говорю! — крикнула она.

Мы были в десяти шагах от дома, как вдруг Марта придержала меня за руку:

— Знаешь что, Флоран? Ты непременно начни трубку курить.

■

Мама так ласково встретила Марту, что у меня закралось подозрение, уж не оказывала ли ей наша смуглянка во время осады кое-какие услуги, о которых я и не подозревал. Даже Бижу сразу признал Марту и приветствовал ее на свой лад — все тыкался и тыкался своими атласными губами ей в шею и в ухо.

Марту уложили в постель Предка. Среди ночи она дважды вставала, высовывалась из окошка и подолгу смотрела в сторону Бельвиля. Все тянула мордашку к Парижу. Словно бы принюхивалась к той точке горизонта, где залегала столица. Она напомнила мне нашего прежнего пса, славного нашего Тибера, который за несколько часов до первых раскатов грома срывался с цепи и, распахнув дверь кухни, влетал в дом прятаться под кровать, хотя на ясном небе не было еще ни облачка, хотя даже старые крестьяне не ждали грозы.

— Слушай, Флоран, надо быстрее домой возвращаться!

— Куда это «домой»?

— В Бельвиль.

Понедельник, 20 марта 1871 года.

Коммуна!

Баррикада горделиво перерезает бельвильскую Гран-Рю от арки до улицы Ренар. Тупик служит ей вместо кулис. Впереди — ров. Позади— амбразура и даже своя батарея — пушка «Братство».

Вот для начала краткое изложение событий, происшедших в Париже, пока мы совершали наше путешествие в Рони, «свадебное путешествие», как с лукавым подмигиванием выразился Предок, прежде чем ввести меня в курс дела:

— В жизни не угадаешь, кто помогал нам в тупике строить баррикаду. Бальфис и Диссанвье! Так-то, сынок! Мясник и аптекарь. И это — самое существенное. Чего не могли сделать ни вторжение врага, ни осада — я имею в виду объединение мелкой буржуазии с пролетариатом,— сделала, и весьма успешно, эта идиотская ассамблея провинциальных дворянчиков-землевладельцев. Уж надо до такой глупости дойти — заседать в Версале! Лишить Париж звания столицы! Тут-то аптекарь не выдержал: гордыня заговорила. И сразу же бросился выворачивать из мостовой булыжники, а красотка мадам Диссанвье уж конечно не стала его удерживать. Бальфис — тот пришел к нам из менее романтических соображений: просто мясник испугался, что, ежели Париж перестал быть Парижем, его дела пойдут хуже. А там, в Версале, тоже произошло объединение: легитимисты, орлеанисты, бонапартисты... Эти никак не могут договориться о том, кого выдвинуть в монархи, но зато все дружно ополчились против нас вслед за мосье Тьером.

Каждое слово, каждый акт этой ассамблеи, перенесшей свои заседания из Бордо в Версаль из страха перед Парижем, били по столице, как пощечина. Когда Гамбетта, депутаты от Эльзаса и Лотарингии и шестеро избранников парижских окраин подали в отставку в знак протеста, дворянчики проводили их криками: «Скатертью дорога!» Когда восьмого марта Виктор Гюго выступил в защиту Гарибальди, его чуть ли не освистали; виконт де Лоржериль, помещик, завопил: «Ассамблея не желает слушать Виктора Гюго, потому что он говорит не по-французски!» Автор «Возмездия» тоже отказался от своих полномочий.

Ассамблея в Версале — это Париж без правительства, Париж без муниципалитета.

Мадемуазель Орени, портниха у Фошеров, господин Клартмитье из магазина новинок, Серрон с лесопильни и многие лавочники Бельвиля находятся по нашу сторону баррикады.

Воистину страшная проблема — квартирная плата. Триста тысяч рабочих, ремесленников, надомников, мелких фабрикантов и торговцев, израсходовавших во время осады последние, отложенные на черный день гроши и еще ничего не зарабатывавших, очутились во власти домохозяев, на грани полной нищеты.

Наша баррикада — ух какая грозная! На углу улиц Пиа и Ребваль целых три баррикады, и тоже с пушкой. Остальные еще достраивают. С лавчонок до чердаков в домах ни души — все высыпали на улицу, на перекрестках настоящий улей. Повсюду смеются, поют; а на заре загромыхало.

Бельвиль узнал, что пруссаки вернули генералу Винуа двенадцать тысяч ружей.

— Подумайте только, системы «шасспо»! — бесится Пливар, злобно пиная ногой свое старенькое кремневое ружье.

Наутро, в субботу 18 марта, шел мелкий, но ледяной дождик. Охранявших орудия Бельвиля, что стояли на Бютт-Шомоне, было всего тридцать человек. Тридцать продрогших, сломленных, полусонных. И вдруг они увидели, что окружены солдатами с примкнутыми штыками — сотнями солдат. Капитан крикнул:

— Мне приказано стрелять в тех, кто окажет сопротивление!

Накануне Париж уснул мирным сном после, пожалуй, даже веселого дня. В четверг по случаю того, что он пришелся на третью неделю великого поста, и назло Винуа, запретившему все развлечения, устраивались балы и маскарады. На бульварах пели, в кафе не было ни одного свободного места. Университет объявил о возобновлении занятий; студенты записывались на апрельскую сессию. На 18 марта не было назначено ни одного собрания.

В ночь с пятницы на субботу упал густой туман, словно ватой окутавший Париж, поглощая шумы и шаги.

Потом солдаты рассказали нам, как их в казармах разбудили по тревоге, даже без горнистов. Им не дали положенной порции кофе. И вывели без провиантских мешков на «полицейскую миссию».

Да, на рассвете в субботу не особенно-то победоносно выглядел Бельвиль, когда, дрожа от холода, выглянул из окошка.

Кажется чудом, что четыре полка дивизии Фарона могли занять Бельвиль, не подняв тревоги, что солдаты 42-го пехотного полка сумели пройти по Гран-Рю в три часа утра, затем по улице Вьеллёз, проникнуть в Зал Фавье и даже пройти под аркой.

Добрые наши бельвильцы поистине спали без просыпу.

Бельвиль еще мирно похрапывал, а у Янека, Фалля, Феррье, Чеснокова, Матираса и Бастико уже совсем затекли руки. Не скоро они позабудут эти минуты.

Около девяти часов утра в кабачок «Пляши-Нога» явился гонец и потребовал стакан вина. Нестор Пунь кликнул клич, и со всего тупика сбежались женщины.

— В сущности, я вроде бы ваш пленник,— заявил гонец.— Значит, по обычаю, вы обязаны меня поить-кормить.

Был он совсем желторотый юнец, «рождением бовэзец», и свел он знакомство в Париже во время осады с одной барышней, вроде швейкой. Ему только одного хотелось — ее к себе домой забрать. Он вез в ратушу послание от генерала Фарона, гласившее: «В Бельвиле мои солдаты — хозяева положения. Операция по отнятию пушек на Бютт-Шомоне развивается успешно».

Кабачок углубился в изучение этого документа, как вдруг в низенькую зальцу с криком ворвалась аптекарша, госпожа Диссанвье:

— Идите скорее! Марта пушку остановила!

Наша смуглянка казалась еще миниатюрнее, чем всегда. Подбоченившись, твердо стоя на расставленных ногах посередине мостовой, она одна бесстрашно вышла на защиту нашего орудия. А пушка «Братство», повернутая жерлом против Марты, против всех нас, казалась несуразно огромной, победительной — особенно сейчас, когда ее тащили две пары лошадей и сопровождал отряд всадников. Люди генерала Фарона растерянно переглядывались. И если вся эта сцена происходила перед аркой, то получилось это не случайно. Марта с расчетом выбрала именно этот плацдарм.

Теперь женщины тупика окружили солдат, обращаясь к ним то с угрозой, то с ласковыми уговорами. Торопыга, Пружинный Чуб, братья Родюк, Маворели и несколько взрослых-литейщиков уже начали выворачивать булыжники из мостовой. С помощью самих пасса-

жиров Барден перевернул омнибус линии «N», загородив Гран-Рю. Когда сержант наконец спохватился, проезд уже перекрыли и развернуться было невозможно. Гонец, «рождением бовэзец», стоял под аркой, держа стакан красного вина в одной руке и ломоть сыра в другой, и ржал с набитым ртом.

Кони фыркали, били копытами, пушка «Братство» по-прежнему торчала на месте, но положение ничуть не улучшалось — наоборот. И никто даже представить себе не мог, чем все это кончится. Солдаты, блестя штыками, беспокойно поглядывали не только на баррикаду, но и на фасады домов, где из окон всех этажей высовывались жильцы.

— Да деритесь вы, как дерутся в Сент-Антуанском предместье,— посоветовала матушка Канкуен с пятого этажа, как раз над рыбной лавочкой, а сама уже наполовину высунула из окошка старый буфет, и его две ножки висели над нашими головами в неустойчивом и весьма грозном положении.

— Эй, хоть предупредите заранее! — крикнула Флоретта, но вместо того, чтобы скрыться в своей лавчонке, громко фыркнула и направилась к нашей пленнице-пушке.

Средоточием драмы была пушка «Братство», блокированная между нашим тупиком и улицей Туртиль. Чудище в кожаном чехле, окруженное всадниками, тащила четверка здоровенных першеронов, а перед ними по-прежнему стояла, вся трепеща, Марта. За ее спиной вздымалась баррикада, а позади баррикады блистало целое поле штыков, из которых высовывались плечи то одного, то другого офицера, приподнявшегося на стременах.

За пушкой «Братство» еще одно неоглядное поле штыков уходит куда-то далеко в глубь Бельвиля. На перекрестке улиц Ребваль и Пиа тоже начали разбирать булыжную мостовую, но войска успели подойти и без труда преодолели это еще не грозное препятствие. Зажав приклады под мышкой, пехота выставила дула и держала нас на мушке.

Солдаты не торопятся. Пальцы их судорожно обхватывают ружья. Кончики штыков еле заметно движутся справа налево и слева направо. А тут еще набат, опять вечный этот набат, звучащий будто в первый раз, но даже лошади и собаки никак не привыкнут к этому торопливому, неживому звяканью. Где-то вдали, а может быть и не вдали, барабаны бьют сбор — человеческое ухо не может сжиться с этими глухими прерывистыми раскатами.

Солдаты отвели глаза от своих стальных штыков и начали с любопытством разглядывать группу разгневанных женщин, которые наседали на четверку жандармов. У солдат вытянулись лица, они не то что побледнели, а как-то даже посерели. Их прошибла испарина. Среди них были совсем еще юнцы, почти дети, растерявшие последнюю силу и волю.

Капитан завопил:

— Задержать вожаков! — Был он маленький, сухонький, уже не молодой — под пятьдесят, с усами и козлиной бородкой а-ля Трошю.

Унтер-офицеры сверлят глазами толпу женщин и детей. И не обнаруживают нигде революционных вожаков по той простой причине, что их здесь нет... Где, какие вожаки? Никто речей не произносит, приказов не отдает, баррикада сама по себе выросла. Марта тоже к толпе с речами не обращалась. Да и что могла бы она сказать? «Это ваша собственная пушка, ее отлили из ваших су...» И без того любой бельвилец думает именно так. Марта — вожак? Скорее уж сим-

вол, статуэтка из темного дерева на носу корабля, то бишь предместья.

Унтер-офицеры, четверка жандармов, окруживших Мариаля, и ближайшие солдаты спрашивают глазами капитана: ведь не было ни актов насилия, ни явного мятежа. Поначалу, правда, кое-кто чертыхнулся, но теперь идут просто разговоры. Женщины обхаживают солдат поодиночке. Втираются в шеренги, проскальзывают под штыки. Офицеры твердят: «Не позволяйте им приближаться!» А как не позволишь?! Капитан орет: «Оттесняйте их штыками!» Четверо-пятеро солдат, стоящих в первой шеренге, повинуются и опускают вскинутые штыки. Бесконечно ласковым жестом Труссетка осторожно берет штык двумя пальцами, острие которого приходится как раз на уровне ее груди. Глядя прямо в глаза юному пехотинцу, она с улыбкой приподнимает штык, и солдатик багровеет. Ружье принимает первоначальное положение — к плечу. Солдат тоже улыбается. Капитан поворачивает коня и отъезжает от своего пришедшего в расстройство воинства, в ряды которого просочились женщины и ребятишки.

Селестина-толстуха распекает пяток рекрутов, а те повесили носы:

— Берегитесь, сынки, тех, кто хочет вас в эту петрушку втянуть. Те, кто вас в спину тычут, желают Республике погибели, хотят сделать из нее подстилку для трона. Не дурите, мальчуганы, наденьте-ка лучше на ваши самопалы чепчики. Смотрите: эта пушечка — она наша, эта бронзовая мордашка, мы сами за нее заплатили, в кровь расшибались, а последние свои гроши отдавали! И если мы хотим, чтобы она при нас осталась, это чтобы Республику охранять, как добрая гражданка охраняет колыбель своего младенца.

Вероника Диссанвье собрала особенно большую аудиторию:

— Мы стоим между вами и Национальной гвардией, так что не надо угроз! У Революции впереди еще много времени, она уверена в своей победе.

Леокадия Лармитон раздает ножи из сапожной мастерской. Женщины сразу же бросаются перерезать упряжь. Работают они скорчившись, ползая у солдатских сапог, а солдаты, даже не скрываясь, смотрят в другую сторону.

Явился Торопыга: Ранвье беспокоится о нашей судьбе.

— Выкрутимся,— отвечает Марта.— Тупик свою ревунью не отдаст. Передай привет гражданину Ранвье и скажи ему: пусть ведет батальон в те кварталы, где женщины слабее.

На углу улицы Жюльена Лакруа булочница при подходе войск поспешно открывает ставни. И пока ее подмастерья месят хлеб и разжигают печь, она выставляет в витрине плакатик: «Храбрым солдатам Республики — бесплатно!»

Среди пехотинцев начинается волнение, унтер-офицеры стараются их образумить:

— Приказа не было!

— Рядов не покидать!

— Стоять смирно!

Какой-то бывалый вояка спрашивает нашего Желторотого, хорошо ли угощают в «Пляши-Нога». Наш пленник затаскивает к Пуню целый изжаждавшийся отряд. В «Театральной таверне» не протолкнешься, и хозяйка выносит стаканы вина и кружки пива прямо на улицу. Флоретта тоже вышла на порог своей лавчонки с бутылью. Леокадия Лармитон сбегала домой и принесла свой самый большой кофейник. К ней тянется не меньше двух десятков кружек. Ряды расстроились, роты разбредаются.

Дерновка наседает на деревенского верзилу:

— Пойдем ко мне, хорошенький блондинчик, я тут в двух шагах живу, поговорим с тобой о Социальной революции!

Но Митральеза с негодованием отпихивает ее в сторону:

— Так, гражданка, политической работы не ведут!

Сыр, колбасы и круглые буханки хлеба тащат с задних дворов и из каморок, где и сами-то хозяева редко едят досыта.

— Солдаты, сыны народа, объединимся ради спасения Республики. Короли и императоры причинили нам немало зла...— Это какой-то длинный капрал в очках читает вслух обступившим его не знающим грамоты солдатам воззвание Центрального комитета, вывешенное уже неделю назад на воротах между фруктовой лавкой и лавчонкой, где торгуют требухой. Офицеры куда-то исчезли.

Набатные колокола бьют по всему Парижу.

Вдруг в конце Гран-Рю, напротив баррикады, появляется тройка верховых: полковник, рядом с ним наш знакомый капитан, которого, оказывается, зовут Лангр, и трубач, за ними митральеза в упряжке, с прислугой и зарядным ящиком. Полковник привстает на стременах и осматривается, выясняя положение. Костлявый старик, туго затянутый в мундир, который он словно только что вынул из гардероба, с ярко начищенными галунами и нашивками. Не опускаясь в седло, полковник бегло оглядывается на митральезу, потом снова устремляет взор на толпу женщин, детей и солдат, в беспорядке теснящихся вокруг пушки «Братство». Не то что волнения, а вообще никаких чувств не выдавало это костистое лицо, застывшее как маска, поэтому особенно заметным казался нервный тик, подергивавший подусники капитана Лангра.

Полковник подал знак, трубач проиграл сбор. И тут же солдаты бросились по местам, расхватали ружья, построились в ряды по обе стороны баррикады. По первому же зову солдаты вывалились из кабачков, расталкивая обступивших их женщин, забыв о недопитой бутылке и неоконченной беседе. Унтер-офицеры проверили равнение. И вот они уже снова покрикивают на своих людей, грубо, начальственно. Солдаты ждут в позиции «ружье к ноге». Смолкли песни, крики, смех. Над Гран-Рю, над всем Бельвилем нависла тишина.

Полковник, словно аршин проглотивший, опустился в седло. Это безжизненное, как череп, лицо не выразило ничего, даже начальнического удовлетворения. Разве что блеснули глаза, но их не было видно в глубоких орбитах, под козырьком кепи, обшитого галуном. Вдруг он тявкнул:

— Не подпускать толпу!

Капитан Лангр одернул мундир, поправил кепи, затем с подобострастным восхищением оглянулся на своего начальника, скомандовавшего:

— Митральезу к бою!

Артиллеристы растерянно переглядываются. Положенный маневр здесь просто невозможно выполнить: как повернешь упряжку на узкой улице, идущей под уклон, забитой народом, даже на тротуар заехать нельзя, потому что и там полно людей? Этот миг нерешительности дорого стоит!

— Ну? — нетерпеливо бросает полковник.

Командир орудия разводит руками, устало встряхивает головой.

— Эй, гражданин, еще вина своего не допил! — бросает Труссетка и подносит кружку долговязому капралу в очках, который всего пять минут назад читал вслух своим солдатам воззвание Центрального комитета.

— Не подпускайте ее! — блеет полковник.

Крупнотелая блондинка отвечает взрывом такого заразительного смеха, что солдаты в строю невольно улыбаются.

— Ну, что там митральеза? — орет полковник.

Лошадей выпрягли, но орудие по-прежнему поперек мостовой. Впрочем, артиллеристы не спешат закончить маневр: без злобы отвечают женщинам, приступающим к ним с разговорами. Очкастый капрал все еще потягивает свое винцо, а подружка Гифеса, Вероника Диссанвье, ухватив за руку какого-то сержанта, вполголоса беседует с ним. Бельвиль снова незаметно просочился в стройные колонны солдат.

Полковник привстает на стременах, переглядывается с капитаном Лангром, чей взгляд словно бы говорит: «Я же вас предупреждал...»

И полковник орет:

— Оттеснить женщин! Обороняйтесь штыками!

Солдаты даже бровью не повели.

Митральеза все еще не готова к бою — никогда артиллеристы не действовали так неумело. Дождик по-прежнему хлещет по спинам, и люди невольно сутулятся.

Полковник выхватывает саблю, взмахивает ею, опускает и командует почти с рыданием в голосе:

— Стреляйте в воздух, стреляйте, да стреляйте же наконец! Хоть раз выстрелите, чтобы поддержать честь французской армии!

В солдатских руках кое-где вздрагивают ружья.

Толстый сержант успокоительно кладет ладонь на плечо Вероники Диссанвье и гремит на всю округу:

— Ружья к ноге!

Сначала его команду выполняют лишь стоящие рядом солдаты, а потом и в задних рядах опускают ружья штыком в землю.

— Да здравствует пехота!

— Долой Винуа!

— Долой Тьера!

Эти выкрики, сначала разрозненные, подхватывает Бельвиль, а потом и солдаты. По всему предместью ружья теперь повернуты штыком к земле. И вместо штыков торчат приклады.

Сопровождаемый капитаном Лангром и трубачом, полковник поворачивает коня и скачет галопом мимо уже разбредающихся рот.

■

После поспешного отъезда командиров кое-кто из солдат смутился духом, зато остальные свободно вздохнули. Их снова потащили в кабачки и в лавчонки. А им одного хочется: обсохнуть, согреться.

— С самой полуночи нас с места на место гоняли, велели чего-то ждать, да еще под таким дождем...

— Здесь ждали, пока войска подтянутся, а там, на холмах,— упряжек ждали...

— Посчитай-ка, четверка коняг требуется для четырехдюймового орудия, шестерка — для двенадцатидюймового, значит, подавай более двух сотен клячуг! Да на что они, в сущности, рассчитывали? Увезти сначала одну пушку, потом другую, а предместье так ничего и не заметит?

— Народу лошади не требуются, он сам свои пушки куда хошь дотащит,— отвечает Бельвиль.

Вокруг митральезы шли горячие споры. Командир орудия не так уж рвался стрелять по толпе, но зато категорически отказался передать ее нам: тогда на баррикаде получилась бы целая батарея — их

митральеза и наша пушка «Братство». В этом его поддержали и артиллеристы. У подъездов, куда ни глянь, встречались недавние друзья, и каждый охотно обходил спорные вопросы, радуясь согласию слушателей.

— Мы все патриоты!

— Тьер и Бисмарк заодно действуют!

— Любой богом забытый городишко и тот выбирает свое коммуну, один Париж только, видите ли, не может!

— Тьеру гражданская война нужна!

— Чтобы укротить чернь!

— Чтобы в Тюильри Орлеанский дом воцарился!

— Чтобы задушить Республику!

— Чтобы прижать рабочего — ведь это ему придется выплачивать пруссакам проклятую контрибуцию!

— И они еще хотели заставить вас в народ стрелять!

— ...Да, да, нас... в народ! У-у, сволочи!

От булыжника подымается парок, а бельвильская Гран-Рю еле слышно вздыхает из самых своих глубин, наподобие опары, подходящей в квашне; и это брожение народа проникало в самые недра армии — армии, которая сливалась со своим народом.

■

Стрелки Дозорного по улице Тампль направляются к ратуше.

В конце улицы нас останавливает Ранвье, и мы сразу же начинаем выворачивать булыжники. Впереди площадь — пустынная, безмолвная.

Федераты, бывшие в полдень у Бастилии, рассказывают о похоронах Шарля Гюго, сына поэта.

— Его убило?

— Нет. Во время осады у него что-то с легкими сделалось. Да и сердце пошаливало. Умер сразу от апоплексического удара. А было ему сорок пять. Я их семью немножко знаю. Я ведь привратник с площади Вогезов.

Федераты расположились закусить, и внезапно всю огромную площадь вокруг Июльской колонны придавило тягостное молчание: за катафалком шел в полном одиночестве старец, ветер развевал его седую гриву... Виктор Гюго провожал своего сына Шарля в последний путь на кладбище Пер-Лашез.

Федераты стихийно составили траурный эскорт и, опустив ружья дулом вниз, проводили катафалк до кладбища. Отовсюду сбегались люди и присоединялись к кортежу; они шли на почтительном расстоянии от старца, уважая его скорбь. По всему пути следования траурной процессии солдаты брали на караул и склоняли знамена. Барабаны отбивали боевую тревогу, пели горны.

— Слишком уж много чести,— ворчит Гифес.

— Как ни верти, это все же несчастный отец,— тихо замечает привратник с площади Вогезов.

— Чего? — орет Мумут.— Это Виктор Гюго, мало вам, что ли!

Пока в огромном котле варится картошка, которую собрали отовсюду по штучке, каждый старается осознать, что сильнее всего поразило его в этот день.

— Фарон привел своих матросов и приказал им сорвать красное знамя с колонны. А наши взяли и водрузили его обратно.

— Забредешь в закоулки потемнее, а там жандармских кепи навалом. Жандармы от них втихомолку отделываются, поди отличи их сейчас от национальных гвардейцев.

— Ой, теперь все понятно! — орет Бастико. — Вот, значит, почему у меня кепи сперли. Сержант постарался.

От огромного котла подымается приятный аромат, щекочущий нутро,— это мясник с улицы Платр кинул в варево здоровенный кусок сала.

■

Звон и грохот в мгновение ока очищают зал кабачка на улице Тампль. Это прикатила из Бельвиля наша пушка «Братство», а при ней — великолепная прислуга, зарядный ящик и почетный эскорт впереди. Тащат ее шестериком рослые битюги. На почетном месте, в роли главного пушкаря — Марта. Облепив пушку со всех сторон, цепляясь за все, за что можно уцепиться, висит прислуга — Торопыга, Пружинный Чуб, Киска, Адель, Филибер, Зоэ, Гортензия Бальфис — дочка мясника, Барден и Пробочка.

Восседая на коне — бретонском битюге, Марта обводит рукой свой кортеж и высовывает мне язык.

— Все — долой с пушки! — командует она.— Приготовить пушку «Братство» к бою!

Она приподымается и объявляет федератам и любопытствующим, столпившимся вокруг:

— Сейчас попробуем нашу рыластую по ратуше!

Гифес хлопает Марту по плечу:

— К столу, сыны Коммуны...

Огромнейший котел слишком мал для того, чтобы насытить все эти бурчащие с голодухи животы, но распределение пищи происходит совсем не так, как обычно в предместье:

— Хватит, хватит...

— Мне что-то сегодня есть неохота...

— Лучше дайте лишнюю картофелину вон тому сопляку.

Марта ничего не желает слышать, велит распрячь лошадей, повернуть пушку. И вот наше орудие обращено к ратуше.

— А... а... она не взорвется? — спрашивает Марта.

Гифес обеими руками, как куклу, прижимает к груди первый снаряд.

— Надеюсь,— нерешительно отвечает типографщик.

Федераты и зеваки только улыбаются, наблюдая за детворой, готовящей свое орудие к первому выстрелу.

— В самую середину цельтесь,— вопит Марта,— прямо между двумя подъездами под часами.

— А ну, ребятишки, не валяйте дурака! — орет Ранвье.

Люди на баррикаде вскрикивают: красное знамя взвивается над зданием, где решается вопрос власти.

— Опоздали мы...— шепчет Марта и клонит лоб на ствол пушки.

■

Конные гонцы привезли вести, вселяющие ликование: Варлен во главе монмартрских батальонов занял помещение штаба на Вандомской площади. Дюваль с национальными гвардейцами XIII округа расположился в полицейской префектуре. Тьер со своими министрами дал тягу. Через южную заставу Винуа увел остатки своих полков, свою артиллерию, обозы — все это в беспорядке тянется по дороге на Версаль.

Члены Центрального комитета один за другим прибывали в ту самую ратушу, о которой столько мечталось, которая теперь стала их, и они недоверчиво ощупывали ее стены.

Набат стих. Словом, наступила самая спокойная ночь — уже давно такие не выпадали на долю Парижа.

Марта сделала мне подарок: преподнесла револьвер последнего выпуска, системы «лефошё», с барабаном, заряжается сразу шестью пулями. Лучше не бывает.

■

В это утро Марта трижды врывалась в слесарную и упрекала меня, что я зря теряю время «на корябанье»; слава богу, она еще не знает, что я допоздна разбирал и дополнял свои вчерашние записи.

Весь день сияло солнце, настоящее, республиканское. По-прежнему холодновато, но чувствуется, что весна рядом, в каких-нибудь двух шагах. В праздничном Париже, Париже без омнибусов расхаживали люди, посреди мостовой маршировали батальоны. Повсюду пели «Марсельезу», «Песнь отправления», и в эту самую минуту, когда я пишу, Кош во весь голос выводит припев к «Тур де Франс».

Бельвиль нацепил лучшую свою одежду и пошел прогуляться по Елисейским Полям, по всем этим роскошным кварталам, которые, как почему-то казалось бельвильцам, открыты им по-настоящему только сегодня. Офицеры в красных поясах гарцевали среди мирной толпы этого не простого, а семейного воскресенья. Каждый мог наслаждаться праздничным обедом: мораторий за квартиры будет продлен, тридцать су выплачены... Было объявлено, что завтра снова откроются все магазины и восемь театров.

Все дружно признавали: несмотря на отсутствие полиции, в Париже царил идеальный порядок.

Этим воскресным утром Париж проснулся как в горячке. Расклейка новых прокламаций собирала повсюду веселые толпы. Марта чуяла, что где-то что-то происходит, ей хотелось быть одновременно во всех концах города.

А вот мне — нет. И без того происходило слишком много всего, все шло слишком быстро. Мне просто необходимо было немножко перевести дух, присесть на корточки на углу улицы, чтобы пощупать грязь мостовой, чтобы втянуть ноздрями воздух — так крестьянин принюхивается к освобожденной от снега пашне.

Я цепляюсь за вещи, особенно же за две, с которыми, по-моему, нигде и никогда не пропаду, и обе эти вещи краденые — «План Парижа при Наполеоне III» и револьвер системы «лефошё».

Зоэ сшила себе широченные шаровары. Лармитон приделал лямки к бочонку, пожертвованному Пунем. Бывшая горничная господ Пемполь Зоэ не выражает ни малейшего желания возвратиться в услужение к адвокату, к тому же он небось уже в Версале; она решила стать маркитанткой у стрелков Дозорного. Бастико вместо украденного у него кепи надел каскетку с огромным козырьком, на которую его супруга Элоиза нашила алую ленту. Фелиция Фаледони ужасно жалеет об отъезде моей мамы, которая, по ее словам, здорово ей помогала. У позументщицы сотни заказов — и все срочные. Ее окошко в глубине тупика светится целую ночь. Дело в том, что наши стрелки стали федератами! И никто не желает показываться на люди без нашивок, галунов, петлиц, лент и кисточек; все они бьются за воинский шик, главное — кто кого переблещет,— и скрипят себе коклюшки до утра.

Наши кумушки не перестают поздравлять друг друга со свободой.

Кое-кто из солдат осел в предместье, кое-кто вернулся домой. Их узнавали издали по светлым шинелям. Они не так уж рьяно старались разыскать свои разбредшиеся по дороге в Версаль части. В Бельвиле они прижились, и революция их уже не пугает.

Даже простая похлебка — и та приобретает совсем иной вкус. Словно бы наступила весна трапез. У нас в тупике никто дома ничего не готовит: соседи ходят перекусить друг к другу или же в «Пляши-Нога»; каждый приносит с собой, что найдется — кто незавидный кусок мяса, кто несколько картофелин,— и все это бросается в общий котел ресторатора. А на дополнительные расходы устраивают сборы, обходят с кепи посетителей.

Самое главное — быть вместе.

— За ваше здоровье, вольница! Выпьем, нищая братия! Чокнемся! Мосье Тьер в штаны себе напустил в своем Версале. Нас он зовет «презренное стадо». Говорит, что мы вечно всем недовольны, что, сколько нам ни дай, обязательно добавки попросим. И он, недоносок, таки прав! Мы нищие, скверные, слабое и зловредное стадо, мы всегда хотим добавки, в первую очередь того хотим, чего еще не существует на свете. Чего же мы хотим, мосье Тьер? Да так, пустячка — лестница нам нужна. Да подлиннее, чтобы влезть прямо на небо, схватить господа бога за галстук и чинно-благородно объясниться с ним с глазу на глаз, как мужчина с мужчиной!

Пронесясь надо всем Парижем, будто на крыльях, высокие деяния Революции восхищают завсегдатаев темноватой залы.

Все идет гладко. Даже завзятые курильщики — и те не сквернословят, когда им в пачке табака попадается щепочка.

— А вдруг пруссаки тоже решат вмешаться и станут наводить порядок? — ворчит себе под нос Кош.

— Если они сами до этого не додумаются, не кто иной, как мосье Тьер, будет у них в ногах валяться: подсобите, мол! — бросает Мумут.

Пливар взмахивает своим ружьем.

— Что ж, пусть не стесняются, раздавим их, стукнем по тем и по другим.

— За двумя зайцами погонишься...— чуть ли не шепчет Лармитон, с опаской косясь на этого бесноватого, который только что получил новенькое ружьишко, ружье последнего образца.

— Если они к тому же заберут еще жестянщиков от Кайля! — гремит Бастико.

— Заткнись! — кричит Матирас.— Все лучше, чем по кабакам сидеть целый божий день. А мы наших тридцать кругляшек получим, да еще с процентами! Недоносковы ублюдки не успели вывезти Французский банк. А там золота полно, хоть завались! Так что нашим парням социалистам будет чем заплатить, надолго хватит, шампаньей будем опиваться.

Слушатели заранее облизываются, трут себе живот...

— Эй, эй, поосторожнее, граждане! — вмешивается Гифес, озабоченно морща лоб.— Значит, вы хотите, чтобы нас обвинили в воровстве, в грабежах? Наши враги только этого и ждут.

Слова его встречают одобрительным ворчанием — удивительный поворот на целых сто восемьдесят градусов! Они победители, они власть, они сами говорят об этом, твердят, а на деле остались тем, кем были,— народом, бедным народом.

— И это говорит революционер!

Голос Предка подействовал отрезвляюще. Люди гордо распрямляют спины, затронуто их самолюбие.

— Гифес совершенно прав,— говорит Кош.— Революционеры обязаны подавать пример честности!

— Бедняки — народ благородный!

— Это уже не благородство, а юродство,— отрезает старик.

— Послушайте-ка, Бенуа,— начинает типографщик.— Здесь все вас уважают за ваше прошлое, за ваши страдания, ваш опыт, и если кто-нибудь посмеет, я первый...— Предок удовлетворенно покачивает головой и даже потихоньку урчит.— Но,— продолжает Гифес,— сейчас совсем иное положение. То, что было хорошо в давние времена...

Интернационалист смущенно замолкает. Присутствующие понимают, почему он вдруг осекся: никто из них не потерпел бы, чтобы Предку намекнули на то, что он безнадежно устарел; все знают, что он бывший карбонарий, участник «Заговора пятнадцати» и «Порохового дела», человек 48 года, на собственном опыте испытавший, что такое казематы Мон-Сен-Мишеля, Белль-Иля и Корсики, бежавший с Кайенны...

— Это не воровство и не может быть воровством,— заявляет Предок.

— Почему же?

— Потому что эти деньги ваши. У вас их отобрали. Вовсе не вы, а они — воры! Богатые не раскошеливаются. Золото, накопленное в кладовых Французского банка,— это же ваши су. Оно ваше, даже больше ваше, чем пушка «Братство», которую как-то ночью украла у вас армия Винуа.

— Видите ли, если мы им воспользуемся, они такого наскажут!

— Они все равно во всех случаях именно так и скажут, бедный мой Гифес. Самое главное, самое спешное — это выдать нашим славным федератам по тридцать су и по пятнадцать су их женам, иначе Революция погибнет.

— Шампаньи нам подавай! — вопит Матирас.

— Э-э-э, нет! — кричит Предок, потом совсем тихо обращается к типографщику: — Видал? Если ты не выдашь им положенных тридцати су, всякая шваль этим воспользуется. Того и гляди, они еще шайку сколотят и пойдут громить склады и квартиры.

— Да что там! — заявляет батальонный горнист и тяжело опускается на скамью.— Если золото наше, так давайте же, черт побери, используем его получше.

— Нет, Матирас! Именно потому, что оно наше! Короли, императоры, их генералы, их попы и их банкиры транжирили эти деньги, ведь они ни пота, ни крови за них не проливали. А теперь казна Франции стала казной Революции, и Революция будет бережливо относиться к своим деньгам: она-то отлично знает, что все это золото и есть ваши жалкие су!

Со вздохом Матирас поворачивается к старику:

— Выходит, лучше стянуть потуже пояс ради Революции, чем ради разных там императоров!

— А какого мнения на этот счет они там, в ратуше? — спрашивает Феррье.

— Кто это «они»?

— Ну... они.

Предместье имело весьма туманное представление о новой власти: федерация, Центральный комитет Национальной гвардии, комитеты бдительности... Кто, в сущности, командовал? Отчасти людей успокаивало то обстоятельство, что среди «них» — Флуранс, Ранвье, Валлес, Тренке, Дюмон, бельвильцы, все несгибаемые, которые, хоть ку-

пайся в золоте, не переменятся и, что бы ни случилось, вернутся в свои родные места.

— Кто это «они»? Большинства из них мы и не знаем! — орет весь кабачок.— Откуда они взялись, эти революционеры? Ветром их принесло, что ли?

— Будем надеяться, они знают, что делают, а знаменитые там, не знаменитые...— ворчит Пунь.

— В том-то и дело, что не знают,— шепчет Предок себе в бороду.

— Ведут ли они дискуссии, как мы? Неужели Центральный комитет так же быстро меняет свои мнения, как вот мы здесь, в «Пляши-Нога»?

— Еще быстрее, чем мы, сынок. Во-первых, люди там гораздо сильнее отличаются друг от друга, чем жители тупика. Во-вторых, когда говорит Матирас или Феррье, когда говорит кто-нибудь из наших стрелков, он говорит только за себя. А в ратуше за тем, кто говорит, стоят кварталы, батальоны, пушки, а порой и партия, философия.

Все это Предок объяснил мне на ухо, и голос у него был ужасно грустный.

— Что же тогда делать?

— Не знаю.

— А раз так, чья это вина?

— Власти.

— Но ведь власть-то теперь наша!

— Власть — она всегда власть и есть.

Заметки без даты, сделанные в следующие дни на разрозненных листках.

Местами баррикаду разобрали, чтобы было где проезжать повозкам. С обеих сторон прохода нагромоздили булыжник и какой ни попало подсобный материал. Теперь в случае тревоги можно сразу же перегородить Гран-Рю.

Пушка «Братство» в полной готовности. Рядом поставили зарядные ящики. Охраняют «Братство» наши стрелки. Кучера с улицы Рампонно явочным порядком завладели конями. Они держатся поближе к пушке. Мостовая вся запружена — даже новенькой коляске, запряженной тремя белыми рысаками цугом, приходится замедлять ход; с боков коляски и позади нее гарцуют двенадцать всадников с саблями наголо, весь этот почетный эскорт одет в красные рубашки, на каждом всаднике — шляпа с пером.

— Эй, Флоран, садись!

Это Флуранс. Уже в генеральской форме.

— И ты, Марта, тоже! Я прямо из мэрии, собираюсь кое-что предпринять. Может получиться даже забавно.

Мы торжественно движемся к сердцу Парижа... Еще недавно наша роскошная коляска вызвала бы ропот в народе, хотя вряд ли ее владельцы рискнули бы сунуться в предместье Тампль. А нынче простой народ знает, что в таких экипажах разъезжают вернувшиеся с каторги наши вожаки, люди, объявленные империей вне закона,— так что чем роскошнее экипаж, тем больше ему почета, тем радостнее его приветствуют.

Мы подъезжаем к Дворцу правосудия и следом за Флурансом вступаем в длинный зал Потерянных шагов, где гулкие своды и стены прибавляют звону огромным испанским шпорам нашего Флуранса.

— Гражданин судебный пристав! Прошу вас вернуть мне мое оружие! Оно мне как раз нужно.

— Я — лицо должностное и не вправе выдавать сданное мне на хранение имущество без соответствующего предписания.

— А я — генерал, командующий двадцатым легионом, и предлагаю вам выполнить мое приказание незамедлительно.

Надо признать, Густав Флуранс был поистине великолепен, суровый и статный в своем генеральском мундире. Марта лукаво покосила глазком в мою сторону. Пристав дрожащими руками протянул Флурансу расписку за № 25 с описью, составленной в следующих выражениях: «...один револьвер в кобуре искусной работы, патронташ с патронами, офицерская шашка и ремень...»

— Читайте, читайте!

Пристав сбивчиво продолжал:

— «...предметы эти были изъяты у мосье Флуранса в декабре тысяча восемьсот семидесятого года и переданы из управления крепости на склад...»

— А теперь ты, Флоран, садись и пиши: «Приставу третьей части, невзирая на все его возражения»,— тут он прервал диктовку и бросил обомлевшему приставу: — Так что если дела для нас обернутся плохо, тебе отвечать не придется... «приказываю незамедлительно возвратить мне оружие, изъятое у меня шестого декабря, в подтверждение чего и выдана мною настоящая бумага. Генерал, командующий двадцатым легионом».

Он подписал, прицепил к поясу весь свой бесценный арсенал, и мы тронулись в путь.

■

Из ратуши Флуранс и Ранвье направились прямо в Бельвиль. Добрались они до нас вконец измученные, а уехали обратно — веселые. В мэрии XX округа задерживаться не стали, ограничившись кратким отчетом командирам батальонов и делегатам комитетов бдительности о последних заседаниях в ратуше.

Комитет бдительности решил, что, если кровосос не водворится в свои владения в течение недели, его квартира будет реквизирована. Кстати сказать, этот комитет осудил Центральный комитет Национальной гвардии за то, что его руководители проявляют слабость и слишком уж мирволят буржуйским мэрам. «Вспомните,— говорится в резолюции,— как и во времена всех прежних революций, буржуазия в конечном счете отнимает все права у пролетариата. Впервые со времени Великой Революции на стороне восставших военное превосходство. Надо этим пользоваться! Время работает не на нас. Жалко каждого часа, который мы тратим на переговоры, ни к чему они не приведут, а Тьер тянет и тянет потому, что это в его интересах...» Я сам составлял эту резолюцию.

■

Едва последние пруссаки соизволили покинуть Версаль, как туда на их место налетела саранчой бежавшая императорская армия. Еще накануне туда же потянулись депутаты из провинции, мелкие дворяне-помещики, наши гордые бароны, монархисты, искавшие в Версале пристанища для себя, своей поклажи и своих людей. Но тут они натолкнулись на толпы парижских чиновных лиц и просто беженцев, успевших завладеть гостиницами и уже реквизированными частными квартирами. За неимением места депутаты живут на биваках в Зер-

кальной галерее, ночуют на походных кроватях за легкими занавесками. В прочих залах Версальского дворца устроены канцелярии, где выделены ширмами приемные министров.

■

В ратуше Флуранс настойчиво возвращался к идее штурма, обращаясь к Моро и другим товарищам. Не могло быть, по мнению генерала, ни колебаний, ни сомнений: во Франции нет места для двух правительств. Господин Тьер выбрал гражданскую войну, ну что ж, если так, разговор о перемирии исчерпан, оно уже невозможно. Тьер требует «республики хозяев», где он сам был бы хозяином. А мы не хотим. Кончать с проволочками, с оттяжками! Действовать! Станем правительством Франции, утвердим свою власть — и страна последует за нами. Нечего ждать! Наглухо закроем ворота. Втянем в свои ряды остатки армии. Возьмем в свои руки Французский банк! Прочно овладеем всеми фортами, и прежде всего высотой Мон-Валерьен! Быстрота, быстрота действий, наша программа не требует невозможного, мы сумеем зажечь всех. Итак, еще раз: не будем терять ни минуты! На Версаль!

— Наша главная опора — рабочие,— говорит Предок и, обращаясь к Тонкерелю, спрашивает: — Раз братья Фрюшан бросили литейную, почему вы не берете ее в свои руки? — Разжигает трубку и ворчливо рассуждает вслух: — Версаль трепещет, а Париж распевает песни. В который раз повторяется история стрекозы и муравья. К несчастью, последнее слово всегда остается за муравьем.

Вечно эти старики ворчат!..

Утром в среду, 22 марта.

Мы — в распоряжении Бержере, на Вандомской площади, в штабе Национальной гвардии. Ждем. Вчера как раз здесь состоялась враждебная Национальной гвардии демонстрация наших врагов: буржуа, богатые коммерсанты, аристократишки, кучка пожилых дворян и полковников в отставке. Бержере с двумя ротами федератов рассеял демонстрантов, но он все еще неспокоен, опасается, как бы рединготники не вернулись, да еще пополнив свою команду. Если Бержере понадобится подкрепление, мы с Мартой добежим до мэрии XX округа и попросим, чтобы подняли на ноги бельвильские батальоны.

Мы связываем Бержере с Бельвилем. Его широкий лоб кажется еще шире из-за лысины, оголяющей всю голову до самой макушки. Из-под полузакрытых век на мгновение вспыхивает взгляд — то грозный, то вдруг испуганный. Вокруг него толпятся командиры разных рангов. Предмет рассказов — вчерашняя манифестация сторонников Тьера.

— Их было добрых пять тысяч. Шли по улицам Второго округа. Выстраивались вдоль тротуаров и командовали: «Закрывайте лавки! Друзья порядка — за нами!».

К вечеру.

Тревожные часы. Так называемые «друзья порядка» скапливаются перед новым зданием Оперы. Бержере ищет в муравейнике, кого бы послать замешаться в толпу заговорщиков, желательно — штатских.

— Нас направьте,— предлагает Марта.

— Только как мы будем знать, вызывать нам бельвильцев или нет?

Бержере смотрит на нас в некотором замешательстве.

— Сами решайте!

Марта движением подбородка выражает согласие.

Проходим сквозь сплошной, от здания к зданию, строй федератов по улице де-ла-Пэ. Все стоят ружье к ноге.

Бульвары возле Мадлен и Оперы переполнены. Впечатление такое, будто тут весь Париж сотнями глоток выкрикивает: «Да здравствует порядок!» Острый холодок сжимает мне внутренности, сердце — все нутро. Я почему-то был совершенно уверен, что за Центральным комитетом Национальной гвардии стоят, как один, все парижане.

— У тебя, разиня, значит, глаз нету, не видел ты, сколько в Париже никудышных людей, головорезов, поповских прихвостней, разных баденготников, богатеньких сынков и завирал-бабников.

Чудесно-светлый день. Где-то пробило два. Толпа устремляется на улицу де-ла-Пэ. Изысканно одетый юноша машет ручкой, приглашая собравшееся на балконе общество присоединиться к нему. Кто-то рядом стоящий объясняет, что этот балкон принадлежит англичанину — знаменитому портному Ворту.

Между тем в голове кортежа, поравнявшегося с третьим от угла домом,— заминка. Кто-то требует тишины. Марта впивается коротенькими своими пальцами в мой рукав — совсем детская у нее рука... В нескольких шагах — люди нашего Бержере. Строй ощетинивается штыками. Реданготники засуетились, повторяют слова из речи Жюля Фавра насчет Коммуны, которая есть не что иное, как «насилие над собственностью, крушение общества, подрываемого в своих основах!» Федераты — это «голытьба, душащая столицу», или еще лучше: «грязный сброд, подонки».

Федераты и реданготники стоят друг против друга, нос к носу, грудь к груди. А сзади толпа продолжает напирать все плотнее, душнее. Впереди — у Вандомской колонны — барабанная дробь.

Марта удерживает меня за рукав. Там, где противники сталкиваются лицом к лицу,— крики, брань, неистовый шум. Тысячи голосов повторяют: «Долой Центральный комитет Национальной гвардии!», «Долой убийц!»

Начинается стрельба, крики, страшная суматоха. Толпа отхлынула в сторону Оперы. Люди толкают, давят друг друга, ступают прямо по телам. Образуется пустота, мостовая, усеянная шляпами, тростями, судорожно бьющимися телами, рядом — трехцветное знамя со сломанным древком. Окна и балконы на всех этажах разом пустеют.

Люди в дорогой, а теперь висящей клочьями одежде, с бледными лицами ищут спасения в подъезде, где мы укрылись.

Мы возвращаемся на улицу де-ла-Пэ кружным путем, пользуясь знакомыми переходами, попадая в тупики, бредем по улице Людовика Великого и Нев-де-Пти-Шан. «Друзья порядка» спешно ретировались. Федераты подбирают раненых, вносят их в лавки, впрочем, далеко не все лавочники соглашаются впустить пострадавших. А о мертвых вообще забыли.

Все так же ярко-бесстрастно сияет солнце.

Вечером.

В который раз мы разминулись с Мартой! В штабе распространились слухи, будто на бирже и в мэриях I и II округов наплыв взбе-

сившихся буржуа, требующих, чтобы их мобилизовали; говорят также, будто на Центральном рынке и в центре города возводят баррикады, чтобы сражаться с Национальной гвардией.

Тут я заметил, что рядом со мной нет Марты. Она исчезла где-то в толпе федератов.

Батальоны I и II округов притащили к Французскому банку мешки с песком, превратив здание в крепость. Из амбразур глядят митральезы. Пале-Ройяль взят. Часовые, расставленные на всех перекрестках, никого не пропускают в центральные кварталы без особого на то разрешения.

Перо генерала Бержере неутомимо скрипит по бумаге. Он пишет приказы, подписывает, визирует, вручает их курьерам. Белые листки на мгновение крылато вздуваются у козырька кепи — люди отдают честь и исчезают.

— Поди-ка посмотри, что я нашла!

Марта вернулась и отыскала меня. Мы отправились на рынок Сент-Оноре; в глубине заднего двора люди толпились вокруг прекраснейшего из когда-либо виданных мною коней — чистопородный английский жеребец, огненно-рыжий.

На нем была только уздечка и удила — казалось, он вырвался, не дав себя оседлать. Никто из присутствовавших не знал, чей это конь. И когда началась перестрелка, он забился в глубь двора и не желал выходить. Никого к себе не подпускал. Никто, впрочем, и не предъявлял на него прав. Как только кто-нибудь, осмелев, приближался, конь с грозной грацией бил передом или задом.

Я задохнулся от восторга.

— Возьми его, Флоран!

Стараясь не делать резких движений, я все приближался к нему, а конь — так мне, по крайней мере, казалось — будто читал мои мысли. Он застыл на месте — только мощно вздрагивала грудь. Протянув вперед руку, я мог бы коснуться его ноздрей, но тут где-то рядом заиграл рожок, и, прежде чем звук дошел до моего слуха, я как бы уловил его в обезумевшем глазе коня. При первых нотках меди он, перебирая ногами, выгнул спину, но тут же успокоился. И все продолжал глядеть на меня. Пение рожка удалялось в сторону Сены, но теперь это было уже неважно.

Правая рука моя ходила по холке, касаясь уздечки и шелковистой шерсти. Пальцы левой руки ухватили гриву. Я сделал еще одно предупреждение, подогнул колени, вскочил ему на спину и тут же упал лицом ему на шею. Он не дрогнул.

Восхищенный ропот прошел вдоль стены, где толпились зрители. Я подозвал Марту:

— Уцепись обеими руками за мою руку, за кисть. Прыгай, да прыгай же!

Она уселась как-то боком, запутавшись в юбках. Пробормотала мне в спину:

— Хм, как же я буду держаться, я ведь в первый раз!

— Охвати меня за талию, да покрепче!

И я поднял коня в галоп.

■

Марта решила: «Назовем его Феб». Не знаю даже, как пришло ей в голову это имя. Она ведь самоучка и, видно, подхватила это словечко, наслушавшись всякого на наших клубных сборищах.

Останавливаюсь по требованию Марты перед рестораном:

— Сахару для Феба и морковки.

Лакейская братия спешит нам услужить, не жалея добра.

Вижу ясно Феба, себя, Марту, стараюсь увидеть нас троих глазами их часового, окаменело торчащего на тротуаре.

Грудь у меня стынет на ветру, спине горячо, горячо от слез глазам, радостная дрожь пробегает по телу, слышу, как мурлычет что-то себе под нос Марта, ловлю веселое ржание Феба — и от этого еще слаще бьется сердце.

Когда при мне произносят слово «СЧАСТЬЕ», я вновь думаю именно об этих минутах.

25 марта.

Много шуму из ничего. Парад-алле толстобрюхих провалился.

Центральный комитет Национальной гвардии возложил руководство военными делами на триумвират в составе Брюнеля, Эда и Дюваля. Федераты добились капитуляции мэрии Лувра, не сделав ни одного выстрела.

Утро 28 марта.

Как ни стараюсь, эти выборы не вызывают у меня восторга. Предок говорит: «Иметь ружья и выпрашивать голоса!..»

Афиши, афиши. Центральный комитет Национальной гвардии призывает голосовать «за тех, кто способен лучше служить вам, кто из вашей же среды, кто живет той же жизнью, что и вы, терпит то, что и вы терпите».

Голосование происходит с восьми утра до полуночи. Труссетка и ее комитет бдительности принимают избирателей в мэрии XX округа и в нескольких канцелярских помещениях, которые наши дамы украсили цветами и алыми полотнищами.

Национальные гвардейцы подходят к урне с подчеркнутой серьезностью. Они позволяют себе смеяться до и после голосования, но несколько шагов проходят торжественно и тихо.

Опуская бюллетень, многие избиратели чувствуют потребность сказать несколько слов, коротенькую фразу, приготовленную заранее. Феррье: «За то, чтобы весь народ стал умным!» Мумут: «Чтобы короли и попы с голоду подохли!»

Есть и такие, кто считает нужным внести поправку в то, что высказал предыдущий избиратель. Так, Гифес провозглашает: «За то, чтобы царил труд»; как бы отвечая, Пливар сказал: «За то, чтобы рабочий подыхал не с голоду, а от несварения желудка!» Или Матирас: «Чтобы не было больше у меня хозяина» — в ответ на жалобный вздох Бастико: «Чтобы была у меня работа!»

Голосовать приходят вооруженные. Каждый по-своему. В первые часы по указанию Ранвье ружье отбирали при входе и возвращали при выходе. А смысл какой? Почему не пропускают с нашими ружьишками, а с пистолетами, саблями и кинжалами разрешается?

— Мы свое сделали,— говорит усталым голосом Бастико.— Можно отложить ружья и стать к станку.

— Но только после того, как они отложат оружие,— не соглашается Матирас.— Как только ты отвернешься, чтобы взяться за молоток, они тебе в спину выстрелят.

Но Бастико упрямо трясет своей большой башкой.

— Стрелков организовать недолго, а вот станки пустить в ход — сложнее. Поди возьми свой инструмент и заново делу учись!.. А винтовку схватить недолго: услышишь тревогу — и беги. Верно я говорю?

— По-моему, Бастико прав,— отвечает Гифес, лейтенант бельвильских стрелков.— Тем более что реаки распустили слух, будто французские интернационалисты действуют по наущению самого Маркса. Дескать, он их подстрекает к забастовкам, чтобы повысить плату за труд и тем подсобить немецким конкурентам. Глупее выдумать нельзя. Но пропускать такие разговоры мимо ушей тоже не годится.

— Хозяева не допускают открытия мастерских. Они устроили локаут.

— А вы сами откройте, без хозяев,— посоветовал Предок.

Гифес посмотрел на него с восхищением. Вот у кого надо поучиться!

■

Мы совсем не спим. Некогда. После выборов — ночью подсчет голосов. Затем ликование. Вести летят со всех концов Парижа, оглушают криками и взрываются на перекрестках громогласными «виват». Дробь барабанов, трубачи играют что бог на душу положит, поскольку счастье не предусмотрено в репертуаре казарм. Над головами толпы взлетают кепи, как пробки из бутылок с шампанским.

Кандидаты буржуа впереди только в XVI и отчасти в VI и IX округах.

— На сей раз, гражданин Флуранс, ты войдешь в ратушу на законном основании,— замечает Гифес.

— А все-таки выдвиньте-ка вперед вашу пушку «Братство»,— отвечает вождь восставших,— так мне будет спокойнее.

Без даты.

В предместье Тампль кумушки говорят: «Это ребячья пушка!» «Братство» царит среди орудий всех калибров, составляющих наш артиллерийский парк,— их подкатили сюда в дни, когда надо было дать отпор реакционерам.

История о том, как отливали грошик за грошиком пушку «Братство», обошла все пролетарские батальоны. Бронзировщики с Данфера оглаживают невиданный сплав, машинисты с Монпарнаса, среди которых затесался каретник из Гутт-д'Ора, толкутся вокруг нашего «громобоя», и глядят они понимающе, как прасолы, присматривающиеся к вновь пригнанному скоту.

Из рук в руки переходят газеты, шелестят, как крылом. Одни читают по уголкам — этих не слышно,— другие бормочут себе под нос, третьи с трудом разбирают слова, выделяя каждый слог. Собираются кучками, с чтецом в центре. Кто уже успел прочесть и передал газетку соседу, начинает обсуждать статьи, делясь с приятелями вдруг нахлынувшими мыслями, все еще переживая прочитанное.

Как-то сама собой входит в моду ироническая галантность. Федераты с легким поклоном помогают женщинам пробираться через баррикады. Сейчас у нас в ходу такое чуть насмешливое рыцарство. Хозяйки, работницы, сестры, дочки носят на голове корзины или вешают их на руку. Другой рукой они придерживают юбки, громко при этом смеясь. Их карапузы ползают по мостовой на четвереньках.

Здание ратуши забито вооруженными людьми. Целые роты спят прямо на соломе у подножия беломраморной лестницы, поднимающейся вверх двумя крыльями, в крытом дворе под стеклянными сводами.

Маркитантки расположились со своими кухоньками по галереям. У них и вино, и хлеб, и колбаса, и суп с овощами и мясом, не говоря уже о водке в маленьком бочонке.

Вестовые, офицеры, депутаты, члены Центрального комитета Национальной гвардии в красных перевязях с серебряной бахромой непрерывно снуют по коридорам и лестницам, все они спешат куда-то, у всех на счету каждая минута. Только попав в Тронный зал, где их ждут всегда готовые принять гостей длинные столы, люди вспоминают, что давно уже успели проголодаться.

Каждый кого-то или что-то ищет, такого-то человека или такую-то комиссию, потому что только они помогут решить данный вопрос, не терпящий отлагательства. Бывает, что так и не найдешь концов, поскольку люди и организации, вытесняемые другими людьми, а то и просто шумом, суматохой и другими организациями, часто переезжают с места на место — на минуту отлучиться нельзя... Возвращаешься, а они уже неизвестно где. Ищи-свищи!..

Командир, очень щеголеватый, щелкает оторвавшейся подошвой и объявляет:

— Ой-ой, у меня сапоги каши просят!

— Гражданин, ступай на Ломбардскую улицу, это совсем рядом — там моментально починят.

— Ты что, смеешься надо мной?

— С чего это ты взял?

— Я сам сапожник!

Стратеги из фабричных цехов и каморок, где что-то чинят и кроят, стоят с кружкой в одной руке, с сосиской в другой и страстно переделывают наш мир.

Мальчишка-подмастерье, перепачканный мукой, явился по поручению хозяина, который желает узнать, обеспечены ли зерном мельницы. Возницам требуется переговорить с кем следует о фураже. Знаменосцы интересуются, предусмотрен ли порядок следования батальонов на предстоящем сегодня смотре. Что будут исполнять фанфары? А если музыканты знают только «Марсельезу» и «Песню отправления»?

— Эй, Марта! Где заседает Монмартр? Вы, бельвильцы, должно быть, уже знаете, что тут и где!

Моя смуглянка — настоящий кузнечик, она успевает откликаться на вопросы десятков людей, которых я в глаза не видал, и здесь она, по-видимому, так же популярна, как в Бельвиле.

■

Огромная толпа переполняет площадь, мосты, улицы, даже кровли. Всюду руки, размахивающие флагами, носовыми платками. Не открываются ставни только на окнах вторых этажей: тут хозяева либо в бегах, либо не желают показываться, злятся. Мальчишек, мальчишек на карнизах, на балконах, еле вмещающих шумные стайки, на плечах беззащитных статуй!..

Каменное изваяние Республики украшено фригийским колпаком. На обнаженной груди — красная перевязь.

На перекрестках будто шевелятся холмистые линии — это баррикады, усеянные людьми. Женщины возятся с одеждой своих мужей — пришивают пуговицы или нашивки, поправляют воротнички на смущающемся воине, с улыбкой принимающем эту заботу: неловко перед

товарищами, соседями по баррикаде. Покончив с починкой, швеи переходят к «своему» орудию, которое надраивается до блеска.

Не было ни особых обращений, ни афишек, а народ уже здесь. Явились и национальные гвардейцы. Говорят, их пришло тысяч сто.

Женщины Бельвиля не отрываясь глядят на своих мужчин, стоящих по стойке «смирно» в первых рядах стрелков, которым только что сделали смотр Флуранс и Ранвье. Бойцы спокойны, мундиры их подштопаны, вычищены, выутюжены.

— Намерзлись мы этой зимой и наголодались. Вспомни-ка, —говорит негромко Клеманс Фалль.

Бландина Пливар — большелицая, бледная — молча кивает головой.

— Опять мы сплоховали на этот раз,— бурчит Марта.— Надо было выкатить нашу пушку на набережную.

— Это для чего?

— В честь Коммуны будут палить как раз с набережной.

— А все ты! Сама ведь решила, что пушке «Братство» лучше стоять у главного входа. Чтобы отовсюду ее было видно.

— А если ее перетащить?

— Да где же она тут пройдет?

Марта и сама понимает, что никто — и она тоже — не пробьется с такой махиной через эти толпы.

Воздух Парижа — как вино, один от него злобно хмелеет, другой преисполняется счастья. Судя по обстоятельствам.

Бьет четыре.

Ранвье выпрямляется, в руках у него белые листки, но он, поразмыслив с секунду, сует их обратно в карман.

— Центральный комитет Национальной гвардии передает свои полномочия Коммуне. Слишком переполнено счастьем сердце, дорогие граждане, чтобы произносить речь. А посему позвольте мне только восславить народ Парижа за тот великий пример, который он ныне дал миру.

Барабаны бьют поход. Оркестр гремит «Марсельезой», подхваченной всем Парижем, будто она вырвалась из одной груди. И сразу же в наступившей тишине слышится громкий голос Ранвье:

— Именем народа провозглашается Коммуна!

Голос пушки 92 года сотрясает землю под нашими ногами.

Да здравствует Коммуна!

Остриями сотен штыков подброшены в воздух сотни солдатских кепи. Плещут знамена. На площади, на балконах, на крышах машут платочками. Тысячи и тысячи рук.

Десять, двадцать, сто пушек — нет, больше — проникают гулом в недра Парижа.

Полночь.

Легковейная ночь над Парижем. Фанфары, притомившись, умолкли, в последний раз отозвавшись в далеких кварталах, где народ, следуя за войсками, примкнув к арьергарду национальных гвардейцев, принимает участие в заключительном факельном шествии. Впервые с 18 марта ни одного сигнала боевой тревоги не было дано часовыми, и там, позади нас, погасли все окна ратуши.

Обрывки музыки — то тут, то там танцуют, не знающие устали духовые оркестрики дают импровизированные концерты.

Нет, он не выглядел воинственным, этот вооруженный Париж! Мы-то его видели, когда целыми днями носились по нему взад и вперед. Мы — Феб, Марта и я. Случайные прохожие, незнакомые люди обмениваются оглушительным «гражданин», сопровождая это обращение по-детски радостной улыбкой. Свадебные кортежи весело шествуют по Гран-Рю — что им до того, ждет ли их гражданин мэр в мэрии или его вызвали в ратушу, а может быть, в штаб его батальона, или в клуб, или еще куда-нибудь... Восемь театров снова распахнули свои двери. Так хорошо под ясным небом, так хорошо на сердце, что, кажется, гулял бы весь день и не нагулялся. Парижские предместья— пригороды нищеты — не прочь пошуршать стоптанными подошвами по роскошным Елисейским Полям. Тут им, конечно, могут попасться господа буржуа, которые начнут злословить: «А что она такое сделала, ваша Коммуна, за две недели своего правления? Затопили декретами парижские рынки да еще запретили мочиться в неположенных местах!» А честные люди только пожимают плечами, снисходительно улыбаются: «Мораторий на квартирную плату — это, по-вашему, ничего? И наши тридцать су тоже ничего? Бедные они, бедные... Слишком они богатые, чтобы понять! И даже распоряжение насчет писсуаров — полезная вещь, и не сомневаемся, оно будет соблюдаться».

Каждая хозяйка подметала сор перед своей дверью. Метельщики со всем усердием убирали парижские улицы. Никогда еще не были такими чистыми улицы Парижа.

Феб втягивает ноздрями воздух, и дрожь проходит по его хребту и бокам. Феб счастлив. Теперь я уже нисколько не сомневаюсь, что это он выбрал нас — меня и Марту.

ТЕТРАДЬ ШЕСТАЯ

Без даты.

Мы — нарасхват. Бельвиль — копьеносец Коммуны. Спросите парижанина в любом углу столицы, и он скажет: «Когда понадобится, мы кликнем бельвильцев». А в глазах Версаля Коммуна — это и есть Париж в руках Бельвиля. Мы полны гордости.

Иногда достаточно одного появления стрелков Флуранса, и преграды рушатся, уступают нашему натиску.

Федераты Монмартра с увлечением говорят о Луизе Мишель. *(Незаконная дочь аристократа и его камеристки, Луиза Мишель стала учительницей и примкнула к антибонапартистам и анархистам. С ней дружили Виктор Гюго и Теофиль Ферре. Она предпочитала мужскую одежду и обычно носила с собой оружие. В дни осады Луиза появлялась в церквах и собирала там пожертвования на лечение раненых федератов. Она выступила с оружием в руках 22 января во время похода на ратушу и 18 марта, когда парижане отстояли свои пушки.)* Она возглавила комитет бдительности XVIII округа и вместе с Елизаветой Дмитриевой *(которая была другом Карла Маркса и активной деятельницей Интернационала)* создала Союз женщин. Луиза Ми-

шель предлагала казнить господина Тьера и, желая доказать, что дело это легко осуществимо, собиралась, переодевшись, лично совершить путешествие в Версаль.

2 апреля 1871 года.

Вербное воскресенье. Небо хмурится.

Ровно в десять Париж сотрясает канонада. Парижане решили было, что это праздничный залп холостыми патронами, если не просто недоразумение. Но вот прибывают первые повозки, а на них — раненые, умирающие. Во всех кварталах бьют тревогу. Батальоны собираются, опережая сигнал. Впереди женщины, они торопят мужей, вытаскивают из кухонь все, что имеется съестного.

Огромной волной двинулась человеческая масса, блестя штыками, оглушая топотом ног. Русло ее пролегает между заставой Майо и заставой Терн. Слышится тяжелое дыхание, из уст в уста передают:

— Версальцы открыли огонь!

— Без предупреждения!

— Обстреливают Париж!

— Снова начинается осада!

— Возводите баррикады!

— На Версаль! Все на Версаль!

Густава Флуранса тревога не застала врасплох. Вчера я отвез генералу Бержере записку от Флуранса следующего содержания:

«Дорогой друг!

Узнав, что ты направляешься в Сен-Клу, я в час ночи прибыл к тебе. Сейчас шесть часов утра. Возвращаюсь в Бельвиль. Если ты предпримешь что-либо, извести меня, будем действовать вместе, ты знаешь, как мне этого хочется. Нужно во что бы то ни стало собрать достаточно сил и выкурить их из Версаля.

Жду вестей.

Г. Флуранс».

Несколько дней назад кавалерия Тьера обстреляла наши аванпосты в Шатийоне и в Пюто. Мы не остались в долгу. Перестрелка не омрачила праздника, но Флуранс насторожился.

— Достаточно взглянуть на карту, чтобы представить себе, к чему идет дело,— недовольно буркнул он.— Тьер непременно активизируется в направлении Курбвуа — ведь это подступы к Версалю. Недоносок сейчас приободрился, оно и понятно: Коммуне нанесены удары в Лионе, в Нарбонне, в Тулузе, в Сент-Этьене, в Ле-Крезо... А ратуша бездействует. Еще бы! Они заняты своими дурацкими диспутами насчет отделения церкви от государства...

Он встряхивает шевелюрой, приглаживает растрепавшуюся бороду Он все такой же пламенный Флуранс, но сегодня пламя это мрачное. И во взгляде, которым он с отцовской нежностью обводит своих стрелков, горит гнев.

Стрелки Флуранса за эти полгода стали настоящими солдатами. Их жены набили вещевые мешки всем, что нашлось в доме самого лучшего, самого вкусного. А там видно будет. Ведь это решающий бросок!

Сначала батальоны шли, строго держа строй, и толпа на тротуарах хранила спокойствие. Но вот до ушей солдат и толпы на улицах доходят последние новости. Зуавы открыли огонь с криками: «Да

здравствует король!» Между тем как один полк версальцев, услышав возглас «Да здравствует Коммуна!», разбежался. Волнение проходит по рядам солдат, по толпе.

В Париже все, кто способен носить оружие, устремляются на запад. И в этой сутолоке — ни единой пушки.

— А наша пушечка? — воскликнула Марта.

Кто-то пожал плечами: зачем, мол, она? И двух-трех выстрелов будет достаточно, чтобы версальцы в панике разбежались.

— Ихние солдаты нас ждут — только мы появимся, сразу воткнут штыки в землю! — пророчествовал Кош.— Вспомните восемнадцатое марта!

Великолепный порыв! Конечно, день провозглашения Коммуны ни с чем не сравним: тогда, 28 марта, на площади перед ратушей царила радость. Сегодня все иначе — сегодня эти люди чувствуют свою силу, а она ведь тоже радость, хоть и иная.

Штыки засверкали на солнце.

Отцы начали тревожиться за своих отпрысков.

— Эй, детвора, убирайтесь-ка отсюда! По домам! — гремит Бастико.

— Голова идет кругом от этой мелюзги, вечно под ногами вертятся! — ворчит Пливар.

При этом отцы обмениваются понимающими улыбками: счастливые ребятишки, им уже не придется переносить все то, что мы вынесли!

Только теперь в предместьях начинают осознавать, что представляла собой их жизнь прежде. И уже одно то, что люди говорят о ней в прошлом, доставляет им радость. Вспомнить только: с детских лет и до глубокой старости вставать на заре, идти на фабрику, прихватив с собой ломоть черствого хлеба, а к ночи возвращаться без сил в свою берлогу. И так всю жизнь. Это еще что! Нас же вечно подстерегала безработица или болезнь, увечья. Как приговоренные к тачке — недели отдыха не выпадало.

— Знаю только, что больше так жить мне не под силу,— повторяет Матирас.

— И мне тоже,— не совсем уверенным голосом подхватывает Бастико.— Во всяком случае так, как жил раньше,— не сумел бы.

Иногда батальоны смешиваются с толпой, сутолока — не знаешь, где солдаты, где просто толпа. Гвардейцы вытягивают шею, стараются высмотреть командира, увидеть знакомое офицерское кепи, перо, саблю. Кто-то пробирается в толпе, расталкивает соседей, громко называет свой район. В конце концов, разумеется, находят друг друга, но только ненадолго, и опять начинается суматоха, шум. Есть ли, нет ли плана действий — об этом никто не думает, хватит с нас планов этих, по горло сыты.

— Солдаты, посланные Тьером, нам братья,— упрямо твердят в рядах Национальной гвардии.— Увидят нас и воткнут штыки в землю...

■

С наступлением ночи мы расположились на привал в уютных палисадниках деревни Аньер.

Аньер, а также Буа-Коломб и Ла-Гаренн — соседние с ними поселки — почти не смыкали глаз. Разбуженные крестьяне встретили солдат дружелюбно, но не без тревоги. Предложили устроить нам ночлег на сеновалах, выдали подстилки. Но федератам было строго запрещено рассредоточиваться. Ломовики рассказали нам, как

разрозненные беззащитные группки Национальной гвардии были застигнуты врасплох врагом, оттеснены к заставе Майо, а позже перестреляны все до одного. А версальцы затем отошли.

— Вы что же, граждане, сами это видели? — приставал Гифес.

Нам как-то не верилось.

— Вот так же видели, как вас сейчас видим,— басил рослый возчик, тыча в воздух толстым указательным пальцем.

Зажигать огонь было строго воспрещено, поэтому солдаты кое-как перекусили — есть не хотелось, да и спать тоже. Где-то, довольно далеко женский голос пел про злоключения какой-то Лизон. Напрягая слух, можно было разобрать лошадиное ржание, звякание оружия — значит, рядом забились в ночную тьму тысячи людей, напрасно силясь поспать хоть немного перед атакой. А позади был Париж, разбросавший свои огни в белесом ожерелье укреплений.

■

Заря вставала в запахах сырой земли, в весенних запахах с обычными деревенскими шумами — куры, петухи, собаки, скрежет колес и ворот. На пороге домов стояли женщины с кофейниками в руках:

— Тут на всех не хватит, вы подставляйте кружки, нового сварим...

Затем вязкий солдатский топот по деревенским улицам заглушил звуки весны. Наша маркитантка Зоэ, сияющая и розовая, щебетала где-то в первом ряду колонны стрелков. То тут, то там проносилась над головой гвардейцев шляпа Флуранса, и можно было проследить по ее развевающемуся плюмажу, как он объезжал батальоны со своим гарибальдийским эскортом.

— Флоран!

Я повернул коня на голос Флуранса.

Он взглянул на нас. Вернее, охватил взглядом всю нашу группу в целом: Феба, Марту и меня. И вручил нам послание для Бержере.

У меня мелькнула мысль, что это поручение было лишь деликатным маневром удержать нас подальше от опасностей боевой обстановки...

Генерал Бержере ехал в бой в открытом экипаже, на нем были высокие сапоги, просторный редингот, красная перевязь. На груди он носил разные знаки отличия, в том числе — маленький масонский экер на левом лацкане. Положив рядом с собой на сиденье кепи с шестью галунами, он внимательно читал послание Флуранса. И чуть покусывал губы, отчего подрагивала квадратная бородка.

Коляска трогается в путь. Нам дают знак следовать позади. Ответ еще не готов. Мы едем рядом с офицерами из штаба Бержере. Они говорят о Мон-Валерьене.

История Мон-Валерьена, начиная с 18 марта и в последующие дни, в буквальном смысле невероятна. В момент борьбы за пушки Тьер в панике приказал эвакуировать эту крепость; приказ он нацарапал, укрывшись в глубине кареты, которая мчала что есть сил в Версаль, мчала этого ублюдка, потерявшего голову от страха. Восставший Париж в ликовании своем не придал этому эпизоду никакого значения. И грозная крепость — ключ от столицы — стояла пустая несколько дней, пока тот же Тьер не направил туда новый гарнизон.

Штабные обменивались новостями, как видно, хорошими. Какой-то капитан, привстав на стременах и обратив к западу свою подзорную трубу, воскликнул:

— На колокольне Буживаля развевается красное знамя!

— Значит, там разведчики Флуранса!

Я почувствовал, как Марта изо всех сил стиснула меня и вжала подбородок мне между лопаток.

Генерал Бержере приподнялся в своей открытой коляске, продолжая диктовать депешу. Потом опустился на сиденье, подписал и махнул мне рукой.

■

И вот в эту-то минуту...

Сунув бумагу в карман, я резко повернул Феба и слегка коснулся каблуками боков своего любимца.

Седоусый офицер успел мне бросить:

— Скажи, малыш, великому Флурансу, что нынче вечером мы угощаем его шампанским у Короля Солнца!

Мы проехали мимо двух домиков с садиками, огороженными длинной невысокой стеной. А дальше простирались поля, на горизонте темнели деревья у подошвы еще более темной горы.

До последней секунды никто ничего не почувствовал, разве что Феб: обычно он сохраняет спокойствие, никак не откликается на прикосновение к его бокам, а в этот раз взвился на дыбы и резко повернулся. Заржал. Марта впилась мне ногтями в живот.

Вот в это мгновение и обрушилось на наши головы небо.

Мы не сразу поняли, что произошло: из крепости Мон-Валерьен били в упор тяжелыми снарядами по колонне Бержере, как раз поравнявшейся с ее воротами.

И почти одновременно со свистом снарядов раздался беспощадно резкий и четкий, как удар штыка, крик:

— Измена! Измена!

— Нас предали!

Дождь снарядов не стихает, их все больше, версальские пушки теперь пристрелялись и бьют прицельно. Оглашая воздух гневными криками, ошеломленная колонна поворачивает назад:

— Нас предали! Возвращаемся в Париж!

— Верни-ка, сынок, мне депешу!

Седоусый офицер рвет послание Бержере и кричит мне:

— Скажи Флурансу: пусть отступает! Он остался без прикрытия: противник обходит его и может отрезать. Скачи!

— А где он?

— Вон там, прямо перед нами, по ту сторону крепости.— Его рука описывает полукруг, словно он уже перепрыгнул крепость, увенчанную огнем и дымом.

Феб с ржанием продирается сквозь человеческую колышущуюся массу.

— Где Флуранс?

— Впереди! А где же ему, по-твоему, быть?

Вдалеке, в направлении Сены, слышны сигналы рожка, дробь барабанов, частые ружейные выстрелы.

— А ну, ребятки, поворачивайте!

— Нет, у нас пакет для Флуранса.

Бельвильские стрелки сидят в укрытии за изгородью.

— Спешиться! — кричит нам Гифес.

Флуранс со своими всадниками виден впереди, метрах в ста, под прикрытием домишка, по которому бьют версальцы; как раз в этот момент снарядом от него отрывает красные черепицы, подымаются столбы пыли. Одним махом Феб берет препятствие — изгородь, и нас,

как дождем, осыпают ветки, срезанные залпом с дерева, изрешеченного пулями...

Стараясь перекричать весь этот гам, я передаю приказ об отступлении. Флуранс пожимает плечами, не поворачиваясь и не отрывая глаз от подзорной трубы...

Потом, положив бумагу на переднюю луку седла, начинает царапать что-то.

— Это тебе, Флоран. Быстро в Бельвиль. Передашь записку Предку. Останешься в его распоряжении.

Позади нас федераты продолжали движение на Версаль. Под пулями и картечью они следовали за Флурансом, а он опять нацепил свою шляпу с плюмажем и высоко поднял свою длинную турецкую саблю.

Мы мчались галопом, втянув голову в плечи, мы не могли оторвать глаз от бельвильцев: построившись в каре, они продвигались широким мерным шагом, шагом крестьянина, шагом сеятеля. А Мон-Валерьен вколачивал в них свою свинцовую дубину, уверенно, спокойно вколачивал.

Я не сразу понял, почему Феб вдруг принял вправо — это он объехал лежавшее на земле тело. Я чуть не вывалился из седла, Марта соскользнула на землю. Я остановил Феба, повернул назад. Марта так и осталась на коленях. Застыла. И все смотрела на умирающую Зоэ. Хорошенькая маркитантка бельвильцев лежала на спине, раскинув руки. Снарядом ей разворотило живот.

— Послезавтра мне исполнилось бы шестнадцать. Глупо, уж очень глупо,— тихо плакала Зоэ.— Не надо было мне лезть сюда. У мосье Флока мне хорошо жилось. Зачем вы меня увели? Что я вам сделала?

Круглые глаза уже покрывались прозрачной пленкой, за которой исчезает последний взгляд.

А затем мы заблудились, доверившись петляющей Сене. Марта уже не могла быть мне проводником. Я подумал, что если держаться Сены, она выведет нас к Парижу. Вместо того Сена бросила нас снова в огонь. Очевидно, я сбился с пути, оглушенный стрельбой.

Мы были в Шату. Совсем рядом, в яблоневых садах, скрытая огромными тополями, свирепела битва.

— Флоран! Это версальцы? Вон те!

Какими спокойными, чистенькими, красивыми казались издали всадники, следившие за ходом битвы с высоты по ту сторону Сены. Напрягая зрение, я различил копья и остроконечные каски.

— Нет, это пруссаки. Не нарадуются, должно быть!

И вдруг Мартой овладела та неодолимая сила, от которой сжимает нутро беглецов:

— Скорее домой!

Я в ярости заработал каблуками и бессмысленно заорал, пуская Феба вскачь:

— Скорее в Бельвиль!

4 апреля, вечер.

Бельвиль оплакивает своих мертвецов. «Пали за Социальную революцию».

Они сражались на южном направлении: полторы тысячи человек, оставшихся у Дюваля, вынуждены были капитулировать на рассвете, им обещали сохранить жизнь. Небезызвестный генерал Винуа явился

посмотреть на пленных. Он приказал незамедлительно расстрелять всех, на ком была военная форма,— вернее, признаки военной формы.

На западе стрелки Флуранса держались, пока не был дан приказ об отступлении. Преследовавшая их кавалерия из дивизиона Прейля варварски изрубила храбрецов. Лишь немногие спаслись.

Желторотый и Ордонне вернулись в тупик, переодетые в гражданское платье, позаимствованное в одном из домов Буживаля. У Коша саблей отсекло кончик носа, Гифесу левую ляжку проткнули штыком. А Бастико остался на поле боя.

Пальятти вернулся в числе последних, покрытый кровью и пылью. Он до конца не покинул своего вождя.

Флуранс умер, Бельвиль пока еще не знает обстоятельств его гибели. Достоверно известно только, что наш командир был подло убит версальцами. Подробности, дошедшие до нас, столь ужасны, что трудно поверить в их реальность.

Он все оставался впереди, когда Бержере уже отошел далеко за Сену, преследуемый кавалерией Тьера. Флуранс невозмутимо продолжал двигаться на Версаль. Ночь застала его в Шату еле живым от усталости. На берегу реки — постоялый двор. Флуранс входит, расстегивает ремень, кладет на стол свою турецкую кривую саблю, свои пистолеты и бросается на постель. Был ли он предан хозяином постоялого двора или одним из жителей деревни, которые столь радушно встретили стрелков? Дом окружили солдаты полковника Буланже, впоследствии генерала и недопеченного диктатора. Амилькара Киприани, охранявшего покой своего начальника, отбросили ударами штыков. Значительно позднее, оправившись от ран и возвратившись с каторги, он рассказал, как все произошло. При Флурансе были бумаги, которые позволили установить его личность. Жандармы с воплями дикого ликования вытолкали его во двор. Их капитан Демаре примчался галопом:

— Это ты тот самый Флуранс?

— Я!

Тогда капитан Демаре вытащил саблю и ударил наотмашь героя с такой силой, что раскроил ему череп.

От Густава Флуранса нам остались статьи и книги: «История Человека» (1863), «То, что возможно» (1864), «Наука о Человеке» (1865), «Париж, который предали» (1871).

■

Те, кто уцелел и вернулся в Бельвиль, отмалчиваются или жалуются, что их плохо кормили, оружия настоящего не дали и командования толкового не было. Они понимают так: их обманули не только насчет Мон-Валерьена, но и насчет настроения у версальцев — солдаты, как оказалось, не воткнули штыки в землю, а стреляли и озверело рвались вперед. Обо всем этом наши вернувшиеся бельвильцы рассказывают какими-то притихшими, детскими голосами.

Вторник, 11 апреля.

В воскресенье, 9 апреля, в первый день пасхи мы отвезли их на Пер-Лашез. За гробом павших смертью храбрых под пулями жан-

дармов и шуанов следуют члены Коммуны с обнаженной головой, с красной перевязью, задумчивые и печальные. Выделяется белоснежная голова Делеклюза. А сзади — стиснутая двойной изгородью национальных гвардейцев толпа, толпа, тяжелая поступь сотен людей, тяжело склоненные головы.

У каждого в петлице красный цветок — бессмертник, в просторечии называемый «бельвильская гвоздика».

Шли люди из Шаронна, Сент-Антуана, Ла-Виллета — люди, которые нас знают, они спрашивали, пожимая нам руки, как будто мы были близкие и родные Густава Флуранса:

— А Флуранс?

— Он здесь? Флуранс?

— Его прах тоже здесь?

Нет, Флуранса здесь не было.

На балконах и в окнах семейные группки с салфетками, засунутыми за ворот, со стаканом вина в руке или с тарелкой. Едят всегда одни и те же.

■

Женщины Бельвиля, написавшие на своем знамени «Бдительность» — их так и прозвали «бдительницы», — дали себе волю. Ванда Каминская, схватив под уздцы лошадь, которая тащила омнибус, проходивший по расписанию перед нашими воротами, остановила движение. Контролер омнибуса стал протестовать, тогда Людмила Чеснокова столкнула его на мостовую как раз перед закрытой лавкой мясника и начала колотить каблуками, а он только извивался. В тот же миг Бландина Пливар взобралась на сиденье возницы и подняла к небу красное знамя. Труссетка и Камилла Вормье, стоя по обеим сторонам мостовой, выкрикивали, вздернув головы вверх так, чтобы было слышно на верхних этажах:

— На Версаль! На Версаль!

Прочие женщины ворвались в омнибус и выгнали оттуда пассажиров, совершавших рейс Бельвиль — площадь Побед.

Раздался крик Марты:

— Мальчики! Быстро! Катите сюда пушку «Братство»!

Феб, Марта и я гарцевали слева от возницы, роль какового самолично исполнял Пружинный Чуб.

Мы двигались в том направлении, откуда доносились звуки канонады. Ни коляски, ни пешеходов дальше Пятачка на Елисейских Полях не пропускали. Нас встречали молча, но потом раздавалось удовлетворенное урчание. Гвардейцы, направлявшиеся на передовую, заслышав стук колес, настороженно поворачивали головы в нашу сторону. Сначала их взорам представал омнибус, расцвеченный пассажирками в красных колпачках. Далее обнаруживалась артиллерийская упряжка. Густо заросшие физиономии гвардейцев расцветали счастьем.

Могучий лязг пушечной колесницы уже сам по себе заглушал версальские залпы.

Издали пушка «Братство» поражала ритмом и стройностью своего монументального хода. Металл, кони, которые ее везут, военные, которые за ней следуют, артиллерийская прислуга, наводчик — каждый на положенном ему месте; все это, равно как и золотистые отсветы бронзы, свидетельствовало о том, сколь любовно заботились об этом чудище его хозяева.

■

Мстители Флуранса — так теперь называли себя бельвильские стрелки.

■

Они защищали баррикады при входе на мост Нейи. Последнюю баррикаду... Дальше — пустота, а за нею — враг. Тут стали и мы с пушкой — командиром у нас был Фалль,— а рядом группа литейщиков с предприятия братьев Фрюшан. Увидев наш кортеж, они окаменели. Мы так боялись, что нас отправят обратно в Дозорный, что решили немедленно приступить к делу, будто здесь нас только и ждали.

Марта старалась направить пушку в самый центр версальской баррикады на том конце моста Нейи.

Артиллерийская прислуга маневрировала быстро и точно, ни одного лишнего движения.

Пушка «Братство» изготовилась к бою.

С тех пор как началась наша война, ни разу я не видел пушку во всей ее звероподобной простоте.

Впереди был только мост.

На том и на этом его конце — баррикады. За каждой из баррикад — воинская часть, вооруженные люди, готовившиеся форсировать реку, а сделать это они могли лишь при условии, что будут убивать, ступать по трупам.

Пустынный мост — и больше ничего.

Мстители и бельвильские бдительницы, литейщики и пушкари смотрели на этот мост, потом переводили глаза на ненадежные воды, бившиеся о быки моста Нейи. Всего-навсего река. И река эта — Сена.

Граница!

С одной стороны — Париж, с другой — Версаль.

— Она разделяет два мира,— брюзжит Предок.— Старый мир — мир богатых, который не хочет сдаваться. И мир новый — бедняки. Мост — по нему легко перейти реку, но не существует моста, который соединял бы прошлое и будущее. Вот почему по нему нельзя пройти, не оросив его кровью.

Генерал в сопровождении адъютантов вихрем подскакивает к нам и сообщает важную весть: враг начнет атаку с минуты на минуту. Генерал молод, с подстриженными усиками, говорит с сильным иностранным акцентом *(Домбровский):* «Атбросте вэрсальцев! Пэрэходите в контратаку!»

И он умчался вместе со своим эскортом.

■

Ветер меняется. Мстители Флуранса и их подруги тревожно переглядываются: порыв ветра доносит до нас праздничный гул, крики, знакомые мотивы, превращаемые расстоянием в веселый полушепот. Гифес сверяется со своими часами.

— Это театр Гиньоль на Елисейских Полях. Начали представление кукольники.

Мы улыбаемся. За нашей спиной Париж продолжается. Мы — живой оплот его поющего завтра. Пусть грянет буря и пусть смеется, пусть поет Париж Коммуны!

Сквозь дымку прорывается солнце.

— Приготовсь! — кричит Фалль. Все еще сжимая в руке глиняную трубку, он вскидывает стиснутый кулак над засаленной каскеткой.

С той стороны моста доносится дробь барабанов. Версальцы перепрыгивают через свою баррикаду.

Впереди — офицеры с саблями наголо, за ними плывет трехцветное знамя. Сомкнутыми рядами заполняя мостовую, шагают локоть к локтю версальские солдаты, держа ружья наперевес. Чистенькие, в аккуратной форме. В слабых еще лучах солнца играют краски: белые гетры, светло-голубые шинели, красные штаны, эполеты, кепи. Во главе длинной колонны выделяется массивная фигура седоусого полковника. И ни одного, даже беглого, взгляда назад: полная уверенность, что за тобой покорно следуют те, кому положено следовать. Иначе и быть не может. Теперь уже видны фигуры, лица. Улавливается стук каблуков, тиканье безупречного метронома. Ни суеты, ни спешки.

Чем они ближе, чем ярче цвета, тем медленнее их шаг. Уж не шагают ли они на месте? Им ведь бояться нечего. Они — армия богатых.

— У, дьявол! — заревел Фалль.

Из наших рядов раздался выстрел. Версальский солдат сразу рухнул ничком на камни мостовой. Первый ряд версальцев продолжает свое неспешное движение, не оборачиваясь на образовавшееся в строю зияние. Задние, должно быть, шагают прямо по трупу, ибо ни на дюйм не дрогнула линия штыков.

Пливар, смущенный Пливар, склоняет голову набок — во взгляде мольба, как у набедокурившего ребенка.

— Теперь уж не жди, заряжай снова,— ворчит Нищебрат, что вызывает машинальный, почти инстинктивный смех в рядах мстителей.

Усатый полковник приближается к середине моста.

— А почему, спрашивается, мы не стреляем? — взрывается Мумут.

— У них тоже есть патроны, а они не палят! — рычит Фалль.

Следуя указаниям литейщиков, каждый мститель заранее выбирает себе мишень. С этой минуты нет ни котельщиков, ни сапожников, ни рабочих, ни ремесленников, нет больше людей — только ружейные стволы. Горнист играет атаку. Версальская пехота бегом бросилась вперед.

— Готовсь!

Залп. Один-единственный.

Залп, какого никогда еще не слыхали.

Неописуемо оглушительный взрыв, бесконечно повторенный... Вроде БРА-БРА-УУМ-УУМ-ЗИ... Как объяснить необъяснимое тем, кто не был тогда на мосту Нейи, хотя бы просто дать почувствовать? Гул колоколов Нотр-Дам, усиленный стократно, давящий голос меди, вырывающийся из пасти, до отказа набитой порохом. Представьте себе необъятно мощный залп, пушечный залп, ставший колокольным звоном, волшебным голосом бронзы, донесенным до поднебесья.

На том конце моста — суматоха... На захваченной баррикаде версальцев Труссетка водрузила красный флаг Бельвиля.

Чудовищной своей поступью наша пушка была обязана большим омнибусным колесам, а также лафету, созданному силою фантазии нашим бельвильским плотником.

Пушка «Братство» стала своего рода драконом на службе Коммуны.

Впоследствии из версальских источников стало известно, что люди из 151-го шли на мост, полные уверенности в том, что «перепуганные хулиганы» дрогнут и рассеются при первом же залпе,— понятно, что они были ошеломлены могучим ревом нашей пушки: они решили, что это какое-то оружие нового типа.

Итак, если вдуматься, на мосту Нейи победу одержали медные грошики бельвильских бедняков.

■

Пушка «Братство» высится в самой что ни на есть середине Дозорного. Ее знаменитый ствол обвит красными лентами. Каждая спица огромных колес любовно украшена пурпурными гирляндами.

Мимо шагает Бельвильское предместье. В шеренги торжественного шествия вливаются и другие районы Парижа — Тампль, Шаронн, Сент-Антуанское предместье. Все, кто знает, что и его грошик перелит в тело гиганта, желает видеть, как он выглядит, желает посмотреть на лежащие у ствола трофеи: два флажка папских зуавов, вырванные у версальцев мстителями Флуранса.

Могут спросить, почему Коммуна столь поспешно отозвала пресловутую пушку с фронта Нейи, где она сотворила чудо. У талантливого Домбровского, ответственного за этот сектор, вряд ли были иллюзии насчет реальной ценности артиллерийского орудия Бельвиля. Достаточно было короткого разговора с Фаллем, Маркаем и Тонкерелем, чтобы все стало ясно. Вместе с тем пушка «Братство» обладала неким магическим свойством... Но известно, что чудеса редко повторяются. Второй залп мог если не полностью свести на нет, то во всяком случае ослабить эффект, произведенный на умы голосом пушки. Нельзя было допустить, чтобы это орудие было развенчано.

На следующий день, после упорной артиллерийской подготовки, перестроившись и получив подкрепление, версальцы вернули себе мост Нейи. Но пушки «Братство» там уже не было.

Мстители и литейщики, пропустив стаканчик, устроились возле своего орудия, вплотную к разукрашенным колесам. И началось обсуждение перемен, произошедших в военных верхах Коммуны.

— Когда уходят такие орлы, как Флуранс и Дюваль, ясно, черт возьми, что нечем заполнить брешь,— заявил гравер.

— А заменили-то кем? — буркнул Предок.— Клюзере!

— По-моему,— отзывается Кош,— он как-никак друг твоего друга Бакунина.

— Ну и что ж,— басит старик и вытряхивает трубку прямо на ствол пушки.

Большинство же в полном восхищении от первых приказов нового главы гвардии федератов.

— Правильно он напомнил нашим офицерам,— мирно рассуждает Кош,— что они лишь вооруженные труженики и на хрен им сдались все эти перья и побрякушки!

Кто-то взглядывает на засаленную шапчонку, заменяющую Фаллю головной убор.

— Клюзере возьмется за нас как следует,— продолжает свое Мумут, хрустя пальцами.— И прекрасно сделает!..

— Он просто нас презирает, вот и все,— говорит Предок, сплевывая табак.

— Но ведь у нас же есть Домбровский,— говорит Янек, который не любит подковырок в спорах.— Ярослав — вот это революционер, настоящий, он это делом доказал, да и военный опыт у него огромный.

Бельвильцы распрямляют плечи. Все согласны, даже Предок, что, с тех пор как поляк взял командование в свои руки, все на западном направлении переменилось.

Домбровский, офицер русской армии, принимает участие в польском восстании 1863 года. Приговоренный к 15 годам ссылки, он бежит из-под конвоя, когда партию ссыльных прогоняют через Москву по пути следования в Сибирь. Добирается до Парижа. Во время осады предлагает свои услуги командованию, которое в лице Трошю отвергает его кандидатуру. Назначенный Коммуной на самый угрожаемый участок, он устраивает свой штаб прямо в Нейи. Домбровскому было тогда тридцать пять лет.

Нашему Пальятти при первой встрече с Домбровским не очень-то понравился этот щеголь с аккуратно подстриженной эспаньолкой, но позднее он сам видел, как Домбровский прогуливался под пулями, презрев опасность. Федераты, следовавшие за изящным поляком под грохот митральез, готовы были за него в огонь и в воду...

Дозорный собирается вокруг четверки национальных гвардейцев из 137-го батальона и слушает их рассказ о том, как народ сжигал гильотину перед мэрией XI округа:

— Она, сволочь, никак огню не поддавалась, мертвое дерево, ни дуб, ни осина, имени ему нет, трупное дерево, одним словом. Эти господа называют его «карающее древо».

— Ух, граждане,— говорит капрал,— только ради того, чтобы свалить эту гнусную махину, стоило бороться за Коммуну!

В сарае, где держали гильотины, нашли одну в пять отверстий, чтобы одним махом сносить пять голов!

Двенадцать рабочих с боен притаскивают тушу быка. Бельвильцы жарят его прямо в кузнице. Барден взваливает себе на спину бочонок, чтобы принести вина. Это уже третий. Все поют.

Какой-то национальный гвардеец с сединой в волосах ведет возле колонки беседу с нашими кумушками. Ему не хочется отходить от пушки:

— Ну, чем мы были, скажите, а? До Коммуны? Скотинкой. Младенцем ползал на клочке соломы, где родился, жили мы в трущобах. Каждый кусок хлеба был потом пропитан.— Всякий раз при начале фразы он взмахивает искалеченной правой рукой.— Вот эти три пальца я оставил хозяину при штамповке. Шакал этот решил, что больше я ему не нужен, и все тут. Заявил, что ему, мол, полрабочего девать некуда. Это мне-то, потомственному, можно сказать, рабочему! Оказался теперь я ноль, да что там — меньше ноля. А все-таки у меня есть вот этот и вот этот еще,— он выставил вперед поочередно большой и указательный пальцы,— есть чем держать приклад и нажать на спусковой крючок. Коммуна — она девка добрая. При ней я снова что-то значу, так вас...

Сказочно-пьянящий аромат разливается вокруг, раздвигает стены, просторно становится в нашем тупике,— тот запах, который по сердцу народу: запах сочного мяса. Да, парни с боен не подвели, такого мясца мы, кажется, никогда не видали.

— Скажите-ка, граждане,— спрашивает один из поджигателей гильотины,— а верно, что из этой самой пушки на мосту Нейи пуляли малые ребята?

— А что! Если бы все ребята так стреляли, как наши бельвильские, неплохо было бы! — отвечает Селестина-толстуха.

Марта решает: самая пора напомнить, что нашу пушечку следует вернуть на укрепления, западные или там южные, это уж как хотят, нам все равно, лишь бы «сподручнее было доставать версальских шуанов с ихним поповско-королевским отродьем»...

Фалль отводит Марту в сторонку:

— Ради бога, Марта, не гонись ты за этим! У нас свои виды на пушку. Потом объясню...

Марта не поддается на уговоры. Она уловила несколько слов из беседы, которая происходила между командиром мстителей и Ранвье: «Пусть ребята состоят при пушке, без них не обойдешься».

— Так чем же ты недовольна?

— Дурачок долговязый! Если бы они действительно собирались снова взять пушку и пустить ее в ход, они бы нас отставили!

— Да почему?

— Слишком они нас любят! Пролетарий — дурень, боится, как бы чего с его ребятами не случилось!

Как будто в подтверждение этих слов Труссетка с Фелицией торжественно преподносят нам два самых лучших куска мяса.

Огонь в кузнице никнет, запахи угля и жареного мяса смешиваются. В уголке у колонки федерат из V округа рассказывает о переустройстве Пантеона в соответствии с декретом об отделении церкви от государства: отправление культов отныне не финансируется государством, а имущество религиозных конгрегаций национализируется.

Гости по двое, по трое покидают тупик. Они прощаются церемонно, объясняют, что, мол, приходится рано вставать, работа не ждет: кому школы открывать, кому церкви закрывать, кому приводить в порядок мастерские, снова пускать в ход фабрики...

Пьеделу, ломовик с авеню Двух Америк, слышал от кого-то, что Бисмарк возвращает Тьеру тысячи пушек и митральез, захваченных пруссаками в Меце и в Седане.

ТЕТРАДЬ СЕДЬМАЯ

Без даты.

Дни стоят чудесные. Весна — тоже коммунарка. Предместье напевает что-то или поет во всю глотку, люди ходят чуть не вприпрыжку, а когда спускаются с тротуара на мостовую, непременно еще и антраша сделают. Драк не слышно, спорят только о самом главном и важном: конец семейным перепалкам, супружеским сварам. На подоконниках открытых окон цветы, в зубах ветерана 48 года веточка жасмина будто ласкается к его старомодной бородке; мотив, который он напевает себе под нос, он слышал еще на тогдашних баррикадах. Отдаленный грохот, не прекращающийся ни днем, ни ночью,— уже не просто вражеская канонада, им отмеривается биение наших сердец, пламенный ритм всей нашей жизни.

Париж снова в осаде, он грудью чует пушечные дула версальцев, а спиной — пруссака. Наш Париж не только не задыхается в тисках, напротив: считает, что жизнь прекрасна и стоит песни. На укреплениях патриоты дерутся насмерть.

Когда какой-нибудь из батальонов возвращается для краткого отдыха в Париж, неся своих мертвецов, своих раненых, парижане видят,

как всё вытерпевшие национальные гвардейцы в пылу дорого доставшейся победы проводят черными от порохового дыма руками по изможденным лицам и удивленно оглядывают город отвыкшими от света глазами. Но это только мгновенный шок. Они попадают в объятия семьи, друзей, завсегдатаев кабачков, ими снова завладевают знакомая улица, клуб, та радость жизни, ради которой они и проливают кровь.

Социальная Коммуна, федераты, Интернационал. Какие упоительные, прекрасные слова! Термины, рожденные Революцией, ласкают слух. Люди вкушают эти столь долго бывшие запретными плоды, смакуют их. А когда эти слова к тому же звучат под высокими сводами бывшего храма, у них неописуемый вкус.

Коммуна предоставила все церковные здания в распоряжение народа, «обеспечила политическое воспитание и просвещение и держит граждан в курсе всех событий». Только днем в церквах отправляют религиозные обряды, а вечером — это клубы. Когда приходишь слишком рано, еще слышен запах ладана, зато попозже так густо несет табачищем, что просто одно удовольствие!

На кафедре — Мумут.

Вдруг мы услышали сзади бормотание: спиной к нам кюре в сутане устроился в маленьком боковом приделе.

— Какого черта они здесь колдуют! — возмущается Марта.

Закусывающий в нише у ног мадонны национальный гвардеец, с бутылкой, куском хлеба и колбасы в руках, мирно сообщает нам: это кюре вновь освящает божий дом, поскольку клубные речи лишают церковь святости или, как мы сами говорим, «атеизируют».

— И вы ему это позволяете?

— А что ж, девчурка, ведь шума от него нет! Чего зря придираться?

Ниже следуют заметки, сделанные в расположении гарнизона форта Исси, но требующие более стройного изложения, чем я и надеялся заняться в первые же спокойные дни, однако...

Мстители Флуранса помещаются в казарме Лобо, что за ратушей. Коммуне важно иметь их постоянно под рукой. Ибо они стали настоящими солдатами. Если прежде они старались подражать принарядившимся военным, то теперь напоминают скорее уж охотников или даже браконьеров. Трудные марши, спешные переходы, бои вытеснили слабость к плюмажам и побрякушкам. Они по-бельвильски ограничиваются лишь самым необходимым, руководствуясь при этом только соображениями дела. У них свои повадки, выработанные отнюдь не казармой, не муштрой. Так, у каждого мстителя своя манера заряжать ружье, подсказанная долголетними навыками прежнего, ныне оставленного ремесла. Когда Кош берет винтовку, пальцы его невольно скользят от дула вниз вдоль ствола — именно таким жестом наш столяр раньше гладил доску, прежде чем положить ее на верстак. Гифес, загоняя патроны в револьвер, прижимает оружие к груди, с тем же озабоченным, ушедшим в себя взглядом, с каким наборщик вкладывает литеры в кассу. Наш уважаемый Пливар, работавший закройщиком у Годийо, прочищает винтовку, зажимая ее между колен — так, как сапожники держат «ногу», на которую насаживают при починке ботинок. Штыки нынче запрятаны в ножны. А ведь раньше любили щегольнуть блеском стали примкнутого штыка. Любой непривычный шум, порыв воздуха — и головы в мгновение ока поворачиваются сами собой, плечи расправляются, и мстители Флуранса напрягаются, как застигнутый охотником волк.

Итак, они в казармах и, хочешь не хочешь, привыкли. Они считаются лучшими из лучших среди добровольцев — солдат Коммуны.

Они всегда начеку, готовы в любую минуту отбить атаку против обстреливаемого форта или защитить ратушу от реакционеров-заговорщиков. Они знают себе цену, их командир литейщик Фалль учил их не словами — о нет, учил личным примером.

Форт Исси, в сумерках.

Фалль и Ла Сесилия изучают карту. Капитан и генерал. Трудно найти людей более непохожих, чем берришонский литейщик и итальянец с Корсики, ученый. Они на «ты».

Снаряды сыплются на Исси с настойчивостью барабанных палочек, колотящих по ослиной шкуре. Иногда по нескольку снарядов падает и взрывается одновременно, и тогда у нас земля ходит под ногами.

Кош и Гифес сокрушаются по поводу перемирия, объявленного 25 апреля, которое гнусный Тьер использовал для того, чтобы стянуть сюда побольше артиллерии.

Предложив перемирие, Коммуна руководствовалась желанием спасти жителей Нейи, ютившихся в подвалах. Надо было их срочно эвакуировать. Тьер согласился. За эти двенадцать часов он снял с участка Нейи главные силы своей артиллерии и сосредоточил их прямо напротив Исси... На следующий день он поспешил заявить о начале «боевых операций».

— Любые переговоры всякий раз приводят к тому, что мы попадаем впросак,— наставительно замечает столяр.— Насчет всяких комбинаций они мастаки, всегда нас перехитрят, чего уж тут. Они ведь двести лет на власти сидят, еще бы не изучить им эту механику назубок.— Ласково поглаживая дуло своего ружья, он добавляет: — С ними надо разговаривать только вот таким языком! Это я вам говорю, а ведь меня в особой кровожадности упрекнуть нельзя!

Разговор иссякает, и все устраиваются на ночлег. Вытянувшись на соломе, Пливар и Нищебрат вспоминают наши бельвильские воскресенья. Выдавались счастливые, незабываемые дни. Леон, он тоже родом из предместья, вставляет свое слово:

— Чудно как-то... говорят, раньше на Бютт-Шомоне воды было — залейся! Потом воду провели в разные парижские кварталы. А вот в Бельвиле, где люди друг на дружке сидят, всего-навсего две-три тощенькие колонки. Воду тянут от Шарантона в специальных трубах, и достается она, само собой, прежде всего богатым кварталам.

— То же самое насчет публичной библиотеки,— подхватывает Гифес.— Открыли ее в тысяча восемьсот тридцать восьмом году. Но с той оговоркой, что пользоваться библиотекой могут лишь те, кто ее обогатил. Так что пользуются лишь немногие привилегированные. Неплохо бы гражданину Ранвье разобраться в этом деле.

Взрыв снаряда прерывает Гифеса. Рухнула стена. Крупные камни подкатываются к нашим ногам.

Мало-помалу перешептывание затихает, и мы засыпаем на наших подстилках, как раз когда бомбардировка крепнет. И тогда же появляется Фалль:

— Мстители, вставай! Сделаем вылазку, узнаем, что у них там.

Мы сопровождаем мстителей. Лейтенант бросает им:

— Будьте осторожны: когда все стреляют зараз, становится светло как днем!

Мы смотрим, как они втягиваются в липкий мрак, исполосованный багровыми лезвиями лунного света. Марта выдергивает свою руку из моей, борясь с неодолимым желанием спрятать голову у меня на груди.

Я беру ее за руку и тяну за собой; на этот раз снаряд сносит три метра фашин с самого гребня ближайшего укрепления. Мы бросились на землю, лишь только раздался свист. И почувствовали, как нас осыпало землей. Марта поднялась и с четверть часа стояла, отряхиваясь и притоптывая: миру следовало бы понять, что обычный полет снаряда не отошлет ее в постель.

Рядом, прямо на восточный выступ форта, обрушивается снаряд, вызывая бесконечный поток брани и проклятий.

■

Мстители приводят пленного крестьянского парня, беловолосого, бледного, он стрелок, стоял на часах возле железнодорожного моста, а Чесноков и Янек, бесшумные, юркие, как лисы, подкрались и взяли его. Сам он не был на мосту Нейи, но слышал о нашей пушечке. По всей версальской армии идет слух, что, дескать, у Коммуны есть новое оружие, страшное, такого еще и не видели.

— Так что вашу пушку «Братство» следует держать про запас,— тихо говорит Фалль Марте.

Солнце уже поднялось — может быть, потому наступило относительное затишье. Командиры батальонов выходят из каземата, который стоит целехонький,— там у Меги, коменданта форта Исси, штаб. Каждый медленно идет к укрытию, где пребывает его часть. Фалль сообщает последние новости. Рапорты ночных патрулей подтверждают прибытие новых версальских полков. Ясно, что неминуемо наступление.

— Готовьтесь, граждане! — обращается к нам Фалль.— Выступаем через час! Флоран! Марта! Повезете три пакета. Ваш скакун подкрепился? Ему предстоит немалый путь...

Феб радостно встречает нас и по самые глаза уходит в мешок с овсом.

В разных концах форта заиграли трубы. Барабанная дробь раздается со стороны подземного хода, выводящего за укрепления,— там формируется батальон волонтеров Монружа. Въезжает обоз — несколько фургонов. Пливар бранится: ведь это же вовсе не вино, а зарядные картузы, ящики с патронами, мешки с песком и фашины.

Я вскакиваю на Феба, протягиваю руку Марте. Пливар торжественно подходит к нам:

— Дорогие детки, ежели вам придется увидеть мою дражайшую половину, скажите ей, что моя последняя мысль будет об этом ангеле. Да-да, мысль о том, что я больше ее не увижу, поможет мне возликовать перед кончиной.

Между взрывами слышится воронье карканье. От Версальской заставы голос пушек доходит смягченным, почти добродушным. На улице Вожирар привратницы подметают мостовую, поминутно глядя на небо.

Прохожие приветливо машут нам рукой, мне, Марте, Фебу — просто потому, что так славно пригревает солнышко.

■

Когда приезжаешь из форта, на первый взгляд кажется, что ничего не происходит в этом Париже. Но вскоре открываешь для себя много нового и важного, поважнее даже, чем дела в форте. Тамошние

бесчисленные снаряды едва занимают пять строчек в газетах. У читателей — иные заботы. Газетчики накидываются на Коммуну. Распинают ее всласть. Сегодня — одно, завтра — другое.

Нынче дежурное блюдо — Риго. Против него целая кампания. Вина? Виноват якобы в произволе. Везинье может сколько угодно доказывать, что нет человека, «более справедливого, вдумчивого»,— руководитель Комитета безопасности вынужден уйти в отставку и его помощник Теофиль Ферре тоже. И вдруг все оборачивается по-иному: через три дня Рауль Риго назначается прокурором только что созданного Революционного трибунала. Он наделяется еще более широкими полномочиями, чем раньше, интриганы щелкают зубами от ярости.

В течение нескольких дней Риго пришлось организовать буквально на пустом месте восемьдесят квартальных комиссариатов со своим аппаратом, создать центральный аппарат и найти себе ближайших помощников, в число которых попали наш Жюль и Пассала.

— Он пользовался тем материалом, который был под рукой. Начальнику его канцелярии де Коста еще и двадцати нет! Обо мне и моем товарище не будем говорить... То нас обвиняют в том, что мы не знаем удержу, а то ругают кисляями. И даже члены Коммуны так на нас смотрят. Достаточно тебе того, что случилось в Бель-Эпине!

В прошлый вторник (25 апреля) в Бель-Эпине, близ Вильжюифа, офицер версальских конников хладнокровно расстрелял из револьвера четверых пленных федератов. Один из последних сил дополз до наших позиций. Назавтра, когда Лео Мейе доложил об этом преступлении, в Коммуне разразилась буря;

— Ответные репрессии! Расстрелять пленных версальцев!

Марта по-прежнему пользовалась своим укрытием, требовала, чтобы я нигде о нем не проговаривался. Этот коротенький месяц — с середины апреля до середины мая — был счастливейшим периодом нашей жизни. Мы наслаждались лучезарной погодой, всем наслаждались, мне все слаще и слаще было встречаться с Мартой.

Я суеверно старался не замечать того, что могло омрачить наше счастье. Да, она права: мы были слишком счастливы, чтобы из-за мелочей вступать в торг с Историей.

Кажется, давно забыты трапезы, те, что происходят за семейным столом, в определенные часы дня. Едят где попало, что попало. Семейный круг взорван: мужья — в казарме или на фортах, жены — в мастерской или в каком-нибудь комитете. Дети посещают светскую школу — церковные закрыты, а кормят их в бесплатных столовых. Когда приезжаешь с пакетом в ратушу или в Центральный комитет Национальной гвардии, в министерство или в мэрию, для тебя всегда найдется кусочек хлеба, сыра или колбаски на столе министра, а то и миска с горячим супом. Выйдя же на улицу, мы с удовольствием смотрим, как Феб дожевывает свою порцию овса.

Самый роскошный пир неожиданно дал нам Орест, подмастерье нашего булочника, альбинос, и его коллеги из венской кондитерской. Они напекли бриошей, раздобыли где-то шоколаду и сварили очень крепкий, дымившийся в чашках черный кофе. Выучили специально на этот случай новые песенки. Во время паузы между двумя пробежками по Парижу мы праздновали введение декрета, запрещавшего ночной труд.

Мы не успеваем откликаться на все приглашения, даже когда нет спешной почты. Люди привыкли видеть, как мы скачем по Парижу в свите Ранвье или одни, и узнают нас еще издали: «А ну-ка, ребятки, слезайте, выпьем стаканчик крепкой, настоящей!» Зовут нас отовсю-

ду. В каждой мастерской, в каждой лавочке сапожника найдется что праздновать: отмену штрафов, выдачу трудовой карточки, не говоря уже о декрете насчет присяги.

Без даты.

После сорока восьми часов, проведенных в аду форта Исси, мстители возвратились в казарму Лобо. Сгибаясь под тяжестью мешков, с пудами грязи на грубых башмаках, они еще вынуждены были пробивать себе дорогу в толпе, запрудившей площадь перед ратушей, очередная манифестация! Добравшись до места, большинство мстителей, даже не расстегнув ремней, бросились на соломенные подстилки. Кто повыносливее, старался хоть немного почиститься, а затем становился в очередь напиться.

Розовые нити вились в струйках фонтана. Раненые, умываясь, невольно бередили повязки. Каждый старался промыть рубцы и шрамы. Были тут чудом спасшиеся после взрыва порохового склада в Аньере федераты 114-го батальона III округа; были парни и из 212-го батальона того же округа, которых сильно потрепало в излучине Сены и которые тем не менее просились обратно в бой.

— Пойдем прикатим пушку «Братство»!

Еще чего! Марта не согласна: не для того мы старались, чтобы наша пушечка досталась версальцам. Нужно сначала все выяснить на месте и выбрать позицию получше.

— Это называется «разведка»,— уточняет она с гордым видом. И тут же пренебрежительно: — Ты ведь всему веришь, готов скакать куда угодно, дурачина. А ну-ка, давай отсюда ходу!

— И мстителей не подождем?

Смуглая командирша требует, чтобы мы догнали генералов Клюзере и Ла Сесилия, которые уже проехали во главе нескольких рот.

Собачья погода. Дождь, грязь, темень...

■

Форт, оставленный командиром Меги, так никто и не занял. Ла Сесилия и Клюзере застали там только мальчишку, безмятежно восседавшего на тачке с грузом зарядных картузов и патронов. Мальчик играл спичками.

— Осторожно! Ты что здесь делаешь?

— Жду неприятеля, чтобы взорвать форт!

Клюзере взял мальчика на руки и, еле сдерживая слезы, расцеловал его.

■

Нет, решительно невозможно предвидеть, как будет вести себя в том или ином случае Марта. Скажем, все в восторге от назначения Росселя, он настоящий военный,— ей же, изволите ли видеть, Россель нехорош:

— Военная косточка! Значит, не может он любить народ...

Мстители Флуранса не столь недоверчивы:

— Пусть мы пролетарии-распролетарии, но когда ты все воюешь и воюешь, сам солдатом становишься, тут уж ничего не поделаешь. Солдат не прочь повиноваться, он даже высокомерие снесет.

У нас в Бельвиле один только Предок держится того же мнения, что и Марта.

— Твой дядя прав,— твердила мне Марта.— Генералы — они для

того и существуют, чтобы битвы проигрывать. А если чудом выиграют какую-то, сейчас же им подавай власть. Твой дядя правильно говорит: генерал — это такая скотинка, от которой пользы не жди, вредный зверь. Генерал — он, знаешь, не лучше епископа.

Предок вхож в Коммуну. Всюду его знают, любят, как и Марту, и встречают его, улыбаясь, почти так же, как встречают Марту. Когда какой-нибудь караульный преграждает ему вход ружьем, Предок отвечает на обязательный вопрос:

— Кто я таков? Да никто.

Но всегда случается так, что рядом оказывается то ли делегат, то ли командир легиона, берет Предка за руку и проводит его. Расхаживает он повсюду маленькими, осмотрительными шажками, пощипывая колючки своей бороды. Среди говорунов он неразговорчив, но его ужимки, мимика, даже урчание в животе более чем красноречивы. Его элоквенция чем-то близка по стилю ораторству Марты, хотя он классичнее, что ли. Короткие афоризмы слетают с бесцветно-жестких губ:

— Истина не поддается ужатию в отличие от такой стихии, как воздух. Она рано или поздно взрывается. Вроде бы удобно солгать народу, чтобы избежать драки, а, глядишь, через три дня или через две недели эта самая истина сваливается вам же на голову. И тогда она сокрушает все. Революция наша сдает,— брюзжит Предок,— цепляется за магические слова, за талисманы, амулеты.

Марта одобряет его со страстью, а потом, уверенная, что я по рассеянности ничего не слышал, долго расспрашивает о значении этих слов: талисман, амулет. Я рад, что могу посмеяться над нею.

— Конечно, ты все знаешь, все помнишь, записываешь себе и записываешь. Прямо шпик какой-то!

6 мая.

Батарея Флёри поливает нас каждые пять минут, по часам. Бой шел за клочок земли, вернее, за ничтожный мостик, по которому проходит версальская железная дорога, а под ним — дорога Кламар-Ванв для пешеходов. Застигнутые врасплох федераты держались сколько могли.

Нынче Коммуна открыла двери Тюильрийского дворца, где будут даваться концерты. Марта, пренебрегая усталостью, потребовала, чтобы мы зашли туда хотя бы ненадолго. Мне пришлось даже посадить ее на плечо, как то делают папаши с любопытствующими младенцами, иначе Марта не увидела бы диковинной ванной комнаты императора, которую нам загораживала несметная толпа зевак. Особенно тесно было в величественном Маршальском зале, где отвальсировали свое все придворные львицы Второй империи. Четырнадцать портретов — в натуральную величину — наполеоновских маршалов, начиная с первого, с дяди, знаменитого дяди, были стыдливо прикрыты полотнищами.

Мы возвратились, еле дыша от усталости, вдосталь наглотавшись пыли.

7 мая.

Форт Исси. Десять снарядов в минуту. Укрепления уже без прикрытий. Все пушки, за исключением трех, сняты с лафетов. Вра-

жеские передовые линии подошли к нам почти вплотную. Нас окружают. Россель вернулся. Эд, официально принявший командование фортом,— в отлучке. Его задержали дела.

Россель невозмутим — в ярости он леденеет:

— Домбровский, какого черта вы здесь?

— Комитет общественного спасения, гражданин Россель, приказал мне взять на себя командование всеми действующими силами.

— А меня даже не сочли нужным поставить в известность? А я уже не в счет, да?

— За вами остается, по-видимому, военное министерство,— не без смущения ответил поляк.

Но снаряды продолжали рваться, и оба слишком уважали друг друга, чтобы продолжать бесполезный спор. Они договорились, как полагается военным, пренебрегши «политиками» с их вечными интригами.

■

Пливар попросил отпустить его домой хотя бы на несколько часов. С такой же просьбой обратились к своему начальству Нищебрат, а позже Матирас и Чесноков — а ведь эти трое храбрейшие из храбрых, несгибаемые. Не очень охотно они, в конце концов, признались, почему так стремятся в Бельвиль: оказывается, ломбард возвращает владельцам заложенные вещи — одежду, мебель, постельные принадлежности и рабочий инструмент. Соответствующий декрет напечатан нынче утром в «Журналь оффисьель».

Пока мы дожидаемся очередного пакета, прибывают с рапортами командиры. Командир 2-й маршевой роты 1-го батальона федератов Огюст Демуани удерживает баррикаду возле церкви. Этот человек, весь в грязи, испачканный кровью, по-настоящему счастлив:

— Я горжусь, граждане, нашими федератами из первого батальона! Ну и денек! Моя вторая рота вела себя под огнем героически. Скорблю, но обязан сообщить вам о гибели пятерых. Мои бирюки не только не пали духом, не испугались, но устремились на баррикаду, как тигры. И водрузили там наш флаг. Кричали: «Да здравствует Коммуна! Да здравствует Республика!» Вот и все. Привет и братство.

— Ты по профессии кто, гражданин? — спросил Ла Сесилия.

— Портной. Проживаю на улице Бурдонне, тридцать девять.

Максим Лисбонн с торжествующим смехом замечает:

— Вот как у нас: наши военные школы — это цеха и мастерские!

Командующий 10-м легионом — бывший актер, художественно всклокоченная шевелюра не умещается под полковничьим кепи.

Теперь я, как никогда раньше, с наслаждением вспоминаю, что у меня есть собственный «лефошё», оттягивающий мой солдатский мешок. Вынимаю револьвер и осматриваю его не спеша, не дожидаясь обычных напоминаний Марты. Она небрежно сообщает мне, что сегодня вечером в «Шатле» устраивается «музыкально-драматический праздник в пользу вдов, раненых, сирот и нуждающихся из числа родственников национальных гвардейцев».

— А знаешь, Флоран, можно и не пойти, правда? — говорит мне Марта.

Сегодня среда, 10 мая 1871 года. Пытаюсь хоть что-то записать, устроившись на краешке стола в «Славном рыле» — так называется кабачок на улице Санкт-Петербурга. За спиной у меня Кош, Пливар,

Нищебрат и Чесноков режутся в карты, потягивая густое темно-красное вино. Потому что мстители нынче наводят здесь порядок. Коммуна заняла Батиньоль силами четырех батальонов Бельвиля.

И еще будут обвинять Коммуну, что у нее, мол, не хватает энергии! Наши делегаты действительно не знают передышки.

Помешала Марта: она все в толк не возьмет, как это я могу что-то строчить в такой день. Пробежала глазами вышеприведенные строки, потом потребовала, чтобы я порвал записи: пусть все это чистая правда, но если мои писания попадут на глаза людей, не переживших то, что пережили мы, что могут они подумать о Коммуне? Только плохое. А если все взвесить, Коммуна это вовсе не так плохо. Я уже готовился было защищать свою писанину любой ценой, хотя бы ценой философской дискуссии о революционных аспектах истины, как вдруг Марта испарилась, услышав с улицы зов Торопыги...

Подвыпившая компания вываливается из помещения так называемой «хлебосолки» — таких здесь несколько, они-то и являются главной приманкой квартала. Завтрак — шестьдесят сантимов, обед — франк двадцать пять. Кормежка здесь, понятно, не слишком обильная или жирная, зато можно взять добавочное блюдо, а главное — там царит веселье, и благодаря этому застолье приказчиков, польских и итальянских изгнанников, учительниц без учеников и служащих без службы превратилось в своего рода настоящие семейные трапезы, где с радостью встречаются завсегдатаи...

Однако атмосфера, царящая на улице, быстро их отрезвляет. Застольные прибаутки становятся поперек глотки.

— Что, что вы говорите? Версальцы будут рыть в Булонском лесу окопы?

— Ну, знаете, если слушать все, что говорят!

Оптимистам только этого и надо. Завсегдатаи «хлебосолки» — выпивохи, игроки, зеваки и федераты — со всех ног мчатся к мэрии, где только что наклеили официальное воззвание. «Неправда, что трехцветный флаг вьется над фортом Исси. Версальцы не заняли форт и никогда не займут...»

— Если верить всему, что пишут...— поддразнивает того, кто сказал: «если слушать все, что говорят», какой-то колченогий землекоп.

И так как патриоты дружно ополчаются на него, он беззлобно уточняет:

— Я как раз из лицея Исси иду, мы там целые сутки вкалывали под таким обстрелом, только держись.

Доказательств не требуется: когда землекоп поворачивается и на его лицо падает луч газового фонаря, всем становится видно, что на усах его запеклись капли извести вместе с каплями крови.

Слабонервные патриоты мгновенно меняют разговор, теперь речь идет о новом оружии — никогда не стареющая и волнующая тема:

— Воздушные шары, начиненные взрывчаткой, они не только Версаль, они и пруссаков уничтожить могут, но еще в придачу и Англию: не зарься на Суэцкий канал!

— А вот эти «бронированные стрелки», что это, всерьез или шутка?

— Да бог с вами, конечно, нет! Доктор Паризель, председатель научной делегации, поддерживает проект: представляете, металлическая повозка, что ли, на колесах, сзади под надежным укрытием помещается трое стрелков; не подвергаясь ни малейшей опасности, они могут вести огонь по врагу.

Проект гражданина Делапорта, проживавшего по улице Сен-Северен в V округе, опередил время всего на одну войну; как раз нынче утром я думал об этом, увидев в «Мируар» наши танки «рено», действующие в районе Соммы.

Среда, 17 мая 1871 года.
28 флореаля года 79-го.
Сорок пятый день Коммуны!

Вчера Марта нацепила кружевной чепчик.

Мы ходили с ней смотреть, как будут рушить «памятник варварства, символ грубой силы и лжеславы, это наглое утверждение милитаризма, это отрицание международного права, это постоянное оскорбление, наносимое победителями побежденным, это непрерывное покушение на великие принципы французской Республики Братства», говоря словами декрета о разрушении монумента, короче — колонны.

Церемония была назначена на два часа. Но уже к полудню несметные толпы забили улицу де-ла-Пэ, площадь Оперы и улицу Кастильоне; хорошо еще, что Марта, вереща по обыкновению, размахивала нашим пропуском. Балконы и оконные наличники чуть ли не рушились под напором зрителей.

Время от времени собравшиеся для верности поглядывали, тут ли еще колонна, не обманули ли их. Они насмешливо искали глазами верхушку колонны, где на фоне синего неба флореаля торчал Наполеон в тоге, а легкий ветерок словно бы нарочно щелкал его концом красного флага.

Рабочие еще возились на лесах, прикрытых полотнищами.

Уличные торговцы зазывали покупателей, расхваливая свой подозрительный по качеству товар. Англичане бродили с места на место, отыскивая наиболее подходящую позицию для своей батареи фотографических аппаратов.

Марте не терпится поглядеть, что делают рабочие у колонны, все еще нерушимой: одни расширяют косое отверстие, ведущее к внутренней лестнице,— в это отверстие вполне может пролезть человек; другие пилят колонну горизонтально со стороны улицы Кастильоне, а остальные готовят подстилку из фашин, песка, брусьев и навоза, чтобы смягчить падение монумента.

— Зачем это они еще подстилку делают?

— При такой тяжести колонна вполне может повредить большой коллектор, проложенный под мостовой.

На угловых балконах волновались:

— На нас она, надеюсь, не свалится?

— Ведь махина тридцать четыре метра высотой... Хоть рассчитали ли они правильно?

Один инвалид, который каким-то чудом добрался сюда на своей деревяшке, вдруг начал вопить, требуя, чтобы немедленно прекратили безобразие, потому что никто не имеет права прикасаться к тому, кто был, мол, «десницей Франции».

— А не эта ли самая десница тебе, дед, ногу отхватила?— бряк-нул Торопыга.

К счастью, началось самое интересное.

Прозвучал рожок. Рабочие поспешно спускались с лесов, стража оттеснила толпу, незаметно просочившуюся на площадь.

Заработала лебедка. Три каната, прицепленные к верхушке монумента, натягивались, сходились...

Моряки налегали на рукоятки. Энергично действуя локтями, какие-то дюжие молодчики расталкивали зрителей и громогласно предлагали свои услуги «хряснуть дяденьку». Тысячи глоток скандировали: «Взяли! Взяли!»... Все взгляды быстро и нервно перебегали от верхушки колонны к ее подножию, от Наполеона к косому отверстию. Ногти Марты с силой впились мне в плечо.

Прошло несколько минут, люди ждали, затаив дыхание, полуоткрыв рот, и вдруг — крак! — по толпе прошло движение. Но нет, это лопнули канаты, обвиснув и щелкнув, как скрипичные струны, опрокинув наземь с полдюжины матросов.

Раненого моряка унесли с площади, а остальные отправились на розыски новых канатов. Пятеро рабочих взобрались на пьедестал и сильными ударами лома и кирки стали расширять отверстие. Казалось, конца этому не будет...

Толпа, крикнув раз-другой: «Предательство! Измена!» — набралась терпения и развлекалась, как могла.

Заиграл рожок.

Прибыла новая снасть. Рабочие спустились с пьедестала. Лебедка заработала. Медленно натягивались канаты.

Оглушительный крик.

Колонна дрогнула, покачнулась. Марта затопала ногами. Раздался глухой удар и треск фашин. Земля затряслась, кое-где с веселым звяканьем вылетели оконные стекла. Облако пыли...

Я пропустил момент падения колонны, Марта смотрела на нее, а я смотрел на Марту. Марта видела, как рухнул деспотизм, а я видел, как вырастала на моих глазах Марта.

Было уже около шести. Колонна разбилась на куски. Наполеон лежал навзничь, обезглавленный, однорукий. Голова цезаря оторвалась от туловища и скатилась прямо в навоз. «Ну, чисто тыква!» — крикнул кто-то. Подстилку из фашин разбросало кругом чуть ли не на десять метров. Моряки водрузили красное знамя на непострадавшем пьедестале, потом вся масса людей устремилась к этой внушительного вида трибуне. Начались речи. Офицеры и национальные гвардейцы позировали перед фотографическими аппаратами, музыканты сыграли «Марсельезу». Любители раритетов ползали на карачках, дрались за бронзовые, железные или каменные осколки. Все дружно искали гения, которого держал в руке Наполеон, но он словно улетел, испарился.

— И это называется колонна! — твердил инвалид на деревяшке.

А он-то думал, что она не полая, что сплошь отлита из бронзы орудий, взятых у неприятеля под Мадридом и под Москвой. А оказалась тоненькая-претоненькая бронзовая оболочка, хорошо еще, что камень прикрывает.

С разрушением колонны сокровищница художественных ценностей города Парижа не оскудела. Я убедился в этом, рассматривая обломки барельефа — гренадерскую шапку, которую мне показала Марта: ей тоже удалось ухватить кусочек.

«Казнь» Вандомской колонны была, так сказать, символом морального удовлетворения, на которое имела право Коммуна. Ее бойцы были лишены самого необходимого.

На бумаге Национальная гвардия насчитывала сто девяносто тысяч человек. Фактически меньше двадцати тысяч федератов противостояли армии версальцев, то есть ста семидесяти тысячам солдат, подчинявшихся железной дисциплине.

Париж располагал тысячью орудий, но лишь треть из них была пущена в дело.

Никогда еще Париж не был таким опрятным, никогда в нем не было такой здоровой атмосферы.

Боясь попасть в ряды Национальной гвардии — и по многим иным причинам,— сотни тысяч парижан бежали из столицы. (Находившийся в Лондоне Карл Маркс писал с понятным удовлетворением: «Коммуна изумительно преобразила Париж! Распутный Париж Второй империи бесследно исчез. Столица Франции перестала быть сборным пунктом для британских лендлордов, ирландских абсентеистов, американских экс-рабовладельцев и выскочек, русских экс-крепостников и валашских бояр!» [1])

■

Первое прериаля, год 79-й.
(21 мая 1871 года.)

«Гражданка Леокадия», как ласково зовет ее супруг-сапожник, изумительно варит кофе; правда, не слишком крепкий, зато пахучий, вроде бы даже маслянистый. Такой от него идет славный дух, что даже неохота его с молоком пить, что, впрочем, весьма кстати, потому что молоко снова дают только грудным младенцам.

Когда мы с Мартой выходим из тайника, то непременно сворачиваем к двери сапожной мастерской и желаем хозяевам доброго утра. Леокадия или ее супруг приглашают нас выпить по чашечке кофе и при этом радостно улыбаются друг другу, будь это хоть сотый раз на день. Словно всегда им внове эта улыбка.

Будит нас, как правило, еще до зари молот Бардена — вот уж действительно молотит, как глухой! Мы быстренько выбираемся из тайника. Марта как-то всегда ухитряется сделать вид, будто мы явились с улицы. Мы медленно бредем по двору, поглядываем на небо, принюхиваемся к кофейному духу, бьющему из дверей сапожника.

Напившись кофе, мы еще некоторое время болтаемся в уголке у колонки, судачим с женщинами и здешними домоседами-федератами, после чего, как правило, направляемся на улицу Рампонно почистить Феба, а заодно и других лошадок — словом, всю упряжку пушки «Братство». В чуть душной теплоте пахнет соломой и навозом, постукивают копыта, шумно выдыхают воздух бархатистые ноздри, и до чего же здесь славно позамешкаться после доброй порции кофе. Первое утро Творения. Даже в заре есть благоухание праздника.

Пробудившийся тупик бросает первый взгляд на нашу пушку, нашу собственную. Она совсем такая, как мы задумали, мы сами ее сотворили, намыкались с ней вдосталь, спасли ее. И раз она здесь, она, как дракон, стережет наш Бельвиль.

■

На улице мы повстречали три похоронные процессии — красно-черные, направлявшиеся к Пер-Лашезу: Коммуна оплачивала погребение и могилу тем, кто пал за нее. За катафалком, украшенным алыми знаменами, шел делегат, семья покойного, его товарищи по батальону, друзья, соседи и просто прохожие.

Мясной рынок помещается на площади Бастилии, а Марта нынче утром никуда не спешила. Она обнюхивала, ни одного не пропустив,

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 17, стр. 352.

окорока байонские, майенские, коллеарские, страсбургские, вестфальские и йоркские, не забыла и арльские, болонские и лионские колбасы, и сервелад — не поклянусь, что она их не лизала. Вдруг она топнула ногой, счастливо вздохнула:

— Ой, Флоран, до чего же земля богатая!

Она раскачивала на ходу гирлянды колбас, открыв рот, слушала крики зазывал, жевала то кружочек колбасы, то кусочек сыра, полученные в обмен на улыбку или просто в результате ловкости рук. Я никак не мог оттащить ее от жонглера и огнеглотателя. Но услышав торжественный зов трубы, она бросилась со всех ног, расталкивая толпу, и я обнаружил ее у помоста: она стояла, подняв свои прекрасные, горящие восторгом глаза на пестрых фокусников, громогласно заявлявших, что половину сбора они пожертвуют на раненых.

На площади Шато-д'О шел ожесточенный спор:

— А я вам говорю, что нечего им, бездельникам, брюхо себе отращивать, пусть помогают нам баррикады строить!

Вопрос шел о полутора тысячах солдат, которые застряли в Париже 18 марта и которых Коммуна держала в казармах. Они категорически отказывались что-либо делать, заявляя, что не желают поддерживать ни Париж, ни Версаль.

— Штыки в землю воткнули, по нынешним временам этим не отделаешься!

■

Странный вечер, какой-то яростно-кроткий.

Марта шла медленно, тесно прижавшись ко мне, мы шагали в такт, словно одно существо, и была моя дикарочка парижских мостовых такая нежная, до того нежная, что я испугался — уж не заболела ли она. Я чувствовал, как вся она трепещет от счастья, и уверен был, что мечтает она о чем-то своем, расплывчатом, акварельном.

— Флоран, хочешь, я тебе скажу, какое сейчас политическое и идеологическое положение?..

— Ясно, хочу.

— Так слушай: Коммуна между двух стульев сидит.

■

У входа в Тюильри бойкие маркитантки в шляпах с перьями и в корсажах на больших медных пуговицах предлагали прохожим эмалированные значки с изображением красного фригийского колпака: здесь чествовали славных женщин, занятых шитьем мешков.

Отправляясь на концерт, они вытащили самые лучшие свои наряды, эти гражданочки, сидевшие чуть ли не круглые сутки с иглой в Бурбонском дворце, а теперь занявшие те самые кресла, где прежде красовались министры и депутаты Баденге.

На галерее играло целых три оркестра.

В мягких фетровых шляпах, украшенных пучком зеленых петушиных перьев и кокардой из красных лент, в шинелях и сине-серых панталонах, в солдатских гетрах — во всей своей пестроте расселись франтиреры среди золота и пурпура и принесли в зал терпкие запахи пороха и крови из укрепленных домов Нейи. Они не успели даже почиститься, их только что сменили, но они не пожелали пропустить концерт. Им устроили триумфальную встречу.

Сам концерт происходил в Маршальском зале.

Мадемуазель Адар продекламировала «Возмездие» и «Кумир».

На эстраде, задрапированной красным, сто пятьдесят музыкан-

тов, повинуясь взмахам дирижерской палочки знаменитого гражданина Делапорта, исполнили произведения Моцарта и Мейербера, их музыка звучала в зале, где всего десять месяцев назад Наполеон Малый со своими башибузуками, своей Баденгеткой и со всем своим курятником восхищался трень-бренями и блюм-блюмами пруссака Оффенбаха.

Уже к вечеру какой-то офицер генерального штаба сменил на красной эстраде дирижера:

— Граждане, мосье Тьер обещал еще вчера войти в Париж! Мосье Тьер не вошел и не войдет! Приглашаю вас в следующее воскресенье посетить наш второй концерт в пользу вдов и сирот, который состоится здесь же!

В тот самый час версальцы прорывали укрепления.

ТЕТРАДЬ ВОСЬМАЯ

Рони.
Начало июня 1871 года.

Наконец-то установилась хорошая погода. Папа уверяет, что урожай будет отменный, говорит он об этом часто, каким-то извиняющимся тоном. Мама молчит. Когда я вернулся домой в довольно-таки жалком состоянии, когда я объяснил нашим, что мне придется скрываться, она не могла сдержать крика:

— Сынок, ты-то... ты ни в чем себя упрекнуть не можешь, скажи?

Больше она ни слова не добавила, но всякий раз смотрит на меня умоляющими глазами: «Скажи, ты ни в чем себя упрекнуть не можешь?»

Если вдуматься, мне не в чем себя упрекнуть, но они... И чем меньше могу я себя упрекать, тем сильнее виноват я в их глазах, вот как оно, бедная моя мама! Движением подбородка отец указал мне на сарай. Там я и поселился. Оттуда сверху все видно, да и выходов много — лестница в стойло, лесенка, ведущая на дорогу, окошко, выходящее на фруктовый сад. Я не спускаюсь даже к семейным трапезам, впрочем, меня это вполне устраивает. Утром и днем мама подает мне в люк, пробитый над яслями, супницу и хлеб, а по двору несет их со всеми предосторожностями.

Я вернулся домой ночью, ни одна душа на свете, понятно за исключением Марты, не должна знать, что я тут.

Дни теперь длинные. Вернувшись, я завалился спать и проспал целые сутки — как больное животное,— мучаясь кошмаром. А сейчас я обязан писать, иначе меня замучит совесть. Коль скоро я жив, должен же я быть хоть на что-то годен. Писать, чтобы вырваться из этого оцепенения, писать, чтобы свидетельствовать.

А вокруг мирный деревенский пейзаж. Весна кончается в неестественной жаре, пронизанной многоголосым гудением насекомых. На дороге тарахтит повозка — два пруссака везут фураж. Поравнявшись с папой, они приветственно машут ему рукой.

Надо писать...

...Ту ночь, всю голубую, всю звездную, пронизанную всеми благоуханиями лета, ночь, когда в Париже замолкли даже пушки, поду-

мать только — замолкли! — именно всю эту ночь напролет я провел за писанием, провел один, без Марты.

Эту последнюю ночь парижане сладко спали со счастливой улыбкой на губах. Ближе к вечеру версальцы — целые полки, армейские корпуса — вошли в западные кварталы. Даже сейчас мне кажется просто невероятным, как это могло произойти и почему народ не спохватился. А ведь в то воскресенье вечером по бульварам разгуливали праздничные толпы.

Даже после пробуждения 22 мая парижане еще долго ничего не знали, еще долго очухивались и еще дольше не желали верить. В восемь часов примчался, по своему обыкновению, как оглашенный Торопыга и крикнул: «Версальцы идут!» Его задержал пост у казармы. Как ни отбрехивался сын гравера, его отпустили только через несколько часов, когда правота его слов подтвердилась.

Ни набата, ни барабанного боя, ни пения рожка. Коммуна во избежание паники запретила прибегать к звуковым сигналам.

В то утро Марта зашла за мной к Лармитонам, где я пил кофе. Как живая стоит она у меня перед глазами, именно такая, как в тот рассветный час. На ней — черная кофта и розовая ситцевая юбка. Волосы она стянула на затылке красной бархатной лентой.

— Скорее, Флоран, бежим в Дом Коммуны, там, должно быть, много почты накопилось.

Сейчас-то я убежден, что Марта уже все знала, но сочла нужным промолчать. Мы покинули тупик, где пробуждение сопровождалось обычными криками, песнями, смехом и утробным урчанием, и бросились на улицу Рампонно за Фебом. Пока я взнуздывал нашего скакуна, Марта осматривала мой мешок, проверяла, заряжен ли наш револьвер. Когда мы проезжали мимо пушки «Братство», она дернула меня за рукав, чтобы я придержал коня.

Несколько минут мы в молчании любовались чудищем, при виде которого становилось как-то спокойнее на душе.

На рысях мы миновали весело вставшие ото сна кварталы. Зато у ратуши царила совсем иная атмосфера. На площадь прибывали в распоряжение Коммуны батальоны, некоторые с оркестрами. Между составленных в козлы винтовок разъезжали артиллерийские обозы, фургоны, повозки, скакали гонцы. Лестницы, коридоры, вестибюль — все здание ратуши гудело от лихорадочной толкотни. Входившие и выходившие перебрасывались, еле переводя дух, последними новостями.

Ворота Парижа открыл один шпик *(добровольный, десятник дорожного ведомства по фамилии Дюкатель)*, прогуливавшийся по эспланаде. Заметив, что на укреплениях никого не осталось, он сообщил об этом версальцам. Федераты сопротивлялись из последних сил, но отошли за виадук окружной железной дороги, надеясь схорониться от беспрерывного артиллерийского огня.

Сначала неприятельский патруль, потом робко озиравшиеся взводы, потом батальоны, полки, дивизии, вся армия Мак-Магона проскользнула в это отверстие, приоткрывшееся на манер челюстей, готовых смолоть Париж.

Слух Парижа так приспособился ко всяческим военным шумам и грохоту, что не обратил никакого внимания на стрельбу в западных кварталах. До поздней ночи на бульварах шло веселье.

Первые массовые расправы начались в тот же вечер, часов в восемь-девять.

— Если бы народ поверил, что такая резня возможна,— вздыхал Кош позже, слишком поздно,— мы бы совсем иначе дрались. Но добрый парижский люд и вообразить себе не мог, сколько в душе бур-

жуа таится эгоизма и на какую холодную жестокость он способен.

С первыми донесениями нас послали к Брюнелю, разместившему свой штаб в «Английской харчевне», в доме 21 по улице Ройяль.

Уже припекавшее солнце зажигало в свежем клее афиш серебряные звездочки. Публика честила беглецов с Мюэт и Пасси. А они — всклокоченные, в обожженных порохом рваных шинелях, кое-кто даже без кепи, не говоря уж о винтовках,— злобно огрызались.

Многие всерьез подумывали о баррикадах. Хозяйки запасались хлебом, мясом, овощами. Лавки запирались, владельцы кафе втаскивали обратно в помещение столики и стулья, хотя лишь недавно расставили их на тротуаре. Только что наклеенные воззвания были замараны углем. По пустынным улицам проносились на всем ходу гонцы и артиллерийские упряжки.

Когда мы, то есть Феб, Марта и я, прибыли с нашим посланием, я пережил первое настоящее потрясение. При желании и при известном риске можно было разглядеть на площади Звезды трупы версальцев и лужи крови, поблескивавшие на солнце.

Версальцы, не встречая сопротивления, отважились дойти до Триумфальной арки. Оказалось, что Париж вовсе не заминирован, сточные канавы не превращены в пороховые погреба, земля и не собиралась разверзаться у них под ногами.

На площади Оперы, на самом углу бульвара Капуцинов подметальщики возводили баррикаду из винных и поливных бочек. На Вандомскую площадь свезли двенадцатидюймовые орудия. Персонал «Кафе де-ла-Пэ» снимал абажуры с газовых рожков и заклеивал крестообразно бумажными лентами зеркала. Мы продвигались с трудом: баррикады росли как грибы под ураганным огнем с Трокадеро. Все время приходилось их объезжать.

На тротуарах улицы Риволи, под аркадами залегла возле козел с составленными винтовками рота федератов. А посреди мостовой за военным оркестром, игравшим «Песнь отправления», шел батальон, батальон гневных, и вместе с бойцами шагали женщины, некоторые с ребенком на руках. Впереди на великолепном черном жеребце Домбровский с белым как мел лицом. Подальше, у церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа мальчишки рубили на куски скамейки и выкатывали бочата. Баррикада, преграждавшая вход на сквер Сен-Жак, достигала почти шести метров высоты, и сразу было видно руку мастера: возводили ее каменщики, было их с полсотни, а детвора подвозила на тачках со сквера землю.

По Парижу пополз приказ: каждый дерется в своем квартале. И этот приказ отвечал потаенным, самым, так сказать, нутряным желаниям разуверившихся во всем федератов: разойтись по домам, очутиться на своей улице, среди своих, подчиняться команде местных, давно знакомых командиров. Там все станет ясно и понятно, все образуется,— иначе и быть не может. Коммуна борется за правое дело, значит не погибнет. Умирают люди, ну, а если суждено умереть, что ж...

На площади у ратуши собралось теперь больше трех тысяч федератов, кто сидел, кто лежал у орудий, зарядных ящиков и повозок: ждали приказа. Время от времени в оконном проеме появлялся кто-нибудь из делегатов в красной перевязи и вместо речи произносил только: «Да здравствует Коммуна! Долой версальцев! Победа или смерть!»

...В сутолоке коридоров ратуши я потерял Марту. А когда нашел, она уже успела повидать Ранвье и даже кое-кого из знаменитого Артиллерийского комитета:

— Живенько едем за нашим «Братством»! Пушки нужны — не хватает.

Солнце Аустерлица позлатило Тампль.

Перед нашей аркой женщины выворачивали из мостовой булыжники. Первым делом они возвели небольшую стенку перед пушкой «Братство». Когда Марта заикнулась, что орудие придется увезти, Труссетка подняла крик, а за ней дружно заверещали все наши бабенки:

— Мы за нее небось сами платили! Пушка наша! Пускай здесь остается!

Впрочем, и упряжки не было. Единственный среди присутствующих при этой сцене мужчина — Лармитон попытался утихомирить разбушевавшихся фурий. Однако, поняв, что все его резоны ни к чему, колченогий сапожник отступился, но на прощанье крикнул:

— Значит, вы хотите ждать версальцев здесь! Хотите, чтобы они весь Париж перерезали, вам на это плевать, вас только один Бельвиль интересует... Что ж, чудесно. Ну, а я лично пойду им навстречу, желаю посмотреть, может, удастся что сделать, а не просто сидеть и ждать, когда тебя в твоем же доме задушат, а вдруг можно их хоть чуточку задержать. Пускай я калека, а беру на себя одну баррикаду. Постараюсь уложить как можно больше версальцев.

Должно быть, впервые в жизни так надрывался и кричал наш Лармитон. Женщины, устыженные его словами, глядели ему вслед. А кроткая Леокадия, маленькая старушечка, засеменила за мужем — и вовсе не затем она его догоняла, чтобы удержать дома, а чтобы повязать ему кашне, которое он в спешке забыл. А еще через десяток шагов они, старые влюбленные, обменялись последним поцелуем, а ведь он, говорят, точно такой же, как и первый поцелуй... Тело его нашли на следующий день к вечеру в газетном киоске на улице Ренн.

Женщины Дозорного хлопотливо затыкали тюфяками окна, выламывали ломом тумбы и каменные ступени. Они даже не моргнув отпускали своих ребятишек в пекло боя. Предпочитали пожертвовать своими отпрысками, а не своей пушкой.

Ко второй половине дня все вдруг встряхнулись, приободрились, федераты уже не шатались кучками без толку, не торчали зря у дверей кабачков. Каждый знал, что ему положено делать,— нет, не так: знал, что он сам считает нужным делать, по собственному выбору. На улице не было ни души, зато через каждые двадцать метров люди деловито вспарывали мостовые, рыли траншеи, наполняли мешки землей, устраивали бойницы и амбразуры — и все это благодушно, весело, с шуточками, что сейчас мне, в моем амбаре, кажется прямо невероятным. Предместья готовились к Великому празднику.

На Авронскую равнину спускается вечер. Мама сунула мне в люк маленькую мисочку с супом — такие носят с собой в поле землепашцы.

— Ну как, сынок, все хорошо?

— Все прекрасно, мам.

— Только потише разговаривай. К окнам не подходи. Из Парижа какие-то двое приехали, остановились в харчевне Рони. Всех расспрашивают. Спи спокойно, сынок.

Высунувшись из-за створки двери, она огляделась, не следит ли кто за ней, не заметил ли, что она носит в конюшню еду. И шепнула совсем тихо: «Моему мальчику, господа, не в чем себя упрекнуть!»

А чуть позже папа приводит в конюшню Бижу. Наш старикан хрупает сено прямо под моим тайником, тяжко вздыхает. А то вскинет голову и принюхивается, раздувая ноздри. Слава богу, он от усталости даже ржать не может. Раздвигаю солому, служащую мне ложем. В дырочку вижу его огромный влажный глаз — до чего же славно, так же славно, как его запах, как стук его подков в ночной тишине. Сейчас займусь своими писаниями, пока не догорит огарок, хотя свет мне зажигать не рекомендуется — и не только потому, что может произойти пожар.

Даже после всего пережитого не могу без улыбки не вспомнить, как мы в понедельник обедали, правда наспех, в шикарном ресторане на улице Ройяль. Весь обслуживающий персонал полностью остался на местах — и грум у подъезда, и метрдотель у входа в зал, и дама при гардеробе, и виночерпий, и хранитель вин, и еще какие-то непонятные нам специалисты. Ни Родюки, ни Маворели, ни я даже слов таких никогда не слыхали. Ух, воображаю, какой у нас был вид, глаза вытаращили, рты открыли, пока лакей священнодействовал со скатертями и салфетками, с какими-то ни на что не похожими стаканами и бутылкой шампанского.

Потому что они нас обслуживали, как милордов каких-нибудь. И обслуживали превосходно. Хотели бы хуже, да не умели. Некоторые даже пытались, когда поняли что к чему, когда обнаружили, что их клиенты не герцоги, не банкиры или министры, а самая что ни на есть голытьба из предместий. Но достаточно было какого-нибудь постороннего шума: хрипа умирающего в вестибюле, стука кирки, врезающейся в стенки подвала, или, чаще всего, разрыва снаряда на тротуаре или на крыше — и они сразу становились вроде лунатиков и начинали безукоризненно нас обслуживать.

Пока мы рассаживались, произошел только один инцидент, легкая стычка между нашим кузнецом и метрдотелем: метрдотель чуть ли не силком подоткнул кузнецу стул под зад, а кузнец слегка столкнул его с винтовой лестницы. Пробочка не желала слезать с плеча своего глухонемого друга и сидела там, как попугайчик на насесте, и что-то грызла, до того страшно ей стало среди всей этой позолоты, мишуры, скульптур, панелей, посуды и хрусталя. Веселья не получилось, и причиной тому была не только резня на улицах.

— Черт бы их всех побрал,— взорвался вдруг Пружинный Чуб,— здесь тебе не просто кафе. Чувствуешь себя вроде вора, что ли!

— Пей спокойно свое шампанское, сынок,— посоветовал ему артиллерист за соседним столиком, уплетавший за обе щеки омара.

Накануне сюда явился один из штабных офицеров Брюнеля и вызвал хозяина.

— Ресторан закрыт,— заявил тот.

— По какой причине?

— По причине... работ!

— А все эти люди?

— Персонал. Мы как раз воспользовались передышкой, чтобы прибрать помещение...

— Ресторан работал при Наполеоне Третьем?

— Да, но...

Офицер выхватил револьвер, взвел курок. А на ладонь левой руки положил открытые часы:

— Даю вам минуту, чтобы открыть ваше заведение.

Успех превзошел все ожидания. Рассевшись на ступеньках лестницы, моряки Коммуны и стрелки 109-го батальона ждали, когда придет их черед обедать, но дам пропускали без очереди и даже расшаркивались перед ними.

Доходившие сюда вести лишь на миг прерывали наши гастрономические беседы:

— Пушка по улице Риволи бьет. Невесело там, даже под аркадами.

— Сейчас баррикад повсюду понастроили — и на улице Дюфо, и на Люксембургской, и на улице Монпансье...

— Что это там горит?

— Министерство финансов. Зажигательный снаряд как жахнет в чердак, а там все их бумажки хранятся. Сразу же туда отрядили пожарных, должно быть, сейчас уже сбили огонь.

Вставая из-за стола, Марта оправила свою ситцевую розовую юбчонку, раза два-три хлопнув себя по крутому заду,— очевидно, считала, что этого требует светский этикет,— и, перешагивая через плечи матросов, сидевших на ступеньках, сладчайшим голосом бормотала: «Извиняйте, граждане!»

Все мы были немножко навеселе.

На нижнем этаже, превращенном в лазарет, был оставлен только один проход, так что шагать к дверям приходилось как бы между двух валов зловония и боли, чуть не цепляясь за ноги лежавших. Только сейчас здесь, в Рони, я задним числом удивился, как этот переход не отбивал ни у кого аппетита. Мы, например, когда шли туда, даже веселились и хохотали, потому что седовласый метрдотель, величественно поклонившись, пригласил нас войти:

— Господа, простите, «граждане», вы в лазарет или завтракать?.. Чудесно. В ресторан на второй этаж.

Кисть Марты, забравшись под рукав моей рубашки, вползла к предплечью, маленький, покусывающий зверек. И легкое прикосновение, словно крылышко бабочки, ее теплых, чуть шершавых кончиков пальцев...

Пробочка тем временем решилась покинуть свой насест. Ее другисполин мог даже и не шевелиться, а тем более не сгибать своих огромных ножищ, как делает слон, когда корнак сходит на землю. Нет, малютка Пливар легко соскользнула вниз — так рабочий, натянув телеграфные провода, спускается прямо по столбу.

Выйдя из ресторана и ступив на тротуар, мы успели только одно — броситься ничком на плиты тротуара. Осколки снаряда застучали о камни мостовой, рваным пунктиром пронесся ужасающий гул, потрясший воздух. Вспышки, обломки, дым, пыль, брызги выбитых стекол и витрин, вихрь травинок.

Леденящий душу вопль.

Впервые в жизни из глотки Бардена вырвался членораздельный крик, неважно, что он означал — «беда» или «боже».

Кузнец стоял перед нами каменным изваянием, а мы, подымаясь с земли, ощупывали, целы ли у нас руки и ноги.

Посреди мостовой крошечным комочком лежала бездыханная Пробочка.

Барден медленно двинулся к маленькому тельцу, упал рядом с ним на колени, заслонив от нас убитую. Потом глухонемой великан поднялся на ноги и повернулся к нам. Он нес на вытянутой правой руке девчушку на уровне своей груди.

Мы издалека следовали за Барденом до самой Вандомской площади. Люди молча расступались перед ним. Мы видели, как он обогнул остатки колонны, перелез через баррикаду на улице де-ла-Пэ, держа

перед собой на вытянутой правой руке тельце Пробочки; мы поняли, что великан Барден возвращается к себе в Бельвиль...

Первый день недели прошел как-то слишком быстро, так, по крайней мере, показалось мне. А ведь стемнело в положенное время, да и дни уже стояли длинные. Когда я роюсь в памяти, она подсказывает мне только разрозненные картины, обрывки фраз, и я просто отказываюсь приводить их в порядок.

Марта была не в духе: пролезая под какой-то изгородью, чтобы укрыться от пуль, она порвала свою черную кофту. Теперь над левой лопаткой свисал здоровый треугольный кусок ткани. Ветер, играя, поднимал клок, и ей щекотало ухо. Она отмахивалась от этой назойливой щекотки, как от комаров, хлопая по лопатке ладонью. Раз она промахнулась, хватила себя по щеке и прямо зашлась от злости; как она взглянула тогда на меня своими бешеными глазищами!

Первая из багровых ночей спустилась на Париж. Сумерки притупили ружейную перестрелку, приглушили гул канонады.

Марта потащила меня за собой — мы поднялись по одной из ей известных лесенок на карниз колоколенки Дома Коммуны. В такие вот минуты наша смугляночка испытывала потребность видеть Париж у своих ног. Огненные фонтаны брызг взлетали с берегов Сены прямо к звездам — все еще горело министерство финансов. Марта укрылась в моих объятиях.

Где же версальцы? Где-то там, за этой странной колышущейся и податливой стеной, давшей трещину в самом сердце столицы. Пушки их утихомирились, раскаленные стволы винтовок остыли, но там, позади этой железной стены, за этим надежным, как сейф, блиндажом, слышно их дыхание. Они отдыхают, как положено по уставу. Спят крепким сном. Ими командуют беспощадные генералы, профессиональные военные. Их маршрут так рассчитан, что им нет необходимости знать, куда они идут. Им преподали искусство убивать в специальных училищах. У них ремесло, а у нас всего лишь вера. Им отдают приказы, у них и мыслей-то не осталось. А у нас столько идей, чересчур много идей. Мы стали источником идей, и чем больше мы их отдаем, тем больше их у нас становится. Они тверды как сталь, они как остро отточенное стальное лезвие, они несгибаемы и сильны, до чего же они сильны! Они — тяжесть, они давят все вокруг, они — вобравшие в себя вековой груз человечества, две тысячи лет несправедливостей и преступлений.

Там за стеной — мрак.

На нашей стороне — свет. За исключением занятых неприятелем кварталов, улицы и бульвары освещены, как обычно. Свет — превыше всего и тем хуже для тех, кто этот свет дает!

Вчера я притаился, словно умер, в сущности, мне и полагалось бы умереть. Приходили те двое из Парижа. Бродили вокруг нашей фермы. Просидели почти до вечера в кухне под тем предлогом, что ждут, мол, хозяина. Расспрашивали, но не в лоб, болтали без передышки, то один, то другой — словом, действовали напересменку. Вопросы задавали туманные, шли к цели не прямо, а в обход, и очень искусно. Только к вечеру папа с мамой поняли, в чем дело: парижских шпиков интересовало лишь прошлое и связи Предка. Во всяком случае, пока это так. Сказали, что снова придут. Поэтому вчера я остался без еды. Бог с ней, с едой, плохо другое — не могу ни шелохнуться, ни писать. Поистине я должен затаиться как мертвец.

Каминов я сначала не заметил, хотя мы достаточно долго проболтались в Тронном зале. А каминов оказалось даже два, монументальных, с лепниной, богато разукрашенных разными финтифлюшками.

На ночь мы устроились на тюфяке в углу вестибюля, специально отведенном для гонцов. Прежде чем свернуться калачиком в моих объятиях, Марта — откуда только взялась такая домовитость! — нашла время починить свою черную кофту с помощью имевшихся под рукой средств: прикрепила висящий клок обрывком медной проволоки. Шагах в двух прореха почти незаметна. Клок теперь ухо не щекотал, зато при каждом движении проволока царапала ей плечо, но Марта предпочитала царапины.

Проснувшись, я увидел, что во сне положил руку на корсаж Марты, вернее, прямо ей на грудь. Люди вокруг делали вид, что ничего не замечают. Мы переживали такие часы, когда интимные жесты, когда мимолетное счастье уже переставало быть объектом грязного любопытства, возмущенных охов и ядовитых насмешек. Федераты, застигшие нас в этой позе, с улыбкой отворачивались, они были счастливы нашей любовью. Революционное взаимопонимание не знает пределов.

В Батиньоле защитники баррикад мирно спали, разлегшись на мостовой. Неприятельский патруль захватил часового, и тот крикнул: «Да здравствует Коммуна!» — предупредив таким образом об опасности своих товарищей, федератов. Часового расстреляли на месте.

Но самое тяжкое разочарование принес нам Монмартр. Как же так? Этот знаменитый холм со знаменитыми своими пушками, этот Вифлеем восстания вдруг замолк, и уже давно не было слышно его голоса!

В отношении простых людей Предок — сама снисходительность, зато не щадит вождей Коммуны:

— Мы дорого заплатим за их трусливую политику. Им, что называется, на блюде поднесли революцию, великолепную, идеальную, а они перетрусили. Главное для них — не спугнуть буржуа. Когда они могли взять любое, что нужно для победы, и в первую очередь Французский банк, они в ногах у мосье де Плэка валялись, выклянчивая несколько паршивых миллионов *(в общей сложности двадцать).* Хотелось бы мне знать, сколько этот сволочной банкир втихую передал мосье Тьеру *(двести пятьдесят восемь миллионов).* В периоды восстания экономическое малодушие смерти подобно. Им, видите ли, важно показаться честными — в чьих глазах, я вас спрашиваю? В глазах пролетариата? Как бы не так, в глазах собственников! Версальцы вам покажут, к чему приводят в часы революционных боев джентльменские замашки и роковая способность становиться на чужую точку зрения. Мастерские пустуют, квартиры брошены, а много ли их реквизировано? А ведь, шут возьми, был издан специальный декрет! Пусть пролетарии, те самые, чьими руками было сделано восемнадцатое марта, те, которые привели к власти миленьких хвастунишек, пусть пролетарии мрут в своих вонючих лачугах, тогда как пустуют сотни великолепнейших домов в богатых кварталах. Уверен, что Шестнадцатый округ защищали бы иначе, если бы его в свое время заселили голодранцами. Не беспокойтесь, их клещами из новых жилищ не вытащили бы!

Война возобновилась с зарей.

Свежее утро сулило прелестный денек. Федераты, собравшиеся на паперти церкви Мадлен, тянули головы в сторону Монмартра, но зря они вслушивались: пушки молчали. Было около девяти часов. В небе кружились редкие черные хлопья, словно сорванные до време-

ни с деревьев листья, и лениво опускались на землю. Марта подобрала один такой, на котором можно было еще прочесть: «Министерство финансов. Управление общественными доходами...»

После утреннего затяжного, яростного боя церковь была взята. Все триста федератов, защищавших ее, были расстреляны. На глазах 66-го батальона расстреляли шестерых его бойцов.

В полдень нас послали с депешами на Монмартр.

— Куда путь держите, ребятки? — окликнул нас Предок.

Когда мы выехали из-под арки, он придержал Феба за уздечку.

— На Монмартр.

— И речи об этом быть не может. Над башней Сольферино уже развевается трехцветный флаг. А кто это вас туда послал?

— Артиллерийский комитет.

— А-а, эти! Могли бы, кажется, дать себе труд подняться на крышу и осмотреть Париж. Вручите-ка мне ваше послание. Я сейчас скажу им парочку слов.

На площади народ толпился вокруг десятка бойцов, уцелевших после монмартрской бойни: Монмартр сдали! Пушки разваливались, снаряды оказались не того калибра. Измена! Предательство!

Без всякого дела, просто потому, что так захотелось Марте, мы добрались до площади Бланш, где женщины с винтовками в руках охраняли баррикаду.

Может, сейчас это звучит наивно, но в тот час народ казался мне непобедимым.

Только что на улице Мирра ранило Домбровского. Его в тяжелом состоянии отнесли на носилках в госпиталь Ларибуазьер. Где-то в западной части города трезвонили колокола.

Вот тогда-то и начались пожары.

Брюнель считал, что огонь — последнее и единственное средство задержать продвижение версальцев. Он послал в морское министерство тридцать федератов из 109-го батальона за баллонами керосина для поджога домов по улице Фобур-Сент-Оноре. Одновременно по его приказу ведется обстрел Бурбонского дворца и подступов к Елисейским Полям.

Все послеполуденное время версальцы ожесточенно били по баррикадам площади Оперы и шоссе д'Антен.

В конце концов немногие оставшиеся в живых федераты вынуждены были отойти к баррикаде, соединявшей улицы Друо и Ришелье. Двое офицеров из 177-го батальона отказались бросить свою пушку и зарядный ящик, с помощью нескольких федератов они проволокли ее на себе под градом свинца, и капитан одной рукой тянул пушку, а другой размахивал знаменем Коммуны.

Мне, повторяю, казалось, что никто и никогда не сможет согнуть этот замечательный народ! Мидинетка несла винтовку, будто зонтик, старик портной в домашнем халате спокойно спускался с лестницы — так, как по утрам шел за газетой, только сейчас шел он навстречу смерти.

— На баррикадах смерть может прийти откуда угодно,— пояснил мне Матирас.— Из форточки, из чердачного окошка, из-за изгороди, из-за полуоткрытой ставни, от прохожего, который идет себе с самым невинным видом, в грудь или в поясницу, по приказу или из-за предательства.

— Предательство,— вздохнул Кош.— Ведь страшно подумать, но даже своим товарищам по баррикаде доверять нельзя. Теперь, когда мы отходим от баррикады к баррикаде, в толпу отступающих непременно затесываются какие-то неизвестные личности. Твой дружок,

с которым ты из одной амбразуры палишь, вдруг может бросить ружье... Сам посмотри!

Мостовая за баррикадой была усеяна оружием.

Но почему же, почему я был тогда уверен, что мы непобедимы, почему даже сейчас, в Рони, хотя уже стоит июнь, только ценою долгих рассуждений я принуждаю себя не верить в победу народа?

Мстители Флуранса ждали нового штурма. Они явно боялись — одного боялись: что не хватит картечи.

Сегодня еду мне принес сам папа:

— Слушай, Флоран, может, лучше будет, если ты мне станешь каждый день отдавать свои листки?

В такой форме он хотел дать мне понять, что шпики из Парижа в любой момент могут вернуться на ферму и что я еще отнюдь не в безопасности.

Мой мешок! Отец только о нем и думает. Мешок из дрянной ткани, битком набитый тетрадями, именами, подробностями. Теперь, когда в Версале идут военные суды, мои записи приобрели взрывную силу динамита, и отец первым делом подумал о мешке, о том, как бы получше припрятать его. Что за человек!

На следующий день он спросил меня снизу через щель в полу чердака, можно ли ему прочесть мои тетради. В кухне всю ночь горела свеча, а на следующее утро отец не пришел запрягать Бижу; теперь он все прочитал, я догадался об этом прежде, чем он попросил у меня продолжение, по его глазам догадался и по звуку голоса. Мешок он оставил у себя, потом пришел и вернул мне револьвер.

Прежде всего запахи — керосина, скипидара: они сильнее всех прочих, от них еще издали начинает щипать глаза. Потом взрыв, вернее, протяжный и глухой звук, с каким рвется сукно, какое-то нездешнее сукно, и рвут его в гулком грохоте.

Феб сбросил меня на землю. Он брыкался, ржал, вставал на дыбы и так запрокидывался, что я боялся, как бы он не рухнул навзничь, задрав к небу все свои четыре копыта, тогда он непременно сломал бы себе хребет. К счастью, я не выпустил поводья. Жеребец совсем обезумел от этого багрового полыхания. Пришлось отвести его к Сен-Жермен-л'Оксеруа, покрепче привязать к решетке мэрии I округа. Надо сказать, что это был действительно пожар из пожаров!

Чудовищный взрыв: на воздух взлетел павильон Часов.

Чистая работа! Апартаменты, салоны, часовня, театр, павильон Флоры, а также павильон Марсан... Каждой бригаде — свой участок. Паркеты, стены, панели и лепнина были тщательно промазаны керосином и скипидаром. Бочонки с порохом расставили в ряд в Маршальском зале с площадки парадной лестницы до середины двора. Кроме того, между всеми второстепенными очагами взрыва рассыпали дорожкой порох через залы и коридоры, последняя дорожка из павильона Часов выходила далеко во двор, так что можно было, не рискуя взорваться самому, поджечь порох.

Огонь вспыхнул сразу. Языки его рвались сквозь все отверстия, будто сквозь прорези жаровни. Гигантский столб пламени рассыпался краткими рыжими вспышками или плясал в небе, расточая адский жар; стены императорского дворца коробились, вспучивались, потрескивали и выли человеческим голосом,

Огромные челюсти огня пожирали роспись плафонов, лепные орнаменты и хрусталь, полировку, картины и статуи, горделивые залы,

величественные лестницы, парадные коридоры, разубранные цветами покои, тайные апартаменты. Деревья и кустарники, к которым подобрались змейки пламени, трескались и умирали, скрученные тоскливо воющим смерчем. На берегах Сены издыхал дракон, корчась и изрыгая огонь.

Сбившись под деревьями, служители Тюильри смотрели на пожарище. В десять часов им объявили, что каждому дается четверть часа, чтобы очистить дворец.

Кто-то нас окликнул. Это оказался Торопыга.

— Пружинного Чуба сейчас убило,— сказал он.

Дантова ночь. Весь Левый берег полыхает.

— Где Пружинный Чуб? — взвизгнула Марта.— Где он?

— Его перенесли в морское министерство,— вмешался Шарле-горбун.— Но вам-то зачем туда идти? Вас тоже ухлопают.

Он возился у пушки, и от усилий даже горб его подрагивал.

Было уже за полночь.

Госпиталь устроили в морском министерстве. Доктор Маэ, стоя в дверях, преграждал дорогу носильщикам, тащившим баллоны.

— Вы не смеете, не должны. У меня тяжелораненые, их нельзя транспортировать.

Брюнель, отказавшийся подчиняться многочисленным приказам Коммуны об отступлении, только что получил от Комитета общественного спасения грозный приказ очистить позиции, но предварительно взорвать морское министерство.

— Что ж, доктор, мы-то еще выпутаемся так или иначе, а вот когда версальцы нагрянут, ваши больные живехонько выздоровеют!

Потом начался кошмар, длившийся целый час. И еще Марта дала нам жару. Пружинный Чуб был лучшим ее другом, и она решила во что бы то ни стало разыскать его тело, перешагивала через раненых, умирающих, переворачивала, передвигала трупы. Я хотел было ее утихомирить — куда там, она отбивалась, царапала меня, чертыхалась, но глаза у нее были сухие. Пришлось оглушить ее ударом по голове и взвалить себе на плечо, как куль с мукой.

Когда мы снова нашли Торопыгу, он потянул меня за мешок:

— Живо! Не слышите, что ли, жарьте отсюда живее, олухи!

Беспорядочно метавшаяся толпа вынесла нас на улицу Риволи, но разорвавшаяся рядом картечь остановила наше бегство.

— Мать твою! — вдруг завопил Торопыга.

— Чего это ты?

— По-моему, маслина мне в брюхо угодила.

— Залезай сюда! — крикнула Марта, спрыгивая с моего плеча.

Торопыга, которого я взвалил себе на плечо, стонал, только когда его сильно встряхивало, но рубашка моя стала липкая от крови. Я быстро перетянул свой мешок с бока на живот.

Марта плелась позади. Сотни людей метались по набережным Правого берега в густейшем дыму, под ливнем пуль и искр.

Я попытался было пристроить потерявшего сознание Торопыгу на седло, но Феб слишком горячился. Пришлось Марте вести его под уздцы, а мы, то есть Филибер Родюк, Шарле-горбун и я, несли на шинели нашего Торопыгу, нашего продавца газет.

Сейчас не время было пускаться в пространные разговоры, надо было бежать бегом, тащить раненого, который становился все тяжелее, вести под уздцы лошадь, которая не желала нас слушаться, среди раскаленного дыма, проникавшего в ноздри, в рот и обжигавшего нам нутро.

Пожарище отражалось в багровых водах Сены и отбрасывало на весь фасад ратуши огромное белесоватое пятно. Баррикада на сквере Сен-Жак была укреплена стволами только что срубленных деревьев. Она, баррикада, была словно чудище, и на ней торчали часовые, высоко подняв факелы, и орали вслед каждому: «Проходи!» А позади нее, вокруг бивачных огней спали люди, словно живым ковром укрывшие мостовую.

Над пылающим Парижем смолкла канонада.

Конец ночи мы провели у изголовья Домбровского. Генерал скончался вечером в Ларибуазьере после жестоких страданий. Незадолго до захвата госпиталя версальцами командир Бриансель перевез на фиакре его тело в ратушу. Поляка отнесли на второй этаж в так называемую Голубую спальню, которая в свое время была отведена для дочери барона Османа; его положили на обтянутую лазурным атласом кровать Валентины. Комиссар полиции, он же рисовальщик Пилотель, вышел из спальни, зажав под мышкой папку с набросками, трагическими набросками.

Какие-то тени, неслышно ступая на носках, приближались к атласному ложу и запечатлевали поцелуй на челе генерала, перешептываясь по-польски. Среди них мы узнали нашего Янека из Дозорного, он тоже облобызал чело усопшего, тоже дал клятву над телом и отошел к своим друзьям-эмигрантам, толпившимся в углу.

Восковое лицо Домбровского, лежавшего на левом боку, было повернуто в их сторону. Огонек свечи тщетно старался прогнать узенькие полоски тени, залегшие на этом маленьком лице. Казалось, полуоткрытый глаз и коротенькая острая бородка генерала одобряли приглушенные речи его мятежных соотечественников.

Марта уткнулась головой мне в грудь. Она где-то потеряла свою алую ленту, и ее рассыпавшиеся волосы щекотали мне щеки и лоб. Дыхание ее стало ровнее. Она вся ушла в созерцание этого маленького мертвого человека, этого великого генерала, которому по мерке оказалась девичья постель.

«Поляки... Польша... поляк...» Эти два-три слова то и дело доносил до нас беспокойный шепот из темного угла спальни. Мы разобрали также слово «Ярослав» и, пожалуй, больше ничего не поняли, но мы знали, что там вспоминают жизнь мятежного вождя. В том уголке девичьей спальни вместе с рассказами о великом мертвеце возникали кавказские ветры, варшавские ружья, сибирские снега. Нет, не речь над могилой, а просто шепот уважения и любви. Мы улавливали также имя Флуранса, нежное и сильное слово, посмертный дар воину, алый цветок в бокале вина с острова Крит.

— Польша,— шепнула мне Марта.— Польша! Наша Польша! О, Флоран, Флоран! Поставим ли мы когда-нибудь рядом с именем Франции чье-нибудь равное ей имя?

Она протянула мне губы. У них был вкус пороха, гари, дыхание ее жгло, сама душа ее пропиталась ароматом огня. Это была наша клятва генералу Домбровскому; привалившись ко мне, Марта заснула на хлипком диванчике даже счастливая. Рубашка моя, пропитанная кровью Торопыги, совсем задубела. Красное знамя, которым прикрыли тело героя, вопило на голубом атласе Валентины, но зато в темном уголке не умолкал шепот, блестели в полумраке глаза, слышалась мелодия метелей и растоптанных костров: «Поляки... Польша...» — извечная мелодия схваченной за горло надежды.

СРЕДА, 24 МАЯ 1871 ГОДА.

Утром в среду Коммуна, вернее, то, что от нее осталось, обосновалась в мэрии XI округа.

Площадь перед мэрией XI округа сплошь кишела людьми. Сюда стекались остатки батальонов, уцелевшие после вчерашних боев, франтиреры, федераты в разномастной форме, а то и вовсе без формы, и каждый вносил свою лепту свидетельств и гнева. Особенно ярился 66-й батальон, который сражался в собственном квартале. Тот самый батальон, который отчаянно защищал церковь Мадлен и теперь устроил штаб-квартиру в двух шагах отсюда, в маленькой лавочке.

У подножия статуи Вольтера весь квартал трясло в приступе грозной лихорадки. Беглецы, раненые, убитые, повозки с военными материалами — все стекалось сюда. Коммуна была теперь как бы одной семьей, собравшейся по случаю какого-нибудь из ряда вон выходящего события. Расспрашивали о том о сем, как бывает среди съехавшихся на сборище дальних родственников. И так мы узнавали все. Узнавали о смертях и отмщении, делились плохими и добрыми вестями. Собравшаяся вместе семья обретала коллективную душу, кипевшую грозным рокотом.

«Армия Коммуны была столь малочисленна, что одни и те же люди постоянно встречались друг с другом».

Луиза Мишель.

Ноздри чуть вздрагивали, чувствительные львиные ноздри. Воздух Парижа слегка отдает гарью.

Делегаты — Вайян, Авриаль, Журд, Верморель, Тейш, Валлес, Лонге и Делеклюз. Они прошли сквозь чуть ли не враждебно молчавшую толпу, исчезли в подъезде мэрии XI округа.

Последнее собрание Коммуны состоялось в восемь часов утра, присутствовало пятнадцать человек, принявших после долгой дискуссии решение очистить здание ратуши.

Марте, Фебу и мне велели срочно доставить донесение Фаллю, который по-прежнему находился в бывшей полицейской префектуре, где он командовал отрядом мстителей Флуранса.

То была наша последняя скачка. Марта... Я чувствовал боками ее тепло, чувствовал, что она вся дрожит, услышал ее вздох:

— Ох, Флоран, никогда уже нам с тобой не скакать через Париж!

Версальцы продвигались по набережной Конти.

Мы вырвались с Аркольского моста как раз в ту минуту, когда огонь охватил здание ратуши и на площадь с ревом посыпались фонтаны искр и пылающих головешек.

Феб встал на дыбы, сбросил нас с Мартой наземь, заржал, задрав морду к небу точно такой же масти, как и он сам, одним махом перескочил через баррикаду, свернул на улицу Риволи, взял прямо на Версаль и исчез навсегда.

— К своим удрал...— проворчала Марта.— Не для нас такой конь. Он при нас состоял, когда мы были короли, а теперь, как и все прочие, перешел к врагу. Эта лошадка для победителей. Богатенькая кляча, буржуйская...

На площадь Вольтера стягивались люди, выходившие из ворот

кладбища Пер-Лашез, где только что предали земле тело Домбровского.

В двух шагах от могильного рва батареи Пер-Лашеза отрывисто проревели свое надгробное моление.

Эта среда становилась похожей на воскресенье. Солнце припекало, но не сильно, а упоительно. Женщины надевали свою лучшую одежду и шли с ребятишками к баррикадам отнести мужьям поесть.

И прекрасное веяние проносилось надо всей этой сумятицей.

Вот уже три дня, как мне еду носит папа. Если за передвижением по двору наблюдают, то гораздо естественнее ходить в конюшню или в амбар мужчине, а не женщине. Приносит он мне также и газеты, более или менее свежие. Я жадно проглядываю прозаические опусы убийц, потом стараюсь прочитать что-нибудь между строк, а главное, найти любимый силуэт среди расписанных сплошь черной краской портретов арестованных женщин. Сотрудники «Пари журналь» так описывают «керосинщиц»: «Одни, без спутников, чаще всего скромно, но не бедно одетые. Не идут даже, а скользят вдоль стен. На первый взгляд, просто обыкновенные домашние хозяйки, отправившиеся за покупками...»

Вы, гнусные писаки! Знайте же, что это как раз и были домашние хозяйки, которые не скрываясь несли кувшины с молоком, потому что им приходилось, хочешь не хочешь, выходить из дому, чтобы накормить вопящего от голода младенца!

У меня так и захолонуло сердце, когда на глаза мне попалось описание одной из девушек, шивших мешки и попавших в плен у Законодательного корпуса; надо сказать, что на сей раз борзописец не прибег к излюбленному приему опоганивания: «Высокая красивая девушка по имени Марта, препоясанная красной перевязью с серебряной бахромой — подарок одного из ее любовников...»

Не та Марта, другая, ибо вряд ли версальский строчкогон заметил бы мою при ее маленьком росте.

Версальская солдатня изощрялась в выдумках, превращала убийство в веселую игру: например, складывали трупы друг на друга, чтобы по ним можно было ходить, как по ступенькам лестницы; бросали с размаху штык в глаз уже убитого федерата — победитель в этой игре в «ножички» забирал ставки, внесенные прочими участниками; стрелок-моряк, распоров живот молодой женщины, разматывал ее кишки...

Такие рассказы с быстротой молнии перелетали от группы к группе людей, теснившихся среди артиллерийских обозов на площади Вольтера.

К вечеру в среду мы почему-то пришли к убеждению, что уже перейдены все пределы ужаса, что самое худшее уже позади.

На углу улицы Фоли-Реньо мы вдруг услышали знакомый голос — это в кабачке «Мирный парень» Предок рассказывал участнику событий 48 года о Бланки, Флурансе.

Старик очистил нам место за своим столиком, заказал нам две большие миски мяса с овощами.

— Огорчает меня наш дражайший Делеклюз,— ораторствовал Предок,— просто диву даешься, как это он еще на ногах держится. Даже не умирающий, а развалина какая-то. Поглядите на него, послушайте — это уже не революционный боец, а «великий прадед» Революции!

Мстители Флуранса забежали в кабачок наскоро перекусить перед отправлением в Шато-д'О.

Нищебрат подошел к Предку, встал перед ним и опустил голову.

— Простите меня, дедушка.

— За что простить-то, внучек?

— А за то, что я вам не доверял. Но и вы меня поймите, вы были везде — и нигде, вы всех знали — а сами вроде никто. А теперь, когда смерть приходит, вы здесь, с нами, так что простите меня, дедушка!

— Возраст у меня такой...

— Это не довод, совсем даже наоборот.

— И жить я устал.

— Вот это действительно довод, дед!

— Выпьем, гражданин!

— Редко, когда я отказывался выпить с другом,— отозвался Нищебрат.— Но сейчас у нас патронов в обрез, так что незачем, чтобы в глазах двоилось.

Марта потянула меня за собой на вершины Пер-Лашеза.

Артиллерийские батареи были размещены на самом возвышенном пункте кладбища, в северной его части, возле могилы герцога де Морни, а склеп, воздвигнутый на этой могиле, превратили в арсенал. Штаб расположился в часовне, по бокам ее стояли еще две пушки. Несмотря на оглушающий грохот, здесь, на этих высотах, дышалось легче.

Пушки Бисетра, Бютт-Шомона и Пер-Лашеза зажигали над Парижем свои звезды, гаснувшие через мгновение. Им от Пантеона, с Трокадеро и с Монмартра отвечала артиллерия версальцев.

У подножия огромного парижского кладбища корчилась столица, задыхалась, хрустела, это было подобно агонии дракона среди бурных потоков лавы, в душных ватных потемках, рассекаемых сабельными ударами молний.

— А все-таки им немного останется,— с удовлетворением заметила Марта.

Она хотела сообщить мне это по секрету, а проревела во весь голос под самым ухом.

Мы отправились ночевать к ней, в склеп господина Валькло.

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ 1871 ГОДА.

В тот четверг штормовой ветер вздувал пламя до самых небес.

Еще накануне, раздеваясь, мы увидели черные хлопья — конфетти огневого карнавала. Как не молодая уже супружеская чета, сидели мы на пороге нашего склепа и все всматривались в горящую ночь.

— Нет, этот дворец не мой,— говорила Марта.— Эти памятники не мои. Мой дворец — Коммуна, и мое единственное богатство — это народ. И его хотят истребить.

В глубине склепа, в пушечном гуле этой ночью мы отдались любви. Ненадолго задремали. Затем Марта разбудила меня:

— Флоран, милый, нужно все, все песни перебрать, сегодня или уже никогда.

И мы снова лежали в объятиях друг друга. И снова уснули, но на этот раз уже крепко, под грохот батарейного огня.

Когда я проснулся, солнце рассыпало сквозь листву свою картечь. Снаряды свистели, перелетая через египетские и этрусские надгробья.

Мы шли по аллее акаций, зная, что там варят кофе артиллеристы. Ночью на подмогу артиллеристам прибыли люди из орудийной прислуги, уцелевшие после обстрела Латинского квартала.

Так мы узнали о резне, учиненной версальцами в семинарии Сен-Сюльпис, где был устроен лазарет. Там находились на излечении три сотни раненых. Версальские солдаты прирезали их на койках, предварительно расправившись с доктором, который, защищая своих пациентов, взывал к Женевской конвенции и христианскому милосердию.

Тюильри все еще горел.

Мстители удерживали баррикаду на улице Шато-д'О. Всего их было двенадцать: Фалль, Чесноков, Пливар, Пальятти, Нищебрат, Мумут, Матирас, Янек, Гифес, Феррье, Кош и Желторотый.

Перестрелка возобновилась.

Спускаться с Пер-Лашеза, следуя курсу летевших снарядов, значило погрузиться в самое пекло.

Мстители удерживали одну из баррикад на углу улицы Ланкри.

В угловом доме тесная кухонька выходила на баррикаду, а спальня — на улицу Ланкри.

Между атаками начинались разговоры. Защитники баррикады приходили к нам поболтать.

Пушки били по Тамплю и Шато-д'О метрах в пятистах отсюда.

Пишу обо всем этом не спеша, в сарае, потрескивающем от жары. «У тебя сердца нет!» — бесилась Марта, когда я вынимал из мешка жалкие свои письменные принадлежности.

Папа принес мне несколько книжек. Перечитываю Гюго.

Паркая духота, обычная, летняя, привела мне на память тот четверг, когда мы засели в кухне, а наша хозяйка, вернее хозяйка поневоле, ставила на жаркий огонь огромную кастрюлю с супом.

Бойцы, зеваки, заглядывавшие к нам на минуту, приносили слухи о капитуляции: члены Коммуны и Центрального комитета Национальной гвардии якобы потихоньку сдались победителю, а оставшиеся в живых федераты собрались в Бельвиле и попросили пруссаков пропустить их.

— А куда идти-то?

— Можно отплыть в Америку.

— Размечтались! На баррикаду! — взревел Фалль.

Тем временем подобные проекты уже начали кое-где претворяться в жизнь. По слухам, посол Соединенных Штатов предложил пруссакам выступить посредниками между версальцами и Коммуной. Теперь ясно, что речь шла о новой ловушке: в тот же самый четверг пять тысяч баварцев установили кордон от Марны до Монтрея; еще пять тысяч немцев заняли Венсенн, окружили форт, над которым по-прежнему развевалось красное знамя. Они перерезали дорогу батальону федератов, спешивших к нам на помощь, они отдали наших в руки тьеровских палачей — так они продолжают оказывать версальцам дружеские услуги.

Не позже чем вчера, я видел в окошко одного из этих несчастных. Впереди ехали два фельджандарма и о чем-то беседовали, посасывая свои длинные фарфоровые трубки, а сзади со связанными руками, с веревкой вокруг шеи, притороченной к седлу, плелся наш товарищ. Папе сказали, что это рабочий-мраморщик, горнист 73-го батальона, его арестовали в Вильмомбле, где он скрывался у родственников.

В течение утра число защитников баррикады удвоилось. Сюда подтянулись федераты, уцелевшие после боев на сквере Сен-Лоран и

в предместье Сен-Дени, пришли служащие Коммуны — и все дружно требовали оружия. Пришли и штатские, в основном старики, например, слесарь из Туртиля, который сказал мне:

— Ежели тебе, сынок, удастся выйти отсюда живым, не забудь сообщить моим дружкам, что Патор, старый плебей, погиб на баррикадах как настоящий революционер.

А через час его на куски разорвало картечью.

Свинец пуль и сталь снарядов, казалось, метили именно в прохожих и тех, кто только что пришел на баррикаду. Надо признать, что мстители научились определять угол падения снаряда и вовремя укрывались. Свист бомб не мог их обмануть.

— Снаряд — он все равно что человек,— говорил Чесноков,— самые шумные — не самые опасные.

— Какая бы армия была у Коммуны, если бы нам дали еще хоть несколько месяцев жизни,— вздыхал Гифес.

— Да и не только армия! — добавил Маркай, явившийся сюда в сопровождении литейщиков из заведения братьев Фрюшан.

Бесконечно длинные, тяжелые минуты, когда подпускаешь атакующих на расстояние ружейного выстрела. Пожары, канонада, вонища, крики, хрип умирающих, одышливое дыхание — все отступало перед этим ожиданием.

Это не была настоящая атака, когда враг идет широко развернутым строем, скрестив штыки, шагает рядами под барабанную дробь. Сейчас враг просачивался. Он был повсюду: на тротуарах он пользовался любым выступом, рассыпался по всем этажам, взбирался даже на крышу и бил оттуда по нашему укреплению со свирепой меткостью.

— Огонь по всему, что движется! — крикнул Фалль.

— Ты, должно быть, хорошо стреляешь,— наседала на меня Марта.— Попытайся снять вон того наверху — я промазала. Цельсь в трубу, он сейчас выглянет.

Я прицелился. Сначала я заметил дуло ружья. Потом разглядел красное кепи, толстый нос, прижатый к прикладу. Я выстрелил. Видение исчезло за трубой. Ружье отдало с такой силой, что чуть не оторвало мне плечо. А в спину бил огонь горящей лавчонки.

Выстрелы с обеих сторон стали реже. Каждый занимал свою позицию и держался начеку. Мы находились в буквальном смысле слова между двух огней. Перед нами — версальские ружья, сзади — горящий дом.

Марта куда-то исчезла.

— Без паники, граждане! Мстители вас прикроют. Уходите по одному, сначала пропустите детей!

Фалль выкрикнул эти слова, но голос его звучал спокойно, а кричал он, только чтобы всем было слышно. Он стоял во весь рост на баррикаде, повернувшись лицом к версальцам. И он, который никогда не шутил, добавил еще:

— Тот, кто спешит, пусть заранее себе яму роет.

Грохнул выстрел. Две-три секунды Фалль стоял на баррикаде, сложив на груди руки. Его коротенькая глиняная трубка упала и с треском разлетелась на куски. Остановившийся взгляд, казалось, недоуменно вопрошал кого-то, как посмели не дать ему, бывшему литейщику завода Крезо, закончить начатое дело. Потом он рухнул на мостовую — так, как стоял, со скрещенными руками.

О смерти гражданина Делеклюза мы узнали вечером от Предка. Старик плакал над стаканом вина в харчевне «Мирный парень».

— Я сам себе, детки, стал противен! Подумать только, что я такое вчера болтал! Эх, сумел он умереть, благородный наш якобинец! Ох, детки, мои детки, представьте себе мэрию Одиннадцатого округа, когда туда явился Делеклюз! Снаружи вокруг пяти знамен с орлом ревет толпа — эти знамена, видите ли, отобрали у версальцев. Не знаю, какой такой шутник додумался до этого зловещего и ребяческого фарса, якобы долженствовавшего поднять дух бойцов! Франкеля, раненного на баррикаде в предместье Сент-Антуан, приводит гражданка Дмитриева, тоже, кстати сказать, раненая. Раненые, умирающие, сколько же их! Пока красавица блондинка перевязывает нашего министра труда, Делеклюз в соседней комнате снимает свой редингот. И аккуратно вешает его на спинку кресла. Потом садится. Подписывает несколько приказов, пишет письмо *(сестре: «Не могу и не хочу быть жертвой и игрушкой в руках торжествующей реакции. Прости, что я покидаю этот свет раньше тебя, тебя, которая всем ради меня пожертвовала!»)*. Потом встал, надел редингот, посмотрел на всех поочередно, а глаза у него усталые, печальные. Хотел что-то сказать, но ничего не сказал. Стал спускаться. Детки, мои детки, так бы и передал по завещанию кому-нибудь свои глаза, чтобы тот, другой, видел, всегда видел, как видел я гражданина Делеклюза, шагавшего по бульвару Вольтера, под ливнем металла и огня! Маленького! Щупленького! В цилиндре, в тщательно застегнутом рединготе, в черных панталонах, в ярко начищенных ботинках — до конца дней своих не изменил моде, революционной моде сорок восьмого года! Шел спокойно так, опираясь на тросточку. Мне сажа забила ноздри, уши, засыпалась за шиворот. Весь Париж изрыгал в небо пламя, и оно низвергалось на нас сажей. На бульваре били пушки, рвалась картечь. В пятидесяти метрах от баррикады всех заставляли укрываться в воротах. Пушки обстреливали бульвар продольным огнем. Из-под арки я видел нашего великого Делеклюза, тощенького, видел черную его фигурку на фоне алого диска закатного солнца. Опираясь на тросточку, он карабкался на баррикаду.

Тут нас окликнул Филибер Родюк:

— Меняем квартиру! Коммуна перебирается в Бельвиль!

Париж пылал со всех четырех сторон.

По-прежнему горел Тюильрийский дворец.

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ 1871 ГОДА.

Все-таки и в эту пятницу встал рассвет, пыльный, серый. Шел дождь, мелкий, упорный, назойливый.

У Коммуны осталось только два округа — XIX и XX, а также частично X и XI. А защищали этот островок всего четыре тысячи бойцов, против которых Мак-Магон двинул свои пять корпусов.

Всю ночь мы работали: помогали мэрии XI округа перебраться в мэрию XX.

Тьер и принц Саксонский подписали соглашение, по которому немецкая армия должна была в понедельник 22 мая окружить столицу с севера и востока.

Версальцы теперь продвигались с трудом. Прежде чем рискнуть на вылазку, они сметали все, что было впереди, артиллерийским ог-

нем. А за ними сразу же вступали в дело специальные отряды, на чьей обязанности лежали обыски и расстрелы.

Люксембургский сад превратился в место сплошной бойни. Наспех созданные военно-полевые суды заседали повсюду по двадцать четыре часа в сутки — в Сенате, в Опере, в театре «Шатле», а также в казармах и в распивочных, в школах и на задних дворах.

После каждой «порции», пользуясь их словечком, трупы расстрелянных сбрасывали на берег Сены или еще куда-нибудь. В траншеях, вырытых в сквере Сен-Жак, насчитали более тысячи трупов.

В номере «Иллюстрасьон» от 10 июня Леон Крейль писал:

«Солдаты расстреливали тут же, на месте, по собственному почину. Расстреливали на улицах, в публичных местах, были в спешном порядке созданы военно-полевые суды, дабы страшная расправа шла без передышки...»

«...Приводили все новые и новые шайки пленных. Каждая такая группа состояла примерно из одних и тех же персонажей. Национальные гвардейцы, мужчины в рабочих блузах, женщины предместий, маркитантки, дети. Пленников запирали в здании театра. Можно было видеть, как они прохаживались по балкону фойе, идущему по фасаду. Достаточно сказать, что ради такого зрелища к театру сбегались любители сильных ощущений.

Огромная толпа запрудила площадь Шатле от театра до набережной, горя желанием посмотреть, как подводят все новые партии пленных. Несчастные, вышедшие на балкон подышать свежим воздухом, стали объектом проклятий.

Надо признать, что эти бешеные выкрики не смущали «коммунарщиков». Почти все высоко несли головы.

На задаваемые им вопросы большинство не колеблясь отвечали, что исполняли свой долг. Значит, бывает и такой долг — поджигать и разрушать Париж!

Один из членов Коммуны якобы ответил, что не жалеет о том, что сделал, и, будь у него возможность, начал бы все снова...

Осужденных выводили из театра группками по двадцать, по двадцать пять, тридцать, сорок человек и под эскортом солдат вели по набережной к казарме Наполеона. Осужденные были связаны по двое за кисти рук. Ни один из них не питал иллюзий относительно ожидавшей его участи...

Двери казармы открывались и захлопывались за очередной «порцией». Это словцо полюбилось публике, стоявшей шпалерами на всем протяжении пути. Уже через минуту после того, как пленных вводили в казарму, раздавался ружейный залп, потом отдельные выстрелы. И «порция» была уничтожена...»

Одна из версальских газет под заголовком «Значит, пленных, как таковых, не существует» писала:

«Если среди пленных находится хоть один честный человек, вовлеченный в вихрь событий силой, вы сразу заметите его среди других. Честного человека узнают по нимбу над головой; так предоставьте нашим храбрым солдатам свободу мстить за своих товарищей тут же, на поле боя, пусть в минуту ярости они совершат то, что не пожелают сделать завтра, когда остынет бешенство схватки».

А все-таки молодец Золя, вот какой фразой заканчивает он свое «Чрево Парижа»: «Какие же мерзавцы эти честные люди!»

После гибели своего командира Фалля мстители не стали выбирать нового начальника — не было ни времени, ни возможности об этом подумать. Теперь старшим стал этот повеса Нищебрат. Прои-

зошло все это без споров, само собой произошло. Именно такого командира требовали обстоятельства, и Нищебрат взял на себя командование, сам того не желая, в силу своих качеств, а именно: голоса, роста, отваги, бесшабашной своей физиономии и главное — благодаря своему неукротимому зубоскальству, воистину страшной своей веселости.

Наш пламенный Нищебрат как нельзя лучше подходил к роли командира в те последние минуты, когда нищие готовились вцепиться во врага зубами...

Если говорить откровенно, то до последнего времени я был недалек от мысли, что все эти бдительницы, эти клубные кумушки, эти своего рода мегеры Бельвиля более или менее равнодушны к своим отпрыскам. Лишь изредка наш тупик давал мне зримое доказательство материнской любви в такой форме, в какой представлена она в школьных учебниках, в благомыслящих изданиях с иллюстрациями,— короче, в стиле христианской морали. Ни подарков, ни ласки на людях: у матерей для этого не было ни средств. ни времени. Материнская любовь выражалась в том, что они урезывали себя во всем ради ребятишек, приносили ради них вечные жертвы, о чем трудно было догадаться, глядя, как мамаша шлепает свое чадо. Воспитывать своих сыновей и дочерей для Революции — это значит дать им хорошее воспитание, а послать их в бой — значит послать по хорошему пути. Мальчик с ружьем в руках на баррикадах — это хорошо воспитанный мальчик, и мама может им гордиться перед своими подружками.

Так, мне казалось, что Бландина Пливар с легкостью препоручила заботы о своей Пробочке глухонемому кузнецу. «В конце концов,— думал я,— у мамаши Пливар и так ребят мал мала меньше, так что не худо отделаться от лишнего рта». И точно так же я считал себя вправе воображать, будто моя тетка интересуется своим сыном, а моим кузеном Жюлем лишь в той мере, в какой он является для нее поставщиком политических сенсаций.

Никогда себе этого не прощу — как даже смел я так считать! Что знал я тогда о необъятном сердце пролетарских матерей?

Они не из хнычущих. Я думаю о маме, о всех ее заботах обо мне. Но она другой породы — она и страдает-то по-крестьянски. В этом тоже есть свое величие, но подмешано к нему, я даже в толк не возьму, как именно, что-то мученическое, униженное. По-разному кричат от боли больная собака и раненая львица. Моя мать вызывает жалость, а те матери — страх.

Немотствующие и застывшие, эти женщины уже не были прежними Труссеткой, Бландиной Пливар, Селестиной-толстухой. Их нельзя было узнать. Безутешные матери. Матери беспощадные.

С вершин Бельвиля мы пытались распознать знакомое лицо Парижа, города, который мы десятки раз пересекали вдоль и поперек.

Марте больше не хотелось спать.

И мы отправились с дружественным визитом на кладбище Пер-Лашез, где артиллеристы лихорадочно пересчитывали свои последние снаряды. А чуть подальше могильщики рыли огромную братскую могилу для погибших бойцов Коммуны, их тела при свете факелов приносили на скрещенных ружьях федераты, а впереди шагал один-единственный барабанщик — бледный мальчишечка с горящими глазами — и бил как бог на душу положит по барабану, обтянутому черным крепом.

Мы отправились ночевать в склеп господина Валькло. Вдруг Марта взяла мои руки в свои и, поднеся их к лицу, стала приглядываться к ним в свете разрывов.

— Как я твои руки, Флоран дорогой, люблю, какие они у тебя белые, мягкие. Дай мне слово, что с завтрашнего утра ты будешь мыть их четыре раза в день.

— Это еще зачем?

Тут она произнесла торжественным тоном:

— А затем, что твой революционный долг, лично твой,— это выбраться отсюда вместе с твоим мешком, с твоими тетрадями.

Вчера вечером — мираж. На вершине холма возникла против света чья-то фигурка. Невысоконькая, юбку и волосы треплет ветер. Я чуть было не выскочил наружу. Кликнул маму, а это в моем нынешнем положении весьма неосторожно.

— Что это с тобой?

— Ничего, мам...

Марта, должно быть, явилась прямо к нам на ферму и дожидалась темноты. Если это действительно была она и если она решила исчезнуть, то, значит, были у нее на то свои причины. Может, она просто хотела подать мне знак. Послав за ней маму, я наверняка бы спутал ее планы. Хуже того — выдал бы ее.

Одно бесспорно: Марта меня ищет. Теперь ищет она.

СУББОТА, 27 МАЯ 1871 ГОДА.

На заре Марты в склепе Валькло уже не оказалось.

Все смешалось, начиная с этой минуты я неустанно искал ее, ничего другого и не делал. И если говорить совсем уж откровенно, и сейчас ничего не делаю, только ищу ее, даже не выходя из нашего амбара...

Штаб, вернее, то, что осталось от штаба, перебрался в бельвильскую мэрию. В жалком же состоянии находился этот бывший кабачок, весь изрешеченный осколками, с выбитыми окнами, с провисшими балками. Не знающий страха Ранвье подписывал приказы, рассылал людей: Эда — сюда, Гамбона — туда...

Гортензия Бальфис окликнула меня:

— Флоран, иди быстрее! Женщины заметили, что бомбы для пушки «Братство» слишком малы.

— Марту видела?

— Видела издали, если только не ошибаюсь.

— А куда она пошла?

— Очевидно, в Дозорный. Уж кто-кто, а Марта в любом случае в тупик вернется.

Шли часы, и пространство, где я мог искать Марту, сужалось и сужалось. Коммуна была теперь лишь островком, вулканом, выступавшим из морской пучины,— Бютт-Шомон и его склоны.

В десять часов была разрушена баррикада на улице Пуэбла.

Вскоре вулкан взорвался. От Коммуны остались три маленьких, три обреченных островка: предместье Тампль, Бельвиль и улицы Труа-Борн и Труа-Курон.

Члены Коммуны снова начали дискуссию. Одни еще верили в то, что пруссаки пропустят беглецов, другие, наоборот, считали, что надо этих самых беглецов задерживать. Версальские пушки сотрясали их парламент, как трухлявое сливовое дерево. Ранвье закрыл дебаты:

— Идем сражаться, хватит споров.

Продолжение заседания было перенесено на новую дату.

Октябрь 1917 года.

Троицын день.

От Коммуны остался только клочок не больше носового платка, в пятнах, скомканного, рваного, липкого, окровавленного.

Прошлой ночью версальцы расположились биваком на Праздничной площади, их крики и песни долетали до нас.

Часть XI округа еще держалась. Филибер Родюк видел Марту, он почти уверен, что это была она, во всяком случае какая-то девушка, ужасно на нее похожая.

Вся версальская артиллерия бьет по Бельвилю.

Этим похожим на кошмар утром Троицына дня выстрелила пушка «Братство».

Тем временем пал Пер-Лашез. Только много позже я узнал о его конце. В эти последние часы мы фактически не знали ничего, что происходило за рубежами нашего таявшего на глазах пятачка.

Федератов на Пер-Лашез было не более двух сотен. Когда прямым попаданием из пушки снесло главные ворота, стали драться штыками, саблями, ножами — и все это в потемках, под проливным дождем. Федераты были смяты численно превосходящим их врагом. Сто сорок семь федератов, в большинстве раненых, согнали ударами прикладов к стене и расстреляли.

Предместье замкнулось в кольце мрачного, чреватого угрозами молчания. Молчала и баррикада, которую укрепляли всю ночь. Слышен был только стук булыжника о булыжник.

Баррикада была границей, тупиком, родиной. В свободные от работ и караула минуты каждый приводил в порядок свои личные дела.

Заглянув на минутку к себе домой, Мумут остановился на пороге виллы полюбоваться обломками статуи Непорочного зачатия. «Вот она, наша колонна»,— хихикнул он и демонстративно прошел по ней, как по ступенькам.

Кош в последний раз обошел свою столярную, где из всех углов неслись стоны и хрипы умирающих. Раненых уложили повсюду, даже на верстаки. Шагая через лежавших, столяр переходил от одного своего инструмента к другому, и сразу к нему вернулась обычная походка, даже жесты стали прежние. Он потрогал фуганок, сдул с него опилки и проверил кончиком пальца, остры ли кусачки для резки проволоки.

Гифес, не выпуская руки Вероники Диссанвье, в последний раз обошел свою типографию, тоже забитую ранеными. Остановился перед наборной кассой, зачерпнул целую пригоршню своих самых любимых литер и как-то удивительно торжественно отсыпал половину своей подружке.

На всех этажах женщины опустошали ящики комодов. Избежавшие ломбарда простыни шли на саваны.

Каждого вновь появлявшегося я расспрашивал о Марте. Кто говорил, что, кажется, видел ее накануне, кто — поздно вечером, издали, она куда-то неслась при свете пожарища.

На бульваре, куда выходила Гран-Рю, от 191-го батальона не осталось ни одного человека, а от бывшего батальона Жюля Валлеса уцелели всего только офицер и пятеро-шестеро бойцов, расстрелявших все свои патроны и присоединившихся к нам.

— Теперь наш черед! — крикнул Нищебрат.— Занимай свои посты!

Мстители, литейщики, карабинеры, франтиреры, волонтеры, гарибальдийцы, все, способные держать оружие, включая и раненых, все, кто еще стоял на ногах, быстро заняли подготовленные заранее позиции. Их сопровождали женщины и дети, но им пришлось держаться поодаль, в резерве, так как ни на баррикаде, ни за заложенными тюфяками окнами свободного места не нашлось.

Понятно, общий гнев обернулся против пушки «Братство», которая сейчас под дождем выглядела довольно-таки неказисто, и каждый в душе клял эту бесполезную, всем мешавшую громадину.

— Да ведь нет подходящих бомб! — объяснял Филибер Родюк.

— Значит, нужно стрелять теми, какие есть! — взвилась Труссетка.

— Спокойно, женщины! — крикнул Нищебрат.— Так или иначе, а времени у нас уже нет.

Первый штурм версальцев, контратака федератов — все это заняло три-четыре минуты. С моего места я почти ничего не смог разглядеть.

Сначала мертвая тишина, отдаленный топот ног, потом все ближе, все громче яростный гул голосов, ружейный залп, второй — ответный, свист пуль над нашими головами, баррикада, увенчанная огнем и дымом, Мумут, отброшенный на нас с пробитым лбом, потом кто-то еще, потом еще двое и наконец Барбере — главный литейщик братьев Фрюшан. В дыму на верхушке баррикады мелькнули трое-четверо версальцев, но тут же исчезли. Нищебрат, выпрямившись во весь рост, размахивая красным знаменем, которое он держал в левой руке, с саблей в правой, завопил во всю мощь своих легких:

— Вперед! Да здравствует Коммуна!

За ним бросились с примкнутыми штыками федераты и остальные бойцы, и они тоже кричали в едином порыве: «Да здравствует Коммуна!» — и исчезали за баррикадой. Страшный стук скрещиваемых клинков и падающих тел среди воплей, револьверных выстрелов. Потом частый топот ног стал глуше. И все та же удушающая тишина.

Федераты медленно возвращались к баррикаде. Шедшие замыкающими несли раненых. Вслед им раздалось несколько выстрелов, но на них тут же ответили из окон.

Пересчитали наличный состав. Эти несколько минут стоили нам двадцати семи человек.

Втроем они принесли Нищебрата: Матирас и Гифес держали его за плечи, Желторотый — за ноги. Командира мстителей положили на стол перед кабачком. Он все еще прижимал к себе красный флаг, держал его у раны, как повязку. Потом протянул Гифесу:

— Держи. Теперь ты будешь командир. Я со всеми голосовал за Фалля, а сейчас все проголосовали бы за тебя. Гражданин Гифес, ты заработал командирские нашивки.

Какой-то гонец примчался во весь опор:

— Кто у вас командир?

— Я,— ответил Гифес, сжимая древко окровавленного знамени.

— Давай сюда, они парламентера прислали.

Движением руки Нищебрат отослал Гифеса и всех нас тоже. Ему хотелось остаться наедине со своей Сидони.

Пока мы шли к баррикаде, а идти было буквально несколько шагов, новому командиру мстителей пришлось отбиваться от наседавших на него бойцов и женщин.

— Не принимай ты его, гражданин Гифес,— молила Клеманс.

— Небось скажет, чтобы мы сдавались на милость победителя,— истерически хохотнула Мари Родюк.

— Они повсюду такую штуку устраивают,— заметил кто-то.— А если кто сдастся, сразу к стенке.

— Да к такой-то матери все их милости! — заорала Селестина-толстуха.

— Они вступают в переговоры, чтобы выиграть время,— пояснил Предок.— А потом как бахнут из пушки.

— Пусть приходит, тут ему и каюк будет,— бросила Труссетка.

— Нет,— наконец заговорил Гифес,— нет. Пускай враги такими делами занимаются.

— Значит, что ж, примешь их предложение? — взревела моя тетка.

— Нет.

— Но ты же согласен, чтобы он сюда пришел! Согласен с ним говорить? Отпустишь его целым и невредимым?

— Да.

— А почему? Мы не в кружавчиках воюем. К чему эти кривляния, гражданин хозяин типографии? Почему ты хочешь его слушать?

— Ради удовольствия ответить ему: «Дерьмо»!

Вероника шла рядом со своим возлюбленным и не спускала с него глаз. А он мотнул головой, и кончик знамени, коснувшись его щеки, отметил ее кровью Нищебрата.

Парламентером к нам послали старика сержанта с длинными висячими усами. В высоко поднятой руке он держал белую скатерку — очевидно, стащил в первой попавшейся квартире. Выпятив грудь, он смотрел прямо перед собою, даже когда спотыкался о трупы. Он печатал шаг посреди мостовой, усеянной оружием, всякой рухлядью и мертвецами, и казалось, камень курился под его подошвами. Чем ближе он подходил, тем нереальнее казалось нам это явление среди окружавшей нас обстановки.

Он остановился шагах в двадцати от баррикады.

Гифес взмахнул окровавленным знаменем, которое завещал ему Нищебрат:

— Говори!

Сержант сразу же предложил нам сдаться на милость победителя. Вся баррикада ждала, не скажет ли он еще чего-нибудь, потом из всех глоток, из всех сердец вырвалось только одно слово.

Старик сержант сделал положенный по уставу полуоборот, решительно повернулся к нам спиной и удалился не торопясь, твердо печатая шаг.

— Уложу на месте первого, кто посмеет в него выстрелить! — проревел Гифес и угрожающе вскинул револьвер.

Наши пальцы судорожно впились в приклады ружей.

Версальский парламентер ушел, и через пять минут снова начался обстрел баррикады. Мы увидели только вспышку пламени. Метрах в пятидесяти. Прямое попадание. Снаряды, прицельная стрельба. Мы лежали ничком за баррикадой.

— Сначала они ее разрушат, а потом начнут нас картечью поливать, а там и в атаку пойдут,— пояснял Предок, улыбаясь в свою бороду, в которой застряли комочки земли.

Ему был знаком этот прием — еще в 1830 году артиллеристы регулярной армии применяли его во время уличных боев. И на память ему пришла его мятежная юность, баррикады на Центральном рынке, все,

что было в его двадцать лет. Рассказывал он об этом маневре юнцу Гифесу: пушки заряжают в укрытии, а расположены они за правым и левым углами улицы, потом их оттуда стремительно выкатывают и направляют на препятствие. Огонь! Пушки и впрямь уже показались из-за Вьеллёз и «Таверны косарей».

— А при этих обстоятельствах, сынок, даже самые меткие и сноровистые стрелки не успевают уложить наводчика! И мы тоже не можем, нам и развернуться здесь негде.

— Да еще с этой пушкой,— пробормотал типографщик.

— Вы ее, нашу пушечку, сейчас услышите! — вдруг завопила Адель Бастико.

Возясь с пушкой, мы смогли оценить невосполнимость наших потерь.

Не стало двух наших главных пушкарей — Торопыги и Пружинного Чуба, и красивый маневр, отлично слаженный после десятка репетиций, пришлось разучивать с новым нашим пополнением. Но, главное, не хватало Марты. Только сейчас мы осознали во всей полноте, что именно она была подлинным командиром орудия.

Две пушки, скрытые за углом улицы и бившие почти в упор, причиняли страшные разрушения. От каждого снаряда вздымался фонтан булыжника, и часть его падала за баррикадой, что было, пожалуй, похуже самих бомб.

Надо было действовать без промедления. И впрямь, сначала почти бесприцельная стрельба обоих быстро выдвигавшихся вперед орудий с каждой минутой становилась все точнее — теперь они уже метили в самый верх баррикады. Бойницы разлетались на куски. К счастью еще, амбразура, приготовленная для нашей пушки «Братство», была сделана на редкость прочно.

Желая восполнить смехотворно малый объем бомбы, братья Родюк утроили порцию пороха. Все было готово. Пришлось мне занять место отсутствовавшей Марты, и я лег плашмя на лафет, потому что видел, как она ложилась, когда нужно было навести орудие. Гифес пояснил нам:

— Наша задача — вывести из строя обе их пушки, но не следует гоняться за двумя зайцами сразу. Поэтому выберем ту пушку, что справа. Если бы удалось попасть в нее, когда она высунется,— просто идеально было бы.

Гвардейцы, занимавшие позиции в окнах жилых домов и безуспешно пытавшиеся снять версальских артиллеристов, показывавшихся на мгновение из-за угла улицы, подбадривали нас криками.

Итак, пушка против пушек. Пусть даже одна против двух, все равно мы чувствовали себя ужасно сильными. Безрассудная надежда зажглась в сердцах защитников баррикады.

Я навел орудие на то место справа, откуда появлялось дуло орудия. Как только оно высунулось, Гифес крикнул: «Огонь!» И десятки глоток подхватили эту команду. Шарле-горбун потянул за веревку.

В адском грохоте среди клубов дыма мы в первую минуту не поняли, что произошло. Минуту — а может, и меньше.

А произошло вот что — но до чего же по сравнению с жизнью слова тягучи и медлительны! — так вот, оба орудия версальцев снова появились из-за угла, снова выстрелили и исчезли. Их снаряд угодил в правый угол баррикады, осколки ударили в фасад, пробили тюфяк, которым было заложено окно на антресолях. Второй упал у подножия баррикады, подняв тучу земли, так как булыжников в мостовой почти уже не осталось.

Вслед за тем пушка «Братство» взревела во весь свой уже ставший легендарным голос. В гулкой воронке Гран-Рю ее «бу-у-у-ум» прогремело еще грознее, чем на мосту Нейи, ее колокольный рык был еще более мощным и завораживающим. Словно гигантский шмель пронесся над Парижем.

И неожиданно воцарилась тишина.

Когда улеглась пыль, рассеялся дым, федераты, женщины и дети, забыв о вражеских пулях, высыпали на бруствер, желая убедиться, какие разрушения принес этот чудовищный взрыв.

И что же мы увидели? Маленькая, крошечная, жалкенькая бомбочка, упавшая метрах в двадцати от баррикады, не нашла силы даже взорваться и катилась себе преспокойно, катилась, следуя естественному уклону почвы, только в силу закона земного тяготения. Катилась, катилась наша безобидная бомба, и ничто ей не мешало катиться, путь перед ней был свободен. Прокатилась мимо раскинутых ног трупа, мимо разбитого ружейного приклада; какой-то пригорочек свернул ее в сторону сломанного штыка, и этого обломка хватило, чтобы затормозить ее неспешное продвижение.

Она катилась среди всесветной тишины.

И исчезла вдали, укатилась куда-то в сторону Тампля, исчезла в пыльном рассвете. Думаю, версальцы расступались перед этим добродушным перекати-полем и глядели ему вслед.

Тишину не прерывала ни артиллерийская, ни ружейная стрельба. Но где-то перед нами, где-то в том конце улицы раздалось не то шуршание, не то шипение, до того слабое, что приходилось напрягать слух. Но уже через минуту отдаленный шум приобрел совсем иную окраску, превратился в щебет, воркование, бульканье, эта звуковая мешанина крепла и разрывала нам уши. Это было, конечно, не так громко, как пушечный выстрел, и в то же время куда оглушительнее, не так убийственно, но зато еще более жестоко.

Хохот. Хохот — безумный хохот, хохот всезаглушающий, хохот врага.

И, однако, самое унизительное было впереди — и вот оно: хохот передался нам. Сначала кто-то хихикнул, кто-то принужденно фыркнул, кто-то смущенно рассмеялся, потом открыто захохотали, громче, уже не таясь, хохот шел от человека к человеку, как зараза, звучал даже задорно, как вызов. Хохотали все от верха бруствера до арки, ведущей в тупик, хохотали на всех этажах за окнами, заложенными тюфяками, гоготала вся баррикада. Агонизирующий Бельвиль бросал в небеса громыхающие снопы смеха.

Как это объяснить? Да никак, смеялись — и все. Смех в лицо смерти! Убийственный ей ответ! На смех существует лишь один ответ — смех. Особенно когда уже чуточку рехнулся. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Обе пушки, настоящие, реальные до ужаса, появились из-за угла. Два снаряда скосили семерых хохотунов. Двойной выстрел снес голову Ритона из Менильмонтана, не прервав смеха, застывшего на его губах.

И меня постигла бы та же участь, до того я одурел, если бы Кош, смеясь во всю глотку, силой не швырнул меня на землю.

Еще два снаряда. Смех прекратился.

Каждый вражеский снаряд сотрясал всю баррикаду. Она постепенно оседала, стала ниже на целую треть. Справа при каждом выстреле все больше расширялась брешь, и пушкари ожесточенно били именно сюда. За этим таявшим на глазах, растрескавшимся укреплением, осыпавшим своих защитников тучей осколков,— ни разговоров, ни возгласов. Кое у кого на лице еще играла улыбка — отголосок того

смертного смеха,— но у всех в голове проносились одни и те же мысли, неспешные, однако чем-то схожие со скольжением и припрыжкой нашей маленькой смешной бомбочки: шуму много, а в результате пока — ничего, Коммуна — это только набат, а пушка «Братство» — ее символ.

«Коммуна и пушка «Братство» — это одно и то же»,— говорила Марта, и мне почудилось даже, всего на несколько мгновений, как раз тогда, когда мы поняли, что это странное бульканье в том конце улицы просто-напросто сдержанные раскаты хохота версальцев, как раз тогда, когда нас еще не достигла зараза смешливости,— мне почудилось, повторяю, будто я различил характерный, чуть горький смех Марты, негромкий, хрипловатый, но способный поднять на ноги целое предместье.

Да, да, пока баррикада рушила нам на головы свои осколки и обломки, в наших головах мелькала та самая мысль, что преследовала Марту многие недели: их пушки и наша — два мира, стоящих друг против друга. Их пушки сделаны из нужного металла, а наша — из варева бронзовых монеток, из патоки нищеты. Их пушки отлиты на фабриках, принадлежащих капиталистам, они обильно политы потом наемных рабочих. А пушку «Братство» сделали сами рабочие по собственному почину, она — романтическая приманка, созданная на скорую руку.

Уже две тысячи лет они умеют закаливать металл, а наш только вчера с неба свалился.

Их пушки несут зло, наша — смех.

И мы по-прежнему лежали ничком в грязи, а над головой гремел гром.

Чья-то рука коснулась моего плеча. И кто-то угрюмо произнес у меня над ухом:

— Они стары! А мы, сынок, мы, слышишь, мы! Мы — юность мира!

Это оказался Предок.

Только один человек не смеялся над пушкой «Братство» — Маркай, секретарь профсоюза литейщиков у братьев Фрюшан. Больше того, после нашего нелепого выстрела он проникся к пушке доверием, чего за ним раньше не замечалось. Он отозвал нас под арку, нас — это братьев Родюк, Маворелей, Шарле-горбуна, Гортензию и меня.

— Ну-ка, скажите, ребятки, сколько вы туда всадили зарядных картузов?

— Три,— признался Филибер Родюк, потупившись.

— Но ведь это же просто чудесно!

— Как так?

— А так... Значит, ваша пушка «Братство» превосходная пушка! Вы насовали в нее в три раза больше максимального числа зарядных картузов, а она не взорвалась. Скорее, ребятки, зарядите-ка ее картечью!

На что мы хором ответили:

— Легко сказать, картечью! Да у нас картечи нет! И где ее раздобыть? В такое время, да еще когда нас в угол загнали...

— Ну, картечь можно самим изготовить.

— Из чего?

— Из всего. Из медных пуговиц, болтов, винтов, гвоздей, монет, медалей, из любого куска металла, что под руку попадется. Бегите, даю вам пять минут!

Так начался последний сбор. Если хозяев, которые могли бы дать нам что-нибудь подходящее, не оказывалось дома, мы сами брали, без спросу... У нас просто не было времени ни просить, ни благодарить, ни шарить по закоулкам, ни даже повернуть дверную ручку. Мы взламывали двери ударом ноги, выворачивали содержимое шкафов и ящиков и бросались собирать то, что звякало.

Позади или впереди Гортензии я, как смерч, врывался в жилые помещения, самые разнообразные, в лачуги и салоны, но не удержал в памяти даже самого расплывчатого представления о мебели, картинах, коврах и обоях — только позвякивание металлических вещиц. Гортензия бросала их в подол юбки, придерживая ее за кончики, а я — в свою мягкую шляпу, давно лишившуюся петушиного пера.

Мне не только лица не удалось запомнить, даже ни одного силуэта. А ведь при нашем вторжении обомлевали трясущиеся от страха семьи, какие-то и без того перепуганные личности, забившиеся в постель. А ведь нас встречали мольбами, негодующими протестами, жалобами, угрозами... Ничего, ровно ничего я не помню, кроме позвякивания в тулье моей гарибальдийской шляпы.

Пока мы собирали наши крохи металла, артиллерия версальцев в буквальном смысле слова разнесла баррикаду. С обеих сторон зияли огромные бреши. Остались только две каменные стенки посреди, правда, массивные, окружавшие, словно две подушки, наше орудие, по-прежнему находившееся здесь и уцелевшее чудом.

Сейчас версальцы крыли картечью. Эта пакость сметала буквально все, убивала тех, кого пощадила прямая наводка. Спастись от нее — все равно что пройти сухим под проливным дождем.

Труссетка отвела женщин и детей в укрытие под арку. А картечь била по мужчинам, как град по спелым колосьям. Все бойцы, а также и все мстители были сражены картечью, за исключением Коша, который стоял с винтовкой в руке позади пушки, да Гифеса, лежавшего в крови и грязи, но еще подававшего признаки жизни. Погибли все литейщики, кроме двоих: Маркая и старика Барбере, которому оторвало правую руку.

Мы приготовили последний заряд, он был как раз по размеру жерла.

Да, мы сумели ее зарядить, нашу пушку «Братство». Все в нее ввалили, выстрелим только раз, зато уж стрельнет она! Ведь сколько в нее всего вложено! Пуговицы всех размеров и фасонов, болты, винты, медальоны, ложки, вилки, часы, браслеты, ожерелья, гвозди, резцы Феррье, пробойники Мумута, иголки Мари Родюк, коклюшки Селестины-толстухи, все шрифты — гордость Гифеса, а также монеты в сто су, экю, наполеондоры, людовики, франки и су, маленькие бронзовые су, опять они...

Всем этим добром мы набили нашу пушку «Братство», до самой глотки набили.

Гортензия, Адель и Филибер притащили целые охапки холодного оружия, сабли, рапиры, кинжалы, кривые турецкие сабли, длинные шпаги, косы, стилеты, полупики, косари, алебарды — полная коллекция, и все подделка. Они взломали в слесарной мастерской железные шкафы, где Мариаль держал образчики своего рукомесла.

Версальцы снова пошли на приступ.

Гифес еще дышал. Он лежал, прислонив голову к колесному ободу, он что-то бормотал, Кош нагнулся над ним.

— Наш командир приказал нам ждать, когда они подойдут на двадцать, а то и меньше, шагов, и только тогда открыть огонь,— пояснил нам столяр разогнувшись.

Итак, мы ждали, и каким же томительно-долгим показалось нам это ожидание. Мы сгрудились за кое-как залатанной баррикадой.

Время от времени мы опускали глаза к Гифесу, лежавшему на земле. Типографщик-интернационалист уже не в силах был открыть глаза. Но, лежа навзничь на земле, он мог определить нужную нам дистанцию по тяжелому топоту солдатских сапог, становившемуся все громче, отчетливее.

Наконец Гифес с трудом приподнял руку.

Шарле-горбун потянул за веревку.

Это был последний выстрел пушки «Братство». И он был страшен.

Прежде всего отдача. Орудие отскочило назад по меньшей мере на три метра. Хоботом лафета распороло живот Филиберу Родюку, а левое колесо раздробило поясницу его брату Раулю. Меня отбросило вбок и назад к стене метров на пять-шесть. А Шарле-горбуна, который был легче меня, отшвырнуло еще дальше.

Затем адский грохот.

Казалось, никогда не кончит греметь знаменитое «бу-у-у-ум» пушки «Братство», оно неслось вдаль, ширилось, вбирая в себя звон колоколов и треньканье колокольчиков, словно перли напролом какие-то фантастические стада; миллионами отголосков пело золото, серебро, медь, олово, сталь, свинец, цинк, алюминий, железо, жесть, бронза, каждый бельвильский металл вносил в общий гул свою долю крика.

И наконец результат: действие было чудовищно.

Уцелели лишь задние ряды версальских солдат. С воплями они разбежались по своим норам.

Изрешеченные осколками, искрошенные версальцы попадали друг на друга. Посреди мостовой трупы лежали в два-три слоя. Краснощекий блондинчик стал жертвой Гифесова курсива. Седовласого усача сразило долото Феррье, его соседу, лежавшему в обнимку с усачом, принесла смерть коробка для рукоделия Мари Родюк. Сержанту в глаз впилось шило Мумута, а капралу в грудь — коклюшки Селестины. Остальные погибли кто от медальона, кто от вилки, кто от пуговицы, кто от бронзового су, если не от золотой монеты.

Послышался конский топот, ржание.

— Быстрее разбирайте этот хлам! — крикнула Киска, остановившая свой выбор на алебарде XIV века.

Против замолкнувшей пушки, троих раненых, четверых умирающих и детворы граф Мак-Магон, он же герцог Мажанта и он же маршал Франции, двинул кавалерийский полк.

Наши же многие уже привыкли к штыку. Раненые поделили между собой ружья и пистолеты.

Вдруг мы как по команде сделали полный оборот — позади послышалось бряцание: один строй штыков надвигался на нас с улицы Пуэбла, а другой — с улицы Туртиль.

— Разделимся на две группы, только и всего,— заметила Адель Бастико, взмахнув для практики грозной своей алебардой.

Тут кто-то потянул меня за штанину. Это оказался Гифес. Я встал на колени, мне пришлось приложить ухо к губам умирающего, иначе я не расслышал бы его слов:

— Флоран... беги... это приказ.

Просто немыслимо, с чего это они со вчерашнего дня так стараются спасти мне жизнь!

— Сказано же тебе, мотай отсюда,— прошипела Адель Бастико.

А Гортензия Бальфис мило, но настойчиво:

— Беги скорее, ведь это приказ.

— Да чей приказ-то?

— Сам отлично знаешь чей.

Кузнец без церемоний взял меня за шиворот, приподнял и швырнул под арку.

Нашими никому не известными переходами я помчался к тайнику Марты.

А тем временем оснащенная самым современным оружием, самая мощная армия, какой когда-либо располагала Франция, завязала рукопашный бой с горсткой мальчишек и девчонок, вооруженных средневековым холодным оружием.

К полудню все смолкло. Только позже я услышал несколько выстрелов, потом еще одинокий, последний. Страшное молчание опустилось на Бельвиль.

Пока прямо на улицах шли расстрелы, на Монмартре в мансарде Эжен Потье, укрывшийся здесь после боев в XI округе, создает всем теперь известный «Интернационал». Послушайте его сейчас: ни одна мысль, ни один образ, ни один слог не устарел. Нельзя сказать сильнее, точнее и лучше в столь кратких словах.

А под окошком мансарды шли расстрелы.

Вчера после полудня я вдруг разбездельничался: уж больно надоели мне затянувшиеся каникулы на этой соломе, под этой соломенной крышей. Задыхаюсь от жары. Кроме того, я ведь писал без передышки в состоянии какой-то странной экзальтации и уставал физически. Зато все это приближает меня к Марте. Как раз в эти минуты я ощущаю ее близкое присутствие, уверен, что она осторожно ходит где-то совсем рядом. Жду ее каждое мгновение.

Так я и заснул во власти усталости и оптимизма.

Без даты.

Тайник Марты был вполне надежным убежищем. К тому же из него открывался вид на три стороны.

Мешок мой исчез — на том месте, где он лежал, я нашел записку: «Твои тетради отбыли в Рони».

Версальцы вторгались в Дозорный тупик дважды.

Сразу же после рукопашной, после того как сомкнулись их пехотинцы и артиллеристы, когда я только-только устроился здесь... Штурм был зверским, молниеносным.

Струйками вытекала кровь из-под дверей типографии, кузницы, капала со ступенек виллы, лужицами стояла на пороге...

Два часа спустя прибыли один за другим два карательных отряда, капитан, сержант и аптекарь Диссанвье с трехцветной нарукавной повязкой — вся эта банда явилась в качестве военно-полевого суда и засела в сводчатой зале кабачка. Перед ними-то и представали арестованные под конвоем жандармов.

Мне была видна только часть происходившего и только некоторые палачи и жертвы, но я считал своим долгом запечатлеть все, дополняя недостающее по слуху.

Обильный завтрак для судей был сервирован на прекрасной скатерти, подали даже серебряную посуду, которую берегли как память о Флурансе. Тереза постаралась и блеснула своими кулинарными талантами, а ее Пунь порхал вокруг стола, сопровождая поклоны множеством жалоб и вздохов. Мне был виден только капитан, худенький сорокалетний низкорослый версалец в пенсне на остреньком носике. Он старался есть аккуратно, со всем к себе вниманием. Во время трапезы во двор въехали две повозки: в одну навалом были брошены

мертвецы, на другой двухколесной тележке дно было посыпано песком, под которым виднелись следы крови.

Военный суд справлял свое дело следующим образом.

Бригадир вводил каждого «подозрительного» в сопровождении конвоя. Назвав фамилию и занятие, бригадир сообщал, были ли обнаружены на руках задержанного следы пороха, а на плече синяки.

Капитан повертывал одно ухо к сидевшему справа, другое к сидевшему слева, потом задавал один, два, редко три вопроса арестованному, после чего делал костлявой рукой жест отмашки и произносил: «Следующий!»

На все это уходило минуты две-три...

Военный суд прерывал свои труды, когда приезжала очередная тележка за трупами. С той же «оказией» отбывал отряд карателей, сменяемый другим.

Приговоренного уводили на кучу мусора. Убийцы вскидывали ружья.

Когда перед палачами предстал Маркай, покрытый кровью и землей, поддерживаемый жандармами, капитан, уже обнаруживавший признаки усталости, заявил:

— Это литейщик... Если убьем всех рабочих...

— Ничего, новых обучим,— возразил аптекарь.

Маркай спокойно произнес:

— Я был секретарем рабочего профсоюза.

— В таком случае следующий!

Предок был последним. Он единственный, стоя под дулами, поднял глаза не к небу, а ко мне. Он, должно быть, знал, что я там, наверху. Он всегда знал все. Он был почти таким же всеведущим, как Марта.

Наш старец умер, доверчиво улыбаясь.

Поймав его последний взгляд, я вспомнил, что он хотел завещать мне свои глаза, где еще стоял образ великого Делеклюза, взошедшего на баррикаду на бульваре Вольтера.

Выбравшись из Бельвиля, выбравшись из Парижа, ускользнув от версальцев, ускользнув от пруссаков, вернувшись в Рони, я по ребяческому своему разумению счел себя спасенным. А был я затравленным зверьком.

Настоящая охота только еще начиналась.

Для них я как был коммунщиком проклятым, так коммунщиком и остался.

Мы клеймом на всю жизнь отмечены — как скот на бойне.

Истекает июнь 1871 года. Я в опасности, и дела мои идут все хуже и хуже.

Завтра уезжаю в Швейцарию.

Оказия: бродячий акробат, друг Предка — из молодых карбонариев, увлекшихся Бакуниным,— возвращается с ярмарки в Бельвиле. Да, да, с ярмарки, ибо в ту неделю, что последовала за неделей резни, жонглеры, огнеглотатели, акробаты и торговцы сластями раскинули свои бараки на больших дорогах, еще влажных после генеральной поливки.

Я буду участвовать в параде-алле, мой ярмарочный хозяин берет меня на роль помощника клоуна.

Мой выход из стен Дозорного тупика, то есть мое бегство из Бельвиля и исчезновение из Парижа, прошел без осложнений. Просто повезло.

Я дожидался зари, зная, что в нынешних обстоятельствах одиночный прохожий рискует быть задержанным на любом перекрестке.

В тайничке Марты я нашел нарукавную повязку с красным крестом.

Пушка «Братство» все еще высилась, вся в пятнах крови, вся в следах неописуемой бойни, у входа в тупик. От трупов улицу очистили, поскольку они мешали движению.

Невыспавшиеся зеваки толпились у воззвания маршала Мак-Магона.

«Французская армия пришла спасти вас. Париж освобожден. В четыре часа наши солдаты очистили последние участки, занятые мятежниками. Сегодня борьба завершилась. Вновь возродятся порядок, труд и свобода».

Всюду скрюченные мертвые тела, лошади с развороченными животами, оружие и разбитые ящики, вперемешку со всем этим — груды одежды, одежды, перепачканной кровью.

Тут я и заметил женскую черную кофту. Я не мог ошибиться, нащупав кончиками пальцев медную проволочку, скреплявшую порванный клок. В тот же самый миг чья-то рука тяжело опустилась мне на плечо:

— Флоран! Ты? Пойдем-ка, есть работа.

То был майор Жуанен — или Жувен,— тот, что был при битве в Шампиньи. Все в той же фуражке санитарной службы из темно-красного бархата.

— Господин майор, вы видели Марту?

— Марту?

— Вы должны помнить, темноволосая такая... Она была со мной...

— Н-нет!

— Быть может, нашли ее тело?

— Не знаю, пойдем, Флоран!

Когда я пишу эти строки, мною овладевает невыносимо мучительное сомнение. В ответе майора было какое-то колебание. В общем-то, с того дня в Шампиньи врачу пришлось видеть столько девушек, столько раненых, столько убитых женщин... Он почти силой потащил меня, не дав мне унести с собой окровавленную кофту.

— Господин майор, мой долг объяснить вам...

— Некогда, Флоран, пошли...

Уже к вечеру, когда, оставшись одни, мы пили кофе, я собрал все свое мужество и сказал:

— Господин майор, было бы непорядочно с моей стороны...

— Слушай меня внимательно, мой дорогой Флоран. Я тоже должен вести себя как порядочный человек, порядочный со всеми, что не так просто, и должен быть порядочным с самим собой, что почти невозможно. Мы переживаем дни, когда, по-моему, мыслимо только одно: быть глухим и немым. Другого решения нет. А твои родители где, Флоран?

— В Рони.

— Вот это кстати. Ты видел высокого кирасира, которого мы перевязывали? Его ранило косарем — это такой нож, в средние века применялся как оружие. Правда, в данном случае это просто подделка под средневековый косарь, но великолепная, из лучшей стали, какой у самого Людовика Одиннадцатого не было в распоряжении. Так вот, этот несчастный парень — крестьянин из Вильмомбля. Ему хотелось бы на поправку поехать к себе на ферму. Он не жилец на этом свете, мы можем доставить ему это удовольствие. Довезти его до мес-

та и еще троих-четверых раненых, тоже его земляков. По дороге будешь за ними смотреть. Поедете в омнибусе. Я вам выправлю пропуск для прусских караулов.

— Господин майор, если увидите Марту...

Мой мешок ждал меня в Рони. Кто-то подкинул его в ясли Бижу, пока родители были в поле. Перед тем как уехать в изгнание, оставлю свои тетради на попечение отца. Оставлю ему также письмо для Марты.

Она заранее позаботилась достать мне костюм. Переодеться.

Жизнь продолжалась. Швейцария. Пописываю для «Журналь де Женев». Амнистия. Парижская хроника. Пишу под псевдонимом, потому что читатель уже привык к нему. Изредка встречаюсь с тем, с другим. С Тренке, возвратившимся из Кайенны, теперь он муниципальный советник в Бельвиле, а Пассала — комиссар полиции в Отейе.

И Марту я представлял себе среди тысяч и тысяч заключенных, то в тюрьме на Бютт-Шомоне, то в Сен-Лазаре, то в Птит-Рокетте, то в лагере в Версале; сколько часов я провел с лупой в руках, вглядываясь в фотографический снимок с бесконечным количеством женских лиц, и на первом плане — Леонтия Суетанс, Изабелла Ретифф, Мари Леруа и Луиза Мишель. Марта, которую я представлял по очереди в Бельгии, в Англии, в Новой Каледонии.

Марта, в конце концов исчезнувшая за дымкой тумана.

Немыслимая Марта, яркое сновидение, как Коммуна.

Случилось так, что о последующей судьбе нашей пушки «Братство» рассказал мне по своем возвращении из Берлина мой друг Жан Лот.

Пруссаки оказали буквально неоценимую услугу господину Тьеру. Они возвратили ему его офицеров, его солдат, его пушки, его митральезы, они, по его просьбе, блокировали восточные районы столицы и сделали все это не без шика. Вот одна из многих живописных картинок: прусские музыканты играют, выстроившись под укреплениями, ну а что до немецких орфеонов — разве такое опишешь. Музыканты в пестро расшитых мундирах, в касках, увенчанных орлом, распростершим крылья, наяривают на каких-то невероятных инструментах, гигантских змееподобных медных трубах, дудках, колокольчиках... бум-бум, тра-ля-ли... Время от времени рядом с ними проползал окровавленный, еле живой коммунар, чуть не тыкаясь в огромные сапожищи солдафона с трубой, который продолжал дудеть согласно партитуре свои бум-бум-бум и тра-ля-ли... А в тот момент, когда в партитуре значилась пауза, музыкант вытаскивал из кобуры пистолет — бах! бах! — добивал умирающего — и все это не в ущерб мелодии бум-бум-тру-ля-ли. И хоть бы сфальшивил, хоть бы где нарушил ритм, просто неблагозвучное: бах! бах! — и поди услышь, ведь они вот какой гам подымают, бисмарковские музыканты!

Короче, добренькие пруссаки так ублаготворили впечатлительного господина Тьера, что он не знал, как их и отблагодарить. Тут-то ему и пришло в голову преподнести в дар Бисмарку эту пресловутую пушку «Братство», о которой шло столько разговоров.

И вот таким образом бельвильская пушка очутилась в Берлине и красовалась целых сорок семь лет в Военном музее.

1918-й. Немецкие рабочие восстают. Теперь они создают Берлинскую Коммуну. Полвека — не более одного мига для короткой памяти капитализма, считающего себя вечным! Потерпевшая поражение немецкая военщина напоминает французам об оказанной им в свое

время услуге. Гинденбург добивается от маршала Фоша возвращения немецких военнопленных, в первую очередь офицеров, а также передачи пяти тысяч пулеметов. С помощью этих людей и этого оружия Коммуна Берлина будет подавлена.

— Спартаковцы-федераты Берлина,— рассказал мне Жан Лот,— измотанные, понесшие огромные потери, испытывали острейший недостаток в оружии. Они отправились в Военный музей, где была выставлена пушка «Братство», увезли ее и перелили на пули.

— Странные это были пули,— добавил Жан Лот,— в их свисте внушительно звучал голос бронзы, обращавший в бегство берлинских «версальцев»...

И это, старина Жан, была лебединая песня маленьких бронзовых грошиков из Бельвиля!

ЛАСЛО БЕНЬЯМИН

Перевод с венгерского В. КОРЧАГИНА

А что же там, с той стороны?..

Отброшены людьми дурные сны:
упали с тронов — и разбились боги,
растаял на заоблачной дороге
и тот, последний, обещавший людям
небесный рай.

Прозрев, мы поняли: в раю не будем...
И по ступеням всех семи небес
с локатором наперевес
идет на штурм искусственный разведчик:
а что же там, с той стороны
Луны?

...Истоки времени темны,
но в них — начало этого полета.
То ль голод жег, то ль чересчур красна
была в закатных отсветах луна,
но наш косматый предок отчего-то
решился вдруг злым духам вызов бросить —
дрожа, он полз, карабкался по льдам,
дабы взглянуть: а что же там,
с той стороны
горы?

А вслед, ведя отсчет от той поры,
сыны всех наций, люди разных званий,
гонимы жаждою — открытий, знаний,
наживы, паствы и завоеваний,—
надежды и решимости полны,
скакали, плыли, ехали и шли:
а что же там, с той стороны
земли?

А вслед избранники эпох, народов —
нет, не цари, не короли,
а те, кого казнили, жгли,
кого на площадь главную вели
к столбу позорному,— шли на смерть

за истину, зло называли злом,
добро — добром,
спросив себя — всего-то и вины:
а что же там, с той стороны
понятья, принципа, поступка, слова?

А вслед, не признавая рока злого,
борцы за правду трудную свою,
разбитые в отчаянном бою,
вставали снова,
чтобы огонь победы, мести
над прахом павших не угас. А вслед
любой, сидящий на безвестном месте,
у жалкого стола, меж серых стен,
вдруг возвышался — ну, хотя бы тем,
что мыслью раздвигал привычный сумрак:
а что же там, с той стороны
стола, стены?

А вслед все те, что поиску верны,
что в одержимости не знают меры,
что не утратят этой веры
и в тысячеголосом отрицанье,
все те, которым догмы — не помехи,
которым «нет» и «да» —
не цель, не окончание труда,
а только путевые вехи,—
седлают новые изобретенья:
а что же там, с той стороны
простора, выси, глубины?

Она извечна в нас, потребность эта —
искать разгадки звезд, сердец, планет,
блуждающих в потемках где-то
и вроде не дающих света...
Но те, кто все же видит этот свет,
кто даль разгадывает острым глазом,
в ком умная душа, в ком добрый разум,—
они и есть наш рост, размах, разбег,
они и говорят, что Человек
не для убийства и страданья
стоит на пьедестале мирозданья.

И, помня предков, близких и далеких,
отважных, благородных, одиноких,
мы продолжаем их порыв, усилье,
мы крепкие выковываем крылья —
и междузвездная редеет тьма.
Лелеет в нас материя сама
дух поиска, вовеки вдохновенный,—
и мы вот-вот спросить себя должны:
а что же там, с той стороны
вселенной?

ВЛОДЗИМЕЖ СЛОБОДНИК

Перевод с польского Н АСТАФЬЕВОЙ

Облака и родник

На стебле ветра даль сама себя колышет,
Словно большой цветок. Пески. Узбекистан.
Отсюда Навои со смуглой музой вышел
На песенный большак. Ты оглядись, привстань!

В арыках голубых Ферганская долина
Несет свои сады к стопам великих гор
И льет в мехи времен из вечного кувшина
Стоялое вино. Гляди, как тешит взор

Зеленая лоза, послушная ладоням
Садовника, как древний приученный зверь.
А солнце так палит, что в сон долину клонит,
Земля глаза прикрыла темные. Теперь

Ты видишь: вдаль плывет, колышется кругами
Пейзаж. И, может быть, поймешь ты Навои
И погрузишься в песнь, как в небо с облаками
И как в родник, где вновь повторены они.

Шопен

Зной. Фергана. Пирамидальный
Высокий тополь. Шум листвы.
И вдруг Шопена отзвук дальний
Доносит радио Москвы.

Верблюды шествуют степенно
По Фергане. И вдруг над ней
Шумит береза, пахнет сено
И льется, льется ширь полей.

И видится мне лик отчизны:
Не пышный красками восток,
А серые, слепые избы
И речка в зарослях осок.

И на глаза мои сплывает
Снег клавишей, как яблонь цвет,
Слезою светлой застилает,
Как лепестками, белый свет.

Фергана, 1943 г.

Кадыр

Покажу я Кадыру на запад рукой,
Где пурпурное облачко в небе повисло:
Там в реке отразился мой город родной,
А вода в ней седая, а имя ей Висла.

Мне кивает, меня понимает Кадыр,
Он влюблен в Фергану, как пленен я Варшавой,
И глядит он, как медленно меркнущий мир
Обагряется солнца ладонью кровавой.

Как с Варшавою мне, так ему с Ферганой
Невозможно расстаться — вдогонку метнется
Тополями, певучей арычной водой,
Плавным шагом верблюдов, сверканьем колодца.

Для него Фергана то же, что для меня
Ты, Варшава, собой знаменуешь и значишь:
Город, к сердцу приросший до смертного дня,
Детство, павшее в землю слезою горячей,

Юность, та, что угасла, а счастья ждала,
Зрелость, что среди бурь пронеслась торопливо...
И к страдалице-Висле склоненная ива,
И поднятые к небу два белых крыла.

Пустыня Каракум

Нет здесь цветов и деревьев. Дождь их не поит.
Небо дотла сожжено. Лишь пепел синий.
Через пустыню к руинам мчит меня поезд.
Терпкость и горечь руин есть у пустыни.

Коршун пепла небес коснулся крылами.
Или то пепел Варшавы летит в глаза мне?
Мимо пустыни, что в грудь мне вошла песками,
Мчусь я к пустыне, где нет камня на камне.

Станция. Мазанка к мазанке, стенка к стенке.
Светятся звезды, как дыры ветхого крова.
Беру простоквашу с лепешками у туркменки,
Гляжу на древнюю бронзу лица молодого.

Пустыни боится река, избегает шиповник.
И все же пески претворяются в песнь туркмена,
А песнь плывет на верблюдах и самозабвенно
В пустыне пестует сад, как добрый садовник.

ИВАН ДАВИДКОВ

Перевод с болгарского ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

Когда родился мой сын

Минский лес мне тихо шепчет,
что под звездными лучами
видишь ты свой первый сон.
Млечный Путь ладонью млечной
колыбель твою качает
под лесной, зеленый звон.

Для тебя поют негромко
партизанские поляны,
и луга, и облака.
Соткала тебе пеленку
из тончайшего тумана
белорусская река.

□ □ □

Днепр под окошком вздыхал и сердился.
Баржи глядели всю ночь из воды.
...Там, где твой дом одиноко ютился,
листья мои заметали следы.
Я уезжал. И на поезд в печали
город смотрел из густой темноты.
«Ты нас забудешь...» — мне степи сказали.
«Ты нас забудешь...» — так думала ты.

Осень опять... Воздух зыбок и влажен.
Кружатся листья в сиянье лучей.
Витоша знает... Она тебе скажет:
снится мне степь уже столько ночей!
Столько ночей ветры в окна стучатся...
Я потерял уже времени счет.
Все мне мерещится — волны лучатся,
Днепр под окошком бесшумно течет...

АЛАН СИЛЛИТОУ

Перевод с английского БОРИСА СЛУЦКОГО

В окрестностях Воронежа

Любовь в окрестностях Воронежа,
Далеких, милых и старинных.
Но что же делает любовь
В его обломках и руинах?

Весь город возродила вновь.
Погибший и узнать не сможет,
Но вспомянёт войну живой.

Из центра павшие ушли.
Из восстановленного города
Ушли в окрестность мертвецы.
В составе почвы и снегов
Стоят неколебимо-гордые
На дальних подступах к Воронежу.

Евразия – вид с лайнера

Границы тают в солончаках,
Обозначенные то курганами,
То занесенной снегами избой.
Вьюга крушит леса и озера.
Нефть пятнает дунаи и каспии.
Дерево переживает камень.

То ли Азия, то ли Европа.
Любовь, как боль,
Как разрыв сердца,
Как кровоизлияние в мозг.
Где бы ни болело, всюду больно.
Любовники, разделенные или связанные
Обманчивыми реками,
Делающими что им захочется.

Границы, стертые там, где стерлядь
Уходит от барж и камыша
На песчаные отмели Астрахани.

Евразийская любимая земля,
Бескрайняя, как извилистый пробег звезд
Над степями и лугами.
Исчезает Бердичев, похожий на цветок на крыле.
Пассажиры лайнера едят свой завтрак
И рвутся к экзотике,
Чтобы изведать
Ее жажду, ее жесткость
И встретить,
То ли случайно,
То ли благодаря выглянувшей луне,
Границу, наплывающую на границу
И переходящую в сон.

Сибирское озеро

Лед на озере трещит,
И тотем птицеголовый
К солнечному отраженью
Крепко пригвожден лучами.
Тает черный лед. Без звука,
Без причины ближе сумрак.
Глубь ведет его за плечи,
Как гиганта, снега ждущего.

Холод в девяносто градусов
Комаров хранит личинки.
Гибнут здесь не ото льда —
От огня, когда кулак
Снега всунут в рукавицу
Солнца.

Летняя теплынь отметит
Этот берег. У воды
Общая, как прежде, жизнь:
Продолжает таять лед.
Я иду и наблюдаю
Купол солнца, прикасающийся
К горизонту.
Тотем посредине озера
Тонет, уходя на дно,
В пламя солнца отраженное,
Загораясь от него.

Критика

СЛОВО — ПЕРЕВОДЧИКАМ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мы часто говорим о советской книге за рубежом как о чем-то привычном, само собой разумеющемся, не всегда достаточно задумываясь над тем, какой глубокий смысл стоит за этими словами. А ведь пять десятилетий истории советской литературы — это пять десятилетий ожесточенной борьбы вокруг нее за пределами нашей страны, запретов, заговоров молчания, фальсификации, клеветы, истории бурных идейных и эстетических споров, преодоления предубеждений, разрушения ложных легенд, завоевания советской литературой широчайшего признания, поистине всемирной читательской аудитории.

Наши идеологические противники боролись и борются против советской литературы любыми средствами именно потому, что понимают силу ее революционизирующего воздействия на умы и сердца людей. Эстетическое новаторство советской литературы утверждает жизненность искусства социалистического реализма, оказывая тем самым огромное влияние на современный мировой литературный процесс.

При этом советская литература все шире и шире предстает перед зарубежным читателем как литература многонациональная в полном объеме этого понятия. Еще на Первом съезде советских писателей Максим Горький говорил о том, что «разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое». За четыре десятилетия, прошедших с тех пор, в ходе бурного развития культур всех советских народов, больших и малых, выдвинулось множество талантов первой величины, и известность их далеко перешагнула границы Советского Союза. Со всей очевидностью этот процесс демонстрирует перед всем миром торжество ленинской национальной политики.

У советской литературы за рубежами нашей страны много друзей. Среди ее горячих пропагандистов были Анри Барбюс и Ромен Роллан, Иоганнес Бехер и Бертольт Брехт, Владислав Броневский и Чезар Петреску, Юлиус Фучик и Лу Синь. Высокие традиции, заложенные ими и освещенные их авторитетом художников и мыслителей, развивают вот уже несколько поколений деятелей литературы, и круг стран, которые они представляют, постоянно растет. Сегодня языки, на которые переводится советская литература, исчисляются многими десятками, а переведенные книги — многими тысячами названий. Давно прошло то время, когда советскую литературу можно было просто запретить или замолчать. Она вошла в сознание миллионов людей всего земного шара.

Говоря о цифрах, мы не можем забывать, естественно, о людях, стоящих за ними — о переводчиках и пропагандистах советской литературы. Они живут и трудятся

в самых разных странах, в разных условиях, у них разные творческие судьбы, и они по-разному пришли к делу, которому отдают свои творческие силы, а иногда свободу или даже самое жизнь. Многие из них не раз бывали в Советском Союзе. Регулярно, каждые два года Союз писателей СССР проводит представительные международные встречи переводчиков и издателей советской литературы. Их благородный труд получает заслуженное признание в нашей стране: немало зарубежных писателей — переводчиков советской литературы награждены орденами Советского Союза. В 1972 году, в честь 50-летия образования СССР, Союз писателей СССР учредил премии имени А. М. Горького как знак признательности и уважения к творческому труду зарубежных коллег на всех континентах, к их труду, давшему возможность народам мира познать творения советской литературы, а через эти творения — жизнь, борьбу, мысли и чувства советского человека. Учредил свою премию и Советский фонд мира, тем самым подчеркивая, как неразрывно связано интернационалистское дело переводчиков нашей литературы с великим делом борьбы за мир и взаимопонимание между народами.

Первыми лауреатами премии имени А. М. Горького стали Людмил Стоянов (Болгария), Жужа Раб (Венгрия), Лизелотта Ремане (ГДР), Йоситаро Йокэмура (Япония), Лили Дени (Франция). Первым лауреатом премии Советского фонда мира — Гуго Гупперт (Австрия).

Микола Бажан, председатель жюри по присуждению премий имени А. М. Горького, говорил при их вручении: «Разумеется, достойных неизмеримо больше. Глубоко благодарны советские писатели своим польским друзьям, так много делающим для ознакомления читателя Народной Польши с произведениями русской, украинской, белорусской, литовской, грузинской и других литератур наших народов. То же мы говорим о писателях — переводчиках на румынский язык, на языки народов Югославии, на монгольский и корейский языки. Мы знаем, как ценен труд итальянских исследователей, пропагандистов и переводчиков русской литературы. Доказательством этому — недавно проведенный в Венеции интереснейший симпозиум, посвященный Достоевскому... Не могу не сказать, что одновременно с ценными трудами по переводу произведений многонациональной советской литературы в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Федеративной Республике Германии там появляются книги, сделанные с целью антисоветской и антикоммунистической пропаганды, не останавливающейся перед прямыми извращениями текстов, перед фальсификацией. Этой стряпне противостоит ряд книг, превосходно, со знанием дела изданных настоящими знатоками и ценителями как русской, так и литератур других народов Советского Союза. Представителям их разрешите передать самую глубокую благодарность, так же, как переводчикам нашей литературы на испанский язык и в самой Испании, и в странах Латинской Америки. Дорог для нас труд писателей арабских, писателей Индии. Не перечислить все языки, на которые переводятся сейчас книги литератур советских народов, где ведущее место по праву занимает великая, давно уже имеющая всечеловеческое значение и мировую славу, русская литература. Мы, писатели народов Советского Союза, знаем, какую благотворную роль сыграла эта передовая литература в деле развития наших культур, наших литератур, наших языков.

Пятьдесят лет свободного развития наших литератур, уже как многонациональной и единой в своей коммунистической устремленности части советской культуры, еще более углубили наше братское общение с культурой русского народа, сделали русский язык могучим орудием взаимосвязи и сплочения советских народов.

В дни празднования 50-летия первого в мире социалистического государства мы, писатели всех наций и национальностей Советского Союза, на языке которых существует и развивается литература, с радостью и благодарностью жмем руку зарубежных друзей, переводчиков наших произведений на различные языки народов мира».

Редакция «Иностранной литературы» предоставляет в этом номере слово переводчикам советской литературы из разных стран. Они рассказывают о своем творческом пути, о своей работе, об откликах, которые находят переведенные ими книги советских писателей.

НИКОЛАЙ АНТОНОВ (Болгария)

СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ Я ОТДАЮ ПРЕДПОЧТЕНИЕ

До победы болгарской социалистической революции я, как и мои сверстники, учился еще в школе. Советская литература, советская поэзия и Советская страна представлялись нам чем-то далеким и недоступным. Мы горячо их любили, стремились узнать, но всякое упоминание о них влекло за собой официальное преследование — за любовь к ним платили дорогой ценой. Однако эта любовь изо дня в день разгоралась все сильнее. Я и сейчас помню и буду помнить всю жизнь томик «Антологии русской советской поэзии», составленной и переведенной Христо Радевским и изданной у нас в преддверии второй мировой войны; переходивший из рук в руки, я бы сказал, из сердца в сердце, он стал подобен реликвии. Истрепанные от бесконечного перелистывания, многократно подклеенные страницы его едва держались.

Эта небольшая, трудной судьбы книга несла на себе печать нового мира, смелых и дерзновенных устремлений. В ней говорилось о будущем, она дышала оптимизмом многомиллионной страны «одной шестой» части планеты — ее самой прекрасной части. Эта поэзия была с начала до конца новаторской, она звала и окрыляла, она внушала веру, она воодушевляла — потому что сама была вдохновлена жизнью и будущим.

Моя первая встреча с советской поэзией поразила меня так, что я до сих пор не могу переводить ничего, кроме нее. Позднее я познакомился и с поэзией других народов. Но эта первая любовь к советской поэзии сохранилась. И все, что я уже перевел за четверть века, принадлежит именно этой поэзии.

Она необъятна, как страна, которая ее вдохновляет. В ней каждый может найти свою «область», своего поэта, свою тему — и работать всю жизнь.

Первая тема, которую я открыл в ней для себя,— это тема Великой Отечественной войны.

В 1944 году мы встретили советские танки в Болгарии и забросали цветами советских бойцов — мы были счастливы, что в нашей стране столько цветов. В сознании болгарского народа понятие свободы — неотделимое от судьбы родины — связано с Россией, с Советской Армией, с советскими воинами. С их застенчивой улыбкой, с усталостью на их лицах, лицах людей, переживших столько тревог и испытаний.

Вот почему с таким увлечением я взялся за переводы советской поэзии времен Великой Отечественной войны. Впрочем, никто не станет отрицать, что советская поэзия этих неповторимых лет — явление исключительное. Великое испытание, выпавшее на долю Советской страны, было испытанием и для советских поэтов, для советской литературы и поэзии. Советская страна мужественно, с богатырским мечом в руках отразила этот удар и добилась трудной, но бесценной для всего человечества победы, и советская поэзия показала себя достойной событий, поднялась «на гребень волны».

В этой многоголосой поэзии я каждый день открывал все новые имена и темы. Это не были военные стихи в узком смысле слова. Речь в них, конечно, шла о сражениях, каждое стихотворение дышало военной героикой — но в то же время это была поэзия великой социалистической страны, прошедшей испытания войны, поэзия социализма, вынужденного отстаивать себя в жестокой схватке с коварным врагом. В этой поэзии мудрые баллады Тихонова стояли рядом с призывными стихами Первомайского, мужественные строфы Суркова соседствовали с песнями Исаковского, эпическая лирика Кулешова—с героической эпикой, созданной Инбер, Твардовским, Коласом, Тычиной, Антокольским и еще многими другими.

Советская поэзия Великой Отечественной войны — это бессмертное подразделение, навеки зачисленное под красные знамена победы, покрывшее оружие-перо неувядаемой боевой славой.

В то время я изучал медицину, но по существу занимался только переводом советской поэзии. Мы пережили трудные годы, когда многого не хватало, но воодушевления было в избытке, и это компенсировало все остальное. Каждый день прибавлял к моей «коллекции» все новые и новые стихи, и через несколько лет я с радостью любовался толстой папкой переводов, большей частью уже опубликованных.

Тогда у меня возникла идея объединить переведенные мною военные стихи в самостоятельную книгу, издать антологию. В то время еще не было сборников поэтов-фронтовиков, более или менее полно представляющих советскую поэзию периода Отечественной войны. Это затрудняло мою задачу, но энтузиазм помогал преодолеть все трудности.

Так появился на свет сборник «Поэзия победы», напечатанный болгарским Государственным военным издательством. В этот сборник входило около 12 тысяч строк, принадлежавших более чем 120 поэтам различных национальностей. Чтобы представить советскую поэзию как можно полнее, я перевел стихи поэтов всех советских республик, использовав их русскую интерпретацию. Я снабдил сборник комментариями и библиографическими данными, издательство, со своей стороны, также приложило все усилия, и в результате получилась книга, на которую я и сейчас смотрю с чувством удовлетворения.

СЛОВО — ПЕРЕВОДЧИКАМ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Тем временем болгарские издательства расширили работу по переводу советской литературы. Христо Радевский в издательстве «Народна култура» создал серию «Советские поэты», которой было суждено занять прочное место в нашей литературе, привлечь многих поэтов-переводчиков, завоевать популярность, стать знаменательным явлением литературной жизни. Насколько мне известно, нигде еще нет такой серии, в которой на протяжении многих лет регулярно бы выходили сотни отдельных изданий избранных стихотворений советских поэтов.

Первой книгой этой серии стали «Избранные стихи» Николая Тихонова. Радевский поручил мне перевести «Киров с нами», «Слово о двадцати восьми гвардейцах» и еще несколько стихотворений.

Переводы осуществлялись по-разному; отдельные книги иногда «доверялись» одному человеку, а порой «распределялись» между несколькими переводчиками — но и в первом, и во втором случаях налицо было то творческое соревнование, которое приносит хорошие результаты и заставляет каждого поэта тщательно отделывать свою работу.

Когда встанет вопрос об изучении болгарской переводческой поэтической школы, работа болгарских поэтов в серии «Советские поэты», очевидно, будет рассматриваться во множестве аспектов, один из которых — ее благотворное влияние на болгарскую литературу.

И вот я подхожу к одному из наиболее важных вопросов: перевод советской поэзии у нас является делом сердечного влечения, тесно связанным с конкретными актуальными проблемами болгарского литературного процесса. Болгарских граждан, знающих русский язык и читающих в оригинале художественную литературу — прозу и поэзию, уже так много, что на первый взгляд может показаться излишним переводить в этих условиях с русского на болгарский.

И все же русскую и советскую поэзию у нас переводят и будут переводить даже тогда, когда каждый болгарин в совершенстве овладеет русским языком. Потому что перевод советской поэзии имеет для болгарской литературы особое значение. Мне кажется, именно этим определяется и мое личное творческое пристрастие к этой поэзии. Для нас жизненно важны те поэтические открытия, которые советские поэты делают каждый день во имя своего народа и социализма, коммунистического строительства и будущего.

Вот почему у нас в стране так понимают и высоко ценят советскую поэзию. Мы всегда утверждали, что наша литература развивалась под влиянием русской и советской литературы, имея в виду то сотрудничество в области художественных идей, которое выражает самые прекрасные стремления наших народов, наши общие убеждения, нашу общую судьбу, наши представления о будущем, вылившиеся в светлый и священный коммунистический идеал. Вот почему в Болгарии интерес к советской литературе всегда «злободневен» — каждое значительное явление в советской литературе тут же включается в издательскую практику, а это значит — ставится на службу текущего дня, социалистического и коммунистического строительства.

«Испытав» себя на переводах различных советских поэтов, я решил однажды взяться за Маяковского и начал переводить его поэму «Хорошо!». Христо Радевский несколько раз до этого шутливо намекал мне: «Не попробуешь ли?» Но меня сковывало чувство, очень близкое к страху,— чувство, что Маяковский мне не удастся. Этот поэт был мне чрезвычайно близок и в то же время больше всего пугал меня возможностью неудачи.

Тем временем учеба моя подходила к концу, но все шло по-старому: весь год я переводил, а за несколько недель до сессии начинал готовиться к экзаменам. В сущности, от года к году переводческая работа отнимала у меня все больше времени, и оценки, получаемые мною на экзаменах, становились все ниже, но я утешал себя мыслью, что в переводческой работе я, вероятно, делаю успехи. Так или иначе, мои переводы издавали, и я «перешел в переводчики».

Наряду с переводами печатались и мои собственные стихи. Как поэта меня не признавали, но сделанное мною как переводчиком не оспаривали.

С Маяковским я, как говорится, попал впросак: до такой степени углубился в работу над переводами его стихов, что незаметно для себя начал осмысливать мир и в своих стихах «по Маяковскому» — воспринял его интонации, вошел в русло его образов.

И когда я опубликовал книжку своих стихов того времени, прозорливая критика очень легко обнаружила в них влияние великого советского поэта и, разумеется, не простила мне этого светлого греха.

Но все, что ни случается, к лучшему: мои переводы из Маяковского были встречены одобрительно, и я продолжал — после публикации поэмы «Хорошо!» — одно за другим переводить стихи этого замечательного поэта.

Сейчас мною переведен на болгарский почти весь Маяковский, и эта работа в течение многих лет приносила мне истинно творческое удовлетворение, наполняла меня уверенностью, что я делаю нечто важное и ответственное.

Проникая в творческую лабораторию великого советского поэта, я заинтересовался вопросами литературного труда; изучая варианты каждого произведения поэта, я углублялся в сложную проблематику его творческого процесса. День за днем эта работа увлекала меня все больше, и постепенно возникла идея написать критическое исследование о творческом методе Маяковского.

Подобный труд не мог не носить характера диссертации, и я предложил свою тему Софийскому университету. Тема сама по себе понравилась, но возникло неожиданное препятствие: я закончил медицинский факультет, а для защиты предлагал «филологическую» тему. Есть ли для этого основания? Мое предложение отклонили.

Но я уже втянулся в работу и фактически писал диссертацию. Закончив, предложил ее снова. Теперь вопрос, могу я или нет, как медик, защищать кандидатскую диссертацию по литературе, отпал автоматически. Надо было оценить, действительно ли это диссертация — и только. Любовь к советскому поэту помогла мне, вероятно, больше всего — диссертацию приняли. Я защитил ее, и вскоре, в переработанном виде, она вышла отдельным изданием.

Мне хочется рассказать еще об одной своей работе, которая доставила мне светлую радость и стоила многих слез: перевод «Василия Теркина». Поэма Твардовского была уже переведена на болгарский Благой Димитровой (перевод вышел в 1948 году). Перевод отличался высоким качеством и был очень хорошо встречен.

Я лично являюсь сторонником концепции, что гениальное литературное сочинение может переводиться многократно не столько ради достижения «единственного» конгениального варианта, сколько потому, что такое произведение «неисчерпаемо» и принесет творческое удовлетворение многим переводчикам. В этом отношении я могу опереться на примеры из болгарской литературы. На болгарском языке существует девять поэтических переводов «Евгения Онегина»— некоторые из них свидетельствуют о том, что новый вариант может быть совершеннее предыдущего. Словно от перевода к переводу преодолевались барьеры высоких художественных требований, и каждый следующий результат удовлетворял все больше и больше, не исключая, однако, возможности появления нового варианта. И хотя сейчас у нас есть отличный перевод «Евгения Онегина», сделанный Григором Ленковым, через какое-то время мы можем прочитать другой, новый перевод, обладающий такими же высокими достоинствами, но не «повторяющий» предыдущего варианта.

Подтверждением для меня служит и моя собственная работа: после опубликования поэмы «Хорошо!» в 1951 году я основательно переработал свой перевод, так что в новом издании он вышел почти как сделанный заново. А сейчас я располагаю уже третьим вариантом, которым очень дорожу. Очевидно, я еще вернусь к этой поэме: гениальное произведение неисчерпаемо для перевода!

Над переводом «Василия Теркина» я работал несколько лет. В это время я переписывался с автором, следовал некоторым его указаниям. К сожалению, когда я приезжал в Москву, Твардовского там не было — и я так и не встретился с ним... Я храню его письма, помню и добрую оценку, которую он дал моему труду. Я знаю, что в таких случаях автор, как правило, хвалит переводчика, но не могу забыть и того радостного волнения, которое сопутствовало мне в работе от первой до последней главы поэмы.

Иногда я спорю с поэтами, сомневающимися, нужно ли заниматься переводами и не целесообразнее ли все силы отдавать собственному творчеству. Может быть, это справедливо по отношению к переводам поэзии и литературы других народов. Но когда переводишь советскую поэзию, участвуешь в деле, жизненно необходимом для такой социалистической страны, как Болгария. Эстетические ценности, создаваемые советскими поэтами и интерпретированные болгарскими, сразу вливаются в наш национальный литературный процесс и приносят огромную пользу. Мы, болгары, привыкли смотреть на работу советских поэтов как на работу наших братьев. А дело братьев — это наше дело.

Это подтверждается и той самоотверженностью, с какой в Болгарии переводят советскую поэзию. Нет болгарского поэта, который бы не переводил стихов своего советского собрата. Это знаменательно.

Я бесконечно счастлив, что работаю в области художественного перевода,— советская поэзия подарила мне неповторимые мгновения, и для меня не существует никакой альтернативы в этом вопросе. Если бы я снова родился и снова взялся за литературную работу, я бы переводил советскую поэзию!

Любовь к этой поэзии и преклонение перед нею определяют содержание и смысл моей литературной деятельности, всего, что я могу сделать для моей родины.

ЛИЛИ ДЕНИ (Франция)

ОТКРЫВАТЬ НОВОЕ

Общеизвестно, что литературный перевод — это звено, которое связывает разные народы и разные культуры. Переводы необходимы, чтобы познать историю, быт и проблемы другой страны.

Вкус меда нельзя объяснить, его нужно попробовать. Для французов, например, все статьи, впечатления и путевые заметки очевидцев, побывавших в Советском Союзе, остаются мертвой буквой до тех пор, пока они не прочитают о том же в талантливом, мастерски сделанном художественном произведении русского или советского автора. И только тогда все реалии прошлого и приметы настоящего обретают для них жизненную весомость.

Кроме того, переводы с других языков влияют и на развитие национальной литературы, потому что художественная манера переводимых авторов неизбежно сказы-

вается на творчестве писателей, создающих оригинальные произведения. Например, не будь Оссиана, французский романтизм наверняка пошел бы по другому руслу.

Сама я не представляю свою жизнь вне переводческого труда. Еще в восьмилетнем возрасте, занимаясь английским, я переводила с него на французский все, что попадалось под руку. Изучив русский язык, я уже полностью посвятила себя переводческой деятельности.

За двенадцать лет я перевела с русского 39 книг. Невозможно перечислить всех авторов, назову лишь некоторые имена. За «Смерть Вазира Мухтара» Ю. Тынянова я получила в 1969 году премию как за лучший перевод года (перевод с русского впервые удостаивался этой премии); а «Остров Сахалин» А. П. Чехова, до 1971 года не переводившийся во Франции, вызвал очень много откликов в прессе и был тепло встречен читателями, которые высоко оценили мужество и гражданственность этого замечательного писателя. Незнакомые люди звонили мне по телефону и благодарили за то, что я открыла им «Остров Сахалин».

Когда я работала над переводом «Белого парохода» Ч. Айтматова, меня, как всегда, поражала четкость, прозрачная ясность его стиля и языка, а также своеобразный поэтический настрой, который придает повести древняя народная легенда о Рогатой матери-оленихе. И хотя писатель рассказывает о мальчике-сироте, не знающем, что такое родительская ласка, книга эта воспевает материнство. А миф, придуманный самим мальчиком, говорит о том, что и в наши дни невозможно жить без сказки и мечты, как и без того возвышенного чувства прекрасного, которое пронизывает «Белый пароход» и составляет, быть может, главную черту художественного дарования Айтматова. Все это хорошо поняли наши читатели и критика.

С интересом встречают у нас и книги В. Аксенова. Меня привлекает в нем жизнелюбие, живость мысли, юмор. В настоящий момент я как раз приступаю к переводу его романа-хроники «Любовь к электричеству». Речь идет о событиях 1905 года, но поставленные автором вопросы созвучны с теми заботами и проблемами, которыми живет французская молодежь 1972 года.

С русского языка я перевела также девять книг среднеазиатских писателей. Разумеется, при переводе с языка-посредника в какой-то степени может утратиться национальный колорит, но приходится идти по этому пути, так как произведения, повествующие о переменах в жизни советских республик, имеют для французов огромное познавательное значение.

Французских читателей особенно интересуют книги, в которых они обнаруживают для себя что-то новое, до сих пор неизвестное: нравы и обычаи других народов, их историю, сегодняшнюю жизнь, психологию современника или человека, жившего в далеком прошлом, его внутренний, духовный мир; а с другой стороны — находки в области стиля, оригинальные художественные приемы, своеобразие творческого метода. И все это они могут почерпнуть в лучших произведениях многонациональной советской литературы.

СИМОН ДРАКУЛ (Югославия)

ВДОХНОВЕНИЕ И ТРУД

Мне представляется, что перевод литературных произведений на язык другого народа больше, чем какой-либо другой вид творчества, зависит от отношения автора к своему труду. Им движет надежда, что перевод даст возможность поделиться с читателем личными открытиями и переживаниями, и любовь к читателю, к родному языку, к своему народу, который благодаря каждому новому переводу приобретает все большую возможность духовного общения с миром, с человечеством.

Даже самому себе мне трудно с предельной точностью ответить, почему я выбрал деятельность переводчика, которую считаю своим вторым призванием. Что заставляет иногда пересилить желание написать новый роман, сценарий, драму, рассказ и взяться за перевод? Первопричиной служит та полнейшая свобода самовыражения, которую обещает процесс перевода, хотя в то же время переводчик знает, что уже с самого начала он ограничен в своих действиях и зачастую его ждут непреодолимые препятствия.

Итак, что такое перевод? Это прежде всего выбор автора, произведения, культуры. Этот процесс начинается с первой встречи с писателем, с желания как можно скорее представить его читателю, которое бывает столь же властно, как и желание поделиться своими собственными мыслями.

Переводом я впервые занялся, когда однажды, читая в больнице Маяковского, начал записывать на македонском языке строки его поэмы «Флейта-позвоночник», а затем перешел к стихам Брюсова (чрезвычайно неподатливый, «тяжелый», но вдохновляющий поэт).

В больнице же в одном из осенних номеров «Невы» я обнаружил вторую часть «Поднятой целины» Шолохова. В дальнейшем я заинтересовался творчеством Леонова, Достоевского, Бабеля и других.

Интересен случай с «Апельсинами из Марокко» Аксенова. Произошло это во время первомайских праздников. «Юность» я получил накануне, сразу прочитал повесть, и она меня так захватила, что уже во второй половине дня, не договорившись с из-

дательством (все нормальные люди в эти дни отдыхали), я принялся ее переводить. Праздники закончились — «Апельсины» лежали на столе редактора. Перевод приняли, он вышел на македонском языке, быть может, быстрее всех других переводов и оставил свой след.

Разумеется, иначе обстоит дело с переводом романа «Война и мир». Здесь нужны не только вдохновение, но и упорство, длительный разбег (одной любви с первого взгляда мало), изучение, которое длится годы, подобно намерению переплыть океан.

Пока все спят, ты пытаешься подчинить себе необъятное пространство и время, настолько необъятное, что оно почти поглощает всего тебя, но теряешь и ориентацию, и нужные слова; тебя охватывает чувство бесконечности, подобное судьбе. В работе над переводом романа Толстого я пришел к интересным для себя открытиям в связи с его стилем. Стиль Толстого, такой легкий для чтения, при переводе вызывает непредвиденные осложнения, которые в то же время делают более близким и осязаемым мастерство художника. Это знаменитые периоды Толстого, смены тональности, которые и образуют самобытную партитуру романа-колосса. Для меня как читателя она оставалась неизведанной. Как переводчику — принесла огромный и вдохновенный труд. Великий писатель завершает часть или главу романа в одном неповторимом ритме, а затем появляется совсем другой внутренний ритм — глубины словесного выражения неисчерпаемы; этим новым ритмом начинается новая глава, новая часть. А внешне, кажется, ничто не изменилось. И пока ты старался овладеть этим только что возникшим ритмом, пока ты бился над ним, следующая страница вновь готовит тебе похожую или еще более глубокую пропасть. Чтобы передать ритм, избранный писателем, требуется огромное упорство и выдержка, нельзя идти по легкому пути. Читатель постигает кризис Пьера Безухова, его самоанализ, глубоко скрытую человеческую драму, столкновение идеалов и действительности, а выражено все это тончайшими нюансами богатейшей палитры красок. Но спросите, как чувствует себя переводчик перед этой стихией, которая грозит поглотить его или отбросить, перед силой, которая ни на йоту не может быть смягчена, а должна оставаться сама собой!

Вот почему, подходя к труду переводчика с этой меркой, берясь за каждый новый перевод, я всегда вновь и вновь испытываю трепет, не меньший, чем перед выходом в свет собственного произведения. В этом я вижу благородство переводческого труда. Если он успешен, значит, успешным оказалось твое незаметное посредничество между писателем и читателем, между одним и другим языком, посредничество, которое часто обходят молчанием, ибо оно, на первый взгляд, несущественно. Но приятно сознавать, что без твоего участия Толстой не вошел бы в сознание молодого человека твоей страны и это место в «менделеевской таблице» культуры Македонии осталось бы незаполненным, что было бы непростительным упущением. Нам дороги и Толстой, и Шолохов, и Леонов, и Достоевский, и Бабель. Вот как я представляю себе назначение переводчика в наши дни. И надеюсь, что мой опыт в этой области был плодотворным.

МИРИАМ МОРТОН (США)

«ИСПОВЕДЬ» ПЕРЕВОДЧИКА

Профессию переводчика — со всеми ее успехами и неудачами — я избрала совершенно неожиданно. Ни образование, ни последующая затем работа вовсе не толкали меня на путь перевода. Сначала я работала в приюте для сирот, затем преподавала в школе ясельных воспитателей, а позже, обзаведясь семьей, стала редактировать труды по детской психологии и социологии. Иногда, правда, прочитав талантливый перевод с русского, я чувствовала, как где-то в глубине души вдруг возникает смутная надежда, что и мне представится возможность выразить свою любовь к русской литературе, и я переведу на английский язык какую-нибудь хорошую книгу.

Но проходили годы — годы, заполненные делами и обязанностями, даже отдаленно не связанными с литературой. А потом, в один знаменательный вечер 1961 года, я попала на лекцию преподавателя детской литературы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Профессор Фрэнсис Кларк Сэйерс только что вернулась после месячного пребывания в Советском Союзе, где она посещала библиотеки и детские литературные кружки. И привезла с собой около двух сотен детских книг советских писателей, которые подарила Специальному коллекционному отделу университетской библиотеки. Часть этих книг она раздала для обозрения прямо с кафедры, во время лекции. Профессор Сэйерс рассказала аудитории о постановке дела в детских библиотеках СССР и о детях, с которыми она встречалась. И то и другое произвело на нее огромное впечатление.

С особым энтузиазмом говорила она о советских подростках, о том, как они необыкновенно приветливы со взрослыми и

очень естественны, что абсолютно не свойственно американским детям XX столетия; они многим интересуются, многого стремятся достичь, горячо желают работать на благо общества и вообще чрезвычайно обаятельны! К сожалению, она не могла остаться на более долгий срок, изучить и понять, что же делает советского ребенка столь гармоничным и ярким. Она была увлечена, восхищена, и ее рассказы совершенно покорили меня.

И я решила, что пока у меня нет возможности самой съездить в Советский Союз и на месте разобраться, что же делает советских детей такими привлекательными, я должна поискать ответ, хотя бы частичный, в книгах, которые эти дети читают. Я едва дождалась дня, когда смогла отправиться в университетскую библиотеку и углубиться в литературу, привезенную Фрэнсис Кларк Сэйерс. Много, очень много лет прошло с тех пор, как я, девочка, родившаяся в России, испытывала радость от чтения русской книги. И теперь какое это было наслаждение держать ее в руках, перелистывать, читать и приобщаться к человеческим идеалам, искусству, сильным, искренним чувствам, к веселью и юмору советских повестей для юного читателя. Восхитительное открытие духовного мира советского ребенка одновременно явилось для меня волнующим возвращением назад, в детство, проведенное в России. И я снова и снова бралась за эти книги, пока не прочла их все.

Во время чтения мне бросились в глаза многократные упоминания имени Корнея Чуковского и его «От двух до пяти». Это так меня заинтересовало, что я принялась разыскивать книгу Чуковского. Мне посчастливилось найти минское издание 1959 года, и я немедленно взялась за перевод. Я была абсолютно убеждена, что это мудрое и оригинальное исследование сознания дошкольников непременно должно стать достоянием народов, говорящих на английском языке. В октябре 1963 года книга в моем переводе была опубликована в издании Калифорнийского университета. Она и сейчас продолжает выходить — в дорогих изданиях и дешевым массовым тиражом. Ее по-прежнему широко используют в учебных курсах по воспитанию дошкольников и по библиотечному делу, в лекциях по детской психологии и в детской литературе. Мало того. Ее читают сотни учителей, писателей, библиотекарей и родителей в Соединенных Штатах, в Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Об этом моем первом шаге на поприще перевода я могу говорить бесконечно, но мне еще нужно рассказать о своей дальнейшей работе в качестве переводчика, и потому я только добавлю, что Корней Чуковский остался очень доволен моим переводом. День, когда я получила его добрый отзыв и экземпляр книги в подарок (в более позднем издании), был для меня воистину счастливым днем, особенно когда я прочитала написанные им теплые слова об «отличном переводе» его прозы.

Рут Хилл Вигерс, редактор журнала «Хорн бук мэгэзин» (американский вариант вашей «Детской литературы»), в своей рецензии на книгу Чуковского высказала мнение большинства читателей. Она пишет: «В нашей стране распространение среди библиотекарей, педагогов, родителей, писателей и издателей идей этого замечательного человека может вызвать в области детской литературы революцию, равную по значению той, что происходит в области науки и образования». В 1964 году Американская ассоциация по проблемам воспитания признала перевод книги «От двух до пяти» одной из лучших книг года.

Вскоре после выхода ее в свет в журнале «Нью-Йорк таймс бук ревью» (июнь, 1964) появилась статья о советской литературе для детей. Она была составлена в форме двадцати вопросов и ответов и в качестве иллюстрации включала рисунок из книги Чуковского. Эта статья подтвердила, что опубликование английского перевода книги «От двух до пяти» в США способствовало росту интереса к детской литературе Советского Союза. Прочитав статью, я немедленно позвонила в издательство Калифорнийского университета и предложила им составить антологию советской литературы для детей. Через два с половиной года после этого звонка — в октябре 1967 года — из печати вышел мой сборник лучших советских произведений для детей («A Hearvest of Russian Children's Literature»). В него вошло 100 произведений: 53 из них принадлежат перу дореволюционных писателей, 47 — перу советских. В книге — 100 иллюстраций. Там, где возможно, я использовала переводы, сделанные в Советском Союзе, но больше половины произведений переведено мною. Ассоциация американских библиотек признала антологию «замечательной книгой», а журнал «Скул лайбрари» — «выдающейся книгой года». Одобрительную оценку дала в своей рецензии Анна Пелловская — директор Центра ЮНЕСКО по изучению детской культуры: «Эта книга должна стать обязательным пособием педагога... и каждого библиотекаря, который когда-либо пытался удовлетворить интерес детей к литературе о России. Эта антология может оказаться куда более эффективным источником при изучении Советского Союза, нежели почти все доступные нам учебные пособия». Судя по замечаниям учителей и библиотекарей, они разделяют точку зрения А. Пелловской на возможность использования антологии в этих целях.

Сотрудник главной детской библиотеки одного из университетских городов говорил мне, что у них эта книга зачитана буквально до дыр — так много школьников использовали ее для докладов о жизни Советского Союза.

В антологию вошли произведения таких советских писателей, как Чуковский, Блок, Горький, Паустовский, Носов, Лагин, Кассиль, Катаев, Шолохов, Полевой, Пришвин, А. Толстой, Маршак, Барто, Михалков, Олеша и многие другие.

После этой антологии в США появилось не менее двадцати подобных книг, в том числе и мои переводы рассказов Шолохова «Жеребенок», «Нахаленок» и «Судьба че-

ловека» под общим названием «Жестокие и добрые воины» (1967), а также трогательная повесть Семена Розенфельда «Первая песня» — о музыкально одаренном мальчике, пережившем бурные дни революционной Одессы 1905 года. Рассказы Шолохова получили премию на Весеннем книжном фестивале 1968 года, организованном журналом «Бук уик». Составленная мною антология и книги, постепенно выходившие после нее, дали возможность англоязычным народам познакомиться с наиболее интересными образцами советской литературы для детей. Возрос также интерес к тем произведениям русских классиков, которые читают советские дети. Я, например, перевела девять рассказов Чехова и 22 сказки для самых маленьких Льва Толстого. Кроме того, в США изданы все сказки Пушкина и сборник басен Крылова.

Обидно, что среди книг для юношества все еще нет повестей Гайдара, Катаева, стихов Маяковского. Но и по сей день чрезвычайно трудно заинтересовать американских издателей и библиотекарей теми советскими произведениями для детей, в которых отражена социальная борьба. В таких случаях не помогают ни художественные достоинства, ни гуманистические идеалы, ни правда жизни, воплощенные в этих книгах; их отвергают из-за идейного и политического содержания. Но будем надеяться, что настанет день, когда все эти соображения останутся в далеком прошлом.

Можно с уверенностью сказать, что и маленькие американцы, и дети других англоязычных стран с пониманием и сочувствием относятся к жизни, чаяниям, горестям и радостям своих русских сверстников, о которых они узнают из произведений советских авторов. При чтении курса мировой литературы, после того как преподаватель предложил аудитории прочитать три военных рассказа Шолохова в моем переводе (вышеупомянутый сборник «Жестокие и добрые воины»), некоторые студенты уже не расставались с этой книгой, ибо, по словам одного из них, «писатель рассказал в ней столько прекрасного о любви людей друг к другу»...

Я читала свои переводы многим школьникам. Их реакция неизменно вызывала чувство глубокого удовлетворения. После чтения «Муму» Тургенева в группе двенадцатилетних школьников наступила взволнованная тишина, а затем последовал взрыв негодования против жестокого обращения с немым крепостным и его несчастной собакой. Чтение «Тараканища» дошкольникам закончилось под всеобщий вопль восторга по поводу бесславной кончины мучителя. И после каждого из таких чтений ко мне подходили дети и с гордостью сообщали, что их деды или прадеды родились в России. Дети, которые обычно немного стеснялись, а порой даже стыдились, что их близкие — выходцы из чужой страны, теперь, после восторга и волнения, испытанных при чтении русского рассказа или стихов, отбрасывали предрассудки и гордо сообщали, что их предки родом из России. И порой со свойственной детям бесхитростностью просили, чтобы я перевела на русский язык их американские имена.

Кроме русского языка, который я не забыла, несмотря на то что была увезена в Америку еще ребенком (в 1921 году из Бессарабии, входившей тогда в состав Румынии), я владею также французским. Вот почему, испытав глубокое чувство удовлетворения от переводов с русского языка, я попробовала переводить для юношества и произведения выдающихся французских писателей.

Но интерес мой к русской литературе не уменьшился. Я снова вернулась к переводам с русского. На этот раз я составила сборник, куда вошло 90 стихотворений советских детей и подростков. Он был опубликован под названием «Луна как серебряный серп». Сейчас находится в печати книга Маршака «Детки в клетке» в моем переводе.

Собирая материал в Советском Союзе для антологии русской литературы для детей и сборника юношеской поэзии, я заинтересовалась эстетическим воспитанием советских ребят, которое осуществляется с помощью детского театра, литературы, музыки, танцев и изобразительного искусства. Чрезвычайно привлекательной представляется мне также система кружков, существующих в пионерской организации. Я еще несколько раз ездила в СССР, и в результате мною были написаны две книги — «Искусство и советский ребенок» для взрослых, а для детей «Развлечения и дворцы» — о занятиях в кружках, художественных и естественнонаучных.

Я хочу снова вернуться к трудной, но благодарной работе переводчика, ибо существует множество советских художественных произведений и книг о советской культуре, которые я была бы счастлива представить на английском языке. Эти книги должны стать достоянием тысяч и тысяч читателей, чтобы обогатить и сделать их умы и сердца более восприимчивыми к надеждам на доброе содружество и всеобщий мир, к идее единой земли и единого человечества.

Занимаясь переводом, я стараюсь не «грешить», не искажать ни произведения художника, ни его представлений об искусстве. Но ведь я не только переводчик, но и человек и потому не могу избежать ошибок. Однако я стараюсь как могу.

Если же вернуться к тому, что побудило меня взяться за перевод с русского — я говорю о желании понять, отчего советские дети так привлекательны,— то я давно убедилась, что в этом большая заслуга чудесной русской и советской литературы. Я поняла также, что необычайная любовь советских детей к чтению в свою очередь заставляет писателей создавать все новые книги для маленького читателя. Как сказал Самуил Маршак: «Талантливый писатель нуждается в талантливом читателе».

Это относится и к талантливому переводчику...

СЛОВО — ПЕРЕВОДЧИКАМ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЖУЖА РАБ (Венгрия)

ОТ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ — К ПРОЧНОМУ МИРУ

Мое увлечение русской классической литературой началось еще в детстве, в конце 30-х годов. Тогда и раскрылся передо мной мир Толстого, Чехова, Достоевского, Пушкина, Лермонтова. Русский народ благодаря литературе приобрел для меня живые конкретные черты. На «маленького человека» я смотрела в ту пору глазами Чехова, в каждом юноше видела Онегина, в каждом помещике — Левина.

Когда после освобождения Венгрии история сделала моих любимых писателей доступными на их родном, русском языке, меня озарила мысль, что вот и открывается возможность читать их в подлиннике. С жаром я начала изучать русский. В 1946 году я поступила на факультет венгеро-русской филологии Будапештского университета. Мне хотелось как можно глубже изучить русскую литературу — не больше. Будучи на втором курсе, я как-то просматривала книги в библиотеке. В руки мне попал томик Есенина. Я принялась читать, но мало что понимала, еще плохо зная русский язык, и все-таки есенинские стихи меня тронули и взволновали—ведь я никогда не слышала об этом поэте. Взяв домой эту маленькую потрепанную книжечку дореволюционного издания, я со словарем разбирала строчку за строчкой. И невольно начала переводить, так, для себя. (Замечу в скобках: писать стихи я начала очень рано. Мне не было шестнадцати лет, когда вышла первая книжица моих юношеских стихов «К свету». Между первой и второй прошло приблизительно двадцать пять лет.)

Переводчиком я стала совершенно случайно. Однажды мне предстояло сдать зачет по Пушкину и Лермонтову у профессора Трочаньи. Для основательной подготовки не было времени, и я просто перевела несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова. Профессор принял их вместо ответа, да еще написал хвалебный отзыв в моей зачетной книжке. Спустя некоторое время он попросил меня принять участие в качестве переводчика в первой выходящей после освобождения литературной антологии обзорного характера «Сокровищница русской литературы», редактором которой он был. С этого все и началось.

Потом — я все еще училась в университете — мне стали давать поручения издательства. Я переводила очень много романов — превосходных и слабых. Но я никогда не забуду того праздничного для меня года, когда я переводила рассказы своего любимого писателя — Чехова! Сегодня у меня за плечами приблизительно 130 прозаических работ (романы, сказки и сборники рассказов).

Стихотворные переводы начались со второй (и навеки!) «помолвки» с Есениным. В 1956 году издательство поручило мне подготовить сборник переводов его поэзии. Теперь я приступила к работе с надежным знанием языка, за это время еще больше полюбив Есенина. Не сочтите за нескромность, если скажу: не считая стихотворений, вышедших перед войной, это было первое знакомство венгерского читателя с Есениным. С тех пор он стал любимым и популярным у нас поэтом. В этом году у нас вышел самый полный по сравнению со всеми предыдущими сборник его стихов.

Зимой 1960—1961 годов — после двенадцати лет переводческой работы—я впервые приехала в Советский Союз. Эта поездка существенно сказалась на моем дальнейшем творчестве. Мир, известный мне до тех пор лишь по литературе, стал осязаемой действительностью. Русскую зиму, знакомую мне по многим описаниям, я ощутила на самой себе, тогда же впервые увидела самовар, русских стариков, купола церквей. Я упомянула лишь о немногом. Я почувствовала, как важно для переводчика знать живые будни народа, литературу которого ты переводишь.

Кроме того, моя первая поездка совпала со счастливым периодом: это были годы коренного обновления советской поэзии. В то время у себя дома мы еще только слышали имена Винокурова, Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной. Естественно, что я очень стремилась познакомиться и с ними лично, и с их поэзией. С богатым материалом возвратилась я домой и тотчас приступила к работе. Их стихи и стихи некоторых их товарищей стали очень популярны в Венгрии.

С тех пор как с ними, так и с другими поэтами и прозаиками я постоянно переписываюсь и получаю их самые последние книги. Такие же дружеские контакты установились у меня с поэтами Грузии и Армении. Сейчас закончила составление и перевод грузинской поэтической антологии «100 грузинских стихотворений», которую подготовила на основе подстрочных переводов Михаила Квливидзе. Такую же радость приносит мне работа над народной поэзией (русской и народов СССР) и древним русским эпосом.

Перевод стал моей страстью, формой моего самовыражения. Собственно говоря, переводческая работа, бывшая в начале «браком по расчету», превратилась в «брак по любви». Это значит, что я перевожу только те стихи, в которых ощущаю, что кто-то говорит за меня, что я в них присутствую. И очень много собственных стихов рождается у меня в процессе перевода, я незаметно словно растворяю их в стихах любимого мною поэта. Но иногда я задумываюсь: ведь я «перевожу» свою жизнь, и кто скажет вместо меня то, что только я могу сказать? Тогда я делаю перерыв на несколько месяцев, оставляю перевод

и пишу собственные стихи — теперь как раз такое время. Готовлю для печати третий сборник своих стихов.

Своей переводческой работе я очень многим обязана: она научила меня экономности, краткости, благодаря ей я прошла большую школу в области культуры формы. И, естественно, она расширила вокруг меня мир, сделав его более многообразным, гармоничным и единым.

Отклики на переведенные мною произведения, появляющиеся в прессе, и читательские письма подтверждают, что перевод советской поэзии — дело нужное и важное. Не проходит недели, чтобы люди, разные по возрасту и занятиям, не интересовались тем или иным советским поэтом, не просили бы выслать им то или иное стихотворение, книгу, которую они не смогли достать. Один молодой отец назвал меня почетной крестной матерью: из любви к русской поэзии он дал новорожденному сыну имя Иван.

Сегодня работа переводчика особенно необходима. В наши дни благодаря достижениям техники можно облететь земной шар за несколько часов, но глубоко познать мир можно только постепенно, изучая культуру и литературу населяющих его народов. Глубокое же познание — это почти понимание. А от понимания друг друга уже один шаг к прочному миру на земле.

ЛИЗЕЛОТТА РЕМАНЕ (ГДР)

ВО ИМЯ БРАТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Переводчицей я стала благодаря Крылову. Невозможно было не поддаться очарованию басен этого старого волшебника. Однажды в 1947 году мой муж, писатель Мартин Ремане, принес домой несколько басен Крылова. Подстрочники, приложенные к стихам, напоминали мне снимки, сделанные не наведенным на резкость фотоаппаратом. Искрящаяся фантазия Крылова, его юмор, глубокая общественная критика — все это угадывалось, но как бы сквозь серую дымку. С интересом наблюдала я за напряженной работой мужа над этими переводами. На моих глазах литературное произведение возрождалось в новом языковом обличье, и с каким волнением сравнивала я немецкий вариант с русским оригиналом!

Первым заказом, который я сама получила от издательства, был перевод трагикомических приключений плута Новруза, о которых чудесно рассказал Олег Эрберг. Мне пришлось немало потрудиться, прежде чем я сумела воспроизвести на первый взгляд бесхитростную легкость и ясность авторского стиля. Однако эта работа так меня захватила, что через несколько лет я оставила профессию журналиста и целиком отдалась делу перевода.

С тех пор я служу советской литературе, благодаря которой намного богаче стал и мой духовный мир, и мои познания о жизни. Что бы я ни переводила: романы, книги для детей или сказки народов СССР,— для меня это всегда путешествие в незнаемое, полное приключений, радости, но одновременно и напряжения, и волнующей неуверенности: удастся ли достигнуть цели?

Процесс этот имеет свои закономерности. С любопытством ждешь первой встречи с книгой, чтобы составить общее впечатление о теме, проблематике, сюжете, стиле. Затем следует нередко мучительный период, когда мир книги словно отделен от тебя стеклянной стеной. Ты видишь его, а войти в него еще не можешь. Порой мне кажется, будто персонажи сочувственно или насмешливо наблюдают за мной, ожидая, когда же, наконец, я найду ключ к авторскому стилю и нужные слова, чтобы передать саму суть. Когда эта стена преодолена — начинается самая счастливая стадия работы. Мир писателя раскрывается передо мной. То, что вначале виделось в общих чертах, предстает во всех деталях, во всех оттенках. И я уже не пассивный наблюдатель, а активный участник творческого процесса.

Как и в любой творческой работе, очень важны здесь интуиция и художественный вкус, а также полная отдача всех знаний, опыта, языкового мастерства и литературных способностей.

Только тогда переводчик сможет вжиться в произведение и добиться, чтобы герои заговорили на его родном языке.

А как читатель откликается на переводы, помогают узнать литературные чтения и книжные базары! Приведу несколько примеров.

Уже больше десяти лет на так называемой «детской половине» моего прилавка во время книжных базаров почти всегда лежат три книги, которые входят в «золотой фонд» нашей детской литературы и постоянно переиздаются. Это «Петя и волк» (текст я перевела на немецкий с пластинки) и две книги Николая Носова о Незнайке («Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе»). Сказка «Петя и волк» так легко запоминается, что то и дело какой-нибудь карапуз начинает мне читать наизусть чуть ли не всю эту книжку. А «Незнайка» — это одна из тех книг, которые одинаково любят и ценят и дети, и педагоги.

Лет одиннадцать назад в профессиональной школе города Шведта на Одере мне предстояло читать отрывки из «Республики

Шкид» Л. Пантелеева и Г. Белых. В отделе культуры меня озабоченно предупредили, чтобы я была готова к неприятностям: неделю назад ученики выставили одного писателя за дверь, потому что он им наскучил. Действительно, это был бедовый народ, на меня они вначале смотрели недоверчиво. Но уже после первых фраз лица их оживились. Достоверность, глубокое понимание юношеской психологии, сдержанная манера авторов захватили ребят. Когда началось обсуждение, ему, казалось, не будет конца; лишь поздно ночью мне удалось уйти домой.

Большой популярностью пользуется книга Гранта Матевосяна «Мы и наши горы». Последние несколько лет переводчики и писатели ГДР периодически устраивают литературные чтения на предприятиях, и уже вошло в обычай, что я со «своим» Матевосяном выступаю под конец, когда люди немного приустали. Эта книга так захватывает слушателей, что сразу создается непринужденная атмосфера, возникают споры.

Такой же успех имела недавно вышедшая у нас книга Ануара Алимжанова «Стрела Махамбета». До сих пор мы мало что знали об истории казахского народа и его поэтах (автор помог мне преодолеть трудности, связанные с переводом некоторых деталей), так что эта книга имеет большую познавательную ценность: она вводит читателя в незнакомый для него и потому особенно привлекательный мир.

В этом и состоит смысл переводческой работы: быть посредником между двумя народами, двумя культурами, открывать для читателя своей страны сокровища мировой литературы. Но для литературы, родина которой — Советский Союз, этого определения недостаточно. Советская литература оказывает на людей нашей страны огромное идеологическое воздействие. Неизмерима и воспитательная роль, которую она играет в ГДР со времен разгрома фашизма и до наших дней.

Советская литература помогала немцам освободиться от влияния фашистской идеологии, во всей чистоте восстановить принципы гуманизма, воспитать новое поколение антифашистов и социалистов. Многие герои советской литературы стали образцами для наших людей, их близкими друзьями. Она обогатила и нашу литературу, подсказав ей путь дальнейшего развития. Словом, жизнь каждого из нас — от государственного деятеля до юного пионера — просто немыслима без советской литературы.

И то, что мы, переводчики Германской Демократической Республики, внесли свой вклад в дело братского сотрудничества, является лучшей наградой за нашу работу.

СВЕН СТОРК (Швеция)

МОЙ ЛУЧШИЙ ПЕРЕВОД ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Переводить с русского я начал рано. Первое, что я перевел, будучи 17-летним гимназистом в Стокгольме, был «Вий» Гоголя. Обладая очень скромными знаниями русского языка, я упорно трудился долгими осенними вечерами над словарями и грамматикой, чтобы понять тогда почти неизвестный мне мир языка и поэзии. Перевод не предназначался для опубликования: это входило в мою языковую практику. Но я был вознагражден за свой труд. Прежде всего эта работа научила меня с уважением и деликатностью подходить к языку каждого художественного произведения. После этого мне стало ясно, что художественный перевод — это *искусство*, в ту пору такое мнение было далеко не общим.

1937 год — столетие со дня смерти Пушкина. Встреча с русским скальдом пробудила во мне любовь к классической русской литературе. Я выступал с докладами о Пушкине на литературных вечерах в нескольких стокгольмских школах, писал сочинения не только о Пушкине, но и о Лермонтове, Гоголе, Белинском и других великих русских писателях XIX века.

Появившиеся в 30-е годы на шведском языке книги Ф. Гладкова и М. Горького привлекли всеобщее внимание и вызвали у меня интерес к современной советской литературе.

Во время университетских занятий у профессора Р. Экблума в Упсале я все больше увлекался советской литературой, и в результате постепенно родилась книга эссе о пятнадцати известных писателях (А. Толстой, К. Федин, Ф. Гладков, В. Инбер, Вс. Иванов, Л. Соболев, Л. Леонов, В. Катаев, И. Эренбург, В. Каверин, А. Фадеев, В. Гроссман, М. Шолохов, Б. Горбатов, К. Симонов). Она была издана в Швеции, Дании и Норвегии вскоре после окончания второй мировой войны. Хотя книга эта незрелая и не без недостатков, все же это был первый труд на шведском языке о советской литературе военных лет. Так что эта маленькая книжечка, несомненно, сделала свое дело.

Но не буду забегать вперед. В июле 1941 года, через несколько недель после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, по инициативе Александры Михайловны Коллонтай стал выходить ежедневный бюллетень, печатаемый на гектографе в отделе прессы советского посольства в Стокгольме. С первого дня существования этого бюллетеня я стал его переводчиком. В нем публиковались не только сообщения Совинформбюро о ходе войны и новости ТАСС, но также статьи из советской прессы и т. д.

Вначале бюллетень рассылался только газетам и небольшому кругу частных лиц, но

интерес к нему рос очень быстро и тираж увеличивался непрестанно. Для тысяч читателей этот краткий информационный бюллетень был связующим звеном между Швецией и Советским Союзом в тот период, когда война оборвала почти все контакты между ними. Через два года бюллетень достиг по шведским понятиям поразительно высокого тиража — 50 000 экземпляров.

Особый интерес к себе вызывали статьи известных советских писателей и публицистов, которые все чаще помещались в бюллетене. Таким образом, мне довелось переводить лучшее из литературной советской публицистики военных лет: патриотические статьи Алексея Толстого и Михаила Шолохова, волнующие рассказы об осажденном Ленинграде Николая Тихонова и Веры Инбер, фронтовые корреспонденции Алексея Суркова, Бориса Полевого, Константина Симонова и многих других. Одним из самых активных и самых читаемых участников бюллетеня в годы войны был Илья Эренбург. Его потрясающие душу описания варварских преступлений гитлеризма печатались не только в бюллетене и пришедшем ему на смену журнале «Новости из Советского Союза» (редактором которого я стал в 1944 году), но и в коммунистической шведской прессе, и в буржуазно-либеральной газете «Хандельстиднинген» в Гётеборге. Они производили ошеломляющее впечатление на читателей и, несомненно, способствовали усилению антинацистских настроений в Швеции.

Трудные годы второй мировой войны были периодом подлинного расцвета в деле издания советской литературы в Швеции. Одна из серьезных причин этого явления заключалась в быстро растущем интересе к Советскому Союзу, как прямом следствии героической борьбы советского народа против гитлеризма. В качестве переводчика и я как мог способствовал популяризации советской литературы, которая имела огромное значение для поднятия духа нашего народа, заставляла всех надеяться и верить в победу Страны Советов. По поручению различных шведских издательств («Юс», «Геберс», «Фрёлеенс») в последние годы войны я перевел книги многих советских писателей: «Радуга» Ванды Василевской, «Народ бессмертен» Василия Гроссмана, «Непокоренные» Бориса Горбатова, «Клятва» Федора Гладкова. Наибольшим успехом пользовалась «Радуга», встреченная восторженными рецензиями. Эта книга выходила большими тиражами, что является редкостью для переводных произведений в Швеции, и была переиздана спустя несколько лет после войны.

Где-то между двумя разными жанрами — художественной литературой и журналистским репортажем — находилась книга, которую я также перевел в те годы, «Чукотка» Тихона Семушкина. Она открывала перед шведскими читателями экзотический и почти совершенно им незнакомый мир: жизнь малой народности Севера, вставшей на путь социализма.

По разным причинам в последнее время я занимался переводом советской литературы нерегулярно; сейчас я собираю материалы для книги воспоминаний о представителях советской культуры (Эренбурге, Шолохове, Фадееве и других). Но подобно тому как писатель всегда надеется, что он еще напишет свою лучшую книгу, так и я не перестаю верить, что мой лучший перевод еще впереди. Кое-что все же было сделано и в эти годы. Я перевел две книги Константина Паустовского — «Кара-Бугаз» и «Северную повесть», а вместе с моим коллегой Р. Бернером — книгу «Первый учитель» Чингиза Айтматова, редактировал шведский перевод романа Константина Федина «Санаторий Арктур».

Всего мною переведены десятки тысяч страниц советской публицистики и художественной прозы. Я считал и считаю увлекательнейшей миссией — служить для шведских читателей посредником в деле знакомства с гуманными идеями социалистической литературы, с жизнью и культурой великой Советской страны. Как часто после собраний, организуемых Обществом шведско-советской дружбы, ко мне подходят незнакомые люди, благодарят за переведенные мною книги советских писателей и просят передать им при встрече привет и самые теплые пожелания.

Задачу переводчика я всегда видел в стремлении воссоздать по мере сил оригинал. Настоящего успеха можно достичь, помоему, если владеешь в совершенстве иностранным и своим родным языком; к тому же нужно хорошо знать социальные условия, исторические традиции той страны, с языка которой делается перевод. Мне кажется, важно также, чтобы существовала определенная гармония во взглядах писателя и переводчика. Другими словами — переводчик должен в той или иной степени разделять идеи писателя. Лично мне было бы трудно хорошо перевести произведение писателя, убеждения и взгляды которого я нахожу отвратительными. В лучшем случае это будет добротно сделанный ремесленнический перевод.

Вот как я представляю себе цели и смысл переводческой работы. Не все могут читать произведения на языке оригинала. Поэтому работа переводчиков необходима. Эта работа предъявляет к ним высокие требования, и никому не удается избежать неудач. Совершенный перевод существует, по-видимому, только в теории. Но есть цель, к которой должен стремиться каждый переводчик: результаты его труда должны быть незаметны, то есть переведенный им текст должен восприниматься и читаться как оригинал, словно писатель писал на том языке, на который переложил его переводчик. Труд, упорство и талант переводчика помогают достигнуть этой цели.

НИКОЛА ТАВИЛЬ (Ливан)

РАБОТАТЬ, НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ

Я не считаю себя ни писателем, ни профессиональным переводчиком — переводить с русского языка я стал из любви к советскому народу и его литературе.

Впервые я взялся за перевод во второй половине 40-х годов. Сначала увлекся переводом рассказов Мопассана и некоторых других писателей Запада (с французского языка). Первым советским рассказом, переведенным мною, был рассказ Максима Горького «Рождение песни» (так назывался он по-французски). К этому моменту я уже был неплохо знаком с советской литературой — в годы второй мировой войны я зачитывался произведениями многих советских авторов. И по сей день памятны мне статьи Ильи Эренбурга, изданные у нас отдельной книжкой, произведения А. Толстого и Н. Тихонова, публиковавшиеся в газете. В те годы у нас был создан «Комитет борьбы с фашизмом», который возглавил известный общественный и политический деятель, писатель и публицист Омар Фахури. Мы верили в вашу победу... После войны этот комитет был преобразован в «Общество дружбы Ливан — СССР».

Интерес к русской и советской литературе особенно возрос в 50-е годы. И думаю, что произошло это потому, что вся ваша литература пронизана духом гуманизма. Она вселяет веру в человеческое достоинство, в победу света над мраком.

В начале 50-х годов появился первый сборник рассказов в моем переводе. В него входили произведения многих прогрессивных писателей. В те годы я после окончания средней школы работал трамвайным кондуктором в Бейруте. Затем поступил наборщиком в типографию, а в свободное время продолжал переводить с французского языка. Не помню, сколько рассказов перевел я тогда... Не было места для хранения журналов и газет, в которых были опубликованы мои переводы. Семья у нас большая, а работали только отец и я. Тяжелая была жизнь. Единственным утешением оставалась литература. Переводил я, ничего не зная о теории перевода.

Позже я поступил на работу в Советский культурный центр при советском посольстве в Ливане, а по вечерам — до 1958 года — продолжал работать наборщиком в типографии. Во второй половине 50-х годов самостоятельно издал сборник рассказов советских писателей. В нем было более ста страниц, и включал он рассказы Тихонова, Симонова, Ананяна, Лакербая, Ласурии и других. За свой счет я приобрел бумагу, сам набирал текст и т. д. Затем занимался распространением и продажей книги. О деньгах я тогда не очень-то заботился, хотя жизнь моя была не из легких. Сейчас уже не помню, удалось ли мне оправдать свои расходы, но знаю, что из двух тысяч экземпляров у меня осталось всего два или три.

В начале 1960 года я работал над переводом рассказов В. Ананяна. Книга вышла в свет накануне годовщины Октябрьской революции. Известный ливанский критик Хусейн Мурувве в газете «Аль-Ахбар» назвал эту книгу «подарком ливанского рабочего Октябрьской революции».

В ноябре 1960 года я вылетел в Москву, где с 1960 по 1965 год учился на филологическом факультете Университета дружбы народов. Давняя мечта моя — переводить советских писателей с русского языка — наконец-то сбылась. Во время учебы я перевел много рассказов и стихотворений.

В 1971 году, к 100-летию Туманяна, в моем переводе вышли его «Рассказы и сказки». Предисловие написал известный ливанский писатель Михаил Нуайме. Выход этой книги был отмечен местной арабской и армянской печатью. Ей даже была посвящена передача ливанского радио.

Работая переводчиком, сталкиваешься с огромным количеством трудностей. Издать отдельный сборник — дело весьма нелегкое. К тому же в нашей стране художественные произведения интересуют сейчас читателей меньше, чем литература политическая. Тем не менее за последние годы я перевел несколько десятков рассказов и стихотворений. Только в 1970 году — к 100-летию В. И. Ленина — в журнале «Ат-Тарик» было опубликовано три стихотворения в моем переводе. Это «Твой памятник» С. Капутикян, «Ты с нами, Ленин» С. Сейфуллиной, «Твой день рождения» Р. Гамзатова. В газете «Аль-Ахбар» — стихотворение «Горцы у Ленина» Р. Гамзатова.

В последние годы я работал над рассказами современных писателей. Кроме того, снова вернулся к М. Горькому. К годовщине Парижской коммуны перевел с русского «Интернационал» и опубликовал в журнале «Ат-Тарик».

В 1969 году я участвовал в работе Второй международной встречи переводчиков советской литературы, и для меня это было большой наградой за мою скромную переводческую деятельность. Между вторым и третьим совещаниями я подготовил антологию советской прозы. Очень хочется успеть ее издать к 50-летию образования СССР. Задумана также 15-томная «Библиотека советской прозы». Собирая и систематизируя этот материал, я уже сейчас частично выношу его на суд своего читателя. В течение полугода по воскресеньям, перед каждым просмотром советских кинокартин в Советском культурном центре в Бейруте, я выступаю с 15-минутными беседами; этот цикл так и называется: «15 минут о советской литературе».

Дружба народов — это дерево, которое требует постоянного ухода и внимания. И я хочу быть его садовником.

А может быть, это и есть призвание?!

МАСАНОБУ ТОГО (Япония)

ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА

В Японии русская и советская литература пользуется неизменным успехом. Всеобщую любовь завоевали «Анна Каренина» Толстого, произведения Чехова, Достоевского. Из советских писателей хорошо известны Горький, Шолохов, Айтматов и другие.

Сам я впервые обратился к переводу с русского в 30-е годы после окончания Института иностранных языков. Переведенные мною по совету И. Иокэмуры ранние рассказы Чехова были одобрительно встречены и критикой и читателями.

В дальнейшем я перевел на японский «Детство» Горького, «Кавказского пленника» Толстого и много других произведений для детей.

На протяжении 25 лет я преподавал русский язык в Институте иностранных языков.

В настоящее время являюсь президентом общества «Современный русский язык», цель которого — распространять и пропагандировать русский язык в Японии. Этой же задаче отвечает и выпускаемый нами уже седьмой год журнал «Современный русский язык». Мы издаем также учебники и учебные пособия, снабженные магнитофонными записями. Общество ведет борьбу за новую методику преподавания русского языка в нашей стране. Недавно вышел подготовленный мною двухтомный учебник русского языка для японских студентов и «Основы теории литературы» Тимофеева в моем переводе.

Организованный 23 года назад при участии прогрессивных издателей и переводчиков Комитет содействия переводам и изданию советских книг в Японии (я вхожу в его правление) широко знакомит японцев с советской литературой.

С помощью Комитета ежегодно издается большое число произведений, переведенных с русского языка. Например, в 1971 году увидели свет 132 книги (общим тиражом более полумиллиона экземпляров) русских и советских авторов. Среди них — сочинения Ленина, труды общественно-теоретического характера, произведения Горького, Паустовского, Кассиля, Айтматова, пьесы Маяковского, Арбузова, Шатрова, Розова, Володина, Булгакова, Шварца и других.

Мы гордимся тем, что наше издательское дело осуществляется без вмешательства и участия капиталистов.

Если браком сочетаются два человека, то переводы сближают два народа, и в этом я вижу благородную цель нашей работы.

В Латвии под Ригой мне довелось посетить Саласпилский мемориальный ансамбль, воздвигнутый на месте бывшего гитлеровского концентрационного лагеря. На нем высечены слова: «Здесь человека казнили за то, что он невиновен, за то, что он человек, за то, что он любит Родину». Чтобы это никогда больше не повторилось, чтобы не повторилась трагедия Хиросимы и Нагасаки, мы должны неустанно работать, выполняя почетную задачу — открывать своему народу советскую литературу, которая несет людям идеалы всеобщего мира и гуманизма.

СИДЕР ФЛОРИН (Болгария)

ВАВИЛОНСКОЕ СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ И СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА

Может быть, библейское предание уже всем надоело, но позвольте все-таки начать именно с него.

Итак, во время оно человек или, лучше, люди, высоко возомнив о себе и осознав силу коллектива, дружно решили воздвигнуть башню и добраться до селений всевышнего. Что бы затеяли они там — неизвестно. Однако всемогущий, всемудрый и вездесущий, видимо, струхнул. Испугался единодушия чад своих и, руководствуясь формулой «divide et impera»[1], явно известной ему за много веков до царя македонского Филиппа, а тем паче короля французского Людовика XI, сказал: «Вот один народ и один у всех язык; и вот что начали они делать и не отстанут они от того, что задумали они делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого».

Но прошли годы, столетия, и когда велемудрому потребовалось разъяснить и распространить учение сына его единородного, уразумел господь бог, что нужны для этого люди, знающие языки, и учредил он первую бригаду переводчиков. В пятидесятый день по воскресении распятого Христа собрались ученики его и «...внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося силь-

[1] Разделяй и властвуй *(лат.)*.

ного ветра, и исполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все духа святого и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещавать».

Пишущий эти строки — увы! — не сподобился такой великой милости: знание языков, может быть и посредственное, далось ему долголетней учебой (хоть русский и знает он, так сказать, со дня рождения) и тяжелым трудом. Не было огненного языка, дарующего благодать познания; было, однако, с ранней молодости страстное влечение к языкам и литературе, вылившееся гораздо позже в стремление переводить не премудрость господню, а мудрость людскую и умение человеческое видеть и описывать все прекрасное и отталкивающее, все восхищающее и поучающее в бытии нашего маленького, но великого земного мира — переводить во имя нового единения разноязычных народов, во имя созидания новой башни знания, целящей достигнуть, пожалуй, подальше библейских селений божиих...

Кроме всех обстоятельств — и не очень розовых, и с розоватым отливом (что зависит от точки зрения и от настроения),— которые побудили меня взяться за перевод, возможно, мне льстила до некоторой степени и надежда быть «культуртрегером» в области литературы. И, может быть, именно в момент такого порыва в шестнадцать лет я перевел «Заколдованное место» Гоголя — перевод этот хранится у меня в ученической тетрадке, но никто его никогда не читал.

Переводить по-настоящему, не время от времени, по-любительски, а, так сказать, профессионально, начал я в 1946 году. Первой моей большой книгой на русском языке был роман А. Виноградова «Черный консул», который я перевел в 1948 году, но по разным причинам в свет он вышел только через десять лет, в 1958 году. Очень интересно было переводить «Повитель» Анатолия Иванова, «Волоколамское шоссе» Александра Бека и, конечно, «Петра I» Алексея Толстого. Однако волею судеб (выражаясь идеалистически) полем моей деятельности оказался в первую очередь не русский, а английский язык. Почему? А вот почему:

Восемь миллионов в этот миг
Переводят с русского на наш язык...[1]

Такую эпиграмму написал несколько лет тому назад один болгарский поэт. И это не шутка, говорят ведь: «Нет дыма без огня». Дело в том, что у нас каждый — и каждая! — закончивший среднюю школу считает, что знает русский язык и может переводить.

За эти годы я перевел с английского 11 книг (Диккенса, Лондона, Драйзера, Сабатини и др.), более десятка рассказов, составил два сборника (Джека Лондона и Скотта Фицджеральда), редактировал пять книг, написал добрый десяток статей и статеек по вопросам перевода и культуры языка и т. д. А хочется, очень хочется переводить больше с русского! Очень хотелось бы перевести что-нибудь из Гоголя, Чехова...

В последнее время переводы в моде. А многие находят, что это дело, кроме того, весьма доходно. К сожалению, не для меня: работать нужно уметь быстро, а я не умею! Тем не менее я поистине счастлив, несмотря на долгие часы вечернего, а подчас и ночного бдения над переводом, так как люблю эту работу: она приносит мне удовлетворение, и, если даже конечный результат не всегда успешен, мне верится, что я вложил на этот раз все свои знания, умение и силы, что лучшего перевода мне уже не сделать!

Хотелось бы еще отметить, что, вопреки мнению вышеупомянутых восьми миллионов, переводить с русского языка на болгарский вовсе не легко. Перевод с близкого языка грозит буквализмом или же — в борьбе с этим самим буквализмом — отсебятиной. Если добавить к этому и «мнимое» знание русского языка, усиливающее гипноз оригинала, то окажется, что переводить с английского подчас и легче.

Знакомство с советской теорией перевода открыло передо мной сразу увлекшую меня «модную» область — теорию перевода. Но вот тут-то и произошла какая-то гибридизация: занявшись этой проблемой, я оказался чем-то вроде «практика в теории», но не «теоретиком в практике», теория важна для меня, как для переводчика, а не теоретика перевода. Абстрактные рассуждения и философские обобщения, не связанные с самим процессом перевода, конечно, тоже важны, но мне кажется, что гораздо важнее в первую очередь научить многоязычную армию переводчиков переводить полноценно, справляясь с рядом совершенно конкретных трудностей и проблем, представляющих собой «камни преткновения» на их ежедневном пути от автора к читателю.

Не буду касаться вопроса о расхождениях между теорией и практикой, поскольку об этом я уже писал совсем недавно [1]. Тем не менее хочется повторить, что этот вопрос следует выдвинуть на первый план, что и приводит меня к заключению: линия соприкосновения, стык теории с практикой, по-моему, должен стать более осязаемым, дабы было легче построить нашу новую, не вавилонскую, башню единства без посредничества святого духа. И если я напишу книгу о переводе, то назову ее не «Теорией», а «*Практикой* перевода».

---

[1] Восемь миллионов — приблизительная численность населения нашей страны *(прим. автора)*.

[1] См. Сидер Флорин. А почему переводят скучно? «Вопросы литературы» № 3, 1972.

УЛЛА-ЛИЙСА ХЕЙНО (Финляндия)

СОВЕТСКАЯ КНИГА НУЖНА ВСЕМ

Художественный перевод русской классической и современной советской литературы — мое настоящее призвание. Еще в университете, изучая русский язык и русскую литературу, я поняла, что перевод — это единственное, чем я хочу и буду с удовольствием заниматься. Мой самый первый перевод — отрывок из «Записок охотника» Тургенева — никогда не издавался, да и рукопись его давно уже потерялась.

К переводческой деятельности я готовилась, анализируя уже существующие переводы русской и советской литературы, хотя в то время еще не была уверена, получу ли работу в этой области. У нас в Финляндии нет специальных курсов для переводчиков художественной литературы, не считая краткосрочных курсов, организуемых отдельными лицами (Эйла Пеннанен) и издательством Вернера Сёдерстрема и не предназначенных для переводчиков с русского языка. Сама я изучала русский язык, занимаясь лингвистикой и литературоведением в Хельсинкском и Московском университетах.

Человеку, посвятившему себя переводческой деятельности, в Финляндии живется нелегко. Переводы оплачиваются плохо, переводчик не получает процентов за проданные экземпляры при переиздании и не имеет права на страхование и социальное обеспечение в старости. Поэтому почти все переводчики у нас вынуждены зарабатывать на жизнь другим трудом, а художественным переводом заниматься в свободное время. Лично мне повезло: уже девятый год я сотрудничаю в советском агентстве печати «Новости», выполняя иногда даже довольно сложные заказы.

Кроме того, я перевожу книги для финских издательств и составляю титры для советских фильмов, демонстрируемых в Финляндии.

Иногда работы накапливается много, и тогда перевод превращается в утомительный процесс; переутомление, естественно, сказывается на качестве работы. Но обычно им занимаешься с упоением. Переводить — значит самому пережить те события и чувства, что заключены в переводимом тобою произведении. В периоды безработицы (и такое бывает!) мне так этого не хватало, что я брала с полки наугад какую-нибудь книгу и начинала переводить просто для себя.

Финский читатель особенно высоко ценит русскую классическую литературу, на которую у нас всегда есть спрос. На советскую же литературу спрос имел периоды подъема и спада. Больше всего советской литературы издавалось в первые послевоенные годы. В самое последнее время наблюдается некоторое ослабление интереса, если верить статистическим данным издателей, которым гораздо выгоднее выпускать преимущественно «книги-сенсации». Библиотекари же утверждают, что финские читатели очень интересуются советской литературой. Суть дела, кажется, в цене книг, которая у нас довольно высока. В последнее время финская интеллигенция, особенно молодая, стала обращать внимание на то, что у нас слишком мало публикуют произведений советской литературы. Под воздействием такого неофициального «нажима» наиболее прогрессивные издатели обещали принять соответствующие меры. Отрадно уже то, что одно финское издательство начало в прошлом году издавать советскую литературу для детей на финском языке. Эти прекрасно иллюстрированные книжки пользуются огромным успехом. Я рада возможности участвовать в их переводе.

Любимые мои работы — это «Хулио Хуренито» Эренбурга, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Свидание с Нефертити» Тендрякова и «Белый пароход» Айтматова. Все они получили хорошие отзывы в прессе. Но сколько еще есть интересных книг, которые мне хотелось бы перевести на финский язык!

В прошлом переводная литература была почти единственным средством международного общения и распространения идей. Теперь в нашем распоряжении средства массовой информации. Но в борьбе идей в наше время роль переводной литературы по-прежнему очень важна. Человек может сознательно отмахнуться от предлагаемой ему информации как от «пропаганды», но если информация является частью интересного и подлинно художественного произведения, он может воспринять ее, не отдавая себе в этом отчета.

Книга — огромная сила, говорил В. И. Ленин; не случайно диктаторы всех мастей так охотно жгут костры из книг, испытывая непреодолимый страх перед их могущественной властью.

Современный мир нуждается в превосходных, интересных советских романах, повестях, стихах и книгах для детей, которые можно было бы переводить на все языки и которые, со своей стороны, распространяли бы новое, прогрессивное представление о мире среди тех, кто еще не осознал и не принял идей гениального Ленина и советский образ жизни.

АБУ БАКР ХУСЕЙН (Арабская Республика Египет)

ПЕРЕВОДЧИК-СОЗИДАТЕЛЬ, ПЕРЕВОДЧИК-БОРЕЦ

Летом 1958 года, после окончания средней школы, я готовился стать студентом Каирского университета, но волнения, обычного в таких случаях, не испытывал, так как, хорошо сдав экзамены, был на сто процентов уверен, что поступлю на избранный мною факультет. Случайно из газеты я узнал о конкурсе, объявленном среди тех, кто закончил школу с отличием,— предполагалось послать тридцать юношей на учебу в СССР. Это было и заманчиво, и загадочно, и немного страшновато. Как только я заявил о своем намерении поехать в Москву, в семье начались споры и, конечно, слезы. Но в одно декабрьское утро 1958 года, с благословения отца и плачущей матери, я сел в самолет и отправился навстречу своему будущему, которое представлялось мне тогда туманным, но от этого еще более притягательным.

И вот первые впечатления: русская зима, суровая, но удивительно красивая, люди, в чьи лица я всматривался, пытаясь угадать, что они говорят, ибо не мог понять того, что произносили их губы.

Хочется как можно скорее изучить этот на слух суровый, но мелодичный язык. По мере того как, занимаясь на подготовительном факультете, я осваиваю русский, меня охватывает беспокойство: наверное, мне так и не удастся овладеть этим беспредельно богатым языком. И заветная мечта — читать мастеров русской литературы в подлиннике,— казалось, отдаляется все больше. С тревогой берусь я за учебник, забегаю вперед на несколько страниц и останавливаюсь на отрывке из рассказа Горького «Старуха Изергиль» — легенде о Данко. Читаю и листаю словарь: в каждой строчке по четыре-пять незнакомых слов. Но с радостью ощущаю, что язык становится понятнее, ближе и ярче. С того дня начались мои регулярные путешествия в русскую и советскую литературу.

Наконец, я студент филологического факультета МГУ. Теперь я не только читаю шедевры русской литературы, но и держу экзамен на глубокое знание произведений и их авторов. Заветная мечта осуществилась! Как будто я достиг того, чего так упорно добивался. Но тут я обнаружил, что мне мало наслаждаться одному всем этим богатством. Нужно, непременно нужно, чтобы сотни, тысячи моих соотечественников могли разделить со мной эту радость. Каким образом? Конечно через перевод!

В то время я особенно увлекался Чеховым и решил взяться за перевод рассказа «Дама с собачкой». Но, увы! Все, что мне представлялось таким простым, таким близким и осязаемым, оказалось на деле непостижимо трудным и далеким. Я попал в положение штангиста наилегчайшего веса, взявшегося поднимать 200-килограммовую штангу.

Все это теперь в прошлом. В моем переводе уже опубликованы произведения Пушкина, Гоголя, Некрасова, Горького, Паустовского и других. Уже можно говорить о некотором опыте в искусстве перевода. Но ни проделанная работа, ни опыт не приносят успокоения. Волнение, ничем не отличающееся от волнения, испытанного при первом переводе, охватывает всякий раз, когда приступаешь к новой работе. Сумеешь ли на этот раз передать первозданную красоту слова и суть произведения, дойдет ли до арабского читателя смысл непривычных для него понятий, не уйдешь ли ты слишком далеко от авторского текста, стараясь угодить своему читателю, найдешь ли те единственные нужные слова, чтобы переводимая книга или стихи зазвучали бы и взволновали других, как волнуют тебя... И многое, многое тревожит, когда перед тобою снова чистый лист и раскрытая на первой странице прекрасная книга.

Переводчик — не просто «вспомогательный фактор», ускоряющий процесс сближения и взаимодействия двух или более культур. Он — создатель прекрасного и неповторимого. Более того, он — борец за мир, свободу и взаимопонимание между людьми. И в наш век, когда мир стал так тесен, но кибернетика еще не в силах перевести шедевры великих мастеров слова на все языки, труд переводчика становится еще более ценным. Судьбу мира на нашей планете решают сейчас не горстка «сильных мира сего», а народные массы, целые народы. Мне кажется, немалую роль в решении проблемы быть или не быть войне на Земле играют и могут играть переводчики.

С другой стороны, переводчики не в состоянии переводить все, что печатается сегодня во всех странах. Значит, существует выбор, а раз существует выбор, значит, существует и позиция: кого переводить? Кого раньше, а кого позже? Какого писателя переводить больше и какого меньше, а кого вообще не переводить?

Переводчик-созидатель, переводчик-борец, переводчик-гражданин — вот в чем я вижу назначение переводчика в наши дни, смысл и цели его труда.

ЛИТЕРАТУРА И КЛАССОВАЯ БОРЬБА

(Беседа с председателем ГКП Куртом Бахманом [1])

— Товарищ Бахман, события и факты твоей жизни в общих чертах известны: квалифицированный рабочий-кожевенник, в политическую борьбу включился уже в последние годы существования Веймарской республики: затем подпольная антифашистская борьба в Германии и за границей; узник семи концентрационных лагерей, один из немногих оставшихся в живых участников «марша смерти» из Блеххаммера в Бухенвальд; сразу после освобождения в 1945-м — снова политическая деятельность в КПГ, в организации борцов Сопротивления и лиц, преследовавшихся при нацизме; на первом съезде Германской коммунистической партии избран ее председателем.

Так вот, хотелось бы спросить: играли ли в твоей жизни, в жизни, целиком отданной политике, какую-то роль книги? Научные работы классиков марксизма — само собой. Ну, а романы пьесы, стихи?

— Мою сознательную жизнь определило и то и другое. Я очень рано познакомился с прогрессивной литературой, а в 1929 году, на кожевенном заводе в Люксембурге на себе испытал эксплуатацию во всей ее жестокости. Тогда я узнал, что капиталисты любой страны и расы одинаковы и что водораздел всегда проходит между трудом и капиталом. Этот опыт, приобретенный на практике, побудил меня сначала основательно изучить Маркса, Энгельса, затем Ленина. Я много читал художественных произведений, начав с немецких писателей периода после 1918 года; рано познакомился с советской литературой, с американской, французской.

— Не можешь ли ты вспомнить имена писателей и названия книг, которые до сих пор имеют для тебя значение?

— И в жизни и в литературе главными проблемами в то время были «Война» и «После войны» — это заглавия двух книг Людвига Ренна. Многих моих сверстников потряс Ремарк — «На Западном фронте без перемен». Назову еще Глезера «Год рождения 1902-й», Пливье «Кайзер ушел, генералы остались». Большое значение имел для меня «Верноподданный» Генриха Манна; в картинах кайзеровского рейха, описанного в его книге, я узнал то, от чего страдал и что ненавидел мой отец,— прусский милитаризм. Прочитав впоследствии Эрнста Оттвальта «Они ведь знают, что делают», мы поняли, что такое классовая юстиция: кайзеровские судьи, сохранившие свои посты и во времена Веймарской республики, выносили суровые приговоры коммунистам, но оправдывали фашистов и оставляли безнаказанными их убийства. Так же понятны были нам «Спор об унтере Грише» А. Цвейга, «Матросы из Каттаро» Ф. Вольфа и — при всей непохожести на них — «Трехгрошовая опера» Б. Брехта. Назову еще одну группу авторов, чьи книги храню у себя с тех пор: пражско-немецкие писатели из круга Франца Кафки и Эгона Эрвина Киша.

— Так что все-таки можно говорить о «золотых двадцатых годах» — если не применительно к общественной ситуации, то в отношении литературы?

— Действительно, существовало много книг, которые влияли на мыслящую часть

[1] Опубликована в западногерманском журнале «Кюрбискерн» № 1, 1972. Беседу вели редакторы журнала Фридрих Хитцер, Оскар Нойман и Конрад Шулер.

военного и послевоенного поколения, на рабочую молодежь. В иные годы я не покупал себе пальто, потому что не хватало денег. На книги их тоже часто не хватало, и я всегда залезал в долги к книготорговцу. И тут же, в книжной лавке, мы начинали спорить о прочитанном. Кроме того, поблизости было кафе — там встречались молодые люди, профсоюзные деятели, коммунисты, слушатели Марксистских рабочих школ (МАШ). Дискуссии в МАШ заставляли меня браться за труды Маркса, Энгельса, потом за Ленина, которого все больше переводили на немецкий.

— Товарищ Бахман, в самом начале ты упомянул о влиянии ранней советской литературы. С чего оно началось и с чем, по-твоему, было связано?

— Когда в Федеративной Республике начался подъем борьбы учащихся и студентов, я не раз вспоминал о «Дневнике Кости Рябцева» Н. Огнева. Тогда, в молодом Советском Союзе эти школьники хотели все переделать, они сами решали: сегодня мы не будем заниматься математикой и английским, сегодня у нас будет физкультура. Потом, читая Макаренко, мы уже стали умнее. Затем «Цемент» Гладкова — книга, которую и сегодня должен, по-моему, прочесть каждый молодой революционер, каждый мыслящий, борющийся рабочий. Там откровенно рассказывалось о неслыханно трудном положении, создавшемся из-за контрреволюции, из-за интервенции четырнадцати государств. Не имея ничего, кроме собственных рабочих рук и невероятной энергии, люди восстанавливали разрушенные фабрики. Все мои тогдашние товарищи после чтения этой книги поняли: борьба за новое общество — дело сложное и неизбежно связанное с огромными трудностями. Новый мир утверждает себя только в борьбе, и она не прекращается с победой революции. С тех пор я всегда воспринимаю трудности, порожденные борьбой, как нечто само собой разумеющееся. Я никогда не разделял иллюзии о возможности гладкого, беспрепятственного пути; такого не бывало.

И еще в одном отношении трезвый реализм молодой советской литературы помог нам и воодушевил нас. Я читал «Конармию» Бабеля, ранние книги Эренбурга, фурмановского «Чапаева» — всех здесь не перечислишь. И понял, что в борьбе за победу надо рассчитывать на людей таких, какие они есть,— будь то лишенный права на образование русский рабочий или мужик в лаптях, верящий в бога и царя. Недавно на одной дискуссии в Гейдельберге мне задали вопрос: а почему, собственно, вы делаете ставку на сегодняшних рабочих, которые имеют машины, холодильники, по вечерам смотрят телевизор? Во имя чего они станут добиваться общественных перемен? Я ответил встречным вопросом: а на каких людей делал ставку Ленин, с кем он связывал свои надежды? Говорят, что сейчас манипуляция людьми сильнее, чем во времена царизма. Конечно, она опирается на более развитую технику и проникает повсюду. Но трудно сказать, глубже ли она захватывает людей, чем тогда, когда она была связана прежде всего с религией. А главное: у нас, коммунистов, есть самый сильный аргумент — реальное существование нового, социалистического мира и дела, которые он совершает.

Препятствия и трудности нас не пугали. Мы понимали, что и наши трудности можно преодолеть только в борьбе. Вера Фигнер в книге воспоминаний рассказала о своей жизни: двадцать лет она была заживо погребена в Шлиссельбурге, но не прекратила борьбы. Для меня это был пример того, как надо выполнять завет Маркса: при любых обстоятельствах оставаться революционером. Я часто думал об этих книгах во времена фашистских концлагерей; когда сейчас мои товарищи расспрашивают меня об этом, я говорю им: несмотря на террор, мы продолжали организовывать новые партийные группы, а когда и они оказывались разгромленными, создавали заново. Ни при каких условиях коммунист не может и не должен прекращать борьбу.

В середине двадцатых годов я нашел теоретическое подтверждение этому у Ленина. Первый сборник его работ на немецком языке появился в 1925 году в издательстве «Литератур унд политик» под заглавием «Борьба за социальную революцию». В частности, туда вошли «Две тактики», выступления Ленина против империалистической войны, статья «О национальной гордости великороссов» с тезисами по национальному вопросу, полемика с Троцким и важнейшие положения о необходимости единства партии. Годом позже в Международном издательском объединении вышла «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

Подтверждение главной мысли о необходимости освободительной борьбы я находил для себя, по существу, во всех великих произведениях литературы. Из французов первыми я прочитал Бальзака и Золя; «Лурд» так меня заинтересовал, что я поехал туда. Потом я открыл для себя Франсуа Вийона. Я читал его на старофранцузском и собирал все его издания, в том числе и старинные — для меня это было первое реалистическое описание средневековья, суровой жизни и борьбы под гнетом феодализма. Борьба против угнетения и эксплуатации была определяющей темой и в эпоху империализма у американских, английских реалистов. У Эптона Синклера я прочитал все, что только удавалось найти, как и у Джека Лондона; одновременно большое удовольствие доставлял мне Бернард Шоу — разве не блестяще разоблачает он британскую буржуазию в «Социалисте-любителе»?

— Весьма широкий спектр в понимании реализма — и одновременно отповедь модным упрекам «левых» в том, что чтение беллетристики просто мешает политическому развитию.

— Широкий — да, но не «без берегов». А если я так положительно оцениваю взаимовлияние литературы и политики, то лишь

потому, что постоянно испытывал его на себе. В двадцатых годах мы боролись за жизнь Сакко и Ванцетти — об этом вспоминаешь в связи с движением в защиту Анджелы Дэвис. Эптон Синклер в «Бостоне» реалистически описал тогдашние методы американского империализма, его жестокость по отношению к революционному движению. В сущности, и сейчас ничего не изменилось, только методы стали утонченнее, подлее и применение их стало шире. Тому, кто читал «Бостон», станет понятней борьба за Анджелу Дэвис, история «соледадских братьев» и убийство Джорджа Джексона; он сможет оценить, какое мужество, какие замечательные человеческие качества нужны угнетенным и воспитываются у них в борьбе против насилия господствующих классов. Так книга «Бостон» и сегодня помогает крепить антиимпериалистическую солидарность, хотя ее автор с тех пор и успел забраться в башню из слоновой кости, которую сам когда-то описал и высмеял.

Я постоянно ощущаю потребность в литературе. Словно губка, я впитываю все, что имеет отношение к борьбе рабочего класса за прогресс. При этом я все большее значение придаю материалистическому мировоззрению. Мне повезло: мы жили в доме одного старого врача, буржуазного демократа, к тому же атеиста; мне было десять лет, когда он дал мне книгу Дарвина о путешествии на корабле «Бигль». Эта увлекательная книга о морском путешествии в то же время познакомила меня с дарвиновским путем к материализму; позднее мне это облегчило чтение энгельсовского «Анти-Дюринга». Читать Энгельса было трудно, но книга меня захватила, и я возвращался к ней много раз, всегда открывая для себя что-то новое в цепочке рассуждений о закономерностях общественного развития, благодаря которому рабочий класс осуществит свое собственное освобождение и одновременно поможет всему человечеству перейти из царства необходимости в царство свободы.

В изучении классиков марксизма большую помощь нам оказывала МАШ. Я посещал ее много лет, мне хотелось разобраться в том, что я узнал, работая на заводе в Люксембурге, и понять закономерности классовой борьбы. Я стал членом профсоюза, а вскоре после этого вступил и в партию. Я мог приносить больше пользы нашему делу, потому что еще до этого решающего шага старательно изучил имевшуюся к тому времени марксистско-ленинскую литературу. Иногда это были маленькие серые тетради, которые в МАШ назывались «Учебники пролетарской классовой борьбы». Кроме того, я был постоянным читателем «Москауер рундшау» и выходившего также на немецком языке теоретического журнала «Под знаменем марксизма». В них рассказывалось обо всем, что мог предложить тогдашний уровень науки, особенно опыт Советского Союза — от политической экономии и исторического материализма до математики и психоанализа.

— Товарищ Бахман, ты сам рассказываешь, как вместо пальто покупал себе книги. Можно ли из этого сделать общий вывод? Можно ли сказать, что многие приходят к политической борьбе таким путем, что литература, наряду с практическим опытом, действительно оказывает такое сильное влияние?

— Наиболее общий путь, конечно,— это когда собственный опыт рабочего, полученный на предприятии, эксплуатация, последствия рационализации, низкая зарплата и растущие цены приводят его к осознанию необходимости классовой борьбы. Как раз к концу двадцатых годов, в условиях начинающегося мирового экономического кризиса, угрозы фашизма произошел подъем этой борьбы, объединение миллионов рабочих в революционное движение, в революционные массовые организации, в коммунистическую партию. Но в то же время значительная часть молодых людей под влиянием литературы вступила на путь, который в конце концов привел их в партию, в КПГ. Я тогда занимал свой первый «официальный» пост — политического руководителя в кёльнском районе Опернхауз. Большинство наших товарищей были рабочими, но среди нас было и несколько художников, интеллигентов; многие отличались начитанностью и прошли примерно тот же путь, что и я. Читая, обогащаешь сердце и ум, книги помогают выбрать революционный путь.

— Хотя партия была сильной, массовое распространение партийной литературы было и тогда делом нелегким. Прогрессивная литература и тогда находилась, конечно, в трудных условиях. Можно ли тут провести параллель с современной ситуацией, с возрастающей концентрацией издательских и культурных концернов?

— Наибольшее влияние имел тогда Гугенберг; его концерн, контролировавший прессу и кино, был идеологическим центром правых — от гарцбургского фронта до фашизма. Его роль можно сравнить с той, что сейчас играет Шпрингер. Против этого потока партия боролась: боролись ее газеты и журналы, иллюстрированные издания с великолепными фотомонтажами Хартфильда, издательство «Малик» и другие близкие нам издательства. Мы гордились тем, что могли предложить рабочим свои «одномарковые романы». Но при тогдашних заработках, учитывая к тому же безработицу, даже десять грошей означали большую жертву. Тем не менее эти книги все чаще можно было встретить в квартирах классово сознательных рабочих. Наконец, самое большое распространение получили «грошовые брошюры», они выходили почти каждую неделю.

Бехер и Вольф показали нам, что литература и искусство — это оружие в классовой борьбе. То же относится и к группам «Агитпропа» — я слышал Вайнерта, я испытал глубокое влияние «Синих блуз». Я

видел инсценировки Пискатора, мы устраивали массовые представления таких пьес, как «Матросы из Каттаро» или «Цианистый калий» Ф. Вольфа — о проблемах, которые волновали каждую женщину-работницу, каждого рабочего.

Самый крупный зал Кёльна, Рейнландхалле, вмещал тысячи людей. Когда выступал Тельман, он был полон. Но он был полон и когда мы ставили «Матросов из Каттаро». Это был язык, понятный рабочим. Они видели на сцене то, что сами пережили, что знали очень хорошо. На сцене шла речь о мятежных австрийских матросах, но это ничем не отличалось от восстания на флоте в Киле — то же возмущение матросов скудной кормежкой и кутежами офицеров, а на организованное сопротивление власти ответили смертными приговорами и выстрелами карателей.

— *Многие из этих представлений сами были составной частью классовой борьбы. Как удавалось их осуществлять, несмотря на полицейские запреты и судебные приговоры?*

— Шествие «Броненосца «Потемкина» по немецким экранам сопровождалось непрекращающимися полицейскими атаками, прокурорскими распоряжениями и судебными решениями. И каждая его демонстрация была результатом борьбы, массовых протестов; большое участие в этом принимала интеллигенция. Некоторые кинотеатры в пригородах, в рабочих кварталах тоже занимали нашу сторону. В Кёльне на Северинштрассе у нас был «Общедоступный кинотеатр». Для безработных билет стоил 30 пфеннигов. Там я впервые увидел незабываемые фильмы Эйзенштейна и экранизацию горьковской «Матери».

Мы сравнивали наше собственное положение с положением рабочих в царской России. Мать, ставшая борцом, подхватившая знамя из рук раненого сына,— нас это потрясало и в то же время мобилизовывало. Мы сами знали, какой жестокой бывает борьба, и понимали, что наш путь тоже будет сопровождаться конфликтами и неудачами.

— *Связано ли было такое ориентированное на борьбу восприятие литературы и искусства с дискуссиями об отношении пролетарской культуры к наследию прошлого, которые велись тогда в теоретических журналах, да и в «Роте фане»?*

— Если говорить откровенно, я и сейчас могу понять людей, которые говорят: какое нам дело до этого культурного наследия, зачем нам Гёте — как когда-то писал Иоганнес Р. Бехер. В молодости я думал точно так же — после всех разговоров о классиках, которыми нас пичкал в Дюренской реальной гимназии профессор Бамбергер. Прошло много лет, прежде чем я от этого отделался. Лишь позднее, в годы фашизма, я научился читать классиков с пользой и удовольствием для себя.

Проще было с Гейне, его терпеть не могли немецкие националисты — поэтому в школе его для нас не успели опошлить. Я не раз с восторгом читал его, еще до прихода фашистов к власти. А потом мы организовали кружок Гейне, в нем участвовали самые разные люди, прежде всего католики — противники Гитлера. Мы устраивали чаепития, на которых регулярно читали и обсуждали Гейне, ну и, конечно, спорили о политике. Кружок держался долго, до 1935 или 1936 года.

Это уже была пора, когда антифашистская работа могла стоить головы. Поразителен был героизм рабочих, готовых на все, чтобы только какая-нибудь листовка дошла до людей. Для каждого из нас 1933 год был жестоким ударом и горьким разочарованием. Но потом мы поняли: борьба должна продолжаться. И мы продолжали бороться. У голландских моряков в рейнской гавани Нойс мы получали листовки и доставляли их в Кёльн; по-прежнему существовали группы коммунистов, которые их распространяли, несмотря на тюрьмы и кровавую юстицию. А если кто-то попадал в руки гестапо, он знал, что его жена, хоть она и не получала никаких благотворительных пособий, могла рассчитывать на помощь и солидарность.

— *То есть солидарность предполагалась самой этой жизнью. В литературе вы находили то, что вы знали из жизни. Значит, воздействие литературы заключалось не в том, что она внушала людям что-то извне, не связанное с их практикой. Литература проясняла, углубляла для людей то, что они уже знали из практики. Если обратиться к современности, то, думается, сейчас эта связь несколько нарушилась. Хотя политическая практика у нас долгое время была недостаточно развита, все-таки она опередила литературу. Так что сейчас литературе надо наверстывать упущенное. Известны обнадеживающие примеры солидарности; все больше и больше рабочих на предприятиях, несмотря на все трудности, объявляют себя коммунистами. Но литературных произведений, которые должны были бы отразить эти новые процессы, помочь их лучше понять и определить их место в революционной традиции и в общей борьбе — такой литературы нет, во всяком случае, она еще слаба.*

— Необходимость наверстывать упущенное я понимаю в широком смысле: ведь и о борьбе против фашизма у нас до сих пор еще мало хороших книг, написанных западногерманскими писателями. Речь идет не о том, чтобы лишний раз описать страдания, таких описаний много. Речь идет о перспективе, той перспективе, которую видела Анна Зегерс, написавшая в годы, когда многие считали фашизм непобедимым, свой «Седьмой крест» — возвышенную песнь о борцах, которые не сдаются, даже если из семи остается в живых лишь один.

Последние годы еще более увеличили этот долг. Где можно найти литературное воплощение тех успехов, которых добились рабочие, учащиеся и студенты, участвуя в антиимпериалистическом движении, в кампании против атомной смерти и чрезвычайных законов, в борьбе за солидарность с Вьетнамом? Ведь это движение кое-чего

достигло — так, например, сейчас перед нами открылась возможность поворота во взаимоотношениях Федеративной Республики с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Это результат деятельности не только правительства; свою роль сыграли как внешние факторы, так и наши собственные усилия, которые мы предпринимаем в борьбе против милитаризма и правых сил и которые будем продолжать и впредь. Где об этом можно прочесть, какими книгами помогли писатели рабочему из Гамбурга или Кёльна увидеть в ленинградских и московских рабочих своих братьев по классу?

Я хорошо понимаю трудности, стоящие перед писателями. Весьма существенная причина отставания литературного дела заключается в том, что в нашей стране после запрета КПГ, да и раньше, объявлялось преступлением всякое научное, всякое художественное воплощение социалистических идей, показ людей с социалистическим образом мыслей. Изображение социализма было под запретом.

— Добавь сюда нажим господствующей культуры, давление литературной критики — вплоть до абсурдного утверждения, будто вообще уже не стоит писать, поскольку современные средства массовой информации вытесняют чтение. Одновременно любое описание, рассказ, герой, всякая фабула объявлялись несовременными. В результате все сводилось к форме, не понятной рабочим, да и не только им.

— Тем хуже, когда ответственным за это объявляют читателя. Мы убеждены, и не без оснований: если бы рабочий нашел в книгах то, что выражает его интересы, что отвечает его опыту и надеждам, он, несмотря на всю гонку и усталость, чаще бы брался за книгу. Я вижу подтверждение этого уже в том новом, что начало появляться у нас за последние годы,— в движении мыслящих, читающих, пишущих рабочих.

Мы прежде всего ощутили это в своих заводских газетах. Самое лучшее, самое главное приобретение нашей молодой ГКП за три года борьбы — это рабочая и учащаяся молодежь. Не раз бывало так, что она по собственному почину начинала выпускать на предприятиях газеты. Пусть это всего две странички, но они очень просто, очень реалистично отражают жизнь. В эти газеты пишут люди, не имеющие литературного опыта; во всяком случае, они его не имели вначале. В сильных группах на предприятиях автомобильной или сталелитейной промышленности есть люди, обладающие талантом и быстро приобретающие опыт. Но вообще в этой области у нас еще много работы; это золотая жила для нашей партии. Надо ободрять пишущих рабочих, помогать им.

— Я хотел бы сделать ударение на слове «ободрять». Мы должны добиться того, чтобы рабочие на предприятиях, коммунисты и некоммунисты, преодолели трудности, связанные с писательским трудом, чтобы воспроизведение правды жизни приносило им удовлетворение.

Если не учитывать этого удовлетворения, нельзя понять всего движения пишущих рабочих, начиная с «Группы-61» до «Литературных кружков мира труда», которые за короткое время достигли поразительных успехов и вызвали существенный резонанс.

— Тем более необходимым кажется мне не только ободрять, но и помогать. Сейчас у нас тысячи рабочих являются противниками монополистического угнетения и готовы против него бороться. Может быть, многие из этих борющихся рабочих способны писать — писать для заводских газет, участвовать в составлении листовок, призывов, резолюций профсоюзов. Мы видим в пишущих рабочих людей, которые могут добиться наибольшего соответствия формы и содержания, так как они сами все это пережили, сами это выразили и изложили на бумаге. Я убежден, что в среде рабочего класса дремлет немало таких талантов. В ГДР, где рабочий класс находится у власти, он поставляет большое число инженеров, руководителей предприятий, публицистов, ученых, художников высшей квалификации. Рабочие Федеративной Республики тоже получат когда-нибудь такую возможность, и наша задача сегодня — заставить их поверить в свой талант, в свою силу. Это поможет им писать, причем так, чтобы их понял их же товарищ, стоящий у станка или пульта. Найти нужную, понятную массам форму для верного содержания, верных мыслей — это решающая задача для всей нашей партии.

У нас есть много товарищей с высоким классовым сознанием, они знают проблемы предприятий и умеют хорошо, доходчиво и эмоционально выступить на рабочем собрании. Но когда надо изложить все это на бумаге, начинаются препятствия и трудности. В свое время в молодом Советском Союзе сам Горький заботился о литературной учебе, помогая начинающим писателям преодолеть эти трудности,— но там рабочие уже стояли у власти.

Поэтому нам у себя надо искать свои формы. И при этом не забывать о взаимосвязи: нам нужен *читающий* рабочий, чтобы получить рабочего *пишущего*. Одно от другого неотделимо. Кто много читает, тот и писать сможет лучше. Тут нам предстоит еще многое сделать, хотя есть уже и некоторые успехи. Наши теоретические издания читает все больше людей, растет спрос на труды классиков. Молодое поколение испытывает настоящий голод по прогрессивной литературе. Эти новые потребности мы должны удовлетворять, и надо стимулировать их там, где для нас это всего важнее — среди наших рабочих.

— Сотрудничество в заводских газетах или писание листовок мы не ставим на одну доску с литературной работой, но мы знаем, что это та почва, на которой вырастает революционная литература, какая-то

ее часть. Другую часть составляют произведения интеллигентов, примкнувших к рабочему движению, к партии. Сотрудничество с ними в литературном разделе нашего журнала тоже имеет свои проблемы, хоть и иного рода. Им часто бывает очень трудно изображать не только действия, но и людей, не только разоблачать угнетение, но и наметить пути для коренных перемен.

— Я не могу подсказать, как это следует делать, но я хорошо представляю себе, какая литература нам необходима. Она должна отражать жизнь рабочего, его борьбу и его представление о будущем, подлинные жизненные конфликты и возможность их разрешения — вплоть до социальных перемен, до социализма; и написано это должно быть так, чтобы захватить рабочего. Тогда он потянется к этой книге.

— «Подлинная жизнь» — с этим понятием связано много недоразумений. В Оберхаузене шел фильм: полчаса у конвейера — тридцать минут заснятой монотонной работы. Когда авторы фильма спросили группу рабочих: «У вас все так же?» — они ответили: «Да, точно так же, каждый день по восемь часов. Ну и что? Зачем нам смотреть на это после работы?»

— Рабочие были правы. Сама по себе работа у конвейера — это лишь маленький фрагмент. У Даймлера-Бенца, например, рабочие и служащие за последний год добились увеличения зарплаты в среднем на 2265 марок — если верить опубликованным данным. В эту сумму включены и высокие директорские оклады. Но при этом каждый рабочий и служащий произвел прибавочной стоимости на 7869 марок в год больше. Однако этого он уже не знает, это сообщили ему мы в заводской газете — мы все точно подсчитали. Но он еще очень многого не знает. Например, того, что он не только производит автомобили, но и что с каждым изготовленным автомобилем он воспроизводит господствующую систему, усиливает ее власть над собой. Он мог бы об этом прочесть в «Капитале», но ему нелегко понять, что это и есть его действительная жизнь. Когда он умом и чувством приблизится к этому открытию, когда он поймет, что его эксплуатируют — неважно, платят ли ему за час 5 или 7,5 марок — и что так не должно продолжаться, когда мы поможем ему это осознать, он станет классово сознательным рабочим, диалектически связывающим необходимость познания и изменения, о которой говорил Брехт.

— Тот, кто хочет участвовать в создании прогрессивной литературы, должен, таким образом, задаться вопросом: в чем заключается новое содержание, связанное с перспективами, с борьбой, и как я его должен воплотить? Ты уже сказал, товарищ Бахман, что рецептов тут не существует. Мы все должны стараться разрешить эту задачу. И одновременно нужно стремиться привлечь на свою сторону других — в качестве попутчиков или наших товарищей. Здесь мы сталкиваемся с ключевой проблемой: партийностью.

Конечно же, не случайно заявление Мартина Вальзера на Нюрнбергском культурном форуме ГКП, сделанное под сильным впечатлением от съезда советских писателей в Москве, о том, что сейчас его занимает прежде всего один вопрос: что такое партийность? Он добавил при этом, что партийность существует при любой системе; у нас писателей до сих пор вынуждали к негативной партийности — отстраняться, не завербовываться,— вплоть до откровенно бессмысленного утверждения, будто писатель не связан с обществом. Сейчас Мартин Вальзер пытается дать позитивное определение требованию партийности. Мы знаем от многих писателей, что они бьются над этой проблемой. Тем более важным кажется нам объяснить, что мы понимаем под партийностью. Как ты это представляешь?

— Я попытаюсь объяснить это, исходя из проблемы гуманизма. Никому из современных буржуазно-гуманистических писателей не пришло бы на ум защищать позицию феодалов против революционеров 1789 года. Но те же самые гуманисты — я говорю о некоторых наших крупных писателях, с которыми мне приходилось беседовать,—боятся сегодня сделать выбор между империализмом и социализмом. Быть реалистом и гуманистом в те времена — значило сказать «да» французской революции, а она была невозможна без гильотины и битвы при Вальми. Сейчас выбор в пользу социализма — это шаг, означающий прогресс для всего общества. И здесь уже недостаточно абстрактного гуманизма, здесь требуется партийность. Писатель, который стремится заглянуть в будущее и участвовать в нем, познать и воплотить мир завтрашнего дня, должен сделать этот шаг. Тот, кто видит «человека» вообще, а не человека в совокупности его общественных отношений, кто не замечает борьбы классов, не видит разницы между социализмом и капитализмом, не хочет вглядеться в то, с какой борьбой связано формирование социалистического человека и социалистических отношений в Советском Союзе, в ГДР, во Вьетнаме, тот не может выполнить конкретных гуманистических требований нашего времени. Быть партийным — значит стать на сторону тех, кто и в нашей стране, и повсюду борется за будущее человечества, за социализм, против империализма с его варварством и бесчеловечностью.

— Чтобы помешать писателю понять это, господствующий класс вкупе с буржуазной критикой пытается представить партийность как нечто навязанное, предписанное писателю. Вальзера спрашивали: может ли писатель в условиях навязанной партийности вообще заниматься литературой? Такая ложная постановка вопроса затрудняет ответ. Вальзер сказал, что ему не хватает пока опыта: литературную работу, во всяком случае свою, он определил как процесс познания, как труд познания. В другой раз он добавил — и это мне кажется уже очень важным,— что каждый, кто вообще за что-

то борется и что-то делает, делает это из соображений партийности.

Господствующая у нас партийность действительно, как сказал Вальзер, носит характер негативный, и многим она в самом деле навязана — рынком, издателями, телевидением, критикой, прессой, культурными программами радио.

— Мартин Вальзер — я беру его здесь как показательный пример — понял, по-моему, главное в нашем требовании партийности правильно. Действительно, в понятие партийности входит труд познания. Его нельзя заменить резолюцией или указанием. Вопрос звучит так: познает ли пишущий эпоху, в которую мы живем? Мы живем уже не в эпоху перехода от феодализма к капитализму, когда буржуазный гуманизм был мощной движущей силой, партийной антифеодальной силой. Мы живем в эпоху перехода от капитализма к социализму. И тут нужно снова стать на чью-то сторону, но уже на другую сторону — ради будущего общества, ради социалистического гуманизма. Необходим именно такой скачок в сознании.

После этого можно понять и одобрить все, что происходит: непримиримость борьбы и разгром контрреволюции в Венгрии или отпор ей в ЧССР. Тогда станет понятно, что там надо было избежать новой беды — ради прогресса человечества, во имя конкретного, то есть в наше время социалистического гуманизма. Ибо до тех пор, пока еще существует империализм, социализм нуждается в защите. Тот, кто говорит «да» новому порядку, должен признать и его право на защиту. Октябрьской революции тоже не было бы без борьбы против интервенции и против контрреволюции, где бы и когда бы ни предпринимались ее попытки.

И последнее: сами по себе теоретические познания так же мало помогут сделать выбор писателю, как рабочему или студенту. Каждый писатель должен сам глубоко осмыслить конфликты и сделать шаг вперед, присоединиться к борьбе против господствующего класса, против его экономической и духовной власти. Лишь когда он сделает этот шаг и преодолеет в себе противоречие между старым и новым, лишь тогда писателю удастся представить как анахронизм существующий режим, при котором результаты коллективного труда продолжают присваиваться отдельными людьми, и лишь тогда он покажет читателю перспективу будущего.

Мы не предлагаем никому иллюзий. Перейти на сторону рабочего класса для писателя в Федеративной Республике нелегко. Кто хочет в этой стране быть коммунистом, перестраивает всю свою жизнь. Но это путь, на котором роль писателя сближается с ролью учителя. И писатель Мартин Вальзер считает возможность такой работы счастьем для себя. А рабочий класс, наша партия счастливы приобрести таких попутчиков, таких товарищей.

Перевод с немецкого М. ХАРИТОНОВА

Публицистика

К 50-ЛЕТИЮ СССР

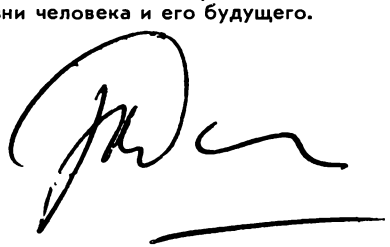
ПОЛУВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЖОРЖИ АМАДУ

Юбилей Союза Советских Социалистических Республик должен быть отпразднован всеми людьми культуры. На протяжении последних пяти десятков лет слова «Советский Союз» служат синонимом завоеваний человечества в области культуры. Исключительно важной была его роль в демократизации культуры — в смысле внедрения ее в широкие массы народа. Получив в наследство огромную страну с ужасающим количеством неграмотных — такова была царская Россия,— Советский Союз в короткий срок превратился в государство сплошной грамотности, где весь народ может пользоваться благами культуры. Когда я посетил Советский Союз впервые, в 1948 году, более всего привлекла мое внимание именно заинтересованность советских граждан в культуре, действительно потрясающая жажда знаний.

Все то, что было создано в области культуры в наше время, определено существованием Советского Союза в современном мире. Сегодня, когда мы смотрим на небо и любуемся звездами, мы не можем не подумать о грандиозной эпопее завоевания космоса, начатой советскими людьми — с первым спутником, с первым полетом Гагарина,— эти два факта открыли новый путь для человечества, новую эру в его развитии.

Советская культура, служащая идеалам мира,— полномочный представитель передовой культуры наших дней. Мир, культура и Советский Союз — триединство понятий, имеющих основополагающее значение для жизни человека и его будущего.



КРИСТИНН АНДРЕССОН

Я — один из тех, кто с первой минуты возникновения Советского государства принял его всем своим сердцем и увидел в его победе надежду мира. И вот теперь, оглядываясь на пройденные пятьдесят лет, я вижу, какое влияние оно оказало даже

на мою работу и на работу моих товарищей на далеком исландском острове, как наша жизнь бесчисленными нитями была связана с ним, как шла борьба «за» и «против» него, и понимаю, что это отражение того, что происходило во всем мире. Судьба десятков миллионов людей и в счастье и в беде была в эти пятьдесят лет связана с Советским государством, с его жертвами и победами.

Октябрьская революция 1917 года и образование Советского государства вызвали бурю волнений в мире, которая не улеглась и по сегодняшний день. Через полвека после этой революции один исландский писатель сказал, что за прошедшие пятьдесят лет достигнут более ощутимый прогресс, чем за тысячу лет ранее. «Революции — локомотивы истории»,— вспоминал Ленин в одной из своих работ слова Маркса. Они разбивают все преграды, с невероятной силой убыстряют ход событий. Русская революция дала власть в руки народа и поставила осуществление коммунизма на повестку дня мировой истории, изменила основы человеческого общества.

«Идет борьба между двумя принципами, фронт проходит через все страны, все моря, весь воздух. Но главное — он проходит через наше сознание»,— говорит Халлдор Лакснесс в романе «Атомная станция» о том времени, в которое мы живем.

За полвека Советский Союз устоял во всех бурях, вышел победителем из второй мировой войны, угрожавшей ему гибелью. А за последние десятилетия многие страны пошли по пути социализма или поставили себе целью добиться его.

Пройдя через потрясения революции, залечив глубокие раны, нанесенные второй мировой войной, Советское государство стало мощной и влиятельной державой, оно улучшает условия жизни в стране, действуя по твердо намеченным дальновидным планам, добилось больших успехов в области техники, науки, культуры, ведет энергичную борьбу во имя интересов всех народов и одновременно на международной арене делает все, чтобы избавить человечество от новой мировой войны.

Молодые поколения в западных странах относятся с уважением к тем, кто в свое время связал свою веру и надежду с государством рабочих на Востоке и не изменил своим идеалам. Молодежь не может не понимать того, что она не смогла бы иметь все те блага, которыми она пользуется сейчас, если бы народы Советского Союза своими жертвами и мужеством не высвободили бы все народы из рабства, не вселили бы веру в себя и свои возможности в сознание трудящихся капиталистических стран, не подняли бы роль сообщества народов.

Трудящиеся классы во всех странах должны помнить, чем они обязаны Октябрьской революции и образованию Союза Советских Социалистических Республик. Социализм уже не является только идеалом — он стал непреложным фактом истории.

Но прошедшие пятьдесят лет — это только первый этап. Много одержано побед, но еще немало социальных проблем ждет своего разрешения. Нищета и голод терзают большую часть человечества. Пламя войны во Вьетнаме вопиет к небу. Варварство еще не исчезло с лица земли. Достойны восхищения достижения науки и техники, возможности человека самому выбирать свою судьбу и окружение. Но как раз быстрое развитие техники требует социалистического общественного устройства, осуществления всеми народами тех идеалов, которые Советское государство начертало на своем знамени. Всё призывает к совместной борьбе, к искренним и чистосердечным отношениям с Советским социалистическим государством, к пониманию всеобъемлющего значения воли к сотрудничеству всех населяющих землю народов.

Я поздравляю советский народ с его юбилеем и желаю ему новых побед и успехов в будущем.

Kristmann Guðmundsson

МИРА АЛЕЧКОВИЧ

Пятьдесят лет первой в мире социалистической стране. Размышляя об этой торжественной дате, я вспоминаю, как я впервые узнала о Ленине, об Октябре. Мой дед был в городе Нови Сад членом организации социалистической партии, той партии, которая позже была преобразована в коммунистическую. Он часто рассказывал о Ленине, об Октябрьской революции. Не раз он повторял: «Нет, ты посмотри только, какое чудо сотворил Ленин в России (так у нас тогда было принято в народе называть Советский Союз). Октябрьская революция потрясла весь мир. У всех нас, у рабочих, появилась надежда на то, что когда-нибудь все люди труда будут жить лучше...» Эти его слова и многие другие глубоко запали в мою детскую душу.

И еще один человек из моего детства любил Ленина и передал мне эту любовь. Этот человек — Федор Петров, русский, рабочий-пиротехник из Петрограда, русский

коммунист, взятый во время войны в плен австрийцами. Судьба привела его в наш город, на берег Дуная. Он часто рассказывал мне о Ленине; с редких писем от его родных из СССР, иногда доходивших до него через руки югославской полиции, он отклеивал для меня марки с рабочим, с мальчиком-горнистом Всесоюзного пионерского слета, а одна марка была даже с портретом Ленина — чудом добралась она тогда до наших краев. Это было давно, задолго до второй мировой войны. Ф. Петров умер, так и не успев вернуться в Советский Союз, к чему он всей душой стремился. Но его рассказы о Ленине, об Октябрьской революции, о том, как рождалось советское государство, навсегда остались в моей памяти. Быть может, благодаря этому я очень рано, уже в четырнадцать лет, избрала путь коммунистки.

Для меня и для всего моего поколения Советский Союз был надеждой и любовью нашей молодости. На всех демонстрациях — и антивоенных, и направленных против антинародных режимов, и призывающих к защите страны — мы несли по улицам Белграда транспаранты, свидетельствовавшие о нашей вере в страну социализма. «Да здравствует Советский Союз», «Союз с Россией» — эти слова всегда были на наших плакатах. А за них тогда сажали в тюрьму. У нас и погибали с именем Советского Союза на устах. Сражаясь за свободу своей страны, за тот строй, который мы еще только хотели создать, мы чувствовали, что вдали у нас есть союзник. Настало восьмое сентября 1940 года — день так называемой «кровавой резни» в белградском парке Кошутняк. Девушка-текстильщица пела перед собравшейся молодежью новую песню о Волге... На словах «широка, глубока, сильна» песня была прервана залпом. Девушка-работница упала мертвой, с песней о русской реке. В то время все мы пели, как свою песню, «Широка страна моя родная». И не только эту, мы пели многие песни времен Октябрьской революции, песню о герое-командире Чапаеве. Нас арестовывали, били, пытали. Юношей и девушек мучили в застенках. Все тюрьмы старой Югославии были забиты молодежью. А потом пришла война и с нею — наша народно-освободительная борьба. Старая югославская армия капитулировала, рождались партизанские отряды и наша народно-освободительная армия. Многие товарищи были расстреляны с именем Коммунистической партии Югославии и Советского Союза на устах. Пятнадцатилетнюю Зорицу Божович три раза приговаривали к расстрелу, дважды ее возвращали в камеру — исполнение приговора откладывалось. В третий раз девушка с вызовом крикнула здравицу в честь Советского Союза, и вражеская пуля пробила ее сердце. С верой в борьбу советских народов отважно погибали многие и многие бойцы наших партизанских и пролетарских бригад.

Мы боролись и знали: с нами, на далеком расстоянии, но близко по мыслям и чувствам, борется советский народ.

Мы трепетали за судьбу Москвы и Сталинграда и верили, что бойцы Красной Армии выдержат. Мы с восхищением слушали о героической борьбе Ленинграда. В первую военную зиму, самую холодную зиму, какую запомнил Белград, мы, замерзая, устремлялись мыслями к городу на Неве, желая ему выдержать еще более жестокий холод. Мы и тогда верили, что победят бойцы еще молодого тогда, двадцатилетнего Советского государства. А сегодня оно празднует свою пятидесятую годовщину.

Что пожелать ему к этому празднику? Я благодарю советскую державу, воспитавшую всех ныне живых и погибших, боровшихся в завершающих боях на территории моей родины вместе с бойцами нашей освободительной армии за общую свободу, тех, кто был ранен и погиб на нашей земле. И не только за них, но и за тех, кто вдали от нас боролся вместе с нами за правое дело, за свободу, против фашизма. Я хотела бы поблагодарить эту страну за ее солдата, погибшего под Будапештом. Этот красноармеец, до того освобождавший Белград, завещал своим товарищам: «Если я погибну где бы то ни было на пути к Берлину, похороните меня в Белграде». Нашу страну он ощутил как свою, нашу борьбу — как общую. Он остался лежать в земле Югославии как вечный залог нашей дружбы, нашей надежды на лучшее будущее.

Не будь надежды и веры в Советский Союз, нам было бы труднее. В нашей народной песне поется:

Товарищ Тито, когда будешь в России,
Передай привет Красной Армии.
Передай ей привет и так скажи:
Воюем мы уже тридцать шесть месяцев,
Но воевать нам не тяжело, ибо мы боремся
Плечом к плечу с Красной Армией.

Кто мог лучше народа выразить, что и тогда, когда мы боролись на своей земле один на один, сдерживая многочисленные фашистские дивизии, мы знали, что мы не одни в этой общей борьбе. Уже само существование первой страны социализма давало нам огромную моральную поддержку в неравной борьбе. Эту общую борьбу воспел не только безымянный народный поэт, но и многие писатели Югославии. Бранко Чопич писал в своих стихах о скором приходе Красной Армии; Скендер Куленович в те дни, когда мы были очень далеко друг от друга, в тяжких боях, слышал чутким ухом поэта «гром великий» из Москвы; замечательный хорватский, югославский поэт Владимир Назор, который в преклонном возрасте, с трудом передвигаясь, пришел в партизаны, написал свое известное стихотворение о пятиконечной звезде: «На башнях кремлевских затрепетала, на наши пилотки упала пятиконечная звездочка», да и мно-

гие молодые поэты воспевали Октябрьскую революцию с любовью, как приветствовал ее в свое время Мирослав Крлежа; прекрасные лирические стихи посвятил «Стране любимой» поэт Душан Костич и многие другие, и немало героев, погибших в Югославии, носили имя Павки Корчагина.

Чего может желать писатель в эти дни, праздничные для дружественного Советского Союза? Продолжать строить дружбу, возводить мосты. Каждый писатель должен стать маленьким, но прочным мостом, а все мы вместе — большим мостом между нашими странами, между людьми и народами. Я бы хотела, чтобы мы, югославские и советские писатели, вместе построили такой мост, мост сотрудничества и дружбы, мост взаимопонимания, ибо идеалы Октября — наши общие идеалы, а залпы «Авроры» были предвестием нашего будущего.

Мира Алечкович

МИХАЙ БЕНЮК

Советскому Союзу исполняется пятьдесят лет!

Конечно, срок не такой уж большой, если соотнести его даже с обычной человеческой жизнью. Но в данном случае вопрос ставится иначе: что означали эти годы, каждый из которых не похож на другой, по-своему неповторим, для истории человечества, что нового привнесла Советская страна в судьбы мира?

Ведь речь идет не только о Великой Октябрьской революции, о простом факте существования в мире могучего, несокрушимого государства. На протяжении веков история знала немало крупных революций и великих держав. Но победоносной революции, опирающейся на марксистско-ленинскую концепцию необходимости и неизбежности уничтожения любой формы эксплуатации человека человеком, история до сих пор не знала. И государство, построенное на фундаменте этой идеологии, появилось всего лишь пятьдесят лет назад.

О значении этого полувека — а много ли значат для истории пять десятилетий? — говорит прежде всего тот факт, что марксистско-ленинское учение полностью доказало свою жизненность, обеспечив победу коммунистов в старой России, а затем и разгром капиталистических и империалистических интервентов, мечтавших задушить новое, первое в мире социалистическое государство: во-вторых, о нем свидетельствует победа советских народов над гитлеровскими захватчиками в самом логове фашизма; и в-третьих, появление новых социалистических государств, объединенных в могучую семью, членом которой с гордостью называет себя и румынский народ.

Для меня, как и для многих других коммунистов, Советский Союз был еще в молодости средоточием наших надежд на будущее: мы были убеждены как в его непобедимости, так и в силе рабочего класса каждой страны, вдохновленного революционными идеями.

В те годы буржуазный мир пытался отгородить советское государство от остального мира высокой стеной, на которой было начертано крупными буквами: «красная чума».

Однако эта шитая белыми нитками пропагандистская шумиха лишь усиливала борьбу обездоленных, к которой все с большим пониманием относились просвещенные умы нашей страны. Эта борьба становилась все упорнее по мере усиления опасности фашизма в мире, и особенно после прихода Гитлера к власти в Германии.

После забастовки бухарестских железнодорожников, проведенной под руководством компартии Румынии, усилилось антифашистское движение в нашей стране. Все более наглядным становится интернационалистский характер революционного рабочего движения Румынии.

Антифашистское движение распространяется и в среде демократической интеллигенции, сочетаясь с проявлениями симпатии к Советскому Союзу, чему в немалой степени содействовали и лейпцигское судилище, и борьба Георгия Димитрова.

Я хорошо помню, как протекали эти процессы в среде университетской интеллигенции Клужа. Как и в Бухаресте, в 1934 году здесь было организовано Общество друзей СССР. Несмотря на срочные меры правительства, распустившего Общество, просоветские настроения не только не исчезли, но наоборот, продолжали крепнуть как в годы усиления фашистской опасности, так и в период антисоветской войны. Все большее число граждан моей страны радовалось победам советских армий — начиная с разгрома немцев под Москвой в 1941 году и кончая падением Берлина и безоговорочной капитуляцией фашистской Германии в мае 1945 года. С тем большей радостью встретил весь наш народ — военные и гражданские лица, жаждавшие мира,— день,

когда румынская армия, повернув оружие против гитлеровцев, соединилась с советскими армиями, чтобы бороться бок о бок с ними до самой Победы 9 мая 1945 года.

В годы войны мне удалось напечатать — правда, в весьма завуалированной форме — стихи, нашедшие живой отклик в душе тех, кто мыслил подобно мне. Некоторые из них, воевавшие на фронте, носили книгу в походном мешке. Я ведь был одним из тех, кто видел в мечтах свою родину, расцвеченную социалистическими стягами. Но это, как вытекало из учения марксизма-ленинизма, было невозможно без изгнания фашистских захватчиков, чья судьба была уже в основном решена в результате побед советских воинов. Мечта эта была не плодом фантазии, а венцом многолетней борьбы коммунистов, многочисленных жертв, к которым после 23 августа 1944 года прибавился ратный подвиг румынских дивизий и усилия всего нашего народа.

Вот почему я считаю Советский Союз, внесший такой революционный вклад в развитие нашей исторической эпохи, пролагателем путей для народов земли, борющихся за новую жизнь, в которой социалистическая взаимопомощь станет фактором первостепенного значения. И празднование пятидесятилетнего юбилея Советского государства является не только огромным международным событием для всех приверженцев научного социализма, но и гарантией счастливого будущего, подкрепленной уверенностью миллионов и миллионов людей в конечной победе коммунизма и мира между народами.

ПЬЕР ГАМАРРА

Я люблю посидеть у огня. Не только затем, чтобы погреться, но чтобы представить себе всех тех людей, что когда-то склонялись над жаркими языками пламени и постепенно, с течением лет, веков и тысячелетий, сумели стать владыками огня. Огонь — это как бы трепетное зеркало, в котором человек может увидеть отражение собственной силы и слабости.

Мы — наследники этих людей, бывших вначале рабами, безропотными и обездоленными, ставших потом изобретателями и творцами. Мы — наследники всех этих безвестных предков, которых мало-помалу озарял огонь, которые покоряли все новые и новые природные силы, постепенно освобождаясь от окружавшей их тьмы. Колесо, упряжь, паровая машина. Сострадание, милосердие, справедливость. Изобретение могучих машин. Зарождение освободительных идей, столь же могучих, как и машины.

Так, обращаясь к прошлому и пытаясь угадать, что за тени возникают передо мной из тысячелетней тьмы, я вижу руки творцов и головы мыслителей. Руки и головы, работающие ради грядущего, ради меня, ради моих сыновей и внуков. Созидающие нас, наше будущее.

Среди этих людей прошлого есть безымянные, есть и такие, чьи имена дошли до нас. Это Рабле, Монтескье и Вольтер, Ломоносов и Флеминг, Ронсар и Пушкин. Но самым первым среди них был тот, кто впервые осознал себя человеком, равным другим людям, в чьей голове зародилось представление о том, что впоследствии будет именоваться свободой и справедливостью.

Сначала это представление было мутным и неопределенным, и тот, кому оно пришло на ум, наверное, всячески пытался отогнать его от себя. Ибо он сознавал, что оно способно всколыхнуть почву под его ногами, перевернуть весь мир. Кто я такой, думал он, чтобы сбросить с себя цепи рабства? Чтобы посягнуть на власть шамана и вождя?

На нас долго давило тяжкое бремя рабских привычек, условностей, ограничений, которых мы подчас сами не замечали. Потом вспыхнула искра. Первая искра. За ней другая. Ведь когда куют сошки для плуга или прокатывают железный лист, всегда сыплются искры. Редкие, слабые искры, которые тотчас же поглощает ночь.

Я думаю о Ленине, о людях Октября. Они вышли из ночи, все еще глухой и холодной. Но их путь был озарен искрами. Позади них уже распахнулись врата ночи, рухнули бастилии, были провозглашены коммуны... Потом створки этих врат — тяжелые, неумолимые створки — снова сомкнулись со ржавым скрежетом. Но не до конца. Между ними оставалась щель. И в эту щель, в эту брешь, в этот пролом летели искры. **Искры, искры, искры...**[1]

Тогда-то зародилась и осуществилась — то есть облеклась плотью и стала явью — простая и великая идея союза республик. Снопа, связавшего воедино многоцветные

[1] В оригинале слова написаны по-русски. *(Прим. перев.)*

колосья. Потока, вобравшего в себя ручьи. Теперь это кажется простым и ясным, как день. Пшеница и рис, уголь и рубин, рожь и арбуз, вино и молоко, белая и смуглая кожа, жар и холод, яблоко и гранат, Пушкин и Шевченко.

Во имя свободного человека, во имя всеобщего будущего. Во имя разбитых цепей, во имя рабочих, ставших хозяевами своих машин, во имя крестьян, ставших хозяевами своей земли.

Это свершилось пятьдесят лет назад, и все люди нашей земли не были бы людьми, если бы не эта победа, не эта сбывшаяся мечта.

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ

Близится пятидесятая годовщина образования Союза Советских Социалистических Республик. Историческое значение этого юбилея для судеб мира настолько очевидно, что громкие, пышные фразы кажутся излишними. Всем известные исторические свершения пяти минувших десятилетий и ведущая роль в них советского общества достаточно говорят сами за себя.

Поэтому пусть будет мне позволено в преддверии этой большой даты просто коротко вспомнить о своих встречах с советскими людьми.

Был июль 1944 года, гитлеровцы отступали по всей линии фронта под ударами Советской Армии. Однажды на рассвете в мою родную деревню вошли советские солдаты. Отряд разведчиков возглавлял юноша в офицерском мундире. Он был первым советским человеком, с которым мне довелось говорить. Я узнал, что он родом из далекой Сибири, с Оби.

Позднее, когда я по поручению Польского агентства печати, находившегося в освобожденном Люблине, исполнял обязанности военного корреспондента при Первом, а потом при Втором Белорусском фронте Советской Армии, у меня была полная возможность познакомиться со многими советскими воинами и удивляться их отваге и мужеству: навсегда останется в моей памяти восемнадцатилетний Саша, который с группой своих товарищей ночью отправлялся через линию фронта и возвращался с пленными гитлеровцами, тот самый Саша, который не дожил до конца войны, погиб на польской земле, неподалеку от Гдыни.

Сейчас мои встречи с советскими людьми имеют другой характер. Я, как писатель, книжки которого переведены на языки народов СССР, встречаюсь с советскими писателями, переводчиками, деятелями культуры, а прежде всего — с моими читателями. Многие из них присылают мне сердечные письма, за что я очень благодарен им.

Накануне торжественной даты пятидесятилетия создания Союза Советских Социалистических Республик, даты, которая побуждает ученых, исследователей истории общественно-социальных преобразований осмыслить итоги знаменательных исторических процессов, чтобы наметить пути развития человечества в будущем,— накануне этой даты я думаю о тех минутах, когда я встречался с советскими людьми, и эти минуты для меня драгоценны, они как бы «спрессовали» в себе то, что помогает людям дружить и понимать друг друга.

АРМАН ЛАНУ

Некоторые моменты истории знаменуются резкими переменами в судьбах всего человечества. Начавшись в какой-нибудь одной стране, эти перемены выходят за ее границы и становятся необратимыми. Так было в 1871 году, во время провозглашения Парижской Коммуны. Хотя и раздавленная через два месяца, она послужила доказательством жизнеспособности власти нового типа.

Образование Союза Советских Социалистических Республик, явившееся следствием Октябрьской революции, было событием того же порядка, но неизмеримо большего масштаба. Подобно Парижской Коммуне, советский почин привел к преобразованиям во всем мире, который уже ни при каких обстоятельствах не будет тем, чем был прежде.

АЙВОР МОНТЕГЮ

Пятьдесят лет — это не просто цифра, обозначающая половину века. В жизни людей за ней кроется смена двух поколений.

Другими словами, вокруг нас уже взрослеют юноши и девушки, родители которых еще не родились в год создания Союза Советских Социалистических Республик.

Если мы хотим по-настоящему понять, чем является СССР для человечества в наши дни, то нет особого смысла останавливаться на том, чем он был для стариков вроде меня (мне ведь уже 681) в те давно ушедшие дни, когда я был молод, на тех незабываемых впечатлениях, которые навсегда остались яркими и свежими в моей памяти и тех моих сверстников и современников, кто еще жив. Гораздо важнее, чем он является для молодежи 70-х годов XX века, ибо будущее мира принадлежит ей.

Для нас, англичан, «прорыв» 1917 года («штурм небес»), а пять лет спустя — создание СССР, то есть победа и утверждение революции, были сигналом, знамением того, что тиранию можно низвергнуть, как бы сильна она ни была, что несправедливое общество может быть уничтожено и на расчищенном месте построено новое, лучшее общество, что идеалы человечества — равные права и возможности для всех людей, как мужчин, так и женщин, и мир для всех обитателей земли — могут быть воплощены в действительность.

И теперь, спустя пятьдесят лет, я не отрекаюсь от моих тогдашних чувств и не считаю их плодом заблуждения. Я верю, что СССР — и не только он, но и все человечество — далеко шагнул вперед. Нет, это не значит, что в мире или хотя бы в СССР была осуществлена Утопия. Препятствия в мировом масштабе, а также и в самой нетвердой душе человеческой, оказались много большими, чем мы предполагали. Но я верю, что завоевания человечества, не только материальные, но и духовные, поистине не поддаются никакому измерению: обретение силы в самих себе, дерзание, ставшее, как мы видим теперь, залогом успеха. Сегодня еще столько остается несделанным, но теперь мы более способны сделать то, что необходимо.

До моего последнего вздоха я не перестану говорить о том, что образование СССР было одним из величайших событий в жизни человечества, фундаментом, на котором оно могло строить свое будущее...

АНДРЕЙ ПЛАВКА

Великий Октябрь, который смело можно назвать переломной вехой истории нашего столетия, и последующие революционные годы в конце первой мировой войны я пережил еще ребенком. Мой народ после долгих столетий угнетения — не только социального, но и национального — также добивался в ту пору свободы. До моего ребячьего слуха дошли тогда первые вести о русской революции, о Ленине и о победе пролетариата в братской стране на Востоке. Позже, уже студентом, я встретился с именами Есенина, Маяковского и многих других русских советских поэтов, которые оказали свое влияние на восприимчивую душу юноши, тоже взявшегося за перо. И так же, как взрослел я сам и мои друзья, взрослела, набиралась сил, становилась могучей и Страна Советов, о чем, правда, мы узнавали только из журналов и книг. Но затем,

в страшные годы мировой катастрофы, она предстала перед нами еще и как страна героев и наших освободителей.

С первыми бойцами, советскими партизанами, я впервые встретился во время подготовки Словацкого национального восстания летом 1944 года. Особенно памятны те недели в Банска Бистрице и потом в горах, где ковалась наша свобода в боевой дружбе наших и советских партизан и солдат. Они как бы олицетворяли помощь великой Советской страны своему более слабому, но решительному брату в грозной битве за уничтожение фашизма и за освобождение наших народов. В земле моей отчизны лежат тысячи моих братьев с Востока, отдавших свои жизни за нашу свободу. Поэтому судьба и будущее моей родины спаяны совместно пролитой кровью с судьбой и будущим великой Страны Советов.

Несколькими годами позже, после славных дней победы, в 1951 году я имел счастье посетить Советский Союз. Никогда не забуду об оказанной мне чести стоять на трибуне рядом с ленинским Мавзолеем на Красной площади в Москве во время празднования тридцать четвертой годовщины Великого Октября. Я был членом делегации чешских и словацких писателей и впервые увидел тогда Страну Советов собственными глазами. Познакомился со многими советскими писателями, с которыми и поныне поддерживаю сердечные отношения, посетил несколько заводов, школ и музеев, встречался со многими советскими гражданами и с волнением наблюдал трудовой героизм советского народа. Об этом своем первом посещении СССР я написал тогда книгу репортажей «В стране счастливых людей». Я умышленно выбрал для нее такое название, потому что на собственном опыте познал, что значит, когда сами трудящиеся строят свое многонациональное государство и сами решают свою судьбу.

Полувековой юбилей Союза Советских Социалистических Республик представляет поэтому и для нас, словаков и чехов, возможность еще раз осознать всемирно-историческое значение его существования, потому что оно действительно положило начало переломной эпохе в истории человечества и дало человечеству надежду на счастливую жизнь без эксплуатации, на истинное братство народов.

Л. ТУДЭВ

До Октябрьской революции история человечества была историей национальной вражды. Конечно, между людьми в минувшие века создавались товарищества в национальных, религиозных и даже классовых рамках. Но они были временными.

Только Октябрьской революции суждено было стать родной матерью истинного братства детей разных народов. С образованием Союза Советских Социалистических Республик новое слово «СССР» вошло в словарный состав мирового языка.

СССР — это название небывалого доселе великого сообщества людей, символизирующее собой прообраз грядущего общества всего человечества. Советский Союз — святой очаг дружной и могущественной семьи людей различных национальностей. У этого теплого очага греются люди, которые прославляют свою бескрайнюю родину на десятках языков.

Я горжусь тем, что являюсь современником первого полустолетия истории рождения и укрепления великого союза свободных народов, которому органически, по самой его природе чужды захватнические устремления, национальная вражда.

Колоссальное политическое значение имеет тот факт, что первым внешнеполитическим актом Советского государства стал исторический декрет о мире, автором которого был любимый сын человечества В. И. Ленин, призвавший к братству людей труда, к всеобщему миру на земле. Верное своему первому слову, Советское государство твердо отстаивает дело мира и братства между народами, неизменно защищает интересы трудящихся, выступает за равноправие больших и малых стран.

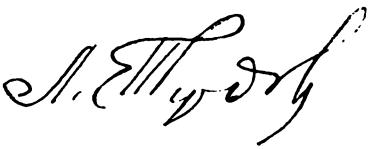
В существовании и расцвете СССР я вижу исторический пример межнациональной дружбы, путеводную звезду на магистральном пути, по которому человечество должно идти к прекрасной мировой общине — коммунизму.

СССР — это название нерушимого социально-политического и идейного единства советского народа, которое сложилось на основе общности коренных интересов людей.

Ленинская национальная политика КПСС вызвала поистине чудесные перемены в жизни огромной страны — от Тихого океана до суровой Балтики. И особенно ярко я, монгольский писатель, ощущаю это в биографии литератур братских советских республик. В Советском Союзе создается уникальнейшая литература, представляющая

собой невиданное явление в мировом художественном развитии. Эта литература создается лучшими умами свыше ста народов. Многие читатели восхищаются произведениями Ю. Рытхэу, Ю. Шесталова, Г. Ходжера, В. Санги, С. Курилова — а ведь народности, представляемые ими, не имели даже своей письменности до революции. Сегодня имена этих писателей с уважением и любовью произносятся на разных широтах и меридианах нашей необъятной земли. Это ли не чудо из многих чудес, творимых людьми благодаря существованию многонационального Советского государства?

Да здравствует новая историческая общность людей — советский народ!



РОЖЕ ШАТОНЁ

В свое время каждый французский школьник видел перед собой на стене классной комнаты большую карту мира, наклеенную на картон и обрамленную полоской материи. Сверху в ней были проделаны два отверстия с медными ободками, чтобы эту пресловутую карту полушарий, или, как ее еще называли, «карту частей света», можно было вешать на специальные крючки. Впрочем, такого рода карты существуют и по сей день. Но если теперь наука может предложить школьникам совсем другие образы вселенной, то в эпоху, о которой идет речь, то есть в 1926—1927 годах, у нас не было иных карт. Я учился тогда читать и писать в школе Аржантона, в кантоне Буглон, округе Марманд, департаменте Ло-и-Гаронна, на юге Франции, между Бордо и Тулузой.

Союзу Советских Социалистических Республик было тогда пять лет. А мне — семь. И хотя не может быть никакого сравнения между крохотным мальчуганом и огромной федерацией, занимающей шестую часть земной суши, меня так и подмывает сказать, что в те годы мы оба — и этот необъятный континент, и моя малолетняя особа — делали свои первые шаги: я — по тропинке длиной в тысячу с небольшим метров, отделявших мой дом от школы, страна Ленина — по дороге длиной в половину земной окружности, той самой дороге, что впоследствии стала дорогой в Космос.

Нельзя сказать, чтобы мы, школьники Аржантона, Буглона, Грезе-Каваньяна, Кастельжалу и Марманда, были великими грамотеями. Не считая трех городков, тысяч по десять жителей в каждом, в нашем краю не было ничего, кроме крохотных деревушек, разбросанных по склонам холмов, среди сосновых рощ, на скудных супесках, родивших только табак, помидоры, кукурузу да немного винограда. Это край одиночества и жгучего солнца, затерявшийся где-то на задворках Европы.

И, однако, мы знали о существовании Советского Союза. Эта юная держава расположена где-то далеко-далеко, и вряд ли хоть кому-нибудь из нас посчастливится увидеть ее воочию. И тем не менее мы видели ее. Глазами мечты? Не только. Глазами надежды? Да, но и это еще не все. Мне кажется, что вернее всего было бы сказать: глазами дружбы.

Дружба людей, дружба народов. Наша карта висела в простенке между двумя окнами, выходившими на пшеничные поля у подножия булонского взгорья. До сих пор в моих ушах звенит радостный шум жатвы. В те времена хлеб косили еще вручную, огромными косами [1]. Когда крестьяне правили их на кремниевых брусках, лезвия издавали веселый, заманчивый звон. Впрочем, уже существовали жатки и молотилки, громоздкие красные машины, которые, казалось, готовы были развалиться на части, когда их с превеликим грохотом и лязгом перевозили с одной фермы на другую. Хозяйства были крохотные, нищенские, и покупка собственной машины, которая к тому же и служила бы каких-нибудь два-три месяца в году, была фермерам не по карману. А советская власть твердо обещала обеспечить всех крестьян сельскохозяйственной техникой! Мы толковали об этом, глядя на пестревшие васильками и маками поля, что виднелись за окнами класса. А между окнами, на карте, перед нашими взорами расстилалось необъятное зеленое пятно, и во всю его длину тянулись крупные, увесистые, отстоящие далеко одна от другой буквы: СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. Как же он огромен, этот Союз! Нет, думали двенадцать лет спустя быв-

[1] Во Франции, как и в некоторых других странах Западной Европы, хлеб действительно косили косами, а не жали серпами. Сцены такой косьбы мы видим на картинах Брейгеля и миниатюрах братьев Лимбург. *(Прим. перев.)*

шие школьники, научившиеся читать и писать под этой картой, Гитлеру не одолеть этой страны! Ведь как бы там ни было, мы все-таки знали ее. Знали по рассказам, книгам, фильмам, газетам, журналам. И Россия всегда обвораживала нас. Причем колдовская притягательность исходила не только от Москвы и Ленинграда, но от Украины, Крыма, республик Средней Азии, от Дальнего Востока, от Камчатки и Сахалина. Врожденную симпатию усиливало одно любопытное обстоятельство: мне всегда казалось, что географические названия Советского Союза звучат для французского слуха необычайно выразительно и музыкально. Не берусь судить, верно ли это по отношению к другим языкам. Слово «Волга» звучит раздольно и чуть печально, в слове «Урал» слышится отзвук таинственных легенд, «Енисей» навевает представления о бескрайних заснеженных просторах, «Алтай» как нельзя лучше подходит для названия поднебесных гор, а волшебное слово «Самарканд» звучит как заклинание, как поэма. Я прекрасно понимаю, что все это имеет лишь косвенное отношение к нашей теме, но ведь всякое познание начинается с чувственного восприятия, и лишь много позже рассудку удается упорядочить наши впечатления и отделить зерна истины от плевел превратных представлений, заставить их укорениться в нашей душе.

Изображаемая мной картина была бы неполной, если бы я не упомянул о том, что даже в наших деревнях попадались представители антикоммунизма, антисоветизма и антибольшевизма. Мне довелось встретиться с несколькими антисоветчиками. И хотя я должен признать, что такие встречи можно пересчитать по пальцам, достаточно бегло просмотреть газеты за последние полвека, чтобы убедиться, что в них немало было статей, содержащих всевозможные нападки на Советский Союз. Что ж, реакционеров всегда было достаточно. К тому же нет ничего удивительного в том, что в отношениях между государствами, даже союзными и дружественными, подчас проскальзывают нотки непонимания: ведь человечество еще не объединило ни свою землю, ни свой образ мышления. Но несмотря на все это, во Франции никогда не существовало подлинной враждебности по отношению к Советскому Союзу даже среди тех, кого раздражает само слово «коммунизм». Как объяснить этот парадокс, наличие которого, впрочем, следует считать обнадеживающим фактором в отношениях между народами и в судьбах всеобщего мира?

На мой взгляд, он объясняется тем, что французы, несмотря на всю трезвость и скептичность своего ума, остаются народом глубоко лиричным, способным проникнуться великими начинаниями других народов. Размах, дерзновенность и величие советского почина были очевидны всем, и все отдавали дань уважения Советскому Союзу, даже те, кто не питал к советской власти особых симпатий. Еще один фактор: хотя, к сожалению, расизм в нашей стране еще не искоренен окончательно, Франция издавна славилась своей расовой и национальной терпимостью. Это разительная и постоянная черта нашей цивилизации. Теперь она стала настолько характерной, что человек из какой угодно страны, принадлежащий к какой угодно расе легко становится парижанином: я не раз был свидетелем того, как в метро какой-нибудь нормандский крестьянин спрашивал дорогу у араба, который знает Париж куда лучше, чем он. Недавно я заболел: моим врачом был армянин, анестезиологом — вьетнамец, санитаром — алжирец. Эта интернационалистическая традиция помогла нам оценить величие преобразований, происходивших в Советском Союзе, благодаря которым равные политические и гражданские права получали и русские, и нивхи с острова Сахалин, и башкиры, и татары, и грузины, и буряты, и киргизы...

Само собой разумеется, что лучше всего французы знают Москву и Ленинград — ведь с этими городами связано столько славных воспоминаний, столько исторических и литературных традиций! Но любопытно было бы подсчитать, сколько у нас существует Сталинградских улиц, Сталинградских бульваров и площадей Сталинграда, во время своих поездок я встречал эти названия в таких крохотных городишках, где не было даже Парижской улицы! У нас много площадей Ленина.

Но наше любопытство этим не ограничивалось. Мы знали Сибирь главным образом по роману Жюля Верна «Мишель Строгов» и по другой его книге, гораздо менее известной.

Удалось ли мне показать, каким мы представляли себе Советский Союз в первые годы его существования? Сумел ли я дать понятие о водовороте мыслей и чувств, кипевших в той сфере души, где политические идеалы сливаются с любовью к земле, человеку, жизни? Попытаюсь сделать это еще раз. Я закрываю глаза, погружаюсь в воспоминания, и предо мной встает вереница образов...

Вот бескрайняя равнина, где даль сливается с небом. Необъятные снежные просторы. Бездонная голубая высь, звенящая от стужи. Потом приходит веселая летняя пора. Березовые перелески. Жатва. Перед нами встают города, чьи названия звучат словно стихи восточных поэм: Тбилиси, Ашхабад, Ташкент, Самарканд, Алма-Ата. Море красивых знамен. Мы видим лицо Ленина, слышим песни, в которых звучит сама душа России... И нам кажется, что на наших глазах свершается не только создание новой Советской державы, но и обновление всей планеты. Мы чувствуем, как молодеет сама земля. Радостное чувство французам довелось испытать еще дважды. В первый раз — в 1936 году, в момент образования Народного фронта: это был взрыв невиданного народного ликования. Во второй — во время патриотической антифашистской борьбы, и особенно в 1945 году, в дни Победы. Теперешняя молодежь будет знать Советский

Союз лучше, чем ее деды знали Италию и Швейцарию. Она изучает русский язык, которому суждено стать таким же распространенным, как полвека назад была латынь. Смогут ли наши внуки проникнуться тем волнением, что когда-то сдавливало нам горло при одной мысли о Советском Союзе, когда самолет за несколько часов перенесет их в один из советских научно-исследовательских институтов, где будут сообща трудиться ученые обеих стран? Боюсь, что все это покажется им вполне естественным и обычным...

ИВАР ЛУ-ЮХАНССОН

В связи с пятидесятилетним юбилеем первых советских республик я хотел бы передать поздравления вашей стране через журнал «Иностранная литература», который благодаря своему содержанию, исполненному высокого гуманизма, имеет колоссальный тираж по сравнению с другими периодическими изданиями и является рупором культуры.

Мои связи с «Иностранной литературой» были многочисленными и много для меня значат. Горжусь тем, что являюсь одним из его сотрудников.

К 50-ЛЕТИЮ СССР

В этом юбилейном номере журнала завершается начатый почти полгода назад цикл публикаций, познакомивших читателя с некоторыми книгами путевых очерков и дневников зарубежных писателей, в разные годы на протяжении минувшего пятидесятилетия путешествовавших по Советскому Союзу.

Под рубрикой «К 50-летию СССР» были напечатаны отрывки из книг Шандора Эка, Поля Вайяна-Кутюрье, Карла Грюнберга, Симоны Тери, Иоана Григореску, Василе Никоровича (см. №№ 8, 9, 10, 11 «Иностранной литературы»), опубликованных в двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы.

В подборку, предлагаемую ниже, вошли записи самых последних лет, доводящие повествование, можно сказать, до дня сегодняшнего.

Воскрешая один за другим приметные черты этапов великого пути, пройденного Союзом Советских Социалистических Республик, цикл этих очерков послужит, на наш взгляд, существенным, красноречивым дополнением к страницам «Летописи нового мира», которыми наш журнал в 1967 году (см. «Иностранную литературу» № 5, 1967) отметил пятидесятую годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции, позволяя еще полнее ощутить движение времени, значение завоеваний социализма, изменивших ход мировой истории, положение и перспективы человека на земле.

ХАРАЛЬД ВЕССЕЛЬ

ТАШКЕНТСКИМ ЭКСПРЕССОМ ЧЕРЕЗ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СССР

Вот и чугунка невиданная.

Стоят на колесах избы целой улицей, из каждой избы народ глядит. Тесно в избах, мужики с бабами на крышу лезут, друг друга подсаживают, снизу подталкивают. Сверху вниз мешки летят, чайники, холщовые сумки. По крыше солдат с ружьем ходит, громко на баб с мужиками покрикивает:

— Нельзя сюда!

Сгонит с одной крыши, они на другую забираются. Направо — невиданные вещи, налево — невиданные вещи. У них в селе на столбах по три проволоки — здесь по восемь в два ряда. Шары стеклянные висят, на рожках играют. Двое мужиков с фонарями прошли. Везде железные полосы гайками привинчены. Споткнулся Сережка об одну полосу, а спереди прямо на него изба без окошек двигается, колесами хрустит.

— Задавит, мальчишка, уйди!

Лезет мужик с двумя мешками на вагонную крышу, и Мишка за ним, словно кошка вверх.

— Ты куда?

— В Ташкент мы с Сережкой.

— Слезай скорей, это не в Ташкент!

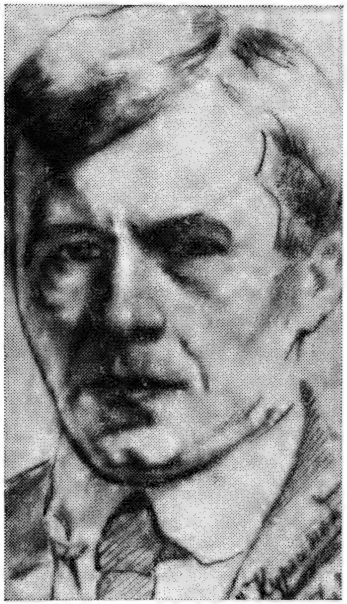
— А куда же, дяденька?

— В Сибирь, в Сибирь! Прыгай!

Стукнуло Мишкино сердце, волосы на голове так и поднялись. Где Сибирь? Какая Сибирь? Сам на крыше сидит, Сережка около колеса бегает.[1]

Ровно в 23 часа 25 минут от Казанского вокзала в Москве отошел поезд № 24 и, набирая темп, понесся со скоростью экспресса на восток, к далекой цели нашего

[1] Здесь и далее автор цитирует роман А. Неверова «Ташкент — город хлебный».



Портрет А. Неверова работы А. Куренного (ноябрь 1922 года). Из архива писательницы Е. Ф. Никитиной.

путешествия — Ташкенту, столице советской среднеазиатской республики Узбекистан, находящемуся на расстоянии четырех с половиной тысяч километров от Москвы. Пока мы туда прибудем, пройдет еще некоторое время, согласно графику движения — почти трое суток.

На одной из полок в нашем купе расположился старый узбек. Его мохнатая шапка покачивается на крючке, на голове у него традиционная узбекская тюбетейка. Он приветливо улыбается и угощает нас чаем из огромного термоса — настоящим зеленым узбекским чаем. Его пьют очень горячим и без сахара, тогда он действует успокаивающе, снимая дневную усталость. Необходимое условие путешествия на колесах — веселая непринужденная беседа. Да, дальние поездки по такой огромной стране имеют свою особую прелесть. Все, что не умещается в дорожный баул, остается позади, и ты чувствуешь себя словно в летящем вперед отеле, не имеющем только телефона. Не обремененный будничными заботами, ты можешь делать все, что тебе хочется — есть, пить, болтать, мечтать, читать, спать и смеяться. Советский железнодорожный транспорт удовлетворяет настойчивое стремление наших современников к обязательной «перемене мест» самым удобным способом.

Такая поездка — настоящий отдых, но моя задача — репортаж к пятидесятилетию со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Дверь в нашем купе с шумом открывается, на пороге — молодая женщина с подносом в руках, накрытым белоснежной салфеткой, а под ней ароматные плюшки, которые мы покупаем за копейки. Вот за чем я еду в Ташкент — за душистым хлебом. Ну а почему же поездом, да еще с остановками в Бузулуке, Оренбурге и Актюбинске? Да потому, что это путешествие по маршруту героя романа Александра Неверова «Ташкент — город хлебный» Мишки Додонова.

Утро следующего дня встречает нас ослепительным солнечным блеском. За окном — бескрайние леса, трескучий мороз, но снега еще нет, а в вагоне приятно и тепло. Я расспрашиваю своего спутника, московского коллегу из АПН об Александре Неверове. Он достает книги, карты и записи. Перед нами портрет Неверова — автора книги «Ташкент — город хлебный». Собственно, это псевдоним Александра Сергеевича Скобелева, родившегося 20 декабря 1886 года под Самарой. Сначала он был наборщиком, потом учителем на селе, писал попутно рассказы, первый из них был напечатан в 1906 году. Его талант был замечен Горьким, Короленко и Гладковым, но раскрыться он смог только после Октябрьской революции, в которой Неверов принял активное участие. Его литературные планы зарождались и созревали в боях против белогвардейцев, за освобождение крестьян и за социалистическое преобразование деревни. В 1920 году вышел роман Неверова «Жить хочу!» о борьбе коммунистов за раскрепощение женщины на селе. Работая учителем, Неверов писал рассказы для детей, один из них был посвящен Ленину. В 1922 году Неверов переезжает в Москву и заканчивает роман «Ташкент — город хлебный», который принес ему славу на родине и за пределами молодого Советского государства. Александр Неверов не дожил до мировой славы своей книги. Он умер 24 декабря 1923 года от болезней, явившихся следствием перенесенного им в Самаре голода. Книга его переиздавалась неоднократно как в Советском Союзе, так и за рубежом. И нужно хорошо знать ее, чтобы реально представить себе, какой путь проделала семья братских народов СССР за пять десятилетий с момента его образования и каких успехов она добилась за это время.

Ташкентский экспресс, преодолев первую тысячу километров, домчал нас до берегов Волги в районе Куйбышева. День клонился к закату. Все пассажиры толпились в проходе, никто не хотел пропустить величественного зрелища — могучая, овеянная легендами река в лучах багряного заката. Мы едем и едем вдоль сверкающей массы воды, а когда пересекаем реку по полутораКилометровому мосту, солнце уже исчезает за горизонтом.

Пытаемся найти на карте село Лопатино, но наши поиски кончаются неудачей. Повидимому, родная деревня Мишки Додонова — плод поэтической фантазии автора романа, но отправную точку полного приключений путешествия его героя мы устанавливаем совершенно точно — это станция Кинель, в ста с лишним километрах от Куйбышева и семидесяти четырех километ-

рах от Бузулука. Испокон веку существует в Кинеле развилка — один путь идет дальше на восток, через Урал и Сибирь, а другой поворачивает на юго-восток и ведет через Бузулук, Оренбург, Актюбинск, мимо Аральского моря в Среднюю Азию. А так как по роману путь Мишки начался на станции, от которой поезда шли в разных направлениях — одни в Сибирь, другие в Ташкент, то Кинель и есть та станция, откуда отправился Мишка в далекий путь за хлебом.

В 20 часов 9 минут наш поезд прибывает с некоторым опозданием на станцию Кинель. Стоянка сокращена до четырех минут. Из окна вагона виден небольшой вокзал, залитый светом перрон, еще открыты два ларька, где можно купить хлеб, печенье, жареную рыбу, колбасу, сыр, сладости. В здании вокзала ресторан — покрытые белыми скатертями столы, в вазочках салфетки, а на широких тарелках горки хлеба. Даже трудно представить себе, что было здесь пятьдесят лет назад...

Ты, солнышко, не свети — этим не обрадуешь.
И ты, колокол, напрасно на церкви звонишь...
Тяжела печаль — тоска человеческая.
Хлебца бы!..
В больнице Мишку неласково встретили.
— Чего надо?
— Сережка здесь лежит.
— Умер он, нет его.
— Как умер?
— Иди, иди. Не знаешь, как умирают? Зарыли.
Вот тебе и Сережка!
Какой несчастливый день! Посидел Мишка на больничном крыльце, под дерево лег. Плохо обернулось: хлеба никто не дает. А зачем это грачи кричат? Вон и этот ползет, как его... жук. Поймать надо и съесть. Ели собак с кошками лопатинские, а жук этот, как его...
Встала над Мишкой сухая голодная смерть, дышит в лицо ржаным соленым хлебом. Откуда хлеб?.. Поднимет щепочку, и щепочка хлебом пахнет. Понюхает — бросит... Выдернет травку — пожует. И опять глаза тоской закроются.
Стучала смерть, словно сапогами тяжелыми, по Мишкиным вискам, в уши нашептывала:
— Зачем плачешь? Все равно никто не пожалеет.
А в это время товарищ Дунаев из ортачеки проходил, увидал мальчишку знакомого, остановился. Глядит Мишка на товарища Дунаева — человек будто хороший и голосом ласковый. Не рассказать ли ему свое горе, можа, пожалеет... Вон и звезда красноармейская у него, наверное, как Иван их,— коммунист.

В Бузулуке мы делаем остановку. Нас радушно принимает первый секретарь горкома партии Георгий Александрович Мохунов. Для начала мы узнаем некоторые сведения о численности населения района, о размещении промышленности и о том, что Бузулук — «молодежный город», так как в нем более шести с половиной тысяч студентов, о строительстве новых жилых кварталов, о росте благосостояния трудящихся и т. д. и т. п. Но ведь то же самое происходит по всему Советскому Союзу. Бузулук не является в этом смысле счастливым исключением. Его почти никогда даже не упоминают в заголовках центральных газет, хотя в самом Бузулуке его охотно сравнивают с городом-героем Ленинградом, поскольку Бузулук богат славными революционными традициями. Здесь были остановлены белогвардейские части Колчака. В Бузулуке размещался дивизионный штаб легендарного Чапаева. Бузулукские товарищи наперебой называют события из славной истории города. В воздухе летают имена, годы и названия. Секретарь горкома пытается успокоить разбушевавшиеся страсти. «И поэтому не удивительно,— говорит он,— что Бузулук играет важную роль в одной знаменитой книге. Вы, наверно, слышали о романе Неверова «Ташкент — город хлебный»?» Растерявшись от неожиданности, мы киваем как-то нерешительно и неуверенно, так что у него полное впечатление, что он имеет дело с абсолютными невеждами. Разговор прерывается, и он предлагает нам поездку по Бузулуку, которую мы заканчиваем почти в степи, на краю города. Здесь возведен каркас новой бузулукской больницы. Это современное четырехэтажное здание, в котором разместится оборудованная согласно современным достижениям медицины и техники будущая лечебница. Мы фотографируем общую панораму, и затем нас везут в старую бузулукскую больницу, построенную в пятидесятых годах.

Главный врач больницы часто прерывает свой рассказ двумя словами — «до революции...». Итак, до революции во всем Бузулукском уезде, разделенном теперь на пять районов, было только две больницы и три врача. Сегодня в каждом колхозе есть свой медпункт, а в районной бузулукской больнице трудятся 44 врача.

Главный врач подходит к окну своего кабинета: «Там в парке стояла жалкая ветхая дореволюционная больница. Когда строили нашу, эту музейную рухлядь просто снесли».

Неверов, вероятно, имел в виду ту дореволюционную, допотопную бузулукскую больницу, когда описывал в романе смерть Сережки.

Мы осматриваем больницу, а мысли невольно возвращаются к тому, что было полвека назад: «Скажите, когда был последний случай заболевания тифом?» Главный врач смотрит на меня удивленно: «За мои двадцать лет работы здесь не припоминаю ни одного».

На прощание он говорит: «Не забудьте, что средняя продолжительность жизни в этом районе составляла до революции 37 лет, а теперь 68 лет для мужчин и 72 года для женщин».

Пенсионеру Василию Афанасьевичу Труфанову, ветерану колхоза «Ильич», находящегося под Бузулуком, удалось, впрочем, перехитрить статистику — ему уже 73 года. Сын бедного крестьянина, он ушел в 1919 году в Конную армию Буденного, а

ХАРАЛЬД ВЕССЕЛЬ
ТАШКЕНТСКИМ ЭКСПРЕССОМ ЧЕРЕЗ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СССР

Известная литография Кете Кольвиц «Помогите России!».

также сражался потом с контрреволюционными наемниками иностранной буржуазии в Средней Азии. Высокий могучий ветеран гражданской войны хорошо помнит 1921 год: «Мы были тогда в юго-восточной пограничной области. Крестьяне Поволжья толпами шли в Среднюю Азию. Голод гнал их прочь от родных хат и дворов. Они обменивали свои жалкие пожитки на хлеб. Только в 1922 году начали постепенно возвращаться назад». Пока за окном сгущаются сумерки, старый колхозник, сидя уютно у огромной, с полу до потолка печи, рассказывает о своей полной бурных событий жизни. Красная Армия очень помогла ему встать на ноги — при демобилизации ему отдали его боевого коня. Иначе как бы он мог вернуться в голодные годы в родные края? Машин не было, не было даже железных плугов. «В урожайный год мы снимали по два центнера зерна с гектара, а в засуху и вообще ничего. Природа в здешних местах награждает хлеборобов полной засухой каждые десять лет. Так, засуха была в 1920—1921 годах, потом в 1932—1933. Мы тогда только создавали свои первые кооперативы в селах, выдерживая нелегкую борьбу с кулаками, а засуха сразу отбросила нас назад. Но на помощь пришла советская власть: в 1934 году появились первые тракторы. Урожаи стали расти. За последние десять лет значительно повысилась культура обработки земли, расширилась оросительная система. В результате с каждого гектара колхоз собирает теперь зерна в десять раз больше, чем прежде».

Товарищ Ильин, бессменный — вот уже в течение семнадцати лет — председатель колхоза «Ильич», с гордостью показывает нам свои «владения»: машины, фермы, поля, сады, новые жилые дома, строящуюся школу, детский сад, колхозную столовую, клуб и библиотеку. В тихом укромном уголке колхозной библиотеки, насчитывающей шесть с половиной тысяч книг и более пятисот читателей из семи с половиной сотен жителей поселка, я спросил заведующую библиотекой о романе Неверова. Да, в библиотеке есть два экземпляра этой книги, и они всегда на руках.

Председатель колхоза, по-видимому, прослышал о предмете моего разговора в библиотеке и сделал соответствующие выводы: когда мы поздним вечером прощались, расставаясь с гостеприимным колхозом, чтобы вовремя успеть в Бузулуке на ташкентский экспресс, он преподнес мне огромный десятифунтовый каравай хлеба со словами: «Возьмите это с собой в путь-дорогу как свидетельство того, что сегодня не только Ташкент, но и Бузулук — город хлебный».

Оренбург
Пасмурное утро.
Прохватывает ветерок.

Сидит Мишка в уголке, из вагона не выходит. Мужики разложились с жарниками около вагонов, ведра повесили. Кто жарит, кто парит — так и бьет капустой в нос. Бабы картошку чистят, мясо режут, огонь губами раздувают. Денежный народ собрался в Мишкином вагоне

Принес мужик четыре дыни, начал сдачу пересчитывать. Увидал Мишку в углу — отвернулся. Другой мужик табаку мешок притащил: табак здорово по дороге идет. За каждую чашку — пятьсот, а киргизы ни черта не понимают. Шутя можно сорок тысяч нажить, и сам будешь бесплатно покуривать. Еще двое самовар притащили, машинку для керосину — обед готовить, сапоги с наделанными головками, три топора.

Все утро бегали по оренбургским базарам, набили вагон сверху донизу: табаком листовым, табаком рассыпным, самоварами, недрами, чугунами, топорами, пиджаками, ботинками, юбками...

Целый день ходили нищие по вагонам: бабы с ребятами, мужики босоногие. Подбирали мосолки выброшенные, глядели в вагонные двери страшными, провалившимися глазами. Плакали, скулили, протягивали руки. Боязно стало глядеть Мишке на чужое голодное горе — скорее бы тронуться с этого места.

Оренбург, 21 октября.

«Посмотри-ка на эту девушку! А что, если она правнучка пушкинской капитанской дочки?» Высокая, стройная, черноволосая девушка с величественной осанкой и огненным взглядом раскосых черных глаз производит впечатление и на моего спутника, но после бессонной ночи он настроен несколько скептически: «Хорошенькая смуглая татарочка никак не может быть правнучкой пушкинской героини, потому что та была русская и блондинка, а кроме того, мы путешествуем по маршруту романа Неверова, а не по следам литературных дочек. С репортажем к стопятидесятилетию со дня выхода «Капитанской дочки» можно еще и подождать — у нас есть пока время до 1986 года». Мне очень хочется возразить, что в пугачевском восстании принимали участие не только рус-

ские крепостные, но и угнетенные царизмом башкиры, татары, казахи и другие народы и что Пушкин в своем творчестве отстаивал право этих народов на лучшую жизнь, которая началась у них как раз в то время, когда Мишка Додонов отправился в Ташкент за хлебом, но у нас нет, к сожалению, времени для дебатов на исторические темы. В 9 часов утра нас уже ожидает второй секретарь Оренбургского обкома партии Алексей Михайлович Воронов. «Я слышал,— говорит он,— что вы путешествуете по маршруту романа Неверова. Хорошая идея. Очень душевная и гуманная книга, ее невозможно забыть. Да, это были тяжелые времена для нашей страны... Чем могу быть вам полезен?»

Наш первый вопрос к нему — почему Мишка боится киргизов в степях Оренбурга и почему в романе все время говорится только о киргизах? Оказывается, царские чиновники не утруждали себя и никогда не называли угнетенные народы царской России их правильными именами. Все нерусское население к юго-востоку от Урала числилось под уничижительной кличкой «киргизы — малая орда», в то время как настоящие киргизы именовались «киргизы — большая орда». Этим и объясняется, что Мишка толкует о киргизах, имея в виду казахов и другие народности.

Среди 2,3 миллиона человек, населяющих теперь Оренбургскую область, 70,9% русских, 7% украинцев, 6,6% татар, 5,2% мордвинов, 4,2% казахов, 1,6% башкир, 1,2% чувашей и 3,3% других национальностей. «После вековой кровавой распри между различными национальными меньшинствами и народностями,— говорит товарищ Воронов,— при советской власти возникла единая семья братских народов, которая крепнет с каждым годом, и в этом вы можете убедиться на примере Оренбургской области».

Нам советуют посетить швейную фабрику. Ведь именно в Оренбурге у Мишки были и смех и слезы по поводу «бабьих юбок». Слезы, потому что у него украли бабушкину юбку, которую он хотел обменять в Ташкенте на хлеб, а смех, потому что один из барышников в Мишкином вагоне «зацепил» в Оренбурге на черном рынке четыре юбки:

...сначала радовался, барыши считал. Проехал две станции, тужить начал. Слух нехороший пошел по вагонам: киргизские бабы и сартовские бабы юбок не носят, в штанах ходят, как мужики. Кряхтит Семен, рыжая борода, тискает дьявольские юбки, полежит вниз рылом, опять встанет с мутными, непонимающими глазами, выругает большевиков с комиссарами (как будто они во всем виноваты!), плюнет, снова ткнется головой в мешки.

Итак, мы едем на швейную фабрику посмотреть, как решили «большевики» проблему «бабьих юбок». «Пятьдесят лет назад, когда Мишка Додонов проезжал через Оренбург в Ташкент, здесь не было никакой швейной фабрики»,— говорит Анна Яковлевна Чипановская — главный инженер фабрики, на которой занято около восьми с половиной тысяч человек, 95% из них — женщины. Фабрика была создана в 1928 году, и многие работницы принесли тогда с собой собственные швейные машины и утюги. Теперь фабрика носит почетный титул «Образцово-показательное предприятие», присвоенный ей в 1970 году. Весь коллектив участвовал в рационализации технологического процесса. Новые машины, полученные из разных стран, в том числе и из ГДР,— это только одна сторона дела. Другая — новаторские предложения, позволившие создать непрерывный конвейерный процесс производства, начиная со склада с материалами, цеха кроя, пошивочного цеха, гладильни и кончая отправкой готовой продукции. Фабрика изготовляет в основном детские и женские пальто и платья, принимая участие в разработке моделей и определении стоимости готовой продукции. При фабрике есть свой клуб, библиотека, столовая, детский сад и пионерский лагерь в сосновом бору под Оренбургом. Мы листаем фотоальбом пионерлагеря и мысленно видим среди этих веселых и счастливых детей Мишку — героя романа Неверова. Фантастическая картина! Мальчишке 1921 года, отправившемуся в далекий путь за куском хлеба, показалось бы, что он попал в сказку...

Мишка не выходил в Оренбурге из поезда, боясь потерять свое место в вагоне, а если бы вышел, то увидел бы крепкое приземистое кирпичное здание, в котором помещалась духовная семинария. Сегодня перед этим обновленным красным строением стоит реактивный истребитель, а на мемориальной доске видна надпись: «На этом самолете летал первый в мире летчик-космонавт Ю. А. Гагарин». С 1928 года здесь размещается оренбургская летная школа, более двухсот выпускников ее были удостоены звания Героя Советского Союза. В музее летной школы лежит почетное удостоверение на имя Владимира Ильича Ленина, по инициативе которого в 1921 году под Москвой была открыта эта школа. Организуя помощь голодающим Поволжья, Ленин думал одновременно и о будущем — о стремлении человека летать, о надежной защите Советского государства с воздуха и, возможно, даже о далеких полетах к звездам.

Первый секретарь горкома партии товарищ Полищук совершает с нами поездку по городу. На мосту через реку Урал он отсчитывает фонарные столбы и, показывая на столб в середине, говорит: «Там проходит граница между Европой и Азией».

Слушал машинист, улыбался, разглядывая посиневшие Мишкины губы, неожиданно сказал:

— Идем со мной!

Не сразу поверил Мишка, а когда очутился около паровозной топки и увидел невиданные рычаги с колесами, гайки, ключи, ручки и огненное паровозное жерло, полы-

---

ХАРАЛЬД ВЕССЕЛЬ
ТАШКЕНТСКИМ ЭКСПРЕССОМ ЧЕРЕЗ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СССР

хающее жаром, в голодной голове вспыхнули тревожные мысли: куда он попал?

Потянул машинист одну ручку — наверху, над крышей, гудок засвистел. Повернул другую ручку — паровоз вдруг тронулся, поплыл: сначала легко, осторожно, потом разошелся вовсю и летел вперед с такой быстротой, что у Мишки сердце заходилось и мысли в голове кувыркались. Какая сила несет их и кто все это устроил?

А когда товарищ Кондратьев отвернул маленький крантик, нацедил из него кипятку в чайник, напился сам и подал Мишке жестяную кружку, Мишка, тронутый любовью, задушевно сказал:

— Давно я не пил горячей воды!

Кондратьев отломил корочку хлебца:

— Хочешь?

Нет, тут не корочка виновата.

Не наелся Мишка, мало было ему черствой корочки, но не хлеб согрел его радостью, а добрая ласка, хорошая улыбка на лице у товарища Кондратьева. Когда стали подъезжать к большой станции, Кондратьев сказал:

— Ты, Михайла, сейчас прыгнешь отсюда: паровоз в депо пойдет, на починку. Починим хорошенько его, чтобы он не дурачился у нас, опять поедем в Ташкент...

Мимо пронесли мужика на носилках.

Поглядел Мишка на рыжую бороду, на синие штаны, на голые почерневшие пятки:

— Все-таки я счастливый человек: он вот умер, а я еду потихоньку...

Последний вечер в Оренбурге мы до полуночи просидели в доме машиниста Павла Федоровича Карьянова. Железнодорожник несколько сдержанно рассказывал о своей жизни. Его сын — студент-медик — знал все заранее наизусть, да и вообще его это мало трогало. Его бабушка и дедушка бежали в 1921 году из голодной деревни в город? Так ведь это когда было! Отец ходил в лаптях в школу? Подумаешь! Что такого, что в лаптях? Паровозные топки загружали сырыми дровами и плохим углем? Так ведь теперь-то все электрифицировано! В войну сложили дом из старых, уже непригодных шпал? Ну, нет уж, мы лучше подождем новую квартиру с центральным отоплением!

Но вот когда товарищ Полищук начал рассказывать о своем недавнем путешествии в Азию, молодой человек прислушался. Конечно, он знал, что миллионы пакистанских беженцев спасались от террора в Индии. Конечно, ему понятно, что в массовой нищете повинен тот же империализм, что развязал войну во Вьетнаме и породил нищие кварталы и трущобы Рио-де-Жанейро и Нью-Йорка. Но здесь присутствует очевидец, живой свидетель, видевший это своими глазами. Ему вдруг до осязаемости стало ясно, что за статистическими данными о недоедании населения на земном шаре (60% человечества на сегодняшний день) стоят голодные дети (по крайней мере 300 миллионов) и умирающие голодной смертью люди (ежегодно 250 миллионов), бесчисленные индивидуальные судьбы, неповторимые человеческие жизни. Статистика ожила, дошла до сердца.

Мы немножко пофилософствовали. Я вспомнил книгу, которая вышла в Швеции 31 декабря 1900 года. Она называлась «Век ребенка». Ее написала шведская журналистка Эллен Кэй. Уповая на магию литературного слова, она хотела превратить XX век в эру счастливого детства для юного поколения.

Подлинный «век ребенка» начался в октябре 1917 года с приходом к власти рабочих и крестьян, с началом эпохи социализма. А. Неверову удалось убедительно и образно показать это в своем романе. Когда Мишка Додонов уже потерял всякую надежду и был после многокилометрового марша по ночной стени на исходе сил и когда Ташкент — город хлебный казался ему уже недосягаемой мечтой, он встретился с машинистом Кондратьевым — рабочим, который взял голодного и замерзшего мальчишку к себе на паровоз, обогрел и помог осуществить его мечту.

Железнодорожники, обслуживающие сегодня ташкентскую линию, знают роман Неверова, но они мало говорят на эту тему, смущаются, когда речь заходит об их коммунистическом отношении к детям. Машинист Карьянов тоже отмалчивается, и тогда товарищ Полищук говорит за него: «Павел Федорович — наш лучший шеф молодежных бригад. Он воспитал целый отряд юных железнодорожников».

Кругом темная ночная степь. Мы едем в Актюбинск — областной казахский город. От быстрого движения в открытые окна врывается свежий ветер. Тепло, как в весеннюю ночь. Мы едем на юг. На горизонте чистое звездное небо сливается с длинной голубоватой вереницей огней. Химический комбинат. Казахстан очень богат полезными ископаемыми. Цепочка огней стремительно приближается. В течение 15 минут мы едем со скоростью 80 км в час вдоль цехов комбината-гиганта. Географически он расположен так, что постоянный юго-восточный степной ветер уносит прочь от города все отработанные газы комбината. Город основан в 1869 году. Теперь это административный центр области, на территории которой могли бы разместиться шесть средних европейских государств. На вокзале нас встречает товарищ Телеулов — казах, главный редактор актюбинской областной газеты «Путь к коммунизму». Наш первый визит — к начальнику актюбинского депо товарищу Лебедеву. Он рассказывает, что линия Актюбинск — Ташкент была построена в начале века и имела стратегическое значение, способствуя укреплению царского самодержавия в Средней Азии. Кроме того, буржуазия в царской России была заинтересована в вывозе природных богатств из этих мест. На всей железнодорожной линии, длиной в две с половиной тысячи километров, не было ни одного железнодорожника или служащего из казахов или узбеков. Это были опорные пункты царского самодержавия. Но царизм просчитался, смеется товарищ Лебедев, станции и депо превратились в опорные пункты революционного рабочего движения. Первым представителем советской власти в Актюбинске был железнодорожник В. Ф. Синченко. Сам товарищ Лебедев приехал в Казахстан с Украины и работает здесь уже сорок лет. По решению ЦК ВКП(б) о привлечении на-

циональных кадров для работы в промышленности и на транспорте товарищ Лебедев занялся тогда обучением сорока пяти казахских машинистов. Сейчас в актюбинском депо в дружбе и согласии работает почти тысяча мужчин и женщин различных национальностей. Когда исчез последний паровоз, уступив место зеленым тепловозам, у Лебедева возникла необычная идея использования свободного помещения в актюбинском депо — он перенес туда управление депо, а огромное массивное здание управления отдал под детский сад. Мы идем туда по шпалам вдоль фруктовых садов. Начальник депо знает в этом доме каждый уголок. Ребята тотчас же окружают нас плотным кольцом. Да, дух машиниста Кондратьева жив не только в Оренбурге, но и здесь, в Актюбинске.

Перед детским садом уже стоит «Волга». Товарищ Телеулов хочет повезти нас в один из совхозов. Нам предстоит длинный путь. Машина бежит по хорошей асфальтированной дороге через бескрайнюю степь.

А киргизы совсем не страшные, чудные только. Жара смертная, дышать нечем от раскаленных вагонов на станции, они в шубах преют, и шапки у каждого меховые, с длинными ушами. Лопочут не по-нашему: тара-бара, тара-бара — ничего не поймешь! Ходят с кнутами, сидят на карачках. Щупают пиджаки у мужиков, разглядывают самовары, трясут бабьи юбки. По носу бьет горячими щами из больших чугунов. Торговки над чугунами громко выкрикивают:

— Щей, горячих щей!

На листах железных печенки жареные лежат, головы верблюжьи, потроха бараньи, вареная рыба. Манят четверти топленым молоком, за сердце хватают хлебные запахи. Треплет Мишка старый отцовский картуз, показывает ножик с ремнем:

— Купи, купи!

Заглядится на печенки с бараньими потрохами, остановится.

— Тетенька, дай голодающему!

Замахнется половником торговка, опять нырнет Мишка в толчею людскую, бегает вокруг киргизов.

Нет, теперь с этим покончено навсегда, теперь никто не посмеет сказать мне: «Эх ты, баранья голова!» или «Старый козел!»,

Обложка романа Неверова, изданного в гор. Энгельсе в 1938 году на немецком языке.

Обложка последнего издания романа Неверова в 1962 году в ГДР в берлинском издательстве «Дитц-ферлаг».

никто не произнесет больше при мне: «Уставился как баран на новые ворота». Отныне я объявляю решительную войну всякой дискриминации бараньего рода и его биологических родственников. К этому меня обязывают события последнего дня, когда я понял, что в каждой бараньей голове сокрыт глубокий философский смысл. Но расскажу все по порядку. Покинув степные просторы, «Волга» остановилась перед крепким одноэтажным зданием, на двери которого было написано: «Совхоз Илекский. Дирекция». Мой спутник успел мне только шепнуть: «Тебе преподнесут баранью голову. Обойдись с ней поласковей». У меня нет времени спросить его, что он имеет в виду, я уже пожимаю руку директору совхоза товарищу Андрею Федоровичу Гофману, представителям из района и многим молодым казахам, работающим в совхозе, названном по имени реки Илек, протекающей по совхозным землям. Товарищ Гофман уже знает о цели нашей поездки. Он читал роман Неверова по-русски и по-немецки, когда в городе Энгельсе на Волге в 30-е годы он вышел на немецком языке. Энергичный директор совхоза с седыми висками и веселыми морщинками в уголках глаз, член партии с 1940 года, владеет не только языком Ленина, но и языком Маркса и Энгельса, и понимает также язык великого казахского писателя Абая. В 1921 году, рассказывает товарищ Гофман, когда Мишка ехал и брел по Актюбинской степи, казахи были исключительно только кочующими скотоводами, нищим и на 98% неграмотным народом. Они жили в войлочных юртах и кочевали по бесконечной выжженной степи в поисках пастбищ и воды для своих отар. Овцы? Как же мне быть с бараньей головой? Каким достойным тостом прославить ее? Поговорить, что ли, о пользе бараньего

ХАРАЛЬД ВЕССЕЛЬ
ТАШКЕНТСКИМ ЭКСПРЕССОМ ЧЕРЕЗ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СССР

рода? О теплой овечьей шерсти и вкусном, ароматном мясе молодого барашка? Уж слишком, пожалуй, прозаично. А может, позаимствовать кое-что из песен мудрого Соломона? «О, как ты прекрасен, мой ангел, как прекрасен! Твои глаза как две голубки в локонах твоих кудрей. Твои зубы как стадо остриженных овец, которые выходят из вод после купанья...» Но у меня еще есть время на размышления, так как товарищ Гофман рассказывает пока о развитии совхоза, который существует с 1961 года и специализируется на разведении крупного рогатого скота, а также овощей и картофеля. Овцами совхоз не занимается — я с облегчением вздыхаю, но радость моя преждевременна: оказывается, работники совхоза имеют индивидуальные хозяйства, держат коров, птицу, коз — и конечно жирных, ароматных барашков! Пока директор совхоза рассказывает о ежемесячных доходах рабочих, мысли мои кружатся вокруг бараньей головы. Хвалебные Соломоновы оды, пожалуй, не подойдут. А что, если попробовать древнегреческий миф об аргонавтах? Златорунный овен — баран, спасший детей богов,— это ли не достойное прославление головы современного барана? Правда, златорунный баран спас только Фрикса, а его сестру Геллу уронил в море, которое и сегодня еще зовется Геллеспонтом. Не испортит ли это обстоятельство моего тоста? Ведь мы путешествуем по маршруту романа, проникнутого любовью к детям и его герою — мальчишке Мишке. Пожалуй, это сомнительная честь и для современного барана иметь на совести одно загубленное дитя греческих богов. Нет, летное искусство златорунного овена и его золотое руно явно не самый лучший выход для меня. А товарищ Гофман уже перечислил тем временем общественные фонды совхоза — детский сад, среднюю школу, поликлинику, библиотеку, столовые и даже баню, рассказал, что радио в совхозе слушают на разных языках, так как здесь трудятся сто сорок представителей шестнадцати национальностей, и вот он уже ведет нас по поселку прямехонько к столовой. А у края дороги пасется черный жирный баран. Жив ли еще мой барашек? Я отчаянно напрягаю свою память. А не прославлял ли великий Франсуа Рабле баранью голову, из которой варят удивительное снадобье для собак? Не собирался ли странствующий по белу свету Панург купить барана? Ну конечно же! Неосторожный купец назвал Панурга каплуном, а тот, снедаемый жаждой мести, купил у него вожака его стада овец за огромную сумму денег, так как купец утверждал, что его вожак Робин ведет родословную от самого златорунного овена античной древности и потому ценится на вес золота. Купив, Панург тут же выбросил его в море. Все стадо баранов последовало за своим вожаком и утащило за борт даже самого купца, пытавшегося спасти свое богатство. Но прославляет ли подобная история славный и мудрый бараний род?

В совхозной столовой уже накрыт длинный стол. После приветственных слов директора гостей обносят картофельным салатом, приготовленным так же, как у нас в ГДР. Потом появляются огромные металлические блюда с казахской национальной едой — вареная баранина и величиной с ладонь вареные куски теста. Едят это блюдо руками. В этой традиции оживает древняя история народа и вековые обычаи жизни кочевников.

Наконец наступает кульминационный момент пира. В дверях торжественно появляется старейший житель поселка — он несет на блюде баранью голову. По существующим обычаям ее ставят перед почетным гостем. Сочная баранья голова смотрит на меня доверчивыми глазами. Я должен быть ласков с ней и со всем бараньим родом. Только ни в коем случае не обидеть эти доверчивые глаза, уши и бараньи мозги. Баран — священное животное в Казахстане, хотя поклонение ему носит чисто практический характер. Испокон веку овцы были источником жизни — они давали шерсть, войлок, молоко, сыр, жир и мясо, кожу для обуви, жилы шли на тетиву для стрел, а мослы — на игральные кости, украшения и лекарства, даже освещались юрты бараньим жиром. Животные действительно были на вес золота. По числу голов овец определялось приданое дочерей. И по сей день наивысшим выражением сердечной и теплой встречи остается заколотый в честь гостя баран, а сам пир — это не просто дань чревоугодию, а свидетельство любви и взаимного уважения друг к другу.

Взаимное уважение друг к другу? В самую последнюю минуту родилась спасительная идея: надо показать свое уважение к гостеприимным хозяевам! Я отсекаю добрый кусок жевательной мышцы, вспоминая свой двадцатилетней давности опыт работы в анатомическом музее, с подчеркнутым удовольствием расправляюсь с этим куском мяса, вынимаю затем бараний глаз и передаю его директору совхоза товарищу Гофману: «Чтобы у вас всегда был зоркий глаз, необходимый в таком быстро растущем хозяйстве». Аплодисменты.

Уралбаев, председатель райсовета, получает ухо с пожеланием «всегда прислушиваться к нуждам трудящихся». Главному редактору товарищу Телеулову достается язык, «чтобы всегда находить интересные и убедительные слова для своих читателей». Наконец, остаются мозги—я с трудом достаю их и, не раздумывая, преподношу как символ мудрости старейшему казаху поселка, бывшему главбуху совхоза, почетному пенсионеру Ерменову. Для него это полная неожиданность, но бурные аплодисменты всей застолицы подтверждают, насколько высок его авторитет среди работников совхоза. Глубокий философский смысл праздничного пиршества с барашком посреди стола получил свое образное выражение, и моя речь отпала сама собой. Наступает минута прощания — сердечные рукопожатия, объятия, троекратные поце-

луи, и каждое лицо — другая народность, другая национальность. У меня такое ощущение, что я прощаюсь с целой семьей братских народов. Ведь всего несколько десятилетий назад они жили в постоянной вражде, а за пятьдесят лет существования советской власти превратились в единый дружный союз, являя собой пример успешной совместной жизни народов нашей планеты в сегодняшнем социалистическом и завтрашнем коммунистическом обществе.

Когда обогрело утреннее солнце, страх ночной прошел, остались только стариковская слабость да сильная головная боль. Стянул Мишка покрепче солдатский ремень, нахлобучил старый отцовский картуз, пощупал ножик в кармане, смелее двинулся на синие дальние горы.

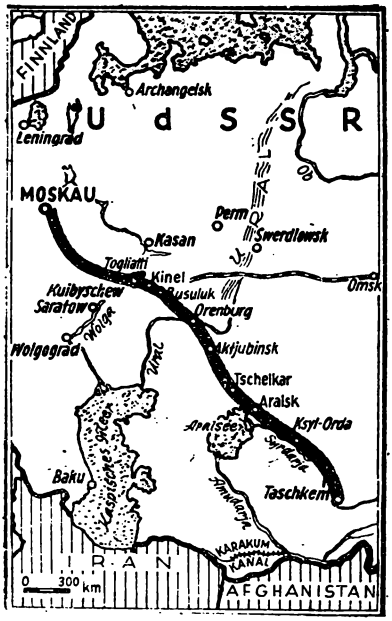
Широки степные просторы.

Страшно в них человеку, плывущему маленькой точкой, тоскливо и орлам степным сидеть на древних могилах князей... Нет в степях человека, нет и голоса человеческого. Репьи, кустарники, голые солончаки, изрезанные глубокими трещинами, да редкий верблюжий помет. Попадается бумажка, выброшенная из вагонного окошка,— забелеет сиротливо покинутой гостьей, прижавшись у корней сухой травы; глянет радостью волнующей брошенный мужицкий лапоть, занесенный из далекой неведомой деревни, из далекого неведомого села. Вздохнет Мишка, вспомнит Сережку с Трофимом, Яшку с Федькой, мать, лопатинских мужиков, лопатинскую речку и опять упорно двигает ногами, крепче стискивает в тревоге побледневшие губы.

Уже двести столбов отсчитал, перевалил на третью сотню. Упрямая воля к жизни, ведущая по шпалам маленьким встревоженным червяком, укрепляла Мишкины ноги, и он даже подпрыгивал, пробовал легонько бежать. Когда вспомнил про Трофима, попавшего на поезд, горькое чувство обиды подхлестывало еще сильнее. Теперь он один, бросили его, не пожалели, и надеяться ему надо только на себя. Пускай думают, что он умер, пускай едут в вагонах, если такие люди находятся, которые товарищей бросают, а он все равно идет, и никто его не тронет, потому что он бедный...

Далекий горизонт только что светился в ночной тьме сиреневой полосой, потом порозовел, побледнел, расширился, и вот уже целое море света залило, надвигаясь с востока, бескрайнюю степь, по которой несется на ровной хорошей скорости наш экспресс. День в этих местах начинается сразу, галопом перескакивая через рассвет. Из-за горизонта внезапно вырывается лавина света, не встречая на своем пути никаких преград — ни гор, ни холмов, ни деревьев, ни кустов, ни домов, ничего, кроме небольших ложбинок, в которых задерживаются на какое-то время темно-серые ночные пятна, пока не появится солнце, беспощадно высвечивая каждый клочок земли. Я стою в тамбуре. Окно открыто. С появлением солнца холодный ночной воздух резко сменяется теплой волной. Зеленые вагоны поезда запотевают и блестят на солнце, капли росы сбегают вниз по их рифленым бокам.

В Актюбинске я спросил, нельзя ли выйти на какой-нибудь маленькой станции и пройти до следующей по степи пешком. Ведь путешествие по маршруту романа должно протекать в полном соответствии с его литературной канвой. Мишка, правда, бежал по степи совсем налегке, а у нас кроме дорожных сумок с книгами, камерой и фотопленками есть еще десятифунтовый каравай хлеба, да и обувь у нас, прямо скажем, не та. Кроме того, мнения наши расходились — где именно шел Мишка по степи пешком. Так как Неверов не во всем придерживался географической точности в маршруте своего героя и допускал некоторую авторскую фантазию, мы были лишены возможности научно определить отрезок пешего пути его героя, а тем самым и полностью повторить его... Я ограничиваюсь тем, что считаю из окна вагона телеграфные столбы. Когда мы сели в поезд, до Ташкента оставалось 2437 км. Это больше, чем от Москвы до Франкфурта-на-Майне или от Берлина до Мадрида. Путь до узбекской столицы идет через Казахстан — самую большую после РСФСР советскую республику. Почти всю ее огромную площадь занимают пустыни, солончаки и пастбища, лесов почти нет, зато огромное количество полезных ископаемых. За последние десятилетия на этих просторах поднялись многие гиганты индустрии. Для того чтобы здесь мог нормально жить человек, многие земли были обводнены и засажены лесом. После 287 телеграфных столбов показывается маленькая станция— несколько десятков деревьев, небольшая водонапорная башня, запасной путь, белые



Карта маршрута путешествия Х. Весселя.

ХАРАЛЬД ВЕССЕЛЬ
ТАШКЕНТСКИМ ЭКСПРЕССОМ ЧЕРЕЗ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СССР

домики с плоскими крышами, словно кубики в бескрайней степи. На соседнем пути стоит товарный состав — платформы с огромными ящиками, машинами, тракторами, какие-то сигарообразные предметы, закрытые искусственной пленкой; в Казахстане обычно приземляются советские космонавты — это современная действительность и будущее страны. А справа от нас — история: старое станционное здание, построенное, как и дорога, в начале века, артезианский колодец для заправки паровозов водой. Расход воды паровозами определял раньше расстояние между станциями в степи, других поселений здесь не было. Теперь этот колодец нужен только тем животным, которых называют кораблями пустыни. Первых верблюдов мы увидели на водопое у последнего деревца. Разумеется, бывшие скотоводы-кочевники объединены теперь в колхозы. Мужчины пасут на степных пастбищах огромные колхозные стада, а женщины и дети живут в пристанционных поселках.

К полудню картина несколько меняется — появляются небольшие озерца соленой воды, совершенно непригодной для питья.

Аральское море возвещает о своем приближении самым естественным образом — на станциях больше не торгуют носками из верблюжьей шерсти, а предлагают вяленую и копченую рыбу. А вот оно и само: величественное и огромное, как плоская голубая гора, оно вздымается над бесконечными серыми песками и солончаками. Озеро, правда, по величине четвертое в мире и второе — в Советском Союзе, несколько свысока посматривает на своего могучего соседа — Каспийское море, так как расположено на 53 м выше уровня моря, в то время как то лежит на 28 м ниже. Аральскому морю нипочем, что самое глубокое его место достигает лишь 68 м по сравнению с 1741 м глубины воспетого в легендах Байкала, зато оно упоминалось в метеорологических сводках самого Аристотеля, то есть еще до нашей эры, а в наши дни стало ареной действий трилогии казахского писателя Абдижамила Нурпеисова. Голубой великан, возможно, сердится, что воды его уходят в оросительные каналы. Широкая долина Сыр-Дарьи уже превратилась в зеленую полосу среди песков пустыни — на станциях горы дынь, яблок и груш. Вторая большая река бассейна Аральского моря — Аму-Дарья — дарит свои воды могучему каналу, напоившему живительной влагой пустыню Каракум.

К вечеру в наше купе садится молодая девушка — высокая казашка лет двадцати с длинными черными косами. Она учится в Алма-Ате. Еще совсем недавно большинство казахских женщин ходили в паранджа. В степях этот обычай соблюдался не так строго, потому что паранджа мешала при верховой езде. Бабушка нашей спутницы никогда бы не осмелилась посмотреть на незнакомых мужчин, не говоря уже о том, чтобы вести с ними беседу. Даже во время танца женщины прикрывали лицо широким рукавом. Браки также заключались по законам феодальной арифметики — по числу овец и в интересах могущества рода. Тот, кто имел много верблюдов, мог иметь много жен. Если муж умирал, жены переходили к его брату. Такая структура семьи была вечным источником личных трагедий, прежде всего для девушек и женщин, но иногда и для мужчин. Несчастная любовь — частая тема казахского эпоса и сказок, она встречается и в более поздней литературе, начиная от Абая Кунанбаева и кончая трилогией Нурпеисова, в которой освобождение женщины изображается как важный элемент социального освобождения казахского народа в целом. Для нашей спутницы проблемы эмансипации — уже история. Она выйдет замуж только после окончания учебы. За богатого мужа, у которого много овец и верблюдов? Не-е-ет, она будет зарабатывать сама. Обязательно за казаха? Нет, не обязательно. А носит ли она шолпы, когда спешит на свидание? Да, она вплетает в косы серебряный колокольчик, который помогал раньше влюбленным найти друг друга в просторах ночной степи, но она может встретиться со своим милым и днем.

Мы мчимся дальше мимо соленых лужиц воды, которые, согласно преданию, образовались от слез казахских девушек и женщин. Кругом только соль, пески и свет — свет, во всяком случае, останется здесь уже навсегда.

— Эх, Ташкентик!

Мимо садов ехали чудные, невиданные телеги на двух огромных колесах. Сытые лошади с лентами в хвостах и гривах играли погремушками. На лошадях верхом сидели чудные, невиданные люди с обвязанными головами, а от огромных колес поднималась белая густая пыль, закрывала сады, деревья, и нельзя было ничего увидеть сквозь нее.

Потом верхом на маленьких жеребятах ехали толстые чернобородые мужики тоже с обвязанными головами. Сидят мужики на маленьких жеребятах, стукают жеребят по шее тоненькими палочками, а жеребята, мотая длинными ушами, идут без узды, и хвосты у них ровно телячьи.

Высунулся Мишка, увидел торговцев с корзинками на головах, услыхал нерусские голоса. Из корзинок, из деревянных корыточек глянули яблоки разные и еще что-то, какие-то ягоды с черными и зелеными кистями, широкие белые лепешки.

«Вот так живут!» — подумал Мишка, облизывая языком сухие, голодные губы.

А на станции лежали мужики, бабы; голые, полуголые, черные от ташкентского солнца, больные, умирающие. Поглядел Мишка издали, подошел ближе, постоял, подумал:

«Неужто и здесь хлебом нуждаются?»

Вышел.

Робко направился в зеленую улицу с высокими деревьями, остановился.

Запрокинул голову, разглядывая сучкастое дерево, засмотрелся на чернобородого мужика, едущего на маленьком жеребенке, и вдруг испугался: навстречу шел какой-то человек или не человек: руки, ноги видно, голову, а спереди, вместо лица — черная занавеска. Отошел Мишка в сторону от невиданной диковины, поморщился, выпячивая губы, и снова медленно двинулся по узенькой зеленой улице в пыльный, сухой, горячий город.

Вот он — сказочный город Ташкент, цель нашего путешествия по маршруту романа, прекрасный оазис на краю среднеазиатской пустыни, зеленый изумруд у подножия тянь-шаньских гор, столица Узбекской Республики. После книги Неверова его звали «городом хлебным», а с 1966 года называют городом братства. «Чач-Кемт» буквально означает каменный город, подтверждая тем самым, что облик города и более тысячи лет назад, когда им завладели арабы, определялся не юртами и глинобитными хижинами, а прекрасными дворцами и мавзолеями из камня. Ташкент удобно расположен географически — вблизи вод реки Чирчик, впадающей в Сыр-Дарью — Яксарт в далекой древности,— у начала плодородной Ферганской долины. Население города всегда жило торговлей, фруктами, но это не приносило ему счастья, так как естественные богатства цветущего оазиса привлекали к себе все новых и новых завоевателей. Ташкент и по сей день не утратил своей притягательной силы, хотя у завоевателей вот уже пятьдесят лет нет никаких больше шансов на успех, а в Ташкент охотно едет со всех концов Советского Союза трудовой люд, места хватает всем — «город хлебный» один из самых крупных городов в стране. Здесь всем хватает работы, хлеба, фруктов, цветов и солнца.

Да, цветы и солнце — это первое, что встречает нас в Ташкенте. 24 октября в половине четвертого утра по московскому времени термометр показывает 20 градусов, перед отелем «Ташкент» поливают водой каменную мостовую, чтобы было попрохладней. Поначалу прогулка по городу одно удовольствие. Прямо от отеля начинается проспект имени Ленина — современная широкая магистраль. Раньше, то есть до 1966 года, а точнее, до 5 часов 23 минут утра 26 апреля 1966 года, здесь стояли старые одноэтажные глиняные домишки. Началось мощное землетрясение, всего восемьсот толчков, разрушивших треть жилых построек Ташкента. Пострадавшие разместились в четырнадцати тысячах палаток. Коммунистическая партия СССР призвала на помощь всю страну. Уже в конце мая приехали первые строители из всех союзных республик. Сейчас невозможно найти следов катастрофы даже в дальних уголках города. Сегодня налицо другое: зримые черты братской солидарности всех народов Советского Союза. Идешь вдоль длинной шеренги новых современных жилых домов и видишь памятные знаки и надписи строителей Москвы, Ленинграда, Киева, прибалтийских и кавказских республик, Белоруссии и Дальнего Востока. Все они — их было тридцать тысяч человек — вложили свое усердие, чтобы восстановить Ташкент во всей его нынешней красе. Поэтому с 1966 года и называют Ташкент городом братства.

Это был Мишка.

В Ташкенте он долго ходил по базарам, ночевал под заборами, валялся около грязных арыков, думал, совсем умрет — брюшная болезнь пристала к нему: целыми днями понос мучил и кишки выворачивало наружу от гнилых подобранных яблок с персиками. Но все-таки не пропал он в тяжелые дни, вытерпел, перенес: и вошь, и грязь, и брюшную болезнь... Проел ножик с ремнем, подбирал гнилые яблоки, протягивал руку за милостыней, и все это ему надоело, опротивело: такими делами зерна не привезешь, а Мишке нужно зерно, чтобы самому посеять, хозяйство спасти...

Встал он на работу в садах у богатого сарта [1], встретил бузулукских мужиков и ушел с ними работать в степь. Молотил пшеницу, резал камыш, джугару, заработал два мешка пуда по четыре, два пуда отдал за провоз, проел дорогой, не желая милостыньку клянчить, и вместе с мужиками вернулся в родные края.

Меня беспокоят сувениры. Ведь не могу же я вернуться с пустыми руками! Коллекционирование сувениров — это хороший тон. Страстные коллекционеры превращают свои квартиры в настоящие этнографические музеи — янтарь с Балтийского моря, монгольские маски, мачете из Гаваны, верблюжьи седла из Каира, польские куклы, настенные ковры из Варны... Ну конечно же, им всем не хватает тюбетейки из Ташкента! А может, привезти родственникам и знакомым по маленькой узбекской лепешке? Это было бы скорее в духе нашего путешествия... Но как довезти свежие лепешки до Берлина? Да и хлеб в качестве сувенира? Нет, не годится. Пожалуй, лучше тюбетейки, хотя Ильф и Петров давно высмеяли в «Золотом теленке» погоню за этими сувенирами.

Дорогу нам переходит женщина с закрытым лицом — единственная, которую мы встретили за весь свой долгий путь. Живой отголосок далекого прошлого! Далекого прошлого? Всего каких-нибудь пятьдесят лет назад, когда Мишка Додонов батрачил у богатого узбека, все женщины закрывали лицо черным платком, следуя Корану. Всем отступницам от мусульманской веры грозила смертная казнь, а женщин, нарушавших супружеский обет, замуровывали живьем. В ташкентской галерее узбекских поэтов перед зданием литературного музея есть только один бюст женщины-поэтессы. Это—Махлар-ойим, вошедшая в историю узбекской литературы как Надира. Она мечтала в стихах о лучших временах, когда будут прислушиваться к голосу народа. По приказу бухарского эмира Махлар-ойим была казнена в 1842 году по обвинению в нарушении законов шариата. Мы не знаем точно, в чем конкретно обвиняли поэтессу, но догадываемся, что даже ее поэтическое имя носило бунтарский характер: «Надир» по-арабски — противоположная зениту точка небесной сферы. По-видимому, Надира — символ земных, жизненных чаяний и нужд узбекского народа, далеких от заоблачных

[1] Так в царской России называли узбеков.

ХАРАЛЬД ВЕССЕЛЬ
ТАШКЕНТСКИМ ЭКСПРЕССОМ ЧЕРЕЗ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СССР

Скульптурный портрет узбекской поэтессы Махлар-ойим.

высей. Мужественная поэтесса заплатила жизнью за свою смелость.

«Изменение исторической эпохи всегда можно определить по тому, насколько продвинулась женщина вперед на пути к свободе»,— если взять за мерку это высказывание Шарля Фурье, которое так охотно цитировали Маркс и Энгельс, то исторически короткий отрезок советской действительности в Средней Азии качественно и количественно принес больше изменений, чем все предыдущие исторические эпохи, вместе взятые. В современном Узбекистане женщины и девушки принимают на равных правах с мужчинами участие в жизни своей страны — они водят хлопкоуборочные комбайны, работают на электронно-вычислительных машинах, в управлениях, среди них много учителей, врачей, они участвуют в руководстве колхозами.

Председатель семеноводческого колхоза «Ленинизм», по образованию «сухой» математик, называет хлопок «белым золотом». Он ведет нас через хлопковое поле, срывает поздний цветок, показывает еще закрытую зеленую коробочку, потом другую, из которой уже чуть-чуть выглядывает белый пушок, и, наконец, белоснежный, мягкий, пушистый, величиной с теннисный мяч комочек хлопка, в центре которого сидят семена. И вдруг меня осеняет идея: ну вот же он — прекрасный сувенир из далекого Узбекистана! Мои собственные дети ежедневно одеваются в хлопок, но никогда еще не видели, как растут и цветут на кустах их рубашки и майки. Это поистине сувенир из «белого золота»!

Поздней осенью, в ясный и теплый денек, на маленькой станции, между Бузулуком и Самарой, остановился ташкентский поезд. Из вагонов с вагонных площадок попрыгали мужики. Поезд стоял недолго. Когда вагоны двинулись дальше, деловито постукивая колесами, на твердом подмороженном песочке рядом с рельсами горкой лежали сложенные мешки привезенного хлеба, помеченные крестиками, палочками, кривыми, неровными буквами.

На двух мешках было написано химическим карандашом: «Мих. Додон.».

К мешкам подошел плотный, загоревший мальчишка в большом разорванном картузе, внимательно оглядел завязки на мешках, потыкал мешки пальцем, самодовольно раздул черные, немытые щеки...

Дома его встретила пустая притихшая изба с зелеными стеклами в маленьких окнах. Со двора из отворенных ворот глянула мелкая кудрявая травка, высокая лебеда у плетней и брошенная почерневшая дуга колечком вверх.

В пустой почерневшей избе, на голой кровати, под мертвыми глазами двух икон из переднего угла лежала хворая мать.

Яшка с Федькой умерли.

Наклонился Мишка к хворой матери, тихонько сказал:

— Мама, встань, приехал я.

Вынул он из кармана зачерствевший кусок белого хлеба, горсть насушенных яблок, сунул матери в холодную руку:

— Держи, мама, ешь!

Потом он долго ходил по опустевшему двору. Увидал сухой лошадиный помет, вспомнил про лошадь, покупать придется. Увидел гнездо куриное с двумя перышками на почерневшей соломе, грустно вздохнул: заново придется ему налаживать хозяйство.

В худую крышу сарая залетел воробей уцелевший попрыгал на перекладине, нахохлился, задумался, поглядел прищуренными глазами на Мишку.

Задумался и Мишка, глядя на воробья. Поднял дугу почерневшую, поставил в угол, встал около мешков с пшеницей, твердо сказал:

— Ладно, тужить теперь нечего, буду заново заводиться...

Передо мной труднейшая альтернатива: хлеб или книги? Это «или» я никак не могу разрешить. Человеку наших дней нужно и то, и другое. Но багаж авиапутешественника строго лимитирован. Что же делать? Десятифунтовый каравай из Бузулука или десять фунтов книг о Бузулуке, Оренбурге, Актюбинске и Ташкенте? Мой спутник утешает меня: до отлета в Берлин у нас есть еще время, чтобы найти чудесный волшебный кувшин из узбекской сказки, вместительность которого не знает границ и который всеми авиакомпаниями мира рассматривается как ручной багаж. А смысл сказки таков: жили-были муж и жена — узбеки-бедняки,— и мечтали они о хлебе и сыночке. Вторая мечта сбылась, но вместо сына родился глиняный кувшин. Отец хотел с горя разбить его, но кувшин заговорил человеческим голосом: «Эй, отец, за что? Разве вы что-нибудь попросили у меня и я не выполнил вашу просьбу?» Услышав это, отец отправил своего необычного сына к богатому узбеку за хлебом. Богач с радостью взял его на работу, узнав, что в качестве платы тот хочет лишь, чтобы его доверху наполнили зерном. Бездонный кувшин проглотил, конечно, весь урожай жадного узбека и засыпал зерном весь дом своих бедных родителей.

Испокон веку мечтал трудовой народ райской по изобилию зерна и фруктов Ферганской долины о самом насущном в жизни — о хлебе. Для эксплуатируемых масс древний Ташкент никогда не был «городом хлебным». Это было их вековой сказочной мечтой. Поэты Средней Азии воспе-

1921 год. Артисты цирка собирают на улицах Петрограда денежную помощь голодающим крестьянам Поволжья.

вали как символ счастья на земле хлеб, мир, розы, любовь, вино и разум. В ташкентском литературном музее на двух десятках языков красуется духовное завещание Алишера Навои: «Люди всего земного шара должны понять, что раздоры — плохая вещь. Живи они в вечной дружбе друг с другом — нет ничего дороже этого». Конечно, Навои — этот узбекский Гёте — не мог провидеть всех глубинных причин бушевавших войн, но счастье людей на земле было для него наивысшим законом. По исламской легенде об Адаме, он был изгнан из рая за то, что сорвал с пшеничного дерева зерна пшеницы величиной со страусово яйцо. Пшеничное дерево — как древо жизни: знаменательный образ, подчеркивающий лишний раз древнейшую мечту человечества о материальном и духовном богатстве.

Мишка Додонов нашел свой волшебный кувшин: заработанные им зерна и брошенные в бузулукскую землю на Волге дали свои всходы, множась из года в год, так что сегодня уже ни для кого не в диковинку десятифунтовый белый каравай. На ташкентской хлебной фабрике, выпекающей ежедневно сорок тонн хлеба, рядом с новыми цехами сохранилось еще старое здание со старыми печами, в которых выпекается национальный узбекский хлеб — белые плоские круглые лепешки, величиной с тарелку, посыпанные сверху маком. Их пекут восемь минут и едят горячими... Нас угощают теплыми лепешками с виноградом и зеленым узбекским чаем — очень горячим и без сахара.

Мои мысли кружатся вокруг ходячих выражений вроде «жить как господь бог во Франции», или «кататься как сыр в масле», возвращаясь от них к «черным сухарям» — тем высушенным кусочкам черного хлеба, которые московские коммунисты собирали в 1918 году для своих голодающих в Берлине братьев по классу; от десятифунтового бузулукского каравая 1971 года к пожертвованиям зерном, собранным Международным комитетом помощи рабочего класса в 1921 году для детей Поволжья,— всего только пять десятилетий, но они принесли народам Советского Союза миллионы пудов хлеба, знания, книги, дружбу народов и мир.

Перевод с немецкого Г. КОСАРИК

ХАНС ШЕРФИГ

СТРАНА УТРЕННЕЙ ЗАРИ

Шота Руставели создал свою великую поэму «Витязь в тигровой шкуре» и любовные строки, посвященные черноокой царице Тамаре, за сто лет до «Божественной комедии» Данте и посвященных Лауре сонетов Петрарки.

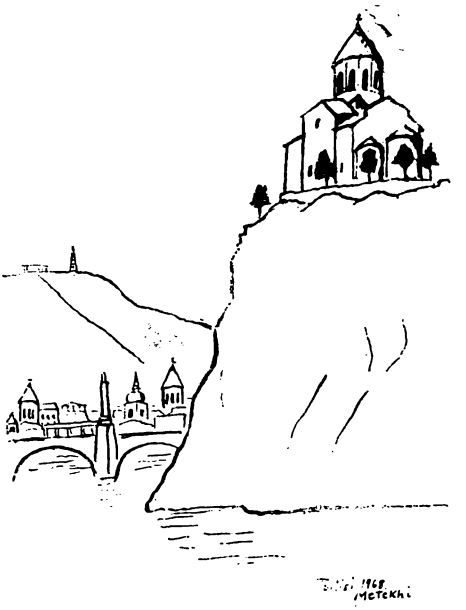
Задолго до Руставели в Грузии существовал богатый и выразительный литературный язык. Классическая греческая и латинская литература была переведена на грузинский, как и произведения арабских и персидских классиков. Греческая философия изучалась в гуманитарных школах Грузии. Примерно году в 1000-м, когда в Дании правил король Свен Вилобородый, произведения Платона и Аристотеля были переведены на грузинский язык. Известны грузинские произведения, которые на полторы тысячи лет старше самых древних рун времен викингов.

За 500 лет до миссии Ансгара [1] на Севере христианство было уже официальной религией в Грузии.

В наших школах эта страна не изучается. Она не упоминается в разрекламированной всемирной истории Гримберга [2]. Но

[1] Ансгар (801—865) — бенедиктинский монах, направленный в северные страны в качестве миссионера. *(Прим. перев.)*

[2] Карл Гримберг (1875—1941) — шведский историк, автор десятитомной всемирной истории (1926—1941). *(Прим. перев.)*



древнегреческий историк Геродот за 450 лет до нашего летосчисления писал о плодородной богатой стране, вывозившей золото, железо, дорогие сорта дерева, воск, кожу, полотно. Геродот обращал внимание на то, что грузинское полотно не уступает египетскому. Лет за двести до Геродота в Грузии начали чеканить монеты. Грузинские золотые монеты назывались колхидками. В Грузии, по преданию, находилось и золотое руно. Правда, может быть, греческая легенда о золотом руне в Грузии — лишь свидетельство о богатстве страны.

Эта древняя страна, где живы воспоминания и мифы, относящиеся к началу человеческой жизни на земле, по-прежнему является страной-раем, расположенной среди пальмового побережья и покрытых снегом гор. Природа одарила ее теплом, плодородием и богатством. Избалованный природой уголок мира.

В этом уголке мира я сейчас и нахожусь.

Пушкин писал о том, что «каждый час уносит частичку бытия». Этого не замечаешь ни в начале жизни, ни в начале путешествия. Первые дни заполнены до отказа, и кажется, что многое ждет тебя впереди. Лишь позже начинаешь ощущать, что «каждый час уносит частичку бытия».

Пушкин не дожил до 38 лет. Лермонтов дожил всего до 26. Маяковский остался в памяти вечно молодым. А те, кто жил долго, вспоминаются стариками — Гёте, Толстой. «Слава молодым!» — воскликнул Кнут Гамсун. Ему было 93!

Однажды ранним утром он сидел в Тифлисе в читальном зале гостиницы «Лондон» и говорил сам себе о русской литературе: «Кавказ! Недаром величайшие гиганты литературы, которых знает весь мир, великие русские бывали здесь и черпали из его источников...»

Льву Толстому было 24 года, когда его первое литературное произведение было напечатано. Повесть «Детство» — это не автобиография, а реалистически написанный рассказ. Он стал писателем в Грузии. Целый год он писал книгу в Тифлисе, в деревне у реки Терек.

Находясь в Тифлисе, Кнут Гамсун сказал о Льве Толстом: «Война и мир» и «Анна Каренина» — более крупных литературных произведений не создал никто».

Кнут Гамсун вначале следовал Толстому и призывал вернуться к земле, к сокам земли. Позже он стал последователем дурных пророков. Но и он создал великие произведения.

В 1900 году Гамсун ехал по Военно-Грузинской дороге через Кавказ в Тифлис и написал маленькую очаровательную книгу об этом путешествии под названием «В сказочной стране». Там же он создал драму о грузинской царице Тамаре.

Лермонтов приехал сюда на лошадях. Александр Дюма—на роскошной четверке. А Алексей Пешков пришел пешком с палкой и в худых сапогах. Этот человек, живший в дешевой квартирке в Тифлисе, написал рассказ, который был напечатан в местном журнале «Кавказ» под псевдонимом «Максим Горький». Рассказ назывался «Макар Чудра» и был первым напечатанным рассказом Горького. Это было в 1892 году.

Мы едем по новым кварталам города— Сабуртало, Дигоми, Авчала, Глдани,— новые просторные районы, парки и широкие обсаженные деревьями проспекты объединяют их со старым городом. Новая архитектура легка и грациозна, а традиционная любовь к открытым галереям придает новому стилю нечто специфически грузинское, национальную характерность, которая кажется естественной и органичной. Каждый третий день новый жилой дом готов для заселения. Мне говорили, что этого недостаточно. До революции в Тифлисе было триста тысяч жителей, теперь их — девятьсот тысяч. В городе идет стройка, разбиваются парки. В этой стране любят сады. В Тбилиси по отношению к количеству населения парки занимают большую площадь, чем в любой другой столице.

Столица Грузии — совершенно новый город, хотя он недавно отпраздновал 1500-й год своего рождения. В старом провинциальном губернском городе Тифлисе преобладали военные, чиновники, купцы. Теперь это промышленный город, столица Советской республики, центр культуры и науки. Здесь есть университет! Академия наук! Институт кибернетики! Смотришь налево, смотришь направо: политехникум, высшая школа физиологии, институт химической технологии, институт социальных наук, биологии, археологии, астрофизики, геологии. Улица за улицей — институт за институтом, высшие школы, библиотеки. Я успеваю записать, что в Тбилиси — одиннадцать высших учебных заведений и что при Академии наук — сорок пять исследовательских институтов. Я вижу желтое здание, где занимаются исследованиями сейс-

мологии и земного магнетизма, геоэлектричества и гравитации Кавказа. Я узнаю о том, что мой соотечественник Нильс Бор в 1961 году посетил Институт физики в Тбилиси и сказал: «Весь мир знает о красоте Кавказа и любви грузин к поэзии. Но теперь мы узнали о высокоразвитой науке Грузии».

Пятьдесят лет назад в университете Тбилиси было 314 студентов, теперь их—50 000.

До революции почти половина жителей Тбилиси были неграмотными. Я записал, что теперь там 153 школы-десятилетки, 41 вечерняя школа, 25 техникумов, Академия художеств, театральное училище, консерватория и 16 музыкальных училищ. В городе 95 общественных библиотек. В Грузии выходит 145 газет и журналов на многих языках тиражом более 76 млн. Восемь грузинских издательств ежегодно выпускают свыше 15 млн. томов книг.

Дальше: заводы, стройки. Город растянулся более чем на три десятка километров. Огромные современные спортивные залы новой, смелой архитектуры. Спортивные стадионы. Плавательные бассейны. Ипподром. Вот большой стадион «Динамо». А вот стадион «Локомотив». Высшая школа физкультуры и исследовательский институт физкультуры. 800 спортивных площадок в Тбилиси. Прекрасно.

Занимаюсь ли я спортом?

— Нет.

Один из моих грузинских гидов рассказывает, что он занимается борьбой. Борьба — древний национальный спорт Грузии. Поэт и философ Шота Руставели увлекался борьбой; кроме того, говорят, что он был мастером шахматной игры. Играю ли я в шахматы?

— Иногда с моим маленьким другом Николаем, моим внуком. Но я всегда проигрываю.

А здесь в шахматы играли с упоением задолго до периода царствования царицы Тамары. Я узнаю, что женщина-грузинка— чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили живет в Тбилиси, там же жил и экс-чемпион мира армянин Тигран Петросян.

Поскольку речь зашла о Шота Руставели, то можно подумать, что он по-прежнему жив. Он создавал свой эпос о витязе в тигровой шкуре в то же время, что Саксон Грамматик — «Деяния датчан». Можно было бы предположить, что эпос, которому 800 лет, сейчас интересует только филологов, но оказывается, что простые люди в Грузии знают наизусть множество строф из него. Услышав имя Руставели, наш шофер начал декламировать строку за строкой с большим чувством и опасными для движения жестами.

Дорога идет вверх, дорога идет вниз. Многие улицы странным образом наклоняются в этом растянувшемся городе, который растет и трудно, и неразумно, и прекрасно вверх по склонам гор от долины реки Куры. Красные горы загораживают ему путь в стороны. Но город болен болезнью роста. Он расширяется, вливаясь в узкие долины и тупики, и не может двинуться дальше. Бурный рост создает серьезные проблемы городского строительства, хотя самая трудная проблема транспорта преодолена после постройки в Тбилиси метро, голубые поезда которого мчатся через промежутки в полторы минуты.

Прекрасен центр города — проспект Шота Руставели. Он широк, как парижский бульвар, обсажен тенистыми платанами, на нем всегда множество людей, говорящих громко и страстно на многих языках этой республики. Здесь масса кафе и ресторанов. Здесь правительственные здания. Монументальный белый дворец — здание Верховного Совета в современном национальном грузинском стиле. Институт Маркса-Энгельса-Ленина — желтого цвета, его фасад украшен греческими колоннами. Опера в персидском стиле. Национальный театр. Консерватория. Художественная галерея. Кинотеатры. Гостиницы. Большие магазины и лавочки с удивительно красивыми грузинскими буквами на вывесках и световых рекламах.

А вокруг старые улицы, известные по литературе: Винная, Кузнечная, Банная, Серебряная, Хлебная площадь.

На север вдоль реки тянется Военно-Грузинская дорога, из города она ведет в глубь Кавказа.

■

У юго-восточного въезда в Тбилиси, где Кура вырывается из горного ущелья и течет по степи, воздвигнут монумент — высокий белый обелиск с вечным огнем. Памятник тремстам воинам из долины Арагви, которые вели отчаянную борьбу с персами и были зарублены все до одного в страшный сентябрьский день 1795 года. Го-

ХАНС ШЕРФИГ
СТРАНА УТРЕННЕЙ ЗАРИ

род был полностью разрушен, жители уничтожены с такой жестокостью, которая не забыта и теперь, по прошествии более полутораста лет.

Но жестокая резня в Тбилиси того времени не идет ни в какое сравнение с разрушениями и резней в русских и украинских городах, захваченных немецкими фашистами во вторую мировую войну. Дикость примитивных персидских воинов в 1795 году не может сравниться с планомерной жестокостью фашистов в 1942 году.

Варвары не дошли до Тбилиси. Германская альпийская дивизия «Эдельвейс» была зимой 1942 года прижата к Эльбрусу. Здесь у высочайшей горы Кавказа она была остановлена. В нескольких часах езды от Тбилиси в ледяном ущелье — на Марухском перевале — нацисты потерпели решительное поражение. Это было в сталинградскую зиму, когда победы Советской Армии на всех фронтах возвестили и наше освобождение.

Мы должны быть благодарны этой древней нации, которая не упоминается в наших исторических книгах и культура которой неизвестна большинству даже образованных датчан. Далекие от нас грузины участвовали в нашем спасении. И в Европе они боролись с нацизмом. Например, в Голландии на острове Тексел воздвигнут памятник грузинским военнопленным, которые подняли восстание и, присоединившись к голландскому движению Сопротивления, освободили остров.

На долю каждой грузинской семьи выпали потери и горе войны. Но республику миновали разрушения. Тбилиси, который сорок раз подвергался ограблению со стороны персов, арабов и монголов, избежал варварства тевтонов. Храмы, библиотеки, музеи, древние памятники культуры и чудеса, созданные в период пятилетних планов, были спасены и теми отважными людьми, которые боролись на Марухском перевале.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...

Шофер декламирует стихотворение Пушкина. Он грузин, а читает по-русски. Страсть к поэзии. Я по своему невежеству помню только несколько строк, переведенных на датский Вильгельмом Мёллером. «На холмах Грузии...»

Голубые далекие горы в утреннем тумане. Широкая Кура несет свои желтые воды. Поля. Ряды тополей. Миндальных деревьев. Плантации персиков и абрикосов, томатов, дынь. Дома крестьян в большинстве своем двухэтажные с характерными грузинскими крышами. Современные архитекторы в Тбилиси воспроизводят эту конструкцию крыш в широких масштабах.

Мы едем по Военно-Грузинской дороге, вначале она очень широка, на ней оживленное движение грузовиков и автобусов. Раннее утро. Люди стоят на остановках и ждут автобусов. Автобусы полны. Но внизу у реки те, у кого есть время, терпеливо удят рыбу.

По мере движения вперед долина реки Куры сужается, голубые горы становятся зелеными и коричневыми и приближаются к нам по обеим сторонам. А за этими горами более высокие горы, вдали же горы, сияющие снеговыми вершинами.

Мы в Мцхете. Древней столице Грузии. Теперь это маленький городок с низкими домами и садами.

Мы видим до сих пор существующий мост у Мцхеты, где жили огнепоклонники. В этом месте царь Мириан и его придворные приняли крещение от святой Нины. Мост—древний римский мост. Помпей приказал его построить в Грузии за 400 лет до прихода сюда Нины.

Вдали видна плотина через реку и колоссальная статуя Ленина. Первая ГЭС в Грузинской республике, пущенная в строй в 1927 году, еще до первых пятилетних планов Советского Союза. Скромное предприятие по сравнению с более поздними гигантами. Исторический памятник.

Церковь Джвари на горе, где стояли языческие идолы и где Нина воздвигала свой крест. А под горой — Ленинская ГЭС. Первая христианская церковь начала эпохи феодализма. Первая социалистическая турбинная электростанция начала эпохи бесклассового общества.

■

Мы в Кутаиси — втором по величине городе Грузии, столице Имеретии. Городу три с половиной тысячи лет.

Рано утром я выхожу из спящей гостиницы «Кутаиси» и намереваюсь один побродить по городу. Магазины еще закрыты. На углу большой книжный магазин со множеством витрин. Я смотрю на грузинские буквы на книгах и не могу понять, какую литературу читают жители города. Но все же среди грузинских книг я вижу альбом рисунков Херлуфа Бидструпа.

Тихая тенистая улица. Перед старым зданием статуя школьника. Буквы на цоколе русские — Владимир Маяковский.

Я встречаюсь с ним на утренней прогулке в Кутаиси. Здесь Маяковский ходил в гимназию. Он не был примерным учеником и не очень доброжелательно писал о своей школе. Сейчас перед ней его памятник. Так, может быть, и я увижу самого себя в бронзе со школьным ранцем перед гимназией «Метрополитен» на площади «Фруэ пладс» в Копенгагене?

Мне
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту —
ну-ка
дрызнь!
Ненавижу всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!

Это — последние строки из стихотворения Маяковского, посвященного 125-летию со дня рождения Пушкина.

Умершие молодыми. Памятники им стоят в Москве неподалеку друг от друга. Они одного возраста. Родственны друг другу по духу. Для обоих характерны многогранность и расточительность таланта, гениальная щедрость, русская, не подверженная старости. Столетие разделяет их, но одна и та же молодежь возлагает цветы у их подножия.

Теплый летний вечер. Поток людей, прогуливающихся на широких тротуарах, под цветущими деревьями. В Кутаиси двести тысяч жителей. Кажется, все они выходят вечером на улицу. Среди них греки и армяне и те, у кого на голове круглые шапочки из белого войлока — сваны из труднодоступной страны Сванетии у подножия Эльбруса. А старики в башлыках, наверное, аджарцы.

Через открытую дверь на балконе в мою комнату вливается аромат цветов. Пение цикад заглушает шум многочисленной говорливой толпы на бульваре. Сейчас полночь. Дома, во Фреденсборге,— на три часа меньше.

На столе белый телефон. Может быть, позвонить домой и узнать, как там обстоят дела?

Звоню. Дома все хорошо. Меня благодарят за письма и открытки, которые я прислал из Тбилиси. Слышно так отчетливо, как будто я говорю по местному телефону в Северной Зеландии.

— У нас идет дождь, холодно,— говорят мне. Я слышу шум осеннего дождя в Асминдерёле Марке. А здесь лето.— Откуда ты звонишь?

— Я приехал сегодня в город Кутаиси — это столица Колхиды, страны, где Медея была жрицей и где Язон похитил золотое руно.

Я держу телефонную трубку у открытой двери на балкон, чтобы во Фреденсборге услышали пение цикад под цветущими деревьями.

Старое и новое. Памятники эпохи феодализма — и создания пятилетних планов. Новое время очень молодо в Кутаиси.

До революции в этом городе не было даже колодцев. Маяковский, будучи гимназистом в Кутаиси, видел бедных продавцов воды, которые ходили от дома к дому с тележками и мешками воды. В городе была маленькая частная электростанция, маленькая табачная фабрика и несколько скромных мастерских. Теперь здесь сотня крупных промышленных предприятий.

Первый настоящий завод прибыл сюда в нескольких товарных поездах после победы Советской власти в Грузии. Это был подарок русских рабочих товарищам в Кутаиси. Машины для текстильной фабрики. Вскоре была создана шелковая и ткацкая фабрики, которые позже превратились в крупный шелковый комбинат. В течение пятилеток была построена ГЭС на Риони и целый ряд промышленных предприятий — автомобильный завод, металлозавод, мебельная фабрика, обувная фабрика и многое другое.

Мы побывали на текстильной фабрике, которая носит имя Кирова. Здесь две с половиной тысячи рабочих. Главным образом женщин. Большинство молодые девушки 20—25 лет. Все они окончили десятилетку, а некоторые продолжают учиться. Одни рассказывают, что учатся в высшем учебном заведении, другие изучают языки. Я вспоминаю девушку, которая пела для нас и держала речь на немецком языке в первый вечер пребывания в Кутаиси. Она тоже работает на этой фабрике.

На другой день друзья везут нас по субтропическому ландшафту с апельсиновыми и чайными плантациями. Нет более прекрасного растения, чем чай. Кусты чая напоминают кусты бирючины или мирта, они стоят рядами, словно подстриженные живые изгороди, повторяющие линии ландшафта, на них темные листья со светлыми побегами. Белые цветы чая похожи на большие анемоны.

В СССР изобрели чаеуборочную машину. В чайном колхозе мне продемонстрировали эту машину. Она работает осторожно и бережно. Машина по-грузински называется «Сакартвело» и существует всего десять лет. За сезон она проделывает работу, равную работе пяти тысяч сборщиков чая. В республике около тысячи таких машин.

■

Эвкалипты, тутовые, лавровые деревья вдоль дороги. А на склонах — ряды чайных кустов. За ними — снежные горы. Впереди виднеется большой дворец, сияющий белизной на солнце между пальмами и кипарисами.

Мы приехали в Цхалтубо. Это — удивительно плодородная долина с теплыми источниками, куда больные люди приходили уже в восьмом столетии, ища выздоровления и омоложения. Теперь это один из многочисленных курортов Грузии. Белый

ХАНС ШЕРФИГ
СТРАНА УТРЕННЕЙ ЗАРИ

дворец, который мы видели издалека, принадлежит профсоюзу горняков. В нем четыреста мест, он открыт весь год, ведь в долине вечная весна. В Цхалтубо еще пятнадцать других санаториев, и сюда ежегодно приезжают сто тысяч человек.

Мы едем на юг из Имеретии в соседнюю Мингрелию. Здесь идут частые, но недолгие дожди. Теплая влажность делает землю удивительно плодородной. Сады цветут так, что домов совершенно не видно между пышными кустами.

«...Чего только нельзя получить от такой земли в таком благословенном климате при прилежании и уме? Но беспечный, невежественный мингрел не умеет ничего. Да и зачем ему работать?» — так писал немецкий путешественник Г. Мерцбахер, исследовавший эту часть страны в начале века. «Беспечные, невежественные» мингрелы кое-что сделали за последние сорок лет. Низменность Колхиды от Мингрелии и до побережья Черного моря со времен аргонавтов и до периода пятилетних планов была страной болот, страной малярии. Большие пространства были недоступны для человека, никогда не исследовались, никогда не ступала на них нога человека. Но подобно тому, как в восточной части Грузии боролись с засухой, в западной шла борьба с влагой. И при осушении болот Колхиды достигнуты еще большие успехи, чем при орошении степей в Кахетии, потому что субтропическая и тропическая растительность в Колхиде особенно ценна.

Реки — Риони, Ингури, Хоби, Кодори,— текущие из кавказских ущелий и вздувающиеся от таяния снегов на ледниках, несут огромные массы земли и ила на низменность. Риони дает больше ила, чем Нил. Так было в течение тысячелетий. У берегов образовались насыпи, русла рек стали выше берегов, и вода переливалась через них в непросыхающее болото плодородного ила.

В этой части Грузии осадки выпадают в течение ста восьмидесяти дней в году. Их количество составляет 1500 *мм* ежегодно, в некоторых местах — 3000 *мм*. В три раза больше, чем в Дании. Большое количество влаги с неба ведет к постоянному разливу рек. На теплой грязи выросли дикие заросли тростников и болотных растений, вьющихся лиан и переплетающихся друг с другом кустарников. Недоступная для человека местность. Заповедник для кабанов и страшный инкубатор малярийных комаров.

Малярия теперь полностью уничтожена. Из 220 000 *га* болот третья часть осушена и возделана. Мы видим новые села, поля чая и табака, бобов сои и кукурузы, плантации цитрусовых деревьев, которые сорок лет назад были здесь неизвестны!

Здесь посажены леса австралийских эвкалиптов, которые быстро растут; поглощая большое количество воды, они делают суше воздух и изгоняют комаров. Уничтожение комаров и малярии было самым важным делом, к нему подступали с самых разных сторон. Руководитель малярийного института профессор Джапаридзе развел, например, здесь маленькую рыбку — гамбузию, которая очень эффективно уничтожает личинки комаров в стоячей воде.

На бурной реке Ингури, в которую вливаются воды 174 ледников, строится одна из крупнейших — и в Советском Союзе и в мире — ГЭС.

■

Гостиница «Интурист», где мы поселились в столице Аджарии Батуми, находится на приморском проспекте, около большого парка.

Основной язык в Аджарии грузинский. Помимо грузин здесь живут русские, украинцы, армяне, греки, айсоры, курды, татары, персы, абхазцы и небольшие группы других народностей.

Вечером люди гуляют под пальмами в парке перед нашей гостиницей. Это южная Лангелиние с открытым берегом. Погода ясная. На небе турецкий полумесяц. Я читал в датской газете, что берег в Батуми постоянно охраняется военными, чтобы страдающее население Советского Союза не направилось вплавь в Турцию. Я вижу солдата, он сидит на скамейке и обнимает девушку, может быть, для того, чтобы не дать ей уплыть.

В парке — открытый театр, рестораны, музыка, танцы. Множество людей. В промышленном городе Батуми сто тысяч жителей и столько же отдыхающих. Сезон здесь продолжается круглый год.

■

Утро. Идет дождь. Мы едем по «винной» дороге — так называется древняя дорога из Тбилиси к востоку, к Кахетии, к известной долине реки Алазани, где виноград зреет раньше, чем в каком-либо другом месте, благодаря отражению солнечных лучей от снежных гор.

Везет нас не тот шофер, который читал нам стихи Пушкина и Лермонтова. Этот поет нам прекрасные грузинские песни. Позже я узнаю, что оба эти веселых чудесных человека — братья. Их зовут Гоги и Самеба.

Мы едем по плодородной степи, перерезанной каналами оросительной системы,

проезжаем маленький город Самгори с пышными садами. Плодородие здесь недавнего происхождения. До 1950 года Самгорская степь была пустыней. А теперь урожай зерновых здесь собирают два раза в год, а овощей — три раза.

Гигантские машины изменяют природу высохшей, эрозированной земли. В Самгорской степи искусственно орошается уже свыше 55 тыс. *га*. Непрерывно растет плодородная площадь. Ирригационная система около реки Алазани еще более интересна. После революции, которая была осуществлена в Грузии в 1921 году, путем искусственного орошения свыше 275 тыс. *га* ранее бесплодной степи превращено в необычайно плодородную площадь.

В книге «Направления во времени» датский писатель Иоханнес В. Енсен так высказался о результатах революции: «Характерные плоды коммунизма — упадок городов. Они снова превращаются в степи». Писатель высказал это «мудрое» изречение как раз тогда, когда советские люди уже в годы первых пятилеток заставили цвести пустынные просторы.

Цинандали — историческое винодельческое поместье, принадлежавшее писателю и князю Александру Чавчавадзе, находится также в долине Алазани. Теперь это совхоз, но княжеский дом сохранен как литературный музей, где живет память о писателях, посещавших этот гостеприимный дом,— Грибоедове, Пушкине, Лермонтове, Бараташвили. В Цинандали Пушкин впервые читал стихотворение, которое все русские знают наизусть: «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»

■

Трудным путем между скалами мы едем к селу Аванта. Дома вверху и внизу разбросаны на большой площади по обе стороны огромного ущелья. Здесь выращивают табак, кукурузу и разводят скот. В этом селе живут люди многих национальностей.

Мы знакомимся с селом. Товарищ Чахветадзе — председатель колхоза — водит нас повсюду. Он просит извинить, что кроме грузинского говорит только на русском, греческом, турецком и абхазском. Из-за расстояний и трудных дорог, из-за большого числа национальностей в колхозе несколько домов культуры и школ в разных местах. В армянской школе грузинский преподают как второй язык, в грузинских школах — кроме родного — русский и иностранный. Стенная газета «Авангард» выходит на четырех языках.

В Аванте есть театр на триста мест. В колхозе девятьсот членов. Он называется «Цулукидзе». Я не могу забыть этого названия потому, что вечером решением правления колхоза я был принят в члены колхоза и стал гражданином Аванты.

Последний день в Абхазии.

Вчера мы были в художественной галерее. Мы посетили также художественную школу для детей. Я сделал много записей, может быть, слишком много.

Театр в селе Аванта, стоит ли об этом упоминать? Заинтересует ли моих датских коллег, что в Союзе писателей Абхазии 58 членов? Но когда речь заходит об условиях работы писателей, то следует напомнить, что только советская власть дала абхазским писателям письменность. Абхазия — яркий пример. До революции в русском государстве проживали представители 40 народностей, которые не имели своей письменности.

Не мощная русская держава, но Союз национальных республик. Книги, выходящие на сотнях национальных языков. Школы для всех национальных меньшинств. Театры в селах и на предприятиях. Дома культуры. Народное искусство. Расцвет национальной культуры и новые творения народов, которые при политике колониализма царского государства были осуждены на варварство. Это осуществление национальной политики, которая была провозглашена уже в первые дни после революции.

Это видишь особенно отчетливо в стране древней культуры Грузии, где обитает несколько народностей.

Перевод с датского Н. КРЫМОВОЙ
Рисунки Х. ШЕРФИГА

ФИЛЛИП БОНОСКИ

ЗА ГРАНИЦАМИ МИФА

Веками наблюдала Европа, как умирает Литва. Еще Иммануил Кант, обращаясь ко всему миру, призывал спасти хотя бы литовский язык, если уж самому народу уготована гибель. Ведь этот язык, как и рассыпанный на дне моря янтарь, таит в себе сокровенные тайны прошлого, которые важно раскрыть. И даже если саму Литву хищнически поглотит другая страна, ее язык должен быть сохранен.

Но народ Литвы не пожелал гибнуть. Не-

смотря на приход немцев — сначала в образе крестоносцев с христианским крестом, с огнем и мечом; затем, на протяжении ряда столетий, в других столь же кровавых обличьях; наконец, совсем недавно, снова с крестом, на этот раз изломанным на концах, но, как и прежде, с огнем и мечом,— литовцы выжили, их язык живет.

И вот в один прекрасный день я сижу в темном зале кинотеатра в Вильнюсе и слежу за происходящим на экране. Меня глубоко волнует и трогает не красота актера, а музыка его голоса, магия произносимых им слов; он говорит на каком-то неведомом мне литовском языке — я и не подозревал, каким прекрасным может быть этот язык,— речь моих неграмотных родителей никогда не поднималась до таких чистых высот.

Не знаю, хорош ли, плох ли был фильм. В кадрах его я впервые знакомился с творчеством литовского поэта трагической судьбы Юлюса Янониса, с красотой его стихов, которые звучали для меня как вести из родного края, откуда я был похищен невинным младенцем. Я испытывал чувство томительного медленного обновления.

Некоторое время спустя мне довелось посетить Институт литовского языка и литературы, входящий в состав Академии наук. Институт размещается в особняке, который прежде принадлежал какому-то богатому семейству. Неподалеку возвышается костел Петра и Павла, поражающий своей фантастической архитектурой барокко. Аллея утопает в цветах, с которых сегодня свисают дождевые капли, готовые ливнем обрушиться на неосторожного прохожего.

Этот особняк представляет собой мировой центр по изучению литовского языка, литовской литературы, литовского фольклора, любых аспектов литовской лингвистики. В институте шесть главных отделов: три из них занимаются лингвистикой, два — литературой и один — фольклором. Здесь трудятся около ста филологов; словно рудокопы, разрабатывают они глубокие пласты, чтобы добыть редкостный янтарь знаний о прошлом их страны: ведь в народных песнях и преданиях запечатлела себя вечно живая душа народа. Шестьдесят из этих филологов являются научными сотрудниками; кажется, тридцать четыре из них — доктора наук и кандидаты. Жизнь неизменно вносит коррективы в эти цифры: в сформировавшийся научный коллектив постоянно вливаются все новые работники, несущие с собой свежую научную мысль. Бросается в глаза, как они молоды, эти молодые литовские ученые.

Сотрудники института работают с сознанием того, что им оказано огромное доверие. Наконец-то сбылась вековечная мечта литовских ученых: в их власти определять пути и средства увековечения языка, всей его письменной и устной культуры. Ежегодно на нужды их работы отпускается более 100 тысяч рублей, а существует институт вот уже двадцатый год.

Литовский язык, к слову сказать,— один из старейших языков Европы. Этот язык прекрасен сам по себе, но кроме того, он представляет собой живой ключ, с помощью которого можно будет разгадать многочисленные загадки, по сей день ставящие в тупик этимологов, археологов, историков и антропологов. В литовском языке филологи стремятся обрести средство осветить многие неясные моменты человеческого прошлого.

В Институте восстанавливаются сохранившиеся архивы 1907 года. В его стенах находится крупнейшая в мире библиотека изданий о Литве, насчитывающая около 65 тысяч томов. Собраны и хранятся примерно 10 тысяч периодических изданий, посвященных всевозможным сторонам литовской действительности, 28 тысяч рукописей, 10 тысяч старых фотографий.

Вот уже несколько лет Академия занимается подготовкой полного словаря литовского языка. На сегодняшний день собрано более 3 миллионов слов. В это число входят слова классического литовского, отобранные из старинных рукописей, и 400 тысяч слов из многочисленных литовских диалектов. Сотни наименований рек, холмов, деревень и местных достопримечательностей — слов, в которых отразился тот миг, когда народ залюбовался своей землей и предался мечтам,— навеки запечатлены между обложками словаря.

К моменту моего посещения института уже было выпущено шесть томов, всего же это громадное издание будет насчитывать пятнадцать томов, а то и больше! Итак, нация, утрачивавшая свой язык, а вместе с ним и значительную часть своего прошлого, иначе говоря, свою память, самые очертания своей души, была спасена как раз вовремя! Ведь череда событий движется стремительно, и даже материальные связи с прошлым быстро исчезают. Нацисты убивали не только людей, они убивали народную память и язык народа...

В институте имеется также крупнейшее хранилище фольклора — нигде в Европе не найти более подробных, более обширных архивов, посвященных фольклору. Собрано 70 тысяч различных фольклорных произведений — басни, сказки, загадки и т. д. В них скрыты тайны прошлого Европы, уходящие корнями в эпоху язычества.

Благодаря глубокому интересу к народному искусству, к народным сказкам и песням теперь стали уделять больше внимания и живущим в настоящее время во всех сельских местностях Литвы народным художникам-резчикам, которые создают басни и легенды в дереве. Примерно 6 тысяч таких народных художников получили официальное признание и соответствующий статус. Некоторые из них достигают в своем творчестве уровня высокого искусства.

Согласованными усилиями ведется отлично организованная кампания по записи на магнитофонную ленту и на бумагу всех диалектов, доживших в Литве до наших дней. В этой республике, население кото-

ЗАРУБЕЖНЫЕ ХУДОЖНИКИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Генрих Фогелер. Сплавщики. 1936 г. Германия.

Ларс Норрман. Таджикистан. 1959 г. Швеция.

Ютта Дамме. Узбекский ребенок.
1964 г. ГДР

Бернхард Франке. Ленинградская пара. 1970 г. ГДР.

Ион Пача. Народный ансамбль. 1964 г. Румыния.

рой сегодня достигает более 3 млн. человек, все еще существует семьсот обособленных районов, многие из которых сохраняют индивидуальные особенности в речи и обычаях. Вся страна — подлинный живой музей. Но это богатство различий, полное манящих намеков на тайны прошлого, быстро исчезает под натиском модернизации и уравнивающего влияния радио и особенно телевидения: в Литве насчитывается четверть миллиона действующих телевизоров, причем их количество с каждым годом возрастает и будет возрастать.

Эти края истоптаны тяжелыми сапогами солдат, по ним не раз прокатывались армии, но в разбросанных там и сям нетронутых островках жизни народная память сохранила события далекого прошлого, когда в Литву вторглись немецкие крестоносцы и насильно обратили литовцев в веру Христову. Вплоть до того времени Литва оставалась, по-видимому, последним в Европе убежищем подлинного язычества, и даже сегодня остатки этого пленительного примитивизма сохраняются в народном искусстве, языке и особенно в гномических формах устной речи. В глухих уголках Литвы по сей день поминают имя бога-громовержца Перкунаса, призывая его поразить врагов. Да и мне, осиротевшему литовцу в Америке, приходилось слышать, как моя мать восклицала: «Perkūnas nutrenks tave!»— «Разрази тебя гром!» А в учебниках я тогда же читал о Манитобе — боге индейцев, живших когда-то на месте нашего города, и о том, как эти погибавшие коренные американцы, подобно погибавшим литовцам, молили: «Останови свою руку!» Впрочем, у Манитобы было так же мало реального могущества, как и у Перкунаса, и после полутора столетий кровавой войны остаток этого индейского племени — всего двести пятьдесят человек — закончил свой путь в оклахомской резервации.

Гёте, слушая дайны — народные песни Литвы,— тонко подметил, что среди них нет колыбельных. И это казалось поистине странным, потому что многие и многие литовские дайны сложены женщинами — безвестными матерями и женами, которые вставали до света и усталые, измученные работой, ложились спать поздно ночью, вздыхая при мысли о многих своих бедах и невзгодах. Было бы напрасным трудом искать среди литовских дайн песни — боевые кличи. Для литовской песенной традиции характерен плач женщин, у которых боги войны отняли сыновей и мужей и которые, отправляясь утром на работу в поле, берут с собой младенца и укладывают его под деревом или у стога, а вечером приносят его, тепло укутанного, домой, дают ему грудь и укладывают спать. Какие уж тут колыбельные!

Путешествуя через Жемайтию по дорогам, вьющимся среди холмов и долин, которые похожи на ожившую волшебную сказку, среди молодых, недавней посадки лесов (в этой древней северной земле возраст лесов во многих местах составляет 15—20 лет: они были посажены после войны), я лицом к лицу встретился с прошлым моего отца и матери, хотя сами они родом не из этих мест. Там и здесь у обочин дорог стояли потемневшие от времени кресты с пригвожденными деревянными фигурами, у которых были усталые и трагические лица моих предков — вот они висят, навеки распятые, и смотрят сверху на историю, насквозь пропитанную кровью их сердца.

Современный литовский язык живет полнокровной жизнью, растет, развивается. Он расширил свой словарный запас, свой объем понятий, ибо ныне литовцы толкуют не только о земле болот и трясин, глухих лесов и крестьянской скорби. Теперь язык должен быть достаточно емким, достаточно гибким, достаточно богатым и творческим, чтобы отразить те великие перемены, которые произошли в стране за последнюю четверть века, а также перемены, преобразившие весь мир. Ныне литовцы говорят о динамо-машинах, о космонавтах и полетах в космическое пространство, об электронике, кибернетике, теории вероятности и физических концепциях, для которых каких-нибудь три с половиной десятка лет назад не было даже понятий, не говоря уж о словах, обозначающих эти понятия.

Академия наук составляет трехтомную «Грамматику литовского языка», в которой будет проанализирован морфологический и синтаксический строй языка, прослежена во всех тонкостях его эволюция. Это исследование не только раскроет тайны литовского языка, но и поможет глубже проникнуть в историю литовского народа, а значит, и всего человечества. Этот труд явится — и уже является — важным вкладом в мировую науку, в непрекращающееся познавание нами самих себя.

Реконструируя национальную биографию, литовская наука дает важное связующее звено в цепи восстанавливаемых событий прошлого. Ведь через Литву шел путь многих великих переселений и передвижений племен Европы и Азии, которые оставили здесь свой след — не тенью на камне, не янтарной неподвижностью сосновой смолы, столетиями затвердевавшей под ударами морских волн, а отпечатком на самом строе языка, его диалектах, интонациях, равно как и след в виде старых преданий и мелодий, поныне бытующих в дальних деревнях и хуторах.

Третья большая задача Академии — издание многотомной «Истории литовской литературы» — уже выполнена. Один только этот факт полностью опровергает выдвинутое в конгрессе США злонамеренное обвинение, будто «литература и искусство Прибалтийских государств испытывают на себе беспощадное давление, имеющее целью положить конец их существованию в качестве независимой составной части духовной жизни оккупированных стран...»

Четвертой большой задачей является публикация собрания литовского фольклора в

ФИЛЛИП БОНОСКИ
ЗА ГРАНИЦАМИ МИФА

пяти томах. Это одно из немногих начинаний такого рода в мире. Уже собрано и каталогизировано более 250 тысяч народных песен, около 40 тысяч мелодий. Столь крупное достижение науки и культуры носит поистине эпический характер — ведь это в буквальном смысле слова представляет собой спасательную экспедицию, которая сумела вырвать из лап забвения сами звуки народной жизни с ее радостями и горестями, воплотившие в себе «душу» народа. Систематически записываются и готовятся к печати народные сказания, легенды и басни. Только благодаря тому, что социалистический строй вовремя принял меры, предоставил денежные средства и создал научные кадры, удалось уберечь литовский фольклор от полного и бесследного исчезновения, «поймать» и навеки сохранить уходящие и невосстановимые черты прошлого. Могло бы подобное начинание, монументальное по своим масштабам, требующее гигантского труда, быть предпринято народом, стоящим на пороге гибели, культура которого «удушается», а родной язык и национальное самосознание «подавляются», как это безответственно и злопыхательски утверждают враги сегодняшней Литвы?

Нет, литовский язык не подвергается в Литве гонениям. Он обновляется и возрождается. За двадцать лет, начиная с 1945 года, литовское издательство художественной литературы «Вага» выпустило более 4 тысяч книг различных названий общим тиражом 50 миллионов экземпляров. В одном только 1965 году в Литве было издано 2 тысячи различных наименований книг, а их общий тираж составил 14 миллионов экземпляров — на 2 миллиона больше, чем в предыдущем, 1964 году. При трехмиллионном населении это составляет около 4—5 книг на одного человека ежегодно, что намного превышает средний американский уровень.

В 30-е годы, при режиме Сметоны, в школах училось лишь 40% детей — главным образом из семейств, принадлежащих к средним и высшим слоям общества,— 60% детей оставалось вне школы.

В 1940 году, когда в Литве была восстановлена советская власть, в стране насчитывалось 180 тысяч абсолютно неграмотных взрослых людей. Еще 223 тысячи едва умели читать и писать. Кругозор каждого третьего литовца практически не выходил за пределы виденного и слышанного им самим.

Революция поставила на повестку дня в качестве первоочередной задачи решительный штурм твердынь темноты и невежественности.

Незамедлительно было открыто четыреста начальных школ. Число учащихся в этих школах почти сразу же подскочило до 330 тысяч. Этот процесс распространился и на высшие учебные заведения. Впервые за всю историю страны литовские дети получили возможность все вместе начать учебу, причем каждый из них мог учиться дальше — по зову его освобожденных из-под спуда способностей. Мало того, что его обучение стало бесплатным,— теперь оплачивались и его расходы на жизнь в период учебы.

Даже в разгар войны литовское министерство просвещения думало над тем, как организовать систему образования в послевоенные годы. Было запланировано освободить учителей от военной службы. Открыть школы-интернаты для детей, потерявших родителей, а также для детей, по какой-либо другой причине лишенных возможности жить дома. (Эта мера в зародыше предотвратила одно из худших последствий войны — детскую преступность.) Открыть больше вечерних школ, больше специализированных учебных заведений. Увязать расписание школьного дня с рабочим днем родителей. Создать двадцать три специальные школы для отсталых детей. Специальные школы для одаренных детей — музыкальные, балетные, художественные. Профессиональные училища для работающих учащихся.

В 1939 году в Литве было 8 тысяч учителей, к 1965 году их насчитывалось уже более 30 тысяч. Возрос и их общественный престиж. Около тысячи учителей было избрано в местные и республиканские Советы.

Почти повсеместно обучение ведется на литовском языке, и это поразительным образом расширило рамки его использования и повысило его общую культуру по сравнению с тем, что было в прошлом. Ведь крестьянам, лишенным возможности учиться в школе, не удавалось как следует овладеть родным литовским языком.

Сегодня в Литве на 10 тысяч населения приходится 131 человек с высшим образованием по сравнению с 40 во Франции и Швеции.

Литва быстро становится страной образованных людей. Ключевые посты во всех отраслях жизни занимают уже представители нынешнего поколения, обучавшегося в новых условиях. Я познакомился с сотнями из них — учителями, научными сотрудниками, врачами, работниками сельского хозяйства, строителями мостов и заводов, оперных театров и стадионов, кардиологами, специалистами в области электронно-вычислительных машин, математиками-теоретиками, астрономами, учеными-пчеловодами. За каких-нибудь тридцать лет они кардинально изменили само качество культуры. Это поколение читателей: они без конца читают, благо, что книги издаются для них такими огромными тиражами, о которых и мечтать не смели дореволюционные писатели.

Вдобавок к этому читателей обслуживает обширная сеть библиотек — их количество возросло за двадцать пять лет — с 1940 года по 1965 год — с 161 государственной библиотеки до 1796 библиотек, подчиненных министерству культуры, и еще 5 тысяч библиотек, находящихся в ведении профсоюзов. Ныне бесплатная книга буквально стучится в дверь каждого литовца.

Вильнюсская национальная библиотека — это современная, прекрасно оборудованная библиотека, в которой хранится 2 миллиона

книг и созданы все условия для научно-исследовательской работы. Библиотека получает 245 республиканских, общесоюзных, иностранных (в том числе американских) газет и 1800 журналов; ежедневно в нее поступает со всего мира 600 новых публикаций. К услугам читателей микрофильмы, аппаратура для снятия фотокопий. Центральная библиотека соединена с другими библиотеками, разбросанными по всей Литве, телетайпной системой. Так что читатель по первому требованию получит любые сведения. В центральной библиотеке ежедневно бывает полторы тысячи читателей, и персонал библиотеки, сотрудники которой владеют 22 языками, предоставляет им профессиональное обслуживание — например, консультирует инженеров в области химии, электроники, радио и кибернетики.

Помимо того, что литовцы берут книги в библиотеках, они ежегодно покупают в среднем 12 миллионов книг для своих личных библиотек. Произведения литовских писателей издаются большим тиражом — не только на литовском языке, но и на многих других языках — на тридцати двух языках народов Советского Союза и на двадцати языках народов мира.

■

Летним днем Вильнюс купается в рассеянных солнечных лучах, пробивающихся сквозь пелену облаков и окрашивающих город в серебристо-зеленый цвет. Серебрится река, поблескивая, как влажная чешуя рыбы, только что выхваченной из воды. Перламутрово отражаются в воде зеленые купы деревьев на ее берегу. Это Нерис — мать литовских рек.

Вечерами, а вечера здесь длинные, я отправляюсь в далекие прогулки вдоль реки Нерис, мне нравится остановиться где-нибудь на крутом берегу в западной части города и смотреть на панораму Вильнюса, на мосты через реку. Отовсюду видна башня Гедиминаса, увенчанная красно-бело-зеленым национальным флагом. Легко представить себе, как если бы это было подлинным воспоминанием, огромные костры, которые пылают на ее верхушке, предупреждая жителей о приближении врага — как правило, немецких захватчиков.

Спустившись затем к площади Гедиминаса, где стоит построенный литовским крепостным Лауринасом Стуока-Гуцявичюсом огромный белый собор, на колокольне которого помещаются большие часы с четырьмя циферблатами, ощущаешь мгновенную радость от соприкосновения со временем, красотой и самой историей, воплотившимися в этом редкостном творении.

Ныне собор превращен в музей. Когда поздно вечером выходишь к нему по проспекту Ленина или по любой из других ведущих к нему улиц, он возвышается впереди белой громадой, напоминая застывшего в неподвижности часового, который стоит на страже прошлого своего народа.

Великолепны виды Вильнюса, но не только в них его очарование. Поистине прелестны запахи Вильнюса! Иные города воняют — этот город благоухает дразнящими ароматами. Тут и густой аромат цветущей липы на проспекте Ленина, и запах горячего хлеба, испеченного в каменной печи. Некоторые из этих ароматов я не вдыхал с самого детства. Зайдя бодрящим ранним утром в гастроном, чтобы насладиться его запахами, вы вдыхаете благоухание свежесмолотого кофе; ароматы, источаемые целыми горами сливочного масла, нарезанного большими золотистыми кругами; буханками заварного хлеба с толстой коркой, густо посыпанной тмином; чернослива и курагой в больших корзинах; солеными огурцами в бочках, плавающими в рассоле с укропом; яблоками, грушами и кочнами капусты. А запахи, доносящиеся из цветочных киосков, где так дешевы и невыразимо прекрасны цветы! Недаром поется, что Литва всегда цветет, как цветы,— все эти ноготки и гладиолусы, розы и зеленые охапки руты встречают вас, куда бы вы ни пришли. То вдруг ударит в нос запах кваса, то донесутся запахи речной свежести, то повеет в прохладный день ароматами загородных полей.

Заглядывая во время прогулок по городу в его укромные боковые улочки, тут и там видишь прикрепленные к стенам бронзовые доски с надписью «Охраняется государством». Значит, это конкретное здание объявлено ценным архитектурным памятником и взято государством под постоянную опеку.

Вильнюс бережно хранит память о выдающихся людях, которые некогда жили здесь, творили, сражались, умирали за социализм. Их имена носят городские улицы, парки, площади. Поэтому во встречу с прошлым превращается даже простое описание города, начиная с улицы Капсукаса, носящей имя первого секретаря Коммунистической партии Литвы, и кончая улицей Гагарина, названной так в честь первого человека, проникшего из нашего мира в мир космоса.

Почетом окружены и имена деятелей более далекого прошлого. Здесь сохраняется дом, где жил, учился и писал свои бессмертные произведения Адам Мицкевич. Известный миру как польский национальный поэт, он творчески сложился в интеллектуальной атмосфере Вильнюса, входившего в тогдашнюю польскую Литву. Здесь он стал поэтом, здесь он боролся за права человека, отсюда он был отправлен в ссылку. Тринадцатилетним мальчиком он видел армии Наполеона, двигавшиеся через Вильнюс на Москву. Мицкевич учился в существующем поныне Вильнюсском университете. Он изучал философию и вступил в ряды «Филоматов» — тайного студенческого общества, которое быстро проделало путь от чисто литературного кружка к полити-

---

ФИЛЛИП БОНОСКИ
ЗА ГРАНИЦАМИ МИФА

ческой организации. За членство в ней царская полиция и выслала Мицкевича в Россию. Но там, в России, он познакомился с Пушкиным, стал своим человеком среди декабристов и едва не пал жертвой преследований после их восстания против царя. Его близкие друзья — участники восстания. В Вильнюсе увековечена память об этих событиях биографии поэта, отображенных в поэме «Пан Тадеуш».

Сюда, в Вильнюс, пришел в 1705 году, преследуя отступавших шведов, Петр Великий; в церкви неподалеку от площади Гедиминаса он крестил прадеда Пушкина африканца Абрама Ганнибала. Здесь жили русский скульптор Антокольский и польский композитор Станислав Монюшко, и Вильнюс благоговейно хранит память о них. В этих самых домах XV века с их тайными подвалами и подземными ходами длиннобородые маги пытались раскрыть секрет получения золота, секрет неоскудевающего богатства. Пять столетий спустя любой литовский ребенок мог бы сказать им, в чем коренится этот секрет — в рабочих руках народа.

Стены и мемориальные плиты Вильнюса хранят память и о событиях новейшей истории. Вот дом 5 по улице Коммунаров. В январе 1919 года здесь была штаб-квартира тогдашней коммунистической партии, и пятьдесят красногвардейцев вели здесь последний бой в защиту первой Литовской социалистической республики, задушенной белополяками. Четверо последних оставшихся в живых красногвардейцев, расстреляв все патроны, покончили с собой, чтобы не попасть в руки врагов. Здесь увековечена их память.

Увековечена также память героев, освободивших Вильнюс от фашистов тринадцатого июля 1944 года под руководством генерала Ивана Черняховского, памятник которому воздвигнут в липовом парке на проспекте Ленина. Литовская дивизия, сражавшаяся в составе наступающих войск, покрыла себя славой как передовой отряд освобождения Литвы. Воины этой дивизии боролись не только за свой народ, но и за его социалистический строй. Поэтому литовцы ощущают прямую преемственность борьбы, единящую этих воинов с революционерами, казненными на площади, которая ныне носит имя Ленина. Там, в углу площади, лежит черный камень, на котором выбита лаконичная надпись: «1863 год». Здесь по приказу царя были казнены 37 революционеров. Они отдали жизнь за демократические права, и сегодня память о них неразрывно связана с возвышающейся на красном гранитном пьедестале фигурой Ленина, который простирает руку к будущему. Они были предшественниками Ленина — провидца, ясно представлявшего образ грядущих поколений.

Вильнюс помнит и седую старину, и дорогих его сердцу людей недавнего прошлого. Он с бесконечной благодарностью хранит память о рабочих, крестьянах, революционерах, писателях и поэтах, сражавшихся за его освобождение или посвятивших ему свои таланты. Мемориальная доска висит на стене дома, где некогда жила пламенная поэтесса Саломея Нерис. Именем Пятраса Цвирки, революционного писателя и активного борца за революцию, назван парк, в котором ему поставлен памятник — устремленная вперед бронзовая фигура рабочего человека.

Бережно сохраняется позеленевший от времени дом, в котором жила и создавала свои произведения замечательная писательница Юлия Жемайте. Неграмотная крестьянка, она начала писать сорока пяти лет и поведала в своих глубоко правдивых книгах горькую правду о крестьянской жизни Умерла она в 1921 году. Мемориальные плиты установлены в память о Винцасе Мицкявичюсе-Капсукасе и Юлюсе Янонисе, молодом поэте революции, трагически погибшем под колесами поезда. Одна из улиц Вильнюса носит имя Людаса Гиры. Увековечено имя Витаутаса Монтвилы, «литовского Маяковского», который приветствовал наступление социалистической эры в сборнике стихотворений «Венок Советской Литве» и был убит фашистами в 1941 году. Вильнюс свято чтит память Донелайтиса, поэта XVIII века Антанаса Страздаса, Антаниса Баранаускаса, Ионаса Билюнаса.

Эти и многие другие писатели определили направление развития литовской литературы в XIX — начале XX столетия, обусловили ее взаимосвязь с национально-освободительной борьбой. Литовская литература с неизбежностью стала летописью освободительной борьбы и многие литовские литераторы были одновременно революционерами. Этот знаменательный факт определил содержание литовской литературы и убедительно объясняет, почему многие писатели просто и естественно пришли к социалистическому реализму, который непосредственно вытекает из их революционного прошлого, почему им чужд внутренний душевный разлад между тем, что они хотят сказать о социалистической действительности, и самой этой действительностью.

Вильнюс с его памятниками и мемориальными плитами, парками и бюстами героев являет собой наглядное свидетельство одной истины, которая кое-кому, возможно, и неприятна: борьба за освобождение Литвы вылилась в борьбу за социализм. Интересы сохранения и расцвета Литвы как нации потребовали, чтобы все ее художники, поэты и прозаики, от Донелайтиса и вплоть до самого молодого современного поэта, сознательно и самоотверженно создавали искусство, которое борется за такой расцвет на самом высшем уровне национального существования в нашу эпоху.

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

СТЕФАН ПОПТОНЕВ

БЕЛОРУССИЯ — БЕЛАЯ БАЛЛАДА

Если бы я знал, что Орловский так знаменит, то вряд ли бы поехал в этот колхоз на другой конец Белоруссии, вряд ли полетел бы туда самолетом, а потом мчался бы в автомобиле по магистралям и дорогам местного значения.

Орловский был известен достаточно широко, побывал он и в Болгарии. Но разве запомнишь все в наш век радио, телевидения, газет, журналов, книг!

Книг об Орловском я мог и не читать, но как же это я забыл о разговоре с народным артистом Советского Союза Михаилом Ульяновым, которого я несколько лет назад встречал и интервьюировал на станции Кула? Вместе с труппой Театра имени Вахтангова Михаил Ульянов возвращался тогда из Греции. На «оригинальный» вопрос, заданный ему всеми журналистами, он ответил, что работает над своей самой увлекательной ролью — председателя в одноименном фильме. И пояснил, что основа этого образа — действительный человек, чье имя он назвал, но я не запомнил. Правда, я запомнил, с какой увлеченностью народный артист Ульянов говорил об этой своей роли, запомнил и то, что в основе образа председателя и всего фильма лежат действительные события.

И вот путешествие в Белоруссию свело меня с этими действительными событиями, с самим Орловским, председателем колхоза «Рассвет» Кировского района Могилевской области. Мог ли я думать, что наши пути так пересекутся...

Меня встретил пожилой человек с широким лицом, с пустым правым рукавом. Я знал, что руку ему отрезали без наркоза простой пилой в партизанском отряде. Об этом мне рассказывали по меньшей мере десять человек по пути из Минска сюда. Светло-синие глаза, от которых не может ускользнуть ни одно движение... Наверное, когда эти глаза становятся гневными, они приобретают цвет сабельной стали. Это сравнение пришло на ум, потому что по меньшей мере десять человек по пути из Минска в колхоз рассказывали мне о долгом и славном боевом пути Орловского — партизана в гражданскую войну, чекиста, участника гражданской войны в Испании, участника революции в Китае и снова партизана во время Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Он оставил по собственному желанию свою квартиру в Москве, даже жену свою оставил, которая не могла расстаться с московскими удобствами, и вернулся в родное село, чтобы стать председателем колхоза. И уже двадцать четыре года...

Он привел меня в правление колхоза, и глаза его сразу уловили, что я что-то ищу.

— Извините,— сказал он,— но если вы ищете ту дверь, на которой висит табличка «Председатель», то здесь вы ее не найдете. Здесь — нет!

Мы вошли в большую продолговатую комнату, очень удобную для заседаний. Достаточно поставить длинный прямоугольный стол, накрыть его красным сукном и внести стулья. Но комната была пуста и не очень приветлива.

— Извините,— сказал товарищ Орловский,— но у меня нет кабинета и на протяжении всех этих двадцати с лишком лет не было. Думайте обо мне что вам угодно, но так я начинал, так будет и до конца. Председателю колхоза кабинет не нужен, его кабинет — это поле, там и его зал заседаний. Только по утрам мы собираемся здесь, чтобы распределить задания и отчитаться за сделанное — вот так, на ходу!

Он ходит по продолговатой пустой комнате, и, вероятно, его совсем не смущает, что и посетителю негде сесть.

— Вы видели наши сады, нашу антоновку и груши?

Рядом с нами шумят сады. На грушах и яблонях — мелкие завязи, хотя сейчас начало июня. Длинная зеленая стена тянется почти вдоль всей дороги от районного центра Кировска до поселка Мишковичи, где находится правление колхоза «Рассвет». Это одна из самых южных частей республики, яблоки и груши здесь хорошо вызревают.

— Знаете, какое вино делают из яблок наши колхозники?

Я говорю, что знаю. Я пил это вино. И даже тост поднимал в честь тех рук, которые умеют делать такое вино.

Яблоневым садам нет конца, темно-зеленые завязи выглядывают из-под листьев. А у нас через месяц уже появятся первые петровки. Далеко «Рассвет» от подножия Балкан...

На краю дороги, где кончаются яблоневые сады, цветет люпин — дикий лиловый цветок, очень похожий на нашу культивированную перунику. Его воспевали многие поэты, он описан во многих книгах белорусских прозаиков. Мы входим в заросли люпина, Кирилл Прокофьевич замедляет шаги, смотрит на цветы, смотрит на меня, как мне кажется, немного подозрительно и говорит себе:

— Написал тут один, что я оставил московскую квартиру, жену, двух дочерей, все удобства только потому, что затосковал по белорусскому люпину. А это, можете мне поверить, совсем не так. Я вернулся в мой край, потому что он дотла был сожжен войной и потому что во время войны по-

гиб каждый четвертый белорус. Известно ли это вам?

Да, известно. Уже известно... Но мир мало знает об этой цифре, как и о Хатыни. Вероятно, об этом можно прочесть в какой-либо книге или во взволнованном газетном репортаже, возможно, и в докладах Организации Объединенных Наций эта цифра занимает подобающее ей место. Но доклады Организации Объединенных Наций так длинны, что скорее всего эта цифра теряется в них.

Я говорю все это Кириллу Прокофьевичу. Он стоит по колено в люпине, обсыпанный пыльцой, и слушает мои слова, а его синие глаза ощупывают цветы, ласкают их взглядом, как будто видят их в первый раз. А может быть, и в последний? По дороге из Минска сюда мне говорили, что Кирилл Прокофьевич болен, еще три года назад ему поставили диагноз и не смогли его скрыть. Он понял, что случай его безнадежен, но удрал из больницы, и никакие приказания медицинских и всяких других властей не были в состоянии заставить его лежать. «Общество, конечно, располагает моей жизнью. Но и я сам тоже располагаю собой!» — заявил Кирилл Прокофьевич медицинским и всем остальным властям, которые пытались его агитировать.

— Что делает Васил Цанов? — спросил он у меня.

Я не знаю, что делает председатель кооперативного хозяйства «Ботевградская коммуна», но, когда я вернусь, надо будет к нему поехать.

— Передайте товарищу Василу Цанову, что я очень на него сердит,— просит меня Орловский.

Я знал, что между «Ботевградской коммуной» и «Рассветом» установились прекрасные отношения дружбы и сотрудничества.

— Скажите ему, что я сердит, потому что он не приехал к нам со второй делегацией. Послал других людей. Что за скромность. У меня есть два верных друга — испанец Уго Лопес и болгарин Васил Цанов, это вам говорит сам Орловский!

Я передам слова Орловского, я найду Васила Цанова. Но испанец Уго Лопес уже никогда не узнает, что говорил Кирилл Прокофьевич. Это был тот самый испанец, который спас Орловскому жизнь, вырвал его из лап смерти. А когда надо было сделать ту операцию пилой, без наркоза, стоял рядом с ним, и со лба его тоже лил пот. Но потом Уго Лопес не послушал совета Кирилла Прокофьевича остаться в Москве или поехать работать в перспективный колхоз «Рассвет», а легальными и нелегальными путями вернулся в Испанию. Я не знаю, что заставило его уехать. Может быть, ненависть к Франко, которого Уго Лопес терпеть не мог еще с времен гражданской войны. Или же ему захотелось походить по испанскому люпину — на каждой земле, как и у каждого человека, есть свой люпин. И он возвращается, чтобы подышать ароматом этого своего люпина, несмотря на то что его ждет смертный приговор, который был приведен в исполнение, как прочел однажды в газетах Кирилл Прокофьевич.

А с Василом Цановым он познакомился на белорусской земле, на земле «Рассвета», среди того же люпина, который цветет сейчас вдоль дороги. Когда Васил Цанов приехал сюда с делегацией и они вдвоем ходили по люпину, он возьми и скажи, что в «Ботевградской коммуне» вопрос ликвидации рогов у коров уже давно решен.

О чем они говорили с Василом Цановым, кто кого агитировал, неизвестно, но Кирилл Прокофьевич был убежден, что сделанное болгарами — поистине маленькая революция. Да и как иначе? В «Рассвете» более четырех с половиной тысяч коров, и каждое утро, когда бригадиры собираются в той самой продолговатой пустой комнате, они докладывают, что вчера несколько животных вышли из строя и должны быть отправлены на бойню, потому что бодались. Вы представляете себе экономический эффект? Как бы ни дорожили красотой, надо делать расчеты. А женщины пусть возражают.

Еще там, в люпине, Кирилл Прокофьевич сказал, что он будет убеждать, настаивать, но добьется своего. Он отстроил «Рассвет» на пепелище, неужели он не справится с какими-то рогами?

Но не думайте, что женщины легко сдадутся. Увидев, что их доводы о красоте коров не помогают, они заденут самую чувствительную струнку — экономические показатели. Коровы, конечно, станут давать меньше молока, ведь им будет больно. И когда понизится колхозный план надоев, Кирилл Прокофьевич сам откажется от задуманного им зловещего дела. Кирилл Прокофьевич подробнейшим образом интересовался и экономической стороной вопроса. А Васил Цанов ему доказал, что молока действительно станет меньше, но только на два-три дня. Затем его количество значительно возрастет — животные успокоятся, но самое главное, они не будут больше бодаться. Все это Васил Цанов доказал с помощью небольшой таблицы, взятой им на всякий случай в бухгалтерии «Ботевградской коммуны».

Тогда женщины прибегнут к своему последнему, чисто женскому средству: «Это жестоко, Кирилл Прокофьевич, представляете, пилить живую кость!»

Кирилл Прокофьевич улыбнется: «Извините, гражданки колхозницы, а ногти срезать очень больно? В таком случае зачем же оплакивать наших коров? Вы, вероятно, не знаете, что мой добрый друг из Болгарии товарищ Васил Цанов рассказал мне, что в «Ботевградской коммуне» специально изобретена машина для спиливания рогов и что на эту машину они получили патент. Простейшая конструкция — электрический моторчик, циркулярная пила, и не успеет корова даже глазом моргнуть, а рогов уже как не бывало. Потом рану заливают риванолом, кладут тампон, и через два-три дня она забудет, что была рогатой. Если

хотите знать, спиливание рогов — вопрос научный. В современном скотоводстве это практикуется давно. Ведь рога — ценное промышленное сырье, и без них предприятия, производящие украшения для женщин, например, различные гребни, пришлось бы закрыть».

Мы шли с Кириллом Прокофьевичем по люпину. Я старался отвлекать его вопросами, чтобы он не вспомнил о диагнозе и считанных днях, ему оставшихся, но разве мог он оторваться мыслью от предстоящего.

— Каждый человек смертен,— сказал он, зайдя в самые густые заросли люпина,— и к смерти человек должен подготовиться так же старательно, как и к жизни. Вы согласны со мной?

Он не дал мне ответить.

— Я сказал, что, когда придет мой час, я хочу, чтобы меня похоронили здесь, в Мишковичах, под березами. Обратите внимание, кладбища в белорусских селах всегда расположены там, где растут березы и цветет люпин.

Я пытался возражать ему — мол, он напрасно внушает себе эти мысли, он еще будет жить. Мало ли врачей ошибалось в диагнозах! Кирилл Прокофьевич был человеком опытным. Он все понял и сказал раздраженно: «Не надо меня утешать! Я должен подготовиться».

— Я заказал камень, который поставят на мою могилу, но так как строительный материал для школы в Кировске еще не прибыл, я велел строителям получить его.

Он нарочно подчеркнул слово «велел». Нетрудно было бы догадаться, что иначе строители не стали бы заниматься этим.

— Камень для меня найдется, это не так уж сложно. Сложно другое.

Мы уже вышли из люпина, и он повторил, что велел непременно, чтобы были люпин и березы. А если его распоряжения не выполнят? И это не страшно, ветер сам посеет. Березы, как и люпин, сеет не человек, а ветер.

Ветер гнал тополиный пух. Я не видел поблизости тополей, но воздух постепенно наполнялся белой июньской вьюгой. Пух прилипал к деревьям, повисал на ресницах. Волосы Кирилла Прокофьевича были засыпаны тополиным пухом.

— А у вас, наверное, тополя уже отцвели?

Я кивнул.

— И уже нет тополиного пуха?

— Нет...

Он умолк, следя взглядом за июньской вьюгой. И я подумал, что он вернулся в эти места и ради тополиного пуха. Нигде не бывает такой вьюги из тополиного пуха, как в этих местах.

На обратном пути из садов, прежде чем направиться на другой конец «Рассвета», мы снова проезжаем через Мишковичи. Это новое, хорошо распланированное село с пересекающимися под прямым углом улицами. Излишне спрашивать, как живут колхозники. Это видно и так. Время председателя дорого, и не следует отвлекать его такими второстепенными вопросами... Но люди, встречающиеся нам по дороге, все время его отвлекают. Они приветствуют его издали поклоном, рассказывают о разных своих нуждах, которые невозможно отложить. Я отхожу в сторону. Мне хочется посмотреть на него среди этих людей, с которыми он все эти двадцать четыре года делил не только хлеб и соль. И кажется, он сросся с ними, как корни с землей...

На фермах «Рассвета» нет ни единой мухи. И пища животным подается автоматически, и уборка производится автоматически, и доение.

— Мы призвали на помощь автоматику и электронику,— смеется Кирилл Прокофьевич.— Заходите, пожалуйста.

Помещение, куда он меня пригласил, похоже на солидный заводской цех. Машины на современном уровне. Большие цилиндры — резервуары для приготовления кормовых смесей, из которых эти смеси попадают по желобам в автоматические кормушки.

В начале помещения находится командный пункт: табло с многочисленными белыми, желтыми и зелеными кнопками, по которым движутся грубые пальцы рослого молчаливого человека в больших резиновых сапогах.

— Аппаратура, конечно, дорого обошлась?

— А человек разве дешевле? Такая у меня философия, и я считаю ее правильной. Нам нужно не только молоко и мясо. Разве не следует вложить триста тысяч рублей, чтобы изгнать из фермы мух, чтобы избавить доярок от суставного ревматизма и устроить баню с душем для скотников? Ваш вопрос свидетельствует о консерватизме! До каких пор мы будем бояться вводить машины в сельское хозяйство? До каких пор мы будем жить иллюзиями, что село — это только чистый воздух с примесью птичьих трелей и цветущего люпина, с вьюгой тополиного пуха? Село — это борьба, мой дорогой! Борьба! Или, может быть, вы не согласны с моим мнением?

Мог ли я не согласиться с его мнением? Он, в сущности, выражал мнение моих друзей из Добруджи, которые возвратились в свои села не для того, чтобы работать там вилами...

Был ясный, солнечный день, немного ветреный, но теплый, и мы сняли пиджаки. Ветер надувал наши рубахи. «Рассвет» готовился к сенокосу, еще несколько дней — и наступит зеленая жатва. От ремонтной мастерской напротив отъехала какая-то машина с распластанными крыльями. Сенокосилка. Вероятно, вышла из ремонта, чтобы через несколько дней врезаться в высокие травы.

Машина поравнялась с нами, и Кирилл Прокофьевич сделал парню за рулем знак остановиться. Он подошел к нему и спросил, когда машина должна была выйти из

СТЕФАН ПОПТОНЕВ
БЕЛОРУССИЯ — БЕЛАЯ БАЛЛАДА

ремонта. Парень передвинул папиросу из одного угла рта в другой и ответил что-то, чего я не смог расслышать из-за шума мотора.

Но в глазах Кирилла Прокофьевича блеснул гнев:

— Скажи бригадиру, чтобы завтра он дал объяснение, почему машины до сих пор не отремонтированы! А то он молчит, и начальник ремонтной мастерской молчит. Что это, заговор?

Парень обещал сказать своему бригадиру. Он уже отъехал, когда Кирилл Прокофьевич крикнул ему вслед:

— Ничего не говори бригадиру! Понял? Ничего!

Парень, перекрикивая шум мотора, подтвердил, что не скажет.

И быстро уехал.

Я бы не хотел завтра оказаться на месте бригадира или начальника ремонтной мастерской.

— При чем тут тракторист? — сказал Кирилл Прокофьевич.— Я сам их заставлю дать объяснение, тракторист в данном случае не виноват. Хотя и он не должен быть безразличен к тому, в срок ли будет отремонтирована его машина.

В траве едва поблескивала маленькая речушка — если не наклониться над водой, то ее не заметить. Не только маленькие, но почти все белорусские реки не имеют берегов. Они вьются по ровной земле — от самых больших до этой вот безымянной речушки. Ее перекроют, сделают озеро, и будут выращивать водоплавающую птицу, ведь по водоплавающей птице «Рассвет» отстает, и это понятно — до сих пор не было условий. К тому же это красиво — озеро, все в ряби от ветра, и на воде белые птицы. Правда, красиво?

Шаги его глохли в мягкой шелестящей траве, а голос растворялся в теплом воздухе.

— Вы все время спрашиваете меня о том, что меня радует. Меня радует и хороший урожай пшеницы, и автоматика, и наши фермы, и изгнание мух, и баня с душем для скотников, и красивый дом, который построил себе колхозник. Меня радует каждый день, когда я просыпаюсь, и иду на работу, и дышу воздухом, и чувствую, как ветер раздувает мою рубашку.

Почти весь наш разговор подтверждал эти его мысли.

— Но вы не спросили, что больше всего злит меня.

Мы пересекли безымянную речушку. Я даже не заметил мостика, по которому мы прошли.

— Больше всего я злюсь, когда начинают считать мои медали.

Этот вопрос я оставил напоследок.

— Некоторые думают, что человек живет на белом свете, чтобы накопить славу. Нет, дорогой мой! Наше поколение, которое сейчас уходит, не гонится за славой. Оно борется за то, чтобы изменить этот мир, чтобы сделать его лучше. Чтобы там, где было пепелище, снова поднялись дома и чтобы в этих домах родились дети. И чтобы березы выросли вокруг, и люпин зацвел, и тополь.

Он не забыл той московской квартиры, в которой остались не только удобства, но и две его дочери. Да и Светлана, его младшая дочь, пишет, что приедет с ним повидаться.

— Слава может дать человеку крылья, если он смотрит на нее как на приобретенное честным трудом богатство. А такое богатство можно сберечь только трудом. Человек ничего не может взять с собой туда, он должен все оставить здесь.

Неопределенным жестом он указал на группу берез на краю села Мишковичи. Туда...

— Таким было наше поколение, которое уходит.

Он посмотрел в ту сторону, где березы гнулись от ветра. Далеки пути его поколения. Они проходят через Китай и Испанию, через леса и болота Белоруссии. Через пепелища, на которых должны вырасти дома, полные детей.

— Но слава имеет и другую сторону,— говорит Кирилл Прокофьевич.— Когда человек ложится на нее, как на подушку, когда ему снятся только прекрасные сны и когда он в эти сны верит. Вот поют птицы, и он верит, что эти птицы поют для него. Светит солнце, и он верит, что оно светит только для него. И рукоплескания — для него. И понемногу, а порой и довольно быстро он перестает отличать шум ветра от шума оваций. И многое другое перестает различать. Тогда что же остается от славы?

Мы шли. Может быть, мы прошли поля пшеницы, а может, снова прошагали через сады. Я почувствовал, что воздух остывает, солнце почти зашло, на поле легли синеватые сумерки.

— Порой мы сами виноваты. Когда начинаем создавать ореол вокруг чьей-нибудь головы... В жизни я больше всего боялся, чтобы не создали ореола вокруг головы Орловского. Многие меня окружали: и писатели, и журналисты, и эти — с фотоаппаратами и вспышками. Орловский, Орловский!.. А что особенного я сделал по сравнению с другими Орловскими? Меня могли убить и здесь, и в голых горах Испании, и на желтых равнинах Китая, и во время операций, когда я работал в ЧК. Я знал многих товарищей и храбрее, и способнее меня. Они погибли! Они могли достичь куда большего, чем я. Но такова была судьба моего поколения: самые храбрые и самые достойные пали. А мы, оставшиеся в живых, должны работать и за себя, и за них, чтобы быть, как пишется в передовых статьях газет, достойными их памяти!

Он повернулся и посмотрел на меня в упор своими светло-синими глазами.

— А что значит быть достойным? Я понимаю ваших коллег. Они всегда роются в душе человека. А вы думаете, я не роюсь в своей душе? Вы думаете, без этого можно что-нибудь понять? И злость я призывал на помощь. Говорят, я был суровым человеком. Да, приходилось. Но можно ли было без этого обойтись? Мы начинали с пепла.

Достаточно ли было одних лекций в агитпунктах? Я говорил себе: «Если не эти люди, то, по крайней мере, их дети когда-нибудь вспомнят об Орловском».

Сумерки сгущались, но стемнеет еще не скоро. Вечера в июне здесь длинные, приближалось двадцать первое, когда календарь отметит самую короткую ночь в году.

— Что же касается меня, то я живу. Иногда меня так мучит боль, что мысль о пуле в лоб становится совершенно естественной, как необходимость дышать. Но ни в народе нашем, ни в нашей партии самоубийство никогда не было в особом почете. Я не сам дал себе жизнь и не могу решать, когда надо ее закончить. Я живу! Хотя я материалист и знаю: ничто в этом мире не вечно. То, что началось, в один прекрасный день окончится.

Он сделал несколько шагов, остановился, как будто хотел обнять сады, дома, все вокруг, прежде чем оно погрузится во тьму.

— Больше всего меня мучит то, что сделано лишь начало. Подумайте только — прежде наша Белоруссия никогда не жила мирной жизнью и двадцати лет подряд. Каждые десять—пятнадцать лет армии трогались в путь. И путь их всегда пролегал через нашу землю — и на Москву, и обратно. А теперь — почти четверть века мы живем мирной жизнью.

Пришло время возвращаться, длинный июньский день приближался к концу.

— Некоторые спрашивают, что будет с «Рассветом» после того, как уйдет Орловский. Пожалуйста, не возражайте мне и не пытайтесь утешать — утешение для меня обида, а я бы не хотел, чтобы соотечественник Васила Цанова меня обидел, как не хотел бы, чтобы обидел меня кто-либо из соотечественников Уго Лопеса...

Навстречу нам показалось большое стадо коров. Они были безрогие, словно так и родились. Коровы шли мимо нас, а головы их плыли, тонули, сливались с сумерками...

Должен признаться, что по «Рассвету» меня водил не Кирилл Прокофьевич Орловский, а тот, кто пришел после него,— Василий Константинович Старовойтов. Диагноз врачей оказался безошибочным. Мне рассказали, что среди берез на краю села Мишковичи есть могила, на белом камне которой написано: «Орловский Кирилл Прокофьевич, январь 1895 — январь 1968». Когда мы закончили осмотр колхоза, товарищ Старовойтов предложил проводить меня к этим березам, потонувшим в лиловом облаке расцветшего люпина. Я отказался.

Перевод с болгарского С. ПАРХОМОВСКОЙ

ФАРЛИ МОУЭТ

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ

Советские журналисты окрестили ее Снежной Королевой. Александру Яковлевну Овчинникову, Председателя Верховного Совета Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, члена Президиума Верховного Совета СССР, этот титул нисколько не радует.

«Можно подумать, что я седовласая бабушка, а у меня, как видите, ни одного седого волоса! Что еще хуже, могут подумать, что речь идет о королеве скованного льдом сказочного царства на Северном Полюсе. Хоть я и в самом деле бабушка и очень горжусь этим. Но еще больше я горжусь своей Якутией; стыдно внушать людям, что наша Якутия — ледяная заснеженная пустыня».

Впервые я встретился с Овчинниковой на очень скучном официальном приеме на ЭКСПО-67 в Монреале. Она была скромно одета, иссиня-черные волосы гладко зачесаны назад, темные глаза смотрели внимательно, на чистом смуглом лице — никакой косметики. В толпе чопорных дипломатов, чиновников и их дам эта безыскусная красивая женщина казалась настолько чужой, что меня — тоже чужого на этом сборище — сразу же потянуло к ней. И очень скоро мы дружески и весело беседовали с ней, не обращая на окружающих никакого внимания. Тогда я впервые попробовал кумыс, который Овчинникова привезла с собой из России. Я не имел никакого представления о том, кто она. И лишь после того, как она ушла, один из сотрудников Советского посольства спросил, какое впечатление произвела на меня встреча с президентом Якутии.

Наша следующая встреча произошла у нее в кабинете в Якутске. Она улыбнулась мне из-за своего письменного стола, на ко-

тором царил безукоризненный порядок, и спросила, не приехал ли я сюда затем, чтобы еще раз отведать кумыса. Был пронизывающе-холодный день, и отопление в Доме правительства оставляло желать лучшего, поэтому она накинула на плечи огромную шаль и грела ноги на электрокамине. Здесь Овчинникова еще меньше, чем в Монреале, была похожа на президента самой обширной автономной республики Советского Союза. Эта женщина с мягким голосом, полная внимания к собеседнику, остроумная, почти непрерывно улыбающаяся, никак не соответствовала моему представлению о человеке, облеченном властью. И тем не менее она вот уже более десяти лет занимала самый высокий пост в своей республике.

Когда я шутя заметил, что в Якутии наступает эпоха феминизации, Александра Яковлевна немедленно отпарировала: «Ничего подобного у нас не происходит. В этом нет никакой необходимости. Женщины и мужчины в Якутии всегда хорошо понимали друг друга. И нас, женщин, здесь по-настоящему уважают. Мы много делаем для того, чтобы заслужить это уважение. В старину мудрость женщин считалась у нас мудростью народа. И мужчины редко оспаривали это. Вот почему такая обыкновенная старая женщина, как я, стала президентом моей республики. Как вам нравится мое платье? — спросила она.— Вам оно должно понравиться. Я купила его в Канаде».

Овчинникова пользуется одинаковым уважением мужчин и женщин. С этим сталкиваешься повсюду.

Студентка-чукча из университета рассказала мне, как однажды она едва не оставила учебу из-за несчастной любви к молодому русскому инженеру-горняку. «Но,— сказала она,— прежде, чем уйти из университета, я решила посоветоваться с Овчинниковой. И я пошла к ней. Овчинникова сказала мне, что, если я сделаю это, она огорчится до слез. Я не сомневалась в том, что так оно и будет, и поэтому осталась в университете».

Людям западного мира этот случай может показаться слащавым эпизодом из сентиментального романа XIX века. Между тем якуты (как и большинство людей других национальностей в Советском Союзе) не отличаются эмоциональной сдержанностью, присущей англосаксам. Людям, которые знают Овчинникову, не трудно себе представить, что если бы девушка-чукча бросила университет, Александра Яковлевна действительно расстроилась бы до слез.

Овчинникова — человек многогранный. Не только влюбленные молоденькие девушки, но и опытные инженеры — специалисты в новых отраслях техники,— столкнувшись с трудностями, могут сразу же обратиться к ней за советом.

«Когда передо мной возникает сложная проблема,— сказал мне молодой инженер, работавший на строительстве газовой сети в Якутске,— я обращаюсь к Овчинниковой. И если она сама не в силах помочь мне, она обязательно найдет человека, к которому нужно обратиться. Но, как правило, она и сама может дать дельный совет».

Эта женщина обладает удивительной непосредственностью — она, как школьница, залилась румянцем, когда мой спутник — фотограф Джон Девиссер — попросил разрешения сфотографировать ее. Александру Яковлевну пришлось долго уговаривать.

«Женщину моего возраста,— сказала она,— иногда можно слушать... но не обязательно видеть ее».

Через минуту, однако, она совершенно неожиданно сделала мне замечание, весьма недипломатичное как по форме, так и по содержанию.

«Когда же, наконец, вы, канадцы, начнете вести себя как взрослые, а не как малые дети? Неужели вы не понимаете, что вы позволяете всем, кому не лень, грабить вашу страну? Неужели вы не хотите бороться за то, что принадлежит вам и — что еще важнее — еще не родившимся поколениям? Меня это просто возмущает!»

Незадолго до моего приезда она принимала делегацию высокопоставленных канадских чиновников и политических деятелей и теперь, пренебрегая дипломатическими условностями, высказала мне начистоту все, что она думала об этих людях, определяющих политику и осуществляющих управление северными провинциями Канады.

«Когда я приезжала в Канаду,— сказала она,— они отказались познакомить меня с жизнью ваших аборигенов. Представители власти не захотели даже повести меня в павильон индейцев и эскимосов Канады на ЭКСПО. И несмотря на это, когда они приехали к нам, я решила непременно познакомить их с жизнью нашего народа. Представьте, они не проявили к этому никакого интереса! Им важно было лишь выяснить, как нам удается строить шахты и шахтерские поселки в районах вечной мерзлоты! Неужели их нисколько не интересуют люди? Неужели они хотят как можно быстрее превратить свою страну в колонию? Глупые людишки!»

На мой вопрос, следует ли считать это заявление официальным, она весело рассмеялась.

«Я знаю, что дипломатам это не по вкусу, но у женщины есть особая привилегия — высказывать все, что она думает и чувствует. И я этим пользуюсь в полной мере. Можете опубликовать все, что я говорю... Если у вас хватит на это смелости».

У меня хватило смелости задать ей острый вопрос: «Вы довольно резко отзываетесь о наших политиках, но не кажется ли вам, что Якутия подвергается эксплуатации со стороны европейской России точно так же, как эксплуатируют Канаду?»

Она очаровательно улыбнулась в ответ. «Товарищ Моуэт, у вас красивые голубые глаза. Но они существуют не только для украшения. Не сомневаюсь в том, что вы способны видеть. Вы бывали в Мирном,

Чернышевском и в десятке других мест моей республики. Как бы вы сами ответили на поставленный вами вопрос?»

Она немного помолчала, чтобы дать мне подумать, а потом продолжала: «Советский Союз — это много стран, но в то же время и одна страна. В прошлом некоторые части России были богаты, а другие очень бедны. Все оставалось бы по-прежнему, если бы народы, живущие в разных частях Союза, не научились помогать друг другу. Якутские алмазы и золото, например, помогают народам всей страны, а в ответ мы получаем помощь, которая нам необходима, чтобы стать сильным и счастливым народом в этом современном мире. Нас никто не эксплуатирует. Скорее даже наоборот. Но, пожалуйста, не говорите об этом москвичам».

За два дня до моего отъезда из Якутии я получил от Александры Яковлевны любезное приглашение на ужин. Я принял это приглашение с некоторым трепетом. Общаться с бескомпромиссной женщиной — дело нелегкое. Вечер в таком обществе представлялся мне суровым испытанием. Готовясь к этому, я попросил Ефремова рассказать мне подробнее о президенте Овчинниковой.

«Как все настоящие якуты, она родилась в тайге. Ее отец зарабатывал на жизнь тем, что пас скот вдали от дома, а в семье у него росло шестнадцать дочерей и два сына. Это было до революции. И в живых осталось только четверо детей. Одна из них — Александра. Нет такой силы на земле, которая могла бы сломить ее».

«Не вздумайте, пожалуйста, спрашивать, сколько ей лет. Она все равно этого никому не скажет. Когда к нам пришла советская власть, Александра была еще ребенком. И вместе с другими детьми она пошла в первую якутскую школу. Овчинникова упорно занималась, потому что, по ее словам, прежде всего надо было как можно скорее построить дороги, чтобы связать между собой все отдаленные уголки Якутии, с тем чтобы и до них поскорее дошла революция. После окончания средней школы Александра Овчинникова поступила в дорожно-строительный институт, получила специальность инженера и двадцать лет занималась строительством дорог и мостов по всей Якутии. Одновременно с этим она заочно окончила исторический и экономический факультеты.

Об Овчинниковой стали говорить повсюду, не удивительно, что ее избрали нашим президентом. Во всей Якутии не найдется человека, который бы столько сделал для нашей республики и в то же время пользозался бы такой любовью, как Александра Яковлевна. Правда, она всегда говорит напрямик, но мы к этому уже привыкли».

Я сказал, что также надеюсь привыкнуть к этому.

Впрочем, все мои опасения оказались напрасными. За ужином президент Овчинникова проявила еще одну сторону своего характера. Она горячо почитает народные традиции, а одна из главных и нерушимых традиций ее народа — безграничное гостеприимство. Среди приглашенных на ужин гостей были представители местных народностей, люди, с которыми я уже успел познакомиться и которые мне нравились. С той минуты, как мы сели за стол, Овчинникова тонко и умело выступила в роли хозяйки, задавая тон на этом самом веселом вечере на моей памяти. Тосты произносились часто с чувством, но без сентиментальности. Говорили обо всем на свете, кроме политики. Мой добрый попутчик Юра Рытхэу так развеселился, что встал и запел песню на своем языке чукчи, к тому же это была любовная песня!

Совершенно неожиданно я, сам того не ведая, совершил страшную оплошность.

Возле каждого прибора рядом с бокалом для шампанского стояла деревянная чашка с кумысом. А в Якутии кумыс считается священным напитком, и с этим не шутят. И вот по рассеянности я налил шампанское в свою чашку с кумысом.

До меня дошло, что я натворил, лишь после того, как за столом воцарилось мертвое молчание. В страшном смущении я отдернул в сторону бутылку с шампанским, и оно выплеснулось на колени Александры Яковлевны.

Она рассмеялась приятным гортанным смехом, протянула руку к моей чашке с кумысом и попробовала ее содержимое. На мгновение Александра Яковлевна закрыла глаза, потом поднялась и произнесла тост: «Товарищи, друзья,— сказала она,— много тысяч лет назад якутский народ изобрел самый превосходный напиток на свете — наш кумыс! Мы думали, что нет ничего вкуснее. И вот теперь наш друг из Канады доказал, насколько мы заблуждались. Он изобрел такой великолепный напиток, который может изменить все. Это будет напиток мира, который поможет сблизить две наши северные страны. Прошу всех последовать примеру нашего дорогого гостя, а потом выпить за его здоровье и за его новое изобретение, которое отныне будет называться «кумпанским»!»

Наш самолет вылетал на рассвете, и эта замечательная женщина к 10 часам вечера с большим тактом завершила встречу, подарив на прощание Джону и мне по великолепной зимней якутской шапке из ондатры.

«Джон и Фарли,— сказала она в своем коротком заключительном тосте.— Мы просим вас увезти с собой в Канаду нашу любовь к канадскому народу и наше горячее стремление к более тесной дружбе и взаимопониманию с ним. Мы также просим вас вскоре вернуться к нам и привезти с собой те же самые пожелания, которые мы сейчас посылаем с вами, потому что мы всем сердцем стремимся жить в любви и дружбе с вашим народом».

Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся выполнить эту простую просьбу.

Перевод с английского Ф. ЛУРЬЕ

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

ХЬЮ МАКДИАРМИДУ — 80 ЛЕТ

Известному национальному поэту Шотландии Хью Макдиармиду (Кристофер Марри Грив) исполнилось 80 лет. Макдиармид пришел в литературу в двадцатые годы.

В 1931 году Макдиармид создал «Первый гимн Ленину» — первое подобного рода произведение в Великобритании, посвященное вождю Октябрьской революции. В 1935 году был опубликован «Второй гимн Ленину» (отрывки из этих произведений напечатаны в журнале «Интернациональная литература» № 1, 1939).

В день юбилея Хью Макдиармид получил поздравления от многих друзей и почитателей его поэзии в стране и за рубежом. Генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании Джон Голлан направил юбиляру приветствие, в котором говорится: «От имени коммунистической партии и всех ее членов примите сердечные поздравления по случаю Вашего 80-летия. Мы приветствуем в Вашем лице не только выдающегося писателя Шотландии и поборника ее национальных прав, но и неутомимого борца за дело справедливости во всем мире.

Для Вас культура, национальные права, коммунизм и интернационализм — понятия, друг друга взаимно дополняющие. Шотландия родила Вас, но ареной Вашей деятельности стал весь мир».

ПИСАТЕЛИ ПРОТИВ АПАРТЕИДА

Ведущие английские писатели-драматурги подтверждают прежние заявления об отказе дать согласие на постановку своих пьес в театрах Южно-Африканской Республики перед белой аудиторией, куда не допускаются цветные.

В прошлом году более сорока писателей поставили

Кадр из фильма английского режиссера Джека Куффера «Приключения Чарльза Дарвина». Английский еженедельник «Санди таймс» воспроизвел момент прибытия знаменитого корабля «Бигль» на Галапагосские острова. Роль Чарльза Дарвина (в центре кадра) исполняет актер Николас Клэй.

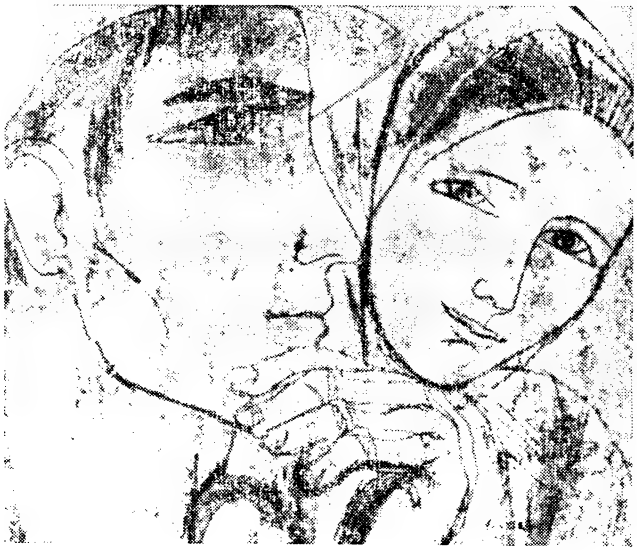
(Еженедельник «Санди таймс»)

подписи под совместным заявлением, в котором говорится, что согласие на постановку их пьес в ЮАР было бы равносильно признанию законности политики апартеида. «Бойкот Южной Африки в области культуры и спорта,— говорится в заявлении,— это первые шаги, сейчас бойкот следует усилить, а не ослабить».

Среди подписавших это заявление — известные писатели и драматурги Англии: Айрис Мердок, Джон Б. Пристли, Маргарет Дрэббл, Гарольд Пиптер, Алан Плейтер, Эдвард Бонд, Джон Осборн и многие другие. По сообщениям печати, число подписей под заявлением растет.

АНГЛИЧАНЕ ЧИТАЮТ АЙТМАТОВА

«Белый пароход» Ч. Айтматова вышел в издательстве «Ходдер энд Стаутон». Газета «Морнинг стар» опубликовала рецензию на это издание, в которой, в частности, говорится, что «в повествовании Айтматова, не только большого художника, но и представителя в прошлом отсталой Киргизии, народные легенды, описания красот природы и забота о ее сохранении переплетаются с перипетиями глубоко волнующей истории жизни человека; на суд читателя выносятся возвышенные и низменные стороны человеческих характеров».



«Молодые строители». Рисунок Марии Недковой.

(Журнал «Пламк»)

БОЛГАРИЯ

ТРИУМФ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Отмечая полвека существования Союза Советских Социалистических Республик, мы отмечаем и победный, созидательный труд, проделанный советской литературой за этот короткий отрезок времени,— пишет газета «Отечествен фронт». — До 9 сентября 1944 года советская литература, переводившаяся полулегально или нелегально, распространяемая с большим риском и осторожностью, после победы социалистической революции в Болгарии среди всех переводимых литератур заняла ведущее место.

За эти годы роман «Как закалялась сталь» вышел 16 изданиями общим тиражом в 700 000 экземпляров; «Молодая гвардия» — 11 изданиями общим тиражом в 600 000 экземпляров; «Мать», «Разгром», «Педагогическая поэма» пользуются такой же популярностью, как и произведения болгарской классики.

В течение двух десятилетий,— продолжает газета,— в Болгарии ежегодно издается несколько сборников библиотеки «Советские поэты», редактируемой Х. Радевским. В ней представлены более ста имен советских поэтов. Издательство «Народна култура» приступило к изданию серии «Вершины советской поэзии», в которой будут выпущены произведения В. Маяковского, А. Блока, С. Есенина, Э. Багрицкого, В. Брюсова, М. Светлова, П. Тычины, Я. Коласа, Джамбула Джабаева.

Широко представлена советская литература и в других сериях издательства: «Классика мировой литературы», «Избранные романы», «Поэты мира», «Художественное наследие».

СОЗДАТЕЛЬ СКАЗОЧНОГО МИРА

Исполнилось 70 лет со дня рождения замечательного болгарского писателя Ангела Каралийчева.

Поздравляя его от имени Союза болгарских писателей, председатель СБП академик П. Зарев пишет в газете «Литературен фронт»: «Более полувека Вы с вдохновением и любовью творите, воспевая радости и надежды нашего народа, его веру в завтрашний день. С первых же своих произведений — поэмы «Лауна моа» и особенно сборника «Рожь», одной из лучших антифашистских книг в Болгарии,— Вы ярко проявили свой дар художника, отличающегося оригинальным поэтическим видением

мира, богатством и образностью языка, горячей любовью к болгарской природе. От всего сердца приветствуем Вас, творца рассказов и прекрасных сказок, искреннего друга детей, художника-гражданина, занимающего достойное место в классике болгарской детской литературы».

ВЕНГРИЯ

50-ЛЕТИЮ СССР ПОСВЯЩАЕТСЯ

Юбилей Союза Советских Социалистических Республик отмечается в Венгерской Народной Республике как большой праздник.

Этой дате посвящен выпуск книг о Советском Союзе и произведений писателей Советского Союза, серия передач по телевидению, показ кинофильмов, ряд художественных выставок и т. п.

«Венгерские издательства, — говорится в газете «Непсабадшаг», — достойно встречают этот славный юбилей. К этой дате приурочен выход в свет общественной, политической, экономической, художественной литературы».

Так, об истории создания многонационального Советского государства рассказывает книжка А. Микояна «50 лет Советского Союза». Выпущена книга целого коллектива авторов — советских ученых «На пути строительства коммунизма».

Большое внимание было уделено в этом году произведениям художественной литературы писателей советских республик. Вышли в свет повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» и «Прощай, Гульсары!», сборник рассказов молдавских писателей «Водопад», роман литовского писателя Миколаса Слуцкиса «Жажда», сборник избранных произведений Леси Украинки, два романа современного украинского писателя Ю. Щербака, «Карантин» и «Хроника города Ярополя», антология советской грузинской поэзии.

В журналах был опубликован ряд статей о путях развития национальных литератур и о творчестве отдельных авторов, например, статья о мордовской литературе и статья о творчестве чувашского писателя Геннадия Айги.

50-летию СССР посвящает много специальных передач венгерское телевидение. Венгерским телезрителям будет показана серия фильмов о республиках Советского Союза. Отдельный фильм посвящен москвичам, он так и называется «Люди Москвы» — венгерские режиссеры Карой Медьери и Шандор Кидьош делали этот фильм вместе с советскими коллегами.

Интересное путешествие в страну поэзии 15 советских республик совершат те, кто посмотрит венгерский музыкально-литературный фильм «Поэтическая карта». Будет показан также фильм о прошлом и настоящем города Ленинграда.

В дни празднования 50-летия СССР, с 5 по 30 декабря будут демонстрироваться советские фильмы: «Тепло твоей руки», «Первый учитель», «Девять дней одного года», «Белая птица с черной отметиной», «Освобождение», документальный фильм «50 лет Советского Союза» и другие.

ФИЛЬМ О РАБОЧЕМ

Журнал «Филм, синхаз, мюжика» сообщает о том, что кинорежиссер Тамаш Реньи снимает фильм по роману Акоша Кертеса «Макра», который оценен венгерской критикой как крупное событие в литературной жизни страны.

«Макра» — роман о рабочем, его главный герой — Ференц Макра, слесарь одного из заводов Будапешта.

Роман этот признан лучшим произведением современной венгерской литературы именно потому, что в нем Акошу Кертесу удалось создать глубоко психологический образ современного рабочего, показать внутренний мир героя и сложные процессы, происходящие в его сознании.

«Кертес,— писал на стра-

На снимке — кадр из фильма. Ференц Макра — артист Юхас, в роли Вали — артистка Чомош.

(Журнал «Филм, синхаз, мюжика»)

ницах партийного журнала «Таршадалми семле» критик Рафиш Хайду,— первый среди писателей поднял решающей важности вопрос об общественном сознании и самосознании, о взаимоотношениях рабочего человека и общества в условиях социалистической Венгрии».

Кадр из фильма «Когда хочется плакать, не плачу».
(Еженедельник «Септимо диа»)

ВЕНЕСУЭЛА

ФИЛЬМ ПО РОМАНУ МИГЕЛЯ ОТЕРО СИЛЬВЫ

По сообщению венесуэльского еженедельника «Септимо диа», завершены съемки кинофильма по роману Мигеля Отеро Сильвы «Когда хочется плакать, не плачу» (роман опубликован в «Иностранной литературе» № 7, 1972).

В ответ на вопрос корреспондента еженедельника, как родилась мысль экранизировать этот роман, режиссер кинофильма Маурисио Валерстейн заявил:

— Я прочел роман, он меня захватил, и вместе со сценаристом Романом Чальбо мы начали его адаптировать для кино.

Дальнейшая беседа развертывалась так:

— Вмешивался ли автор, Отеро Сильва, в эту работу?

— Мы прочли ему сценарий, и ему он понравился.

— Может ли этот фильм заинтересовать зрителя за пределами Венесуэлы?

— Я уверен в том, что венесуэльская проблематика является в то же время проблематикой мексиканской, доминиканской, эквадорской, вообще латиноамериканской. Но, разумеется, не только поэтому фильм может или не сможет заинтересовать кого-то в других странах. Все зависит от того, удалось ли нам сделать хороший фильм...

— Какие наибольшие трудности встретились при экранизации романа?

— Первой трудностью была сама по себе адаптация.

— Почему?

— Потому что вообще романы, и особенно латиноамериканские, чрезвычайно богаты; в них напряженное действие. Поэтому трудно синтезировать их в пределах двухчасового фильма. Несомненно, в этом романе есть многое, что прямо-таки ложится в фильм... Вообще экранизация романа была очень приятной. Вместе со мной работал прекрасный коллектив, влюбленный в это произведение, захваченный тем, что мы все делали.

— Какой персонаж в романе привлекал особое внимание?

— Викторино Перес — не столько как персонаж, сколько как представитель «дна».

— А как он отражен в фильме?

— Мои друзья, видевшие некоторые эпизоды фильма, почувствовали мою предрасположенность к тому, чтобы ярче передать этот образ; и хоть в сценарии мы пытались сохранить равновесие, однако, быть может, в момент съемок что-то выделилось.

— Почему?

— По-моему, проблема тех, кто оказался за бортом общества, представляет собой обвинительный акт против тех, кто живет в комфортабельных условиях большого города, кто ест три раза в день, у кого есть автомобили, холодильники и прочие блага «latinamerican way of life». А Викторино Перес — великая жертва этого общества.

— А два других Викторино?

— Викторино Перальта, по-моему, представляет типичного сынка нуворишей, которые встречаются сегодня как в венесуэльском обществе, так и в мексиканском. Его привилегия — не только пользоваться всеми благами, но даже оборвать свою восемнадцатилетнюю жизнь в шикарном автомобиле. Наиболее трудным персонажем моего фильма, быть может, был Викторино Пэрдомо. Он потребовал больше всего усилий от нас и больше изучения, хотя я приехал из страны, в которой на студенческое движение обрушились самые варварские репрессии в 1968 году (Маурисио Валерстейн—мексиканец. — Прим. ред.).

ГДР

ФРАНЦ ФЮМАН РАССКАЗЫВАЕТ

«Недавно вы передали в издательство «Хинсторф» рукопись «Будапештского

дневника». Какие проблемы в вашей новой книге являются главными?» — спросил корреспондент газеты «Нойес Дойчланд» известного писателя Франца Фюмана.

«В этом году мне исполнилось 50 лет. Это еще далеко не библейский возраст, но все-таки больше половины жизни прожито, и я пытаюсь ответить на вопрос: что ты сделал в своей жизни и что тебе еще предстоит сделать?

У меня много связано с Венгрией, страной, которую я очень люблю, я хочу рассказать о ее людях, о ее природе, о культуре и традициях. Собственно, в моей книге смешаны разные литературные жанры: это и эссе, и репортажи, и рассказы. Все вместе — попытка самопознания, поэтому в книге много места отводится философским вопросам. Отражены в книге и проблемы, которыми я давно интересуюсь: философия языка, математическая логика. С другой стороны, я предоставил в моем дневнике место шуткам, анекдотам и афоризмам. Издательство планирует выпустить книгу следующей весной, но отрывок из нее появится вскоре в журнале «Нойе дойче литератур».

На вопрос корреспондента «Нойес Дойчланд» о другой книге, над которой работает писатель, Фюман ответил: «Это книга о Прометее. Я начал работать над ней в 1970 году. Издательство «Киндербух» намеревалось выпустить сборник легенд и мифов мировой литературы в переложении разных авторов. Я должен был написать о Прометее всего 30 страниц. Но затем тема увлекла меня, мне захотелось рассказать детям об основах мифологии, о ее значении для человечества и о том, какое большое место отводится в мифологии образу титана Прометея. Сейчас я уже пишу мифологический роман, у меня готов первый том, который я отослал в издательство, и я думаю, что напишу еще три тома. Я пока не знаю, как будет развиваться дальше эта интересная тема, знаю только, что впереди у меня — грандиозная работа».

В ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Как сообщает журнал «Нойе дойче литератур», в декабре этого года Германская Демократическая Республика отмечает 175-летие со дня рождения Генриха Гейне. Основным событием празднования будет торжественное заседание 12 декабря 1972 года в Немецком театре в Берлине.

С 6 по 9 декабря в Веймаре состоится международная научная конференция. Во время проведения конференции намечено организовать дискуссию молодых рабочих и студентов о творчестве Гейне. Тема дискуссии — «Гейне и молодежь».

Лауреаты премии имени Гейне проведут встречи с читателями, на которых выступят с чтением отрывков из произведений великого поэта. Выставка, организованная обществом исследователей творчества Гейне, расскажет о жизни поэта. Выставка будет демонстрироваться в ГДР и за рубежом.

ФРГ

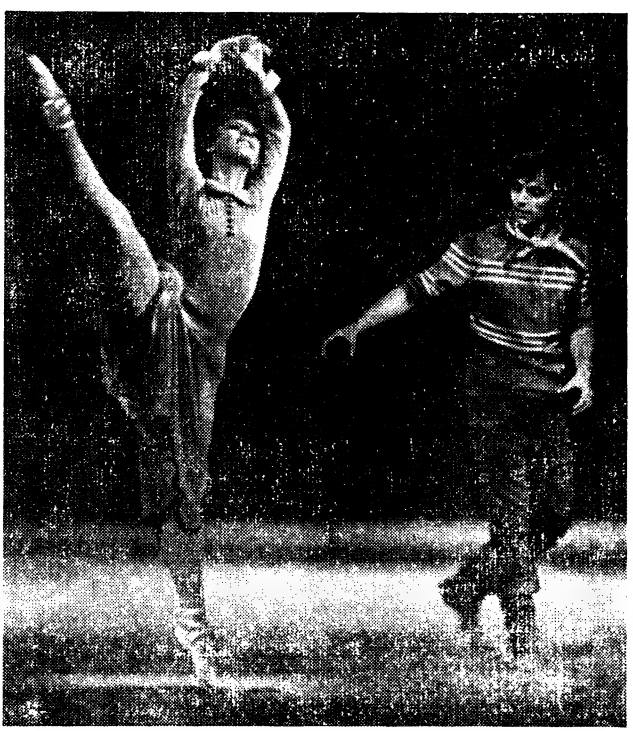
«ИЗ ДНЕВНИКА УЛИТКИ»

Так называется новая книга известного западногерманского писателя Гюнтера Грасса.

«Это своеобразное произведение,— пишет журнал «Шпигель»,— рассказывающее об избирательной кампании 1969 года, Грасс приурочил к избирательной

Сцена из балета Дмитрия Шостаковича «Барышня и хулиган», поставленного по мотивам сценария фильма Владимира Маяковского, в котором главную роль исполнял сам поэт. Балет идет с успехом в Лейпцигском и Шверинском театрах.

(Бюллетень «Верк унд бюне»)



кампании 1972 года». Как известно, писатель тогда выступил в качестве активного пропагандиста социал-демократической партии, одержавшей победу на выборах.

Повествование строится в виде ответов автора на вопросы своих детей, однако книга обращена не только к ним, но и к западногерманской молодежи вообще.

Эти эссе объединены аллегорическим образом улитки, который проходит сквозь весь «Дневник». Символ этот Грасс толкует многозначно, давая волю неудержимому потоку метафор. Прежде всего улитка для него — это прогресс, который автору представляется процессом медленным и постепенным. Улиток коллекционирует учитель Отт; они воплощают для него принцип сомнения, как и для самого Грасса, который называет себя «улиткой в образе человеческом».

Иронизируя над представителями радикально настроенной молодежи, автор называет их «улитками, которые надеются, что в один прекрасный день они сумеют прыгнуть», и он призывает их учиться у улитки терпению и настойчивости, признаваясь в конце концов: «Я не знаю решения. Я дарю вам сомнения».

В отзывах западногерманской печати на новое произведение Грасса довольно сильны критические ноты. «Репутация предвыборного пропагандиста начинает затмевать его славу писателя»,— замечает «Шпигель». «Франкфуртер альгемайне» называет «комичной» серьезность, с какой Грасс берет на себя роль «учителя Германии». Газета, однако, замечает: «Можно критиковать некоторую банальность мыслей и небрежность стиля (по сравнению с «Жестяным барабаном», «Кошкой и мышью», романом «Собачья жизнь»), но необходимо защитить право писателя обсуждать философские, современные политические проблемы без обязательства принимать определенное решение. Можно сожалеть о раздражительности, с какой Грасс... высмеивает порыв молодежи улучшать мир; но и это подтверждает, что он, даже будучи предвыборным оратором, остался тонко чувствующим художником, у которого, надо надеяться, душа никогда не зачерствеет».

ГРЕЦИЯ

НОВАЯ ПЬЕСА К. ВАРНАЛИСА

Имя писателя Костаса Варналиса, родоначальника революционной литературы Греции, лауреата Ленинской премии «За укрепление мира между народами», известно далеко за пределами его страны.

Новое произведение писателя, по словам рецензента газеты «Элфтери патрида», свидетельствует о его большом гражданском мужестве, честности, подлинном патриотизме. Пьеса эта — суровое обличение, брошенное в лицо сегодняшним диктаторам Греции.

События, описываемые в драме, относятся к 133 году до н. э. и происходят в древнем Пергамском царстве, некогда богатом, славившемся своими памятниками культуры и замечательной библиотекой, насчитывавшей 200 000 томов, но в результате разорительных войн пришедшем в упадок.

Царь Аттал III, боясь народного гнева, решает отдать свою страну профессиональным «спасителям» народов древнего мира — римлянам, предпочитая быть рабом чужого господина, чем «рабом своих рабов». В угоду новым хозяевам он и все его приближенные готовы переделать свою историю, искромсать «свои святые писания», предать философов, восславить покорителей, выдавая их преступления за подвиги. Земля родины, море, города с замечательными памятниками культуры, народ — все это для них ничтожные ценности, и их не страшит, что они достанутся чужим.

Развязка наступает неожиданно: вместо римлян появляются воинственные племена во главе с Перпеном, и Аттал III умирает от разрыва сердца. Перпена, принявшего имя Аттал IV, восхваляют на все лады: он и первый полководец, и первый освободитель, и преемник богов. И дела его поистине божественны: проглотил горы, выпил реки, распял стариков, заколол детей. И все во имя свободы!

Представители местной знати и интеллигенции в своем раболепстве ползают на четвереньках перед новым повелителем. В их толпе появляется блаженный, по существу, он — народный глашатай, предсказывающий торжество добра и справедливости; ему отрубают голову, но народ остается, и суд истории продолжается. Он не кончился в Греции и в наши дни. Тысячелетия отделяют ее от древнего Пергама, но, читая произведения Варналиса, мы видим общее между ними. Греция сегодня — это новая Пергама, и власть в ней принадлежит чужим и местным Атталам.

Национальный суверенитет попран. Американцы — сегодняшние «спасители» — утвердили в Греции режим черных полковников и свободно разгуливают по греческим улицам, городам, опекая правительство и оберегая его от народного гнева.

Главная мысль драмы — та же, что и всего творчества Варналиса: только борьба самих народных масс может привести их к победе.

ДАНИЯ

НА ЭКРАНЕ — СУДЬБА СРЕДНЕГО ДАТЧАНИНА

На недавнем кинофестивале в Берлине с успехом демонстрировались два датских фильма. Об одном из них — «Пропавший чиновник» (экранизация одно-

Кадр из фильма. Лене Васегорд и Ингольф Девид в главных ролях.

(Газета «Ланд ог фольк»)

именного романа Ханса Шерфига) мы уже рассказывали на страницах журнала («ИЛ» № 6, 1971 г.). Второй фильм носит несколько аллегорическое название — «Человеку следовало бы немного интересоваться музыкой».

Действие фильма происходит в трактире небольшого местечка Нёрребро. Среди завсегдатаев — мясник Свен, одинокая Элли, две подруги-парикмахерши Анни и Рагнильд, мойщик окон Иб, влюбленный в молоденькую буфетчицу.

У каждого героя фильма свои заботы, мечты и надежды. Но всех их объединяет... неудача. Им одинаково не везет в жизни.

Свен охотно выступал бы по телевидению с песенками, но ему наотрез отказывают. Элли бросает ее возлюбленный. Рагнильд и Анни безнадежно мечтают найти «постоянного друга», а мойщик окон так и не осмеливается признаться в любви буфетчице.

Болото скучной повседневности несколько всколыхнула смерть Элли — несчастная кончает жизнь самоубийством. Остальные завсегдатаи трактира делают серьезные, но безуспешные попытки изменить собственную жизнь. Проходит немного времени, и снова все идет по-старому.

«От несчастных тусклых судеб героев фильма веет чем-то бесконечно старомодным и заурядным,— пишет рецензент газеты «Ланд ог фольк».— Несмотря на некоторые промахи, режиссеру фильма Хеннингу Карлсену удалось показать судьбу обыкновенного, «среднего» датчанина, и судьба эта производит удручающее впечатление».

ЕГИПЕТ

НОВЫЕ РАБОТЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

По сообщениям прессы, в Каире вышли две книги, посвященные развитию арабского романа.

Одна из этих книг—«Реализм в арабском романе» (автор Мухаммед Хасан Абдаллах) — рассматривает развитие арабской, главным образом египетской, романистики, от Мухаммеда Хасапейна Хейкала — автора первого романа из египетской жизни «Зейнаб» (1906 г.) до произведений крупнейшего современного арабского романиста Нагиба Махфуза.

Во второй книге — «Введение в египетский роман» доктора Таха Вади — рассматриваются направления египетской романистики и новеллистики с 1905 по 1952 год.

КОНКУРС АКАДЕМИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА

Академия арабского языка в Каире объявила имена победителей литературного конкурса на лучший рассказ или пьесу о расовой дискриминации.

Первую премию получил новеллист Али аль-Галляль за рассказ «Мученики с Юга»; второй премии удостоены поэт и литературовед Мухаммед Рагаб аль-Баюми за пьесу в стихах «За какой грех?» и писатель Нагиб аль-Кейлани за рассказ «Убийца Хамзы».

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», Академия арабского языка объявила о новом конкурсе, на этот раз— на лучшую работу об языке новеллистики и драматургии.

ИНДИЯ

СОВЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ В ИНДИИ

Индийская интеллигенция с каждым годом проявляет все больший интерес к советской литературе, особенно к поэзии. Стихи ведущих мастеров и молодых поэтов, представляющих многонациональную советскую литературу, переводятся почти на все основные индийские языки. Достижения советской поэзии привлекают все более пристальное внимание и молодых, формирующихся литератур современной Индии.

Свидетельством растущего интереса к советской поэзии может служить специальный номер журнала «Мару вани» за 1972 год. Этот ежемесячный журнал издается в гор. Джайпуре на раджастхани — языке, который лишь в 1971 году получил признание Литера-

турной академии Индии. Бессменным редактором журнала со дня его основания в 1961 году является Рават Сарасват.

Номер целиком посвящен советской поэзии. В нем представлены стихи более двадцати советских авторов. Много стихов о Ленине, переведенных на раджастхани Рамнатхом Вьясом Парикаром. Номер открывают стихи А. Твардовского. Старшее поколение советских поэтов представлено такими именами, как Н. Заболоцкий, П. Васильев, С. Щипачев, О. Берггольц, Мирзо Турсун-заде, Г. Леонидзе и ряд других. Советская поэзия последующих поколений представлена стихами К. Ваншенкина, Юлии Друниной, Риммы Казаковой, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Ю. Марцинкявичуса, Новеллы Матвеевой.

В конце журнала приведены краткие биографические сведения о каждом из поэтов.

ПАМЯТИ ПРИТХВИ РАДЖ КАПУРА

На экраны Индии вышел новый фильм «Вчера, сегодня, завтра». Он рассказывает о взаимоотношениях трех поколений, о так называемом «разрыве» между ними.

В этом фильме главную роль играет Притхви Радж Капур — старейший и прославленный актер, глава многочисленного клана Капуров. Это его последняя роль, над которой он работал, уже будучи тяжелобольным. Режиссер картины — его внук Радхир Капур, сын известного киноактера и режиссера Раджа Капура.

Когда одного из индийских киноактеров спросили, имеет ли младший Капур специальное образование, тот ответил: «Дом Капуров уже сам по себе театральная академия». Во главе этой «академии» стоял «папа Притхви».

«Крупная голова, красивая шевелюра. Правильные черты лица, будто изваянные искусной рукой скульптора, освещает неизменная улыбка. Его изящная речь хорошо знакома всем, кому довелось встречаться с ним на сцене, на экране или в быту»,— пишет автор некролога в еженедельнике «Линк» Хабиб Танвир.

Притхви Радж Капур и его внук Радхир Капур в фильме «Вчера, сегодня, завтра».

(Журнал «Линк»)

Признанный мастер индийского театра и кино, один из основателей современной драмы Индии, Притхви Радж посвятил все свое дарование и энергию развитию национальной сцены, создав первый профессиональный театр на хиндустани—«Притхви тиэтр». Театр ставил пьесы национальных драматургов разных эпох, посвященные главным образом социальной проблематике. Спектакль «Пайса», например, по свидетельству критики, до сих пор привлекает зрителя своей острой социальной проблематикой. Помимо работы в театре Притхви Радж Капур снимался в кино, на его счету 75 фильмов, в том числе немые. Его самая большая актерская удача, по единодушному признанию критики и публики,— роль Александра Македонского в индийском фильме «Александр».

«Своим искусством он заставлял зрителя думать, воспитывал его, вдохновлял и развлекал... Гигант в театре, Притхви Радж олицетворял дух беззаветной преданности национальной сцене. И актерская молодежь не могла бы лучше почтить его память, чем создавая новые хорошие, жизнедеятельные театры»,— говорит в заключение Хабиб Танвир.

ИРАК

«СМЕРТЬ В ПАРИЖЕ»

Как сообщает журнал «Аль-Мактаба», поэт Абд аль-Ваххаб аль-Баяти, сборник стихов которого «Поэмы любви на семи вратах мира» выпустило недавно иракское министерство информации, работает сейчас над книгой о своем творчестве.

Эта книга, которая будет называться «Смерть в Париже», представляет собой продолжение книги «Мой поэтический опыт», опубликованной в 1968 году. По словам журнала, в новой книге поэт говорит «о своем детстве, о любви и смерти и об их влиянии на его творчество». (Во время своей последней поездки в Париж аль-Баяти попал в автомобильную катастрофу, едва не стоившую ему жизни.)

Арабские журналы в последнее время регулярно сообщают о переводе произведений аль-Баяти на различные языки мира — сербо-хорватский, французский, румынский и другие.

По сообщению журнала «Аль-Адиб», сборник стихов поэта «Смерть в этой жизни» вышел недавно в Мадриде в переводе на испанский язык.

НОВЫЙ РОМАН МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

По сообщениям иракской прессы, Исмаил Фатх — молодой иракский писатель, проживающий в Кувейте,— сдал в печать свой третий роман, «Веревка».

До этого писатель опубликовал два романа, с интересом встреченных читателями и критикой,— «Небо было голубым» и «Светящиеся болота». Как и в прошлых произведениях, И. Фатх в новой книге уделяет основное внимание иракской молодежи, ее поискам своего места в сложной современной иракской действительности.

ИТАЛИЯ

50 ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Накануне празднования пятидесятилетия образования СССР в Италии возрос интерес к жизни народов многонационального Советского государства. Идя навстречу пожеланиям читателей, газеты «Паэзе сера» и «Унита» организовали длительную поездку своих корреспондентов по многим республикам Советского Союза. Несколько месяцев подряд на страницах этих газет появлялись репортажи из самых различных уголков нашей страны, где еще не бывали представители итальянской прессы. Рассказы о жизни и труде советских людей неизменно встречались читателями с большим интересом.

Корреспондент «Унита» Ромоло Каккавале в первую очередь решил посетить Латвию, поскольку, как он пишет, это «одна из самых маленьких советских республик». Тем не менее успехи, достигнутые трудящимися Латвии, поразительны, отмечает корреспондент, беседовавший со многими руководителями республики, рабочими, крестьянами, рыбаками. За годы советской власти в республике произошли колоссальные изменения как в культурной, так и в социальной и экономической жизни. «На Западе еще нередко можно услышать, что в Латвии якобы исчезает национальная культура,— пишет корреспондент.— Как же обстоят дела на самом деле?

В Латвии на два с половиной миллиона жителей имеется десять театров, причем число зрителей в год превышает два миллиона. Произведения латышских писателей, таких как Вилис Лацис, публикуются огромными тиражами. Латвия имеет ныне свою Академию наук, свою национальную кинематографию, о чем не приходилось даже и мечтать при буржуазном строе. Повсюду — как в столице республики Риге, так и в других местах — наблюдается значительный рост благосостояния людей. И это неудивительно: ведь за последние 30 лет промышленное производство в Латвии увеличилось в 29 раз. Вот где можно говорить о настоящем «экономическом чуде»! За последние два десятилетия доход на душу населения возрастает здесь значительно более высокими темпами, чем в таких развитых капиталистических странах, как Франция, ФРГ и Италия. Латвия ныне экспортирует свою продукцию в 100 стран мира. В рыбацком колхозе «Банга» мне с гордостью говорили, что латышские рыбаки ведут сегодня промысел не только в Рижском заливе и Балтийском море, но и в Атлантике — от Гренландии до Экваториальной Африки. «Всего этого мы не могли бы достигнуть, если бы не составляли часть великой семьи»,— с гордостью говорили мне латыши».

Из Латвии Ромоло Каккавале направился за тысячи километров на восток — в Сибирь, где он две недели провел в Тувинской, Хакасской и Бурятской автономных республиках. «Когда-то, — пишет корреспондент, — эти районы приобрели недобрую славу места ссылки противников царского режима. Сюда, будучи в ссылке в Шушенском в 1897 — 1900 гг., приезжал В. И. Ленин. Теперь о тех грустных временах напоминают разве лишь памятники и музеи. Итальянца, впервые попавшего в Сибирь, поражают не только невиданные морозы, доходящие до 60 градусов, но прежде всего колоссальные сдвиги, происходящие здесь во всех сферах жизни. Практически современная цивилизация пришла в Сибирь только после Октябрьской революции. За годы советской власти языки многих этнических групп получили алфавит и стали письменными языками, неграмотность, достигавшая прежде ста процентов, теперь полностью ликвидирована. Ушли в далекое прошлое нищета и повальные болезни. Некогда заброшенные крестьянские деревушки превращаются в цветущие современные города».

Корреспондента газеты «Паэзе сера» Аугусто Ливи интересовала прежде всего жизнь Закавказских республик. «В Грузии,— рассказывает он,— я посетил несколько высших учебных заведений. Достижения союзных республик в области высшего образования представляются поистине замечательными. Студенты грузинского сельскохозяйственного института в Тбилиси, например, имеют в своем распоряжении великолепную библиотеку, насчитывающую миллион томов; театральный комплекс, где можно при желании стать не только зрителем, но и актером и режиссером; поистине олимпийский спортивный зал на несколько тысяч зрителей с тартановыми дорожками и прекрасными теннисными кортами; свой кинотеатр, где для студентов демонстрируются фильмы по исключительно невысоким ценам. Обучение ведется на грузинском языке. Студенты могут посещать бесплатные курсы и кружки — радиолюбительский, фотокружок, хореографиче-

ский и другие, что совершенно немыслимо, например, в Италии. Национальная политика в СССР дает потрясающие результаты, — подчеркивает Аугусто Ливи.— Опыт республик Закавказья показывает, чего могут достигнуть развивающиеся страны, вставшие на путь социалистического развития».

Подчеркивая исключительную важность итогов национального и культурного развития СССР за пятьдесят лет, «Унита» отмечает, что ныне в Советском Союзе издается около 8 тыс. газет и 6 тыс. журналов, за годы советской власти вышло почти два с половиной миллиона книг общим тиражом 383 миллиарда экземпляров. «Можно сказать,— пишет «Унита»,—что советский народ — самый культурный народ в мире. Об этом, в частности, свидетельствует и возрастающая роль театра в культурной жизни СССР. Характерно, что каждый театр регулярно выезжает на гастроли в места, где театров еще нет. Всемирно известная балетная труппа Большого театра, например, показывала недавно свои замечательные спектакли «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» на совершенно уникальной сцене — на платформе в центре Каспийского моря—нефтяникам Азербайджана.

В каждой республике имеются театральные школы и экспериментальные драматические центры. Все это служит еще одним свидетельством того, что главной целью национальной политики КПСС и Советского правительства является гарантия всеобщего равенства наций, гармония интересов Советского государства и каждой отдельной республики».

«СОВЕТСКОЕ КИНО — ЭТО НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ МИР ОТКРЫТИЙ»

В период подготовки к празднованию 50-летия СССР в городе Градо был проведен показ советских фильмов 20—30-х годов. Огромный интерес у итальянских зрителей вызвали такие фильмы, как «Земля жаждет» Юлия Райзмана, «Соль Сванетии» Михаила Калатозова, «Шестая часть мира», «Симфония Донбасса», «Одиннадцатый» Дзиги Вертова.

Критик газеты «Унита» Сауро Борелли в связи с этим пишет: «Советское кино — это неисчерпаемый мир открытий и удивительных сюрпризов. Фильмы, которые мы видели, выполнены на высочайшем художественном уровне и полны неповторимой поэзии. Советское кино, заслуженно пользующееся всемирной известностью, отражает успехи, достигнутые советским государством в области культуры».

КУБА

«ПЕРЕПИСКА КУБИНЦЕВ СО ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ»

Известный кубинский литературовед, член ЦК Коммунистической партии Кубы доктор Хуан Маринельо, как сообщает газета «Гранма», выступил в театре Национальной библиотеки имени Хосе Марти с докладом «Переписка кубинцев со Львом Толстым».

Обрисовав облик и творческий путь гениального русского писателя, Хуан Маринельо посвятил основную часть своего выступления разбору писем кубинцев, в свое время адресованных Л. Н. Толстому.

Как отметил докладчик, обнаружено пятнадцать писем, причем «направляли письма люди двух социальных групп: и богатые и бедные. Из первых значительное число составляли дамы, принадлежавшие к аристократическим и богатейшим фамилиям, преследовавшие цель получить автограф знаменитой личности. Наибольший интерес представляют письма трудящихся, страдавших и боровшихся в тяжелых условиях колониальной действительности, в которой только лишь сменился хозяин» (докладчик имел в виду провозглашение в начале века на Кубе, яв-

---

На снимке: кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини и актриса Джозефина Чаплин, исполняющая одну из главных ролей в последнем фильме Пазолини «Кентерберийские рассказы» (по Чосеру), удостоенном главной премии на международном кинофестивале этого года в Западном Берлине. «Кентерберийские рассказы» составляют — вслед за экранизацией «Декамерона» — часть трилогии, задуманной Пазолини. Сейчас он готовится к съемкам заключительной ее части — фильма по сказкам «Тысяча и одна ночь».

(Газета «Унита»)

лявшейся испанской колонией, буржуазной республики).

Маринельо подчеркнул, что «особое внимание привлекает то, что несмотря на экономическую и культурную отсталость, эти люди читали Толстого, обращались к нему — патриарху великой силы и мудрости и, как казалось им, революционному лидеру. Наши трудящиеся, наследники тех, кто с чистой, искренней надеждой писал товарищу Толстому», строят общество, которое является обществом подлинной революции.

На докладе доктора Маринельо присутствовали секретарь ЦК КП Кубы Блас Рока, члены ЦК Ласаро Пенья и Фабио Гробарт, заместитель министра иностранных дел Перегрино Торрас, президент Союза писателей и деятелей искусств Николас Гильен, директор Института литературы и лингвистики Хосе Антонио Портуондо, многочисленная аудитория.

ПОЛЬША

ПРЕМЬЕРА ТЫСЯЧНОГО СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА

По сообщению польской печати, в честь 50-летия СССР в Польше проводятся Дни советского фильма.

Наряду с другими фильмами польским зрителям представлены две последние части эпопеи «Освобождение», в которых при содействии польских кинематографистов снято участие в битве за Берлин и польских солдат.

С большим интересом будет встречен фильм «Солярис», поставленный Андреем Тарковским, в основу которого легла книга известного польского фантаста Станислава Лема.

Украинская кинематография представлена фильмом Юрия Ильенко «Белая птица с черной отметиной», грузинская — фильмом Георгия Шенгелаи «Пиросмани»: о жизни и творчестве художника-примитивиста Нико Пиросманишвили.

Но самым важным событием, по сообщению еженедельника «Жице литерацке», явится премьера тысячного советского фильма, демонстрируемого в Польской Народной Республике. Эта честь выпала на долю фильма Даниила Храбровицкого «Укрощение огня», получившего первую премию на международном кинофестивале в Карловых Варах, в основу которого положена история жизни замечательного советского ученого академика Королева.

Как сообщает газета «Трибуна люду», польское телевидение в честь 50-летия образования СССР организовало показ советских фильмов, которые, по словам газеты, явились «наиболее значительным событием в советской кинематографии». Фильмы будут демонстрироваться в течение двух месяцев — с 17 октября по 18 декабря.

Показ запланирован по всем программам. Так, например, по первой программе каждый вторник будут передаваться фильмы прошлых лет: «Броненосец «Потемкин» и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, «Человек с ружьем» Сергея Юткевича, «В шесть часов вечера после войны» Ивана Пырьева и более поздние фильмы, такие как «Летят журавли» Михаила Калатозова, а также один из последних фильмов, «Белорусский вокзал», который поставил молодой режиссер Андрей Смирнов.

По второй программе намечена передача «интересных по проблематике и в то же время значительных произведений»: «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, «Десять дней одного года» Михаила Ромма, «Ташкент — город хлебный» Шухрата Аббассова.

В цикле «В старом кино» демонстрируются мало известные польскому зрителю советские фильмы прошлого, такие как «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», а также фильмы, снятые на студиях советских республик.

В цикл «Время и люди» включены также очень интересные — по определению газеты — и уникальные по своей исторической ценности документальные фильмы «Дни Октября» и «Из старых хроник».

Каждый четверг намечены передачи «С визитом в Советский Союз», в которые включены цветные документальные фильмы о Стране Советов.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА ВАРШАВЫ

По инициативе Союза польских писателей в Варшаве была проведена «Варшавская поэтическая осень». Предполагается, что этот вид широкого общения польских поэтов с читателями станет традиционным.

В первую «Варшавскую поэтическую осень» был включен вечер памяти Владислава Броневского.

Было бы желательно, отмечает корреспондент газеты «Жице Варшавы», чтобы вечера, посвященные памяти таких крупнейших поэтов, как Юлиан Тувим, Константы Ильдефонс Галчинский, Юлиан Пшибось, также стали традицией.

Союз польских писателей является создателем форума переводчиков. Каждый месяц будут проводиться встречи переводчиков, знакомящих польского читателя с произведениями мировой литературы. В программе на ближайшее время намечено обсуждение переводов из Шекспира, Хемингуэя, античной литературы, русской и советской поэзии.

Намечается также организовывать встречи читателей с публицистами и с авторами книг так называемой «литературы факта».

В новом сезоне в варшавском Доме литераторов возобновляются «Литературные среды».

Газета сообщает еще об одном начинании Союза польских писателей — о создании литературных студий при некоторых высших учебных заведениях, не

имеющих гуманитарных факультетов. В литературных студиях будут читать лекции не только писатели, но также искусствоведы, режиссеры и т. д.

ЕВГЕН ГУЦАЛО НА ПОЛЬСКОМ

По сообщению журнала «Литература на свете» в издательстве «Чительник» вышла книга молодого украинского писателя Евгена Гуцало «Домашний очаг». Автор статьи Мариан Юрковский дает высокую оценку прозе молодого писателя, свидетельством чему служит издание его книг во многих странах мира: Чехословакии, Венгрии, США, Франции, Канаде.

Мариан Юрковский пишет: «Прекрасно, что с повестью Гуцало, которая является одной из лучших его книг, теперь сможет познакомиться и польский читатель, тем более что ее перевод осуществлен такими отличными переводчиками украинской прозы, какими являются Зофья и Станислав Гловяковы.

«Домашний очаг» — это глубоко гуманистическая книга, повествующая о мужестве и моральной силе простых людей, покоряющая читателей тонким психологическим анализом и прекрасным народным языком».

В живописных окрестностях Кракова и в Татрах проводятся съемки тринадцатисерийного телевизионного фильма по сценарию Тадеуша Квятковского «Яносик» — о полуисторической, полулегендарной личности, отважном Яносике, защитнике обездоленных и угнетенных. Режиссер фильма Ежи Пассендорфер; в главной роли — молодой популярный актер Марек Перепечко.

(Журнал «Польское обозрение»)

РУМЫНИЯ

ДИАЛОГ С ВЕКОМ

В эти праздничные дни все слышнее звучит в румынских литературных изданиях голос советского искусства.

На прилавках книжных магазинов рядом с новыми переводами произведений советских писателей Константина Паустовского, Ан. Рыбакова и других можно увидеть книгу давнего друга нашей страны Тома Джордже Майореску, автора известного сборника репортажей «Земля, куда возвращаются космонавты». Это второй том его «Диалогов с веком и его людьми» (первый вышел в 1967 году).

Значительная часть «Диалогов» посвящена виднейшим мастерам советской культуры. Майореску встречался с Р. Рождественским, Иваном Ефремовым, Эд. Межелайтисом, Г. Улановой, Г. Товстоноговым, А. Райкиным.

Автор ставил своей задачей, как он сам говорит в предисловии ко 2-му тому, «определить вехи идейного движения последнего полувека второго тысячелетия нашей эры, сферу духовных поисков, характерных для современного мира».

Как отмечает рецензент «Ромыния литерарэ», «ознакомившись с «Диалогами», читатель ощущает живительное чувство веры в себя, в людей. Чувство нравственной устойчивости и сопричастности судьбам сегодняшнего мира».

США

АРТУР ХЕЙЛИ — «КОЛЕСА»

Новый роман Артура Хейли «Колеса» имеет много общего с другими его книгами. Его название состоит из одного слова, первая же фраза, которой Хейли всегда придает большое значение, задает напряженный ритм повествованию, удерживающий читателя за книгой до последней страницы. Книге присуща достоверность, которая всегда подкупает читателей его романов. И это сходство неудивительно. У Хейли есть испытанный метод создания книг. Книга находится в работе три года. Год писатель тратит на вживание в среду, в которой будет происходить действие его будущего романа. Шесть месяцев — на составление планов и восемнадцать месяцев пишет. В работе он использует картотеки собственного изобретения, ку-

да заносится обширная информация, относящаяся к изучаемому вопросу: еженедельно Хейли читает пачку книг — художественных и публицистических, специально заказанных для работы. После того, как информация собрана и писатель чувствует себя «своим» в интересующей его области, он обдумывает имена, заводит «дело» на каждого героя. «Главное—система»,—говорит он.

Новый роман рассказывает об автомобильной промышленности. Хейли изучает свой «предмет» в Детройте. Как и всегда у него, «Колеса» — скорее всего «производственный» роман. Достоверность его книг часто приводит к тому, что читатель получает информацию, нежелательную для компании. Так, читатели «Аэропорта» познакомились с рядом методов безбилетного полета на самолетах, один из которых — проезд по устаревшему билету со свойственной ему добросовестностью Хейли проверил сам. После выхода романа «Колеса» покупатели автомашин узнали, что львиная доля брака приходится на машины, собранные в понедельник и пятницу, и стали требовать продукцию, изготовленную в другие дни недели. Отлично чувствуя себя в своем материале, Хейли часто раскрывает в своих книгах неприглядные стороны деятельности фирм, к заслуге Хейли надо отнести и изображение деятельности мафии, которая проникает в рабочую среду, способствуя разъединению рабочих, ослаблению их классового самосознания.

Таким образом с точки зрения формы и документальной достоверности в этом романе, по мнению рецензента из американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», читатель получает «все, что ждал». Однако по своему идейному содержанию этот роман значительно уступает предшествующим произведениям Хейли, в которых автор самой логикой своего материала, его достоверностью и пристальным вниманием к человеку в процессе его работы всегда выступал как бы от лица этих увлеченных своей работой людей. В новом романе Хейли, по его словам, хотел показать, что такое большое дело, как автопромышленность, как и сама жизнь, является цепью компромиссов между планами и их реальным воплощением, между тем, «что должно было быть в идеальном обществе, и тем, что происходит в нашем весьма несовершенном».

Но это любование слаженным трудом единого организма огромного современного производства приводит автора к новым для него идейным выводам. Хейли рассматривает как единое целое труд рабочего и хозяина фирмы. Дух патернализма, которым проникнут роман, стремление видеть единство интересов всех участников производства и не замечать ни классовых, ни национальных противоречий существенно ослабляет идейное звучание романа.

Весной 1973 года Хейли собирается приступить к новому роману «Деньги», после чего весной 1976-го он займется своей последней книгой, больше Хейли писать не собирается. Книга эта будет называться «Кампус» — бунтующий университет. Хейли интересует проблема высшего образования. Он считает, что «оно должно быть не привилегией, а правом каждого». Сам писатель в четырнадцать лет ушел из школы. На вопрос корреспондента о том, кем бы он был сейчас, если бы окончил университет, Хейли, задумавшись, ответил: «Инженером-электриком».

Сцена из спектакля «Моби Дик». Постановка осуществлена режиссером Питером Терсоном в «Виктория театр».

(Еженедельник «Санди таймс»)

ФРАНЦИЯ

НОВАЯ КНИГА О ЖАНЕ ЖОРЕСЕ

В издательстве «Сёй» вышла книга «Жизнь Жана Жореса, или Франция перед 1914 годом». Автор ее, писательница Марсель Оклер, с большой любовью воссоздает образ пламенного трибуна, погибшего в самый канун первой мировой войны, показывает, как человек, воспитанный в буржуазной среде, встал на путь политической борьбы за интересы трудового народа Франции.

Марсель Оклер, специализирующуюся на проблемах психологии и морали, всегда интересовала духовная сторона жизни французского социалиста. Ей удалось создать образ искреннего, мягкого, увлекающегося человека. Однако, как пишет бельгийский еженедельник «Драпо руж», произведение имеет серьезные недостатки. Увлекшись описанием конкретных поступков Жореса, Марсель Оклер не сумела раскрыть его взгляды, дать ясный портрет политического деятеля определенной эпохи.

«Отсутствие политического анализа, — по мнению рецензента «Драпо руж», — снижает ценность этой романической биографии, которая в целом правдиво показывает социальную среду начала нашего века и читается с большим интересом».

РЕВОЛЮЦИЯ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИН СОВЕТСКОЙ АЗИИ

Во французском издательстве «Эдисьон сосиаль» начала выходить серия книг под общим названием «Социализм». Эта серия должна информировать читателей о жизни социалистических стран, освещать вопросы теории социализма. Одним из первых изданий стала книга Сержа Зейона «Революция женщин в сердце Советской Азии».

Автор отмечает, что эмансипация женщин в Советском Союзе, и в особенности на территории, где было распространено мусульманство, является уникальным событием мировой истории — впервые женщины добились равноправия с мужчинами не вопреки законам и общественному мнению, а наоборот — с их помощью. В книге приведено множество примеров гражданского мужества женщин республик Советской Азии, ломавших освященное вековыми традициями мракобесие религии.

Рецензент французского журнала «Нувель критик» высоко оценивает книгу Сержа Зейона за научный подход к теме и умение увлечь читателя.

АНДРЕ СТИЛЬ О РАСУЛЕ ГАМЗАТОВЕ

Андре Стиль поделился на страницах «Юманите» своими впечатлениями от книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан», опубликованной на французском языке в журнале «Эвр э опиньон».

Французский писатель прежде всего подчеркивает тот факт, что многочисленные народности дореволюционного Дагестана не имели письменности и появление книги аварского поэта на французском языке было бы просто невозможным без всего того, что принесла народам России советская власть.

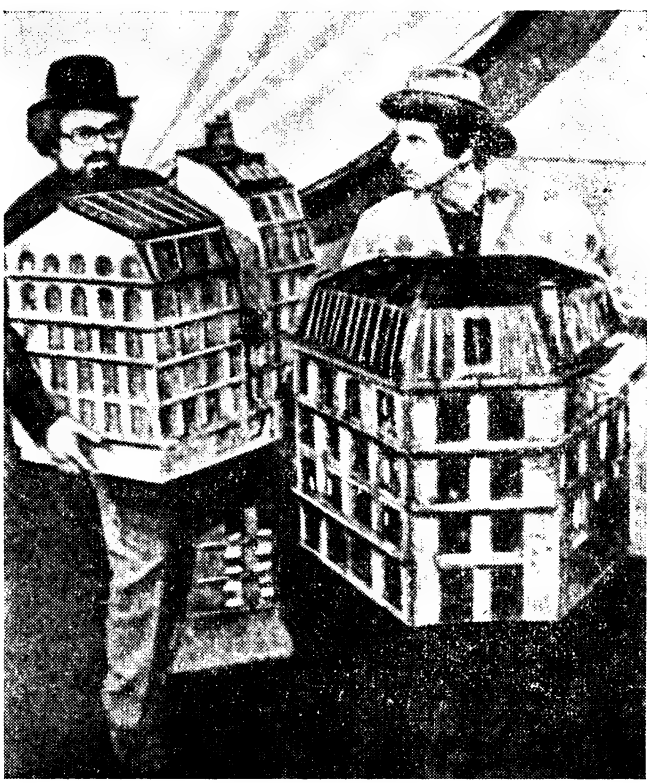
«Теперь же, — пишет Стиль, — в Дагестане книги выпускаются на девяти языках. А на русском языке Расула Гамзатова и других писателей Дагестана читают во всем Союзе, и их голоса становятся все слышнее за границей». Андре Стиль отмечает поэтичность прозы Расула Гамзатова, гордость автора за свой маленький народ, нашедший свое место в многонациональной семье народов Советского Союза.

ПРЕМИЯ СОВЕТСКОМУ ПОЭТУ

Каждый год специальное жюри Французской Академии присуждает особую премию за лучший перевод французских стихов на другие языки мира. В 1972 году этой награды был удостоен советский чувашский поэт Геннадий Айги, составивший антологию современной французской поэзии на чувашском языке.

Сцена из сатирической пьесы Жака Нише «Торговцы городом», поставленной режиссером Джорджем Уилсоном в театре «Аквариум», рассказывающей о коррупции в строительстве пригородов Парижа, которое в ближайшее время сделает Париж, по мнению автора, похожим на Лонг-Айленд. На сцене актеры символически заменяют здания архитектуры XIX века на небоскребы.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)



Авторы этого номера

РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР — ROBERTO FERNANDEZ RETAMAR (род. в 1930 г.).

Кубинский поэт, литературный критик, главный редактор журнала «Каса де лас Американас», профессор Гаванского университета. Автор многих поэтических сборников. В 1967 г. на русском языке вышла его книга стихов «Своими руками». Стихи Р. Фернандеса Ретамара неоднократно печатались в советских периодических изданиях, цикл стихотворений опубликован в «Иностранной литературе» № 8, 1971.

Стихотворение «Тебе — в пятидесятилетие» получено редакцией в рукописи.

■

АЛЕКС ЛА ГУМА — ALEX LA GUMA (род. в 1925 г.).

Южноафриканский писатель, лауреат литературной премии «Лотос». Родился и вырос в Кейптауне в семье коммуниста, одного из руководителей движения за свободу цветного населения. Алекс Ла Гума начал печататься в 1956 году, публикуя в газете «Нью эйдж» репортажи о жизни черных и цветных в Южной Африке. За политическую деятельность неоднократно подвергался арестам. Много лет провел в заключении, где начал писать свои первые книги, обличающие расистский режим. Эти книги запрещены в ЮАР. В настоящее время живет в эмиграции.

Советские читатели знают Алекса Ла Гуму по напечатанным в «Иностранной литературе» повести «И нитка, втрое скрученная...» (№ 12, 1965), роману «Каменная страна» (№ 11, 1969), а также переведенной на русский язык повести «Скитания в ночи».

Новая книга Ла Гумы «В конце сезона туманов» («In the Fog of the Season's End») получена редакцией в рукописи. Вступление «От автора» написано для советского читателя.

■

ЛУЧЕЗАР СТАНЧЕВ (род. в 1908 г.).

Болгарский поэт, прозаик, драматург. Наиболее известны его поэтические сборники «Весна на бульварах», «Люди на крышах», «Очертания». Популярны его стихи и сказки для детей. Многие из них переведены на русский язык. Л. Станчев также один из видных переводчиков классической русской и советской поэзии на болгарский язык.

Стихотворение «Красная площадь» получено редакцией в рукописи.

■

ГЕРД ЭГГЕРС — GERD EGGERS (род. в 1945 г.).

Молодой немецкий поэт (ГДР). Окончил Лейпцигский литературный институт. Часто выступает со стихами в периодической печати. В этом году вышла вторая его поэтическая книга «Мой зимний дворец» («Mein Winterpalais»).

Стихотворение «Поезд дружбы Берлин—Ленинград» передано журналу в рукописи.

■

МАРГАРИТА ПАС ПАРЕДЕС — MARGARITA PAZ PAREDES (род. в 1918 г.).

Видная мексиканская поэтесса, дебютировавшая в литературе в 1942 г. сборником лирических стихотворений «Погремушка» («Sonaja»). Ее перу принадлежит около двадцати поэтических книг, в том числе «Плененное пламя» («Lumbre cautiva», 1968), «Приметы» («Señales», 1972).

Мы впервые знакомим наших читателей с творчеством М. Пас Паредес, публикуя стихотворение, полученное в рукописи.

■

ЛАСЛО БЕНЬЯМИН — BENJAMIN LÁSZLÓ (род. в 1915 г.).

Известный венгерский поэт, дважды лауреат премии Кошута. В молодости работал ткачом, типографом, металлистом. В 1939 году издал первую книгу стихов. В настоящее время—автор около пятнадцати поэтических сборников. Большинство стихов Л. Беньямина посвящены великим переменам, происходящим в новой, социалистической Венгрии. Его стихи неоднократно публиковались на русском языке.

Стихотворение «А что же там, с той стороны?..» взято из сборника «Дым планеты нашей» («Világ füstśe», 1964).

■

ВЛОДЗИМЕЖ СЛОБОДНИК — WŁODZIMIERZ SŁOBODNIK (род. в 1900 г.).

Польский поэт. Автор многих поэтических сборников. Известен также как переводчик Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского. В 1941—1945 гг. жил в Узбекистане, которому посвятил книгу стихов «Дом в Фергане» («Dom w Ferganie», 1946).

Публикуемые стихи взяты из этой же книги и из сборника «Стихи» («Wiersze zebrane», 1949).

■

ИВАН ДАВИДКОВ (род. в 1926 г.).

Болгарский поэт, главный редактор издательства «Болгарский писатель». Начал

печататься в 1946 г. Его стихи составили несколько сборников. Наиболее известны «Украинец с белой гармоникой» (1951), «Под сенью лозы» (1967), «Тракийские могилы» (1967) и др.

Публикуемые стихотворения взяты из сборника «Здравица звездопаду» (1972).

■

АЛАН СИЛЛИТОУ — ALAN SILLITOE (род. в 1928 г.).

Английский писатель — прозаик и поэт. Его романы «В субботу вечером и в воскресенье утром» («Saturday Night and Sunday Morning», 1959), «Ключ от двери» («Key to the Door», 1961), «Смерть Уильяма Постерса» («The Death of William Posters», 1965), «Горящее дерево» («A Tree on Fire», 1967), повествующие о жизни английского рабочего, принесли А. Силлитоу известность и признание читателей.

Его перу принадлежат сборники стихов, книга очерков о поездке в нашу страну «Дорога на Волгоград» («Road to Volgograd») и другие произведения.

«Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством А. Силлитоу, опубликовав роман «Ключ от двери» (№№ 5—7, 1963), рассказ «Волшебный ящик» (№ 4, 1964). На русском языке вышел также сборник рассказов «Одинокий бегун».

Стихи, публикуемые в этом номере, были напечатаны в сборнике «Любовь в окрестностях Воронежа» («Love in the Environs of Voronezh», 1968).

■

ХАРАЛЬД ВЕССЕЛЬ — HARALD WESSEL (род. в 1930 г.).

Немецкий журналист (ГДР), по образованию биолог, автор книг научно-популярного жанра. На русский язык переведена его работа, посвященная философским проблемам молекулярной биологии «Вирусы — их чудеса и противоречия». Впечатления от поездки по историческим местам деятельности Фридриха Энгельса легли в основу книги «В гостях у Фридриха Энгельса» («Hausbesuch bei Friedrich Engels», 1971). В 1971 г. появилась книга, в которой Х. Вессель критически анализирует неопозитивистскую философию — «Убогая философия» («Philosophie des Stückwerkes»).

Репортажи Х. Весселя перепечатываются нами из газеты «Нойес Дойчланд».

■

ХАНС ШЕРФИГ — HANS SCHERFIG (род. в 1905 г.).

Известный датский писатель-сатирик, публицист и художник. Советские читатели хорошо знают Х. Шерфига по переведенным на русский язык романам «Пропавший чиновник», «Скорпион», «Загубленная весна», «Замок Фрюденхольм», «Пропавшая обезьяна», многим новеллам, печатавшимся в журналах.

«Страна утренней зари» («Morgenrodens land») — так назвал Ханс Шерфиг свою книгу о Грузинской ССР. Эта книга, отрывки из которой печатаются в этом номере, — первое произведение о Грузии, появившееся в Дании. Она вышла в 1971 г. в крупнейшем издательстве «Гюльдендаль» и в 1972 г. была переиздана. Книга иллюстрирована автором.

■

ФИЛЛИП БОНОСКИ — PHILLIP BONOSKY (род. в 1916 г.).

Американский, прогрессивный писатель, публицист. Сын рабочего-металлиста, Ф. Боноски девятнадцати лет вынужден был уйти из семьи на поиски работы. В 1936 году он стал руководителем одного из комитетов безработных. Его имя впервые появилось на страницах американской печати в 1947 году. Тема борьбы американского рабочего класса стала основной в его произведениях.

Советские читатели знакомы с творчеством Ф. Боноски по вышедшим в русском переводе романам «Горящая долина», «Волшебный папоротник», по рассказам и статьям в нашей периодической печати.

Отрывок из его книги «За пределами мифа. От Вильнюса до Ханоя» («Beyond the Borders of Myth. From Vilnius to Hanoi», 1967) мы предлагаем вниманию читателей.

■

СТЕФАН ПОПТОНЕВ (род. в 1928 г.).

Болгарский поэт и прозаик, заместитель главного редактора газеты «Пулс». Автор нескольких сборников стихов, наиболее известны: «По чистым тропам» (1962), «Годы возмужания» (1964), «300 метров» (1967), «Единственный месяц март» (1970), поэма «Суд» (1965), посвященная Георгию Димитрову, и др.

Мы печатаем очерки из его книги «Белоруссия — белая баллада» (1971).

■

ФАРЛИ МОУЭТ — FARLEY MOWAT (род. в 1921 г.).

Канадский писатель и общественный деятель, биолог, этнограф, публицист. Автор около двадцати книг, преимущественно о севере Канады. На русский язык переведены «Люди оленьего края», «Отчаявшийся народ», «Испытание льдом», «Не кричи: волки!». Главы из его юмористической книги «Лодка, не желавшая плавать» печатались в нашем журнале (№ 5, 1972).

Ф. Моуэт дважды приезжал в нашу страну, побывал в городах и поселках Якутии, в Иркутске, Братске, Магадане, на Байкале и по возвращении написал книгу «Мои открытия в Сибири» («Sibir. My Discovery of Siberia», 1970),

Мы печатаем отрывок из этой книги.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1972 год (№№ 1—12)

К 50-ЛЕТИЮ СССР

Боноски, Филлип — За границами мифа (Перевод В. Воронина), № 12.

Вайян-Кутюрье, П.— Поля хлебов и нефтяные поля (Перевод Н. Тарасовой), № 8.

Вессель, Харальд — Ташкентским экспрессом через пятидесятилетие СССР (Перевод Г. Косарик), № 12.

Григореску, Иоан — Вместо маршрута (Перевод М. Фридмана), № 11.

Грюнберг, Карл — От тайги до Кавказа (Перевод Э. Венгеровой и Е. Минкиной), № 9.

Моуэт, Фарли — Президент республики (Перевод Ф. Лурье), № 12.

Никорович, Василе — Между Ригой и Иркутском (Перевод М. Фридмана), № 11.

ПОЛУВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ (Жоржи Амаду, Кристинн Андрессон, Мира Алечкович, Михай Бенюк, Пьер Гамарра, Юлиан Кавалец, Арман Лану, Айвор Монтегю, Андрей Плавка, Л. Тудэв, Роже Шатонё, Ивар Лу-Юханссон), № 12.

Поптонев, Стефан — Белоруссия — белая баллада (Перевод С. Пархомовской), № 12.

СЛОВО — ПЕРЕВОДЧИКАМ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (Николай Антонов, Лили Дени, Симон Дракул, Мириам Мортон, Жужа Раб, Лизелотта Ремане, Свен Стерк, Никола Тавиль, Масанобу Того, Сидер Флорин, Улла-Лийса Хейно, Абу Бакр Хусейн), № 12.

Тери, Симона — Француженка в Советском Союзе (Перевод Юрия Стефанова), № 10.

Шерфиг, Ханс — Страна утренней зари (Перевод Н. Крымовой. Рисунки Х. Шерфига), № 12.

Эк, Шандор — 1921, Москва... (Перевод Е. Бочарниковой), № 8.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, КИНОСЦЕНАРИИ

Абэ, Кобо — Детская (Рассказ. Перевод В. Гривнина), № 6.

Аль-Харрат, Адвар — Вокзал (Рассказ. Перевод В. Шагаля), № 11.

Амаду, Жоржи — Лавка Чудес (Роман. Перевод Юрия Калугина. Послесловие Юрия Дашкевича), №№ 2—4.

Антониони, Микеланджело — Забриски-Пойнт (Киносценарий. Перевод Г. Богемского. Послесловие Бориса Галанова), № 2.

Брошкевич, Ежи — Долго и счастливо (Роман. Перевод Михаила Игнатова), №№ 6—8.

Ван Акен, Пит — Спящие собаки (Роман. Перевод и послесловие В. Ошиса), № 9.

Во Хюи Там — Парус (Рассказ. Перевод Н. Никулина), № 9.

Гуляшки, Андрей — Романтическая повесть (Перевод Т. Карповой и Л. Хлыновой), № 5.

Зегерс, Анна — Через океан. История одной любви (Повесть. Перевод Э. Львовой), № 1.

ИЗ ВЬЕТНАМСКОЙ ПРОЗЫ, № 9.

Кавабата, Ясунари — Голос бамбука, цветок персика (Рассказ. Перевод Б. Раскина), № 6.

Коитиро, Уно — Бог китов (Рассказ. Перевод Т. Гэигорьевой), № 6.

Ла Гума, Алекс — В конце сезона туманов (Повесть. Перевод Виктора Рамзеса), № 12.

Ле Чи Ки — Вечер в Храме Литературы (Рассказ. Перевод И. Глебовой), № 9.

М'Хамсаджи, Каддур — Цветы ноября (Рассказ. Перевод Н. Световидовой), № 11.

Нарайан, Р. К.— Два рассказа (Перевод Н. Демуровой), № 8.

Олдридж, Джеймс — Прощай, Анти-Америка! (Рассказ. Перевод Э. Ханиной), № 2.

Онгорен, Васиф — Как спаслась Асия (Драма в двенадцати картинах. Перевод Марины Гусейновой и Чингиза Гусейнова), № 4.

Отеро Сильва, Мигель — Когда хочется плакать, не плачу (Роман. Перевод М. Былинкиной. Послесловие Ю. Дашкевича), № 7.

О'Хара, Джон — Дело Локвудов (Роман. Перевод К. Чугунова. Послесловие Г. Злобина), №№ 8—10.
Оэ, Кэндзабуро — Футбол 1860 года (Роман. Перевод и вступление В. Гривнина), №№ 1—2.
Плавка, Андрей — Влюбленный в жизнь (Перевод Л. Лерер и С. Пархомовской), №№ 10—11.

РАССКАЗЫ ЯПОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 6.

Саган, Франсуаза — Немного солнца в холодной воде (Роман. Перевод Н. Немчиновой), № 3.
Сас, Янош — Ответ (Повесть. Перевод И. Салимона), № 3.
Соважон, Марк-Жильбер — Чао! (Комедия в двух актах, восьми картинах. Перевод Тамары Ерофеевой), № 10.
Уэйн, Джон — Зимой в горах (Роман. Перевод Т. Кудрявцевой и Т. Озерской), №№ 5—7.
Фенольо, Беппе — Страстная суббота (Повесть. Перевод С. Токаревича. Послесловие Г. Брейтбурда), № 4.
Фуэнтес, Карлос — Все кошки серы (Пьеса. Перевод и вступление М. Былинкиной), № 1.
Хюи Фыонг — Бомба замедленного действия (Рассказ. Перевод И. Глебовой), № 9.
Шаброль, Жан-Пьер — Пушка «Братство» (Роман. Перевод Н. Жарковой и Б. Песиса), №№ 11—12.

СТИХИ

Беньямин, Ласло — А что же там, с той стороны?.. (Перевод В. Корчагина), № 12.
Брутус, Деннис — Стихи (Переводы А. Ибрагимова, Андрея Сергеева. Вступление Евг. Долматовского), № 2.
Вэнь И-до — Стихи (Перевод Геннадия Ярославцева), № 8.
Геров, Александр — Стихи (Перевод Лорины Дымовой. Вступление Божидара Божилова), № 6.
Гидаш, Антал — Стихи (Перевод Леонида Мартынова), № 6.
Дазидков, Иван — Когда родился мой сын (Перевод Лорины Дымовой), № 12.
Дагларджа. Фазыл Хюсню — Стихи (Перевод и вступление Фазиля Искандера), № 3.

ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ (Перевод Н. Гребнева. Вступление Г. Михайлова), № 10.

Кракар, Лойзе — Стихи (Переводы Бориса Слуцкого, Юрия Левитанского, Александра Кушнера), № 7.
Левертов, Дениза — Стихи (Переводы Андрея Сергеева, Петра Вегина, Валерия Минушина. Вступление А. Зверева), № 10.
Миро, Сесар — Антипеснь (Перевод Марка Максимова. Вступление С. С. Смирнова), № 11.
НАДЕЖДА И ПАМЯТЬ (Стихи югославских поэтов), № 7.
Пас Паредес, Маргарита — Песнь любви к Советскому Союзу (Перевод Н. Булгаковой), № 12.
Пастори, Луис — Стихи (Перевод Евг. Долматовского), № 5.
Пачеко, Хесус Лопес — Из новой книги (Перевод Натэллы Горской. Предисловие Н. Томашевского), № 4.
Посвятовская, Халина — Стихи (Перевод и вступление Н. Астафьевой), № 4.
Раичкович, Стеван — Стихи (Перевод Александра Кушнера и Юрия Левитанского), № 7.
Силлитоу, Алан — В окрестностях Воронежа (Перевод Бориса Слуцкого), № 12.
Слободник, Влодзимеж — Облака и родник (Перевод Н. Астафьевой), № 12.
Станчев, Лучезар — Красная площадь (Перевод Ларисы Васильевой), № 12.
Стэнеску, Никита—Стихи (Переводы К. Ковальджи, И. Кашежевой, Ю. Кожевникова. Вступление К. Ковальджи), № 5.
Тейльер, Хорхе — Стихи (Перевод и вступление Сергея Гончаренко), № 8.
Фернандес Ретамар, Роберто — Тебе—в пятидесятилетие (Перевод Евг. Долматовского), № 12.
Фрид, Эрих — Стихи (Перевод и вступление В. Куприянова), № 1.
Штриттматтер, Эва—Стихи (Переводы Ирины Грицковой и Риммы Казаковой), № 9.
Эттерс, Герд — Поезд дружбы Берлин — Ленинград (Перевод Ирины Грицковой), № 12.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Гёте, Иоганн Вольфганг — Истолкование старинной гравюры на дереве, изображающей поэтическое призвание Ганса Сакса (Перевод и вступление Льва Гинзбурга), № 8.
Ибн аль-Мутазз—Стихи (Перевод Евгения Винокурова. Вступление И. Фильштинского), № 9.
Китс, Джон—Стихи (Переводы Г. Кружкова, А. Покидова, Олега Чухонцева. Вступление Ольги Холмской), № 2.
Тао Юань-мин — Стихи (Перевод и вступление Л. Эйдлина), № 1.

КРИТИКА

Барабаш, Ю.— Эти неуловимые структуры..., № 4.
Бернштейн, И. — Владислав Ванчура, № 4.
Волжанин, В.— Китайская литература: что же дальше?, № 7.
Затонский, Д. — Страница австрийской литературы, № 11.
Зверев, А.— В поисках «мифотерапии», № 5.
Ильинская, С.— «Фермопилы» современной греческой поэзии, № 1.
Каролев, Стоян — Просторы реализма. Изображение человека у Иво Андрича и Эмилияна Станева (Перевод А. Опульского), № 3.

Карху, Э.— Тревоги и заботы «разочарованных» (Заметки о финской литературе шестидесятых годов), № 7.
Козак, Ян — За социалистическую литературу, за нового человека (Перевод Л. И. Васильевой), № 9.
Кямилев, Х.— Поэзия Назыма Хикмета последних лет, № 8.
Лакшин, В.— «Почтовая проза» И. С. Тургенева, № 8.
Ландор, М. — Высокая проза «красного десятилетия» (К спорам о тридцатых годах в США), № 11.
Литература и классовая борьба (Беседа с председателем ГКП Куртом Бахманом. Перевод М. Харитонова), № 12.
Мулярчик, А.—По рецептам литературного суррогата (Современная «массовая беллетристика» в США), № 8.
Обретенов, Александр — К правде жизни. К 90-летию со дня рождения Георгия Димитрова (Перевод С. Пархомовской), № 6.
Павлова, Н.—Театр и история (Заметки о современной западногерманской драме), № 10.
Петриковская, А.— Вивисекторы и аутсайдеры (Заметки об австралийской литературе), № 6.

ПОЭЗИЯ И ПЕРЕВОД (Творческая встреча в журнале «Иностранная литература». Л. Эйдлин, Владимир Огнев, Кирилл Ковальджи, С. Липкин, Е. Эткинд, Борис Слуцкий, В. Иванов, Вильгельм Левик, М. Гаспаров, Лев Озеров, Е. Гальперина, Павел Грушко, Т. Мотылева, Асар Эппель, Виль Ганиев, П. Топер), № 2.

Федоренко, Н.— Ленин и восточные литературы, № 6.
Харитонов, М. — Вольфганг Борхерт, прочитанный сегодня, № 3.
Чернышев, В.— От средневековья к современности, № 9.
Шобер, Рита—Литературное произведение: символ или модель? (Перевод Н. Ржевской), № 4.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Андрич, Иво — Знаки вдоль дороги (Составление, предисловие и перевод Александра Романенко), № 10.
Брехт, Бертольт — Заметки о литературе и искусстве (Перевод Е. Кацевой. Вступление Е. Книпович), № 5.
Карпентьер, Алехо — Роман не умер, № 1.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ (Интервью с Алфредо Диасом Гомесом), № 11.

РАЗДУМЬЯ ОПТИМИСТА (Беседа Марио Бенедетти с Роберто Фернандесом Ретамаром. Перевод Э. Брагинской), № 8.

Чивер, Джон — «Мне хотелось бы создать что-то новое...», № 4.

ОБСУЖДАЯ НАПЕЧАТАННОЕ

Слуцкис, Миколас — Чудовище из Ругбюля, № 2.

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

Мерино Рейес, Луис — Первые шаги (Перевод Н. Булгаковой), № 9.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Анджапаридзе, Г.— Жизнь напоказ, № 7.
Бернштейн, И. — Поэт и его переводчики, № 2.
Гиленсон, Б.— Не только информация, № 6.
Дьяконова, Н.— Письма поэта, № 10.
Ермонский, А.—Ирония и надежда Станислава Дыгата, № 11.
Зверев, А.— Переулки Тильбюри-тауна, № 8.
Канторович, И.— Из наследия Бернарда Шоу, № 8.
Карлов, А.— Многоцветная мозаика, № 5.
Лазарев, Л.— Из прошлого в будущее, № 3.
Лебедева, Ю.— Глашатаи грядущего, № 10.
Левидова, И.— Две книги Ивлина Во, № 2.
Мясников, А.— О некоторых вопросах современной литературы, № 5.
Новиченко, Л.— Динамика жизни и слово писателя, № 7.
Ошис, В.— Свет и тени, № 11.
Пенчев, Георгий — Эпопея мужества и героизма, № 3.
Петриковская, А.—История австралийских Форсайтов, № 10.
Слуцкий, Борис — Новый негр, № 4.
Слуцкий, Борис — Свобода петь..., № 11.
Степанов, Л.— Необыкновенные приключения Альхаджи Имама, № 4.
Тарковский, Арсений — Аполлон польской поэзии, № 7.
Тишков, А.— Новое издание произведений Лу Синя, № 10.
Тугушева, М.— Об утраченных иллюзиях, № 2.
Федоренко, Н.— Поэтическая антология «Манъёсю», № 9.
Шимон, Иштван — Петефи на русском языке в 300 000 экземпляров, № 5.
Эйдлин, Л.— Печаль поэта, № 6.

Издано за рубежом

Балашова, Т.— Порядок против мятежа, или Новые сказки про Людоеда, № 3.
Вавилов, Вл.—Нигерия: роман из послевоенного времени, № 9.
Востокова, С.— Ярослав Гашек: миф и действительность, № 5.
Гениева, Е.— Дорога в «гринландию», № 11.
Данилин, Ю.— Пьеса Жюля Валлеса, № 4.
Добровольская, Ю.—Главное — знать, № 11.
Ивашева, В.— Пародии Уильяма Купера, № 5.
Ильинская, С.— Во имя земли Кипра, № 6.
Калныня, Д.— Знакомство с писателем — знакомство с критиком, № 10.
Канторович, М.— Снова отцы и дети, № 10.
Карлов, А.— Размышление над шестьюстами страниц «Глупостей», № 11.
Кирков, Димитр — Проникновение в болгарский характер, № 9.
Константиновский, Илья — Новая ветка могучего дерева, № 9.
Михайлова, Т.—У истоков немецкой социалистической литературы, № 2.

Мотылева, Т. — Жизнь французского коммуниста, № 3.
Наркирьер, Ф.— Пушка рабочего братства, № 6.
Николеску, Татьяна — Смерть Орфея, № 3.
Никулин, Н.— Любимый поэт вьетнамского Юга, № 7.
Опульский, А.— Поэзия романтика, оптимиста, жизнелюба, № 11.
Пальцев, Николай — Оттенки благодушия, или Метаморфоза «сердитого» писателя, № 9.
Прожогина, С.— Повесть о жизни, № 4.
Радволина, Ида — Большая забота маленького человека, № 6.
Романенко, Александр — Бессмертный путь бригады, № 7.
Ульрих, М.— Счастье открытия, № 10.
Хиль, Марио — Карлос Фуэнтес. «Мексиканское время», № 8.
Чернышев, А. и Пронин, В.— «Чистая» критика Эндрю Филда, № 8.
Шкунаева, И.— Солнце и холодная вода, № 2.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях

Амбарцумов, Е. — Вспоминая Галилея, № 5.
Арутюнов, Л.—Между социологией и лингвистикой, № 4.
Божович, В.— Кино и внутренний мир человека, № 2.
Бурлацкий, Ф.— Интеллектуализм, интеллигентность и «массовая культура», № 10.
Вульф, В.— Размышления о «новом театре», № 4.
Галкин, А.— «Софистические забавы» (О некоторых высоконаучных попытках доказать недоказуемое), № 9.
Гусев, В.— Поэзия и «массовость», № 7.
Долгошева, Л.— Писатели в поисках персонажей..., № 9.
Кин, Ц.— Самокритика интеллектуала, № 3.
Лебедев, В.— И все-таки реализм!, № 9.
Мидлер, А.— Приглашение в «постграмотность», № 2.
Мириманов, В.— Эстетические критерии и взаимодействие культур, № 1.
Мяло, К.— Музыка в «индустриальном обществе», № 11.
Новиков, Н.— Наука о будущем: есть ли у нее будущее?, № 11.
Нуйкин, Андрей — О матрацах, яичке и священных принципах, № 6.
Нуйкин, Андрей — Эстетика и политика, № 2.
Пархомовская, С.— Тревога и оптимизм, № 4.
Рашковский, Е.— Язык, культура и парадоксы романтического сознания, № 10.
Ротенберг, Т.— «Биологические машины» против «цивилизации мужчин», № 8.
Седельник, В.— Почему они пишут..., № 6.
Симонян, Л.— Надо победить!, № 11.
Тимашова, О.— Действительность воспитания и воспитание действительностью, № 10.
Феонова, В.— Как повысить интерес к литературе?, № 6.
Чугунов, К.— «Неужели вы не можете писать о чем-нибудь другом?», № 7.
Штейнпресс, Б.— Астрологический детектив на музыкально-литературные темы, № 1.
Ю. С.— Культурная политика и изменяющаяся действительность, № 8.

ПУБЛИЦИСТИКА

БОЛЬ И ГНЕВ ОЛЬСТЕРА (Перевод И. Гуровой. Вступление Ю. Яснева), № 7.

Вальраф, Гюнтер — Во власти Молоха (Перевод и вступление Э. Венгеровой), № 11.

ГОЛОСА РАБОЧЕЙ АМЕРИКИ (Вступление и перевод Виктора Пресса), № 4.

Гондош, Эрнё — Лицом к лицу с текстом (Вступление и перевод Е. Малыхиной), № 6.
Каграманов, Ю.— Возвращенный рай Маршалла Маклюэна, № 1.
Каграманов, Ю.— О метаморфозе «американской мечты». или Новые злоключения «блудного сына», № 8.
Карцева, Е.—Сильнее атомной бомбы, № 4.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СОПРОТИВЛЕНИЯ (Документы и письма). **Расстреляны у форта Мон-Валерьен** (Публикация, комментарии и перевод Риты Райт). **Письма из Моабита** (Вступление и перевод С. Ларина), № 10.

Паркинсон, Норткот — Зятья и прочие. Закон отсрочки. Закон миссис Паркинсон (Перевод И. Гуровой), №№ 1—2.
Спок, Бенджамен — Достойное и недостойное (Отрывки из книги. Перевод И. Ирбрусова. Послесловие С. Вишневского), № 11.
Тоффлер, Олвин — Столкновение с будущим (Отрывки из книги. Перевод В. Воронина. Послесловие Э. Араб-Оглы), № 3.
Туровская, М.— Телевидение и они, № 6.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ (На международном конгрессе в Реймсе. Ив Гандон, Анри Боннье, П. Палиевский, Даниэль Жиллес, Шриниваса Айенгар, Клаус Ярмац), № 9.

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Караганов, А.— У итальянских кинематографистов, № 9.

ОЧЕРКИ

Моуэт, Фарли — Лодка, не желавшая плавать (Главы из книги. Перевод В. Воронина), № 5.

НАШИ ГОСТИ

Канторович, М.—Путь к взаимопониманию (Морис Дрюон — в «Иностранной литературе»), № 4.

Минеев, Александр — Вся жизнь — борьба (Нгуен Конг Хоан, Кхыонг Хыу Зунг, Нгуен Хай Чынг, Хыу Май — в «Иностранной литературе»), № 6.

ПИСАТЕЛИ ИЗ ДОРТМУНДА (Макс фон дер Грюн, Йозеф Рединг и Эрвин Сильванус — в «Иностранной литературе». Запись Л. Харлап и А. Чугуновой), № 3.

ПОДЛИННОЕ ИСКУССТВО ВСЕГДА СОВРЕМЕННО (Беседа с Генрихом Бёлем. Запись М. Сергеева), № 8.

ПО ДОЛГУ СОВЕСТИ (Гость из Израиля — Рут Левин. Запись Н. Соколовской), № 7.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Богданов, А.— Графика борьбы (Сирийский художник Назир Набаа), № 8.

Мириманов, В.— Живые традиции (Искусство Меланезии), № 5.

Полякова, Н.— Венгерское искусство в Москве, № 6.

Романенко, Александр — «И смолою пахнет порох...», № 11.

С. Ф.— Негритянский художник Элтон Фэкс, № 8.

Турчин, В.— Мастер натюрморта (Итальянский художник Джорджо Моранди), № 7.

Федоренко, Николай Т.— Эстетика японской керамики, № 1.

Юткевич, Сергей — Художник с пристальной кистью, № 10.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, №№ 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, №№ 1—6 и 8—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**
Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 21/IX 1972 г. А 11683. Подписано к печати 13/XI 1972 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,32. Зак. 3080.
Журнал выходит один раз в месяц.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394